



# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 11

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

## В номере:

### ПРОЗА

ИСФАНДИЯР, ЭРНСТ БУТИН. Расплата. Роман. Книга вторая. Окончание . . . . .	3
МИХАИЛ КАГАРЛИЦКИЙ. Больничный в сентябре. Рассказ . . . . .	58
ДИНАРА АБДУЛОВА. То счастливое лето. Визит. Рассказы . . . . .	70
НУРУЛЛАХ МУХАММАД РАУФ. Вечера в «белом домике». Рассказ. Перевод с узбекского Р. Азимовой . . . . .	84
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ. Взятки. Рассказ . . . . .	98

### ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ ГРЕБЕНЮК. Современная трагедия. Тетрадь третья . . . . .	76
---	----

### ПУБЛИЦИСТИКА

МУРАД АБДУЛЛАЕВ Отравленный рай . . . . .	53
---	----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ВУЛИС. Поэтика «Мастера». Книга о книге. Окончание . . . . .	107
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Л. ЛЕВИНА. Концерт с диссонансами . . . . .	124
Х. НУРИДДИНОВ. Профессия — власть . . . . .	125
К. АКСЕНОВ. «Когда нет в зеркале лица...» . . . . .	127

### К 80-ЛЕТИЮ КАМИЛЯ ЯШЕНА

Долгая дорога . . . . .	129
-------------------------	-----

### КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

А. ФИТРАТ. Страшный суд. Перевод с таджикского Ш. Муталова . . . . .	132
--	-----

### ГЛОБУС

И. ЛОБОДА. Китайские сюжеты . . . . .	142
---------------------------------------	-----

ПИСАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

ТЕРЕЗА ЛИМ. Море. Рассказ. Перевод с английского Н. Степановой . . . 150

КОРАН

Сура 17. Перенес ночью . . . . . 152  
Сура 18. Пещера . . . . . 156  
Комментарии . . . . . 160

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

ГЕННАДИЙ ГОЛОВИН. Оборотни. Повесть. Окончание . . . . . 162

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Н. АХМЕДОВА. На пороге зрелости . . . . . 202

САТИРА. ЮМОР

Улыбки художников . . . . . 204

О наших авторах . . . . . 207

Главный редактор С. П. ТАТУР.

Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА (отв. секретарь), А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ.

© Звезда Востока, 1990 г.

Исфандияр  
Эрнст Бутин

## РАСПЛАТА

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

7

Утром Буриной Талгатович встал невыспавшийся, злой и первым делом позвонил сыну. Но опять, как вечером и ночью, в трубке — длинные гудки: то ли Вахид шляется неизвестно где, то ли отключил аппарат, то ли подходить не хочет. Скверно. Мальчишка, упрямец! Если что вобьет себе в голову, нелегко будет разубедить его.

Размышляя о сыне, Буриной Талгатович опять и опять невольно думал о Хабибове: как, почему тот оказался причастен к случившемуся с Гульнорой? При чем тут он, если избавились от Гульноры по приказу обозленного из-за какой-то фотокассеты Рахимова — тот сам сказал об этом в сауне на даче. А исполнителем был, конечно же, Насыров: не напрасно ведь Рахимов взял его к себе в машину, когда вернулся из Москвы, не напрасно заперся с ним в кабинете, откуда начальник милиции вышел с видом получившего инструкции. Радуясь, что Вахид не знает ни о дружбе с Рахимовым, ни о роли того в судьбе матери, — тогда уж точно вовек не оправдаться, не обелиться в глазах сына, — Буриной Талгатович в конце концов безоговорочно простил Вахида и твердо решил, что как только он объявится, будет разговаривать с ним так, словно между ними ничего не произошло. Только вот — когда теперь сын даст знать о себе? Что-что, а характер у него есть.

Камень свалился с сердца Буриной Талгатовича лишь дома, когда Юлдуз, поцеловав его, первым делом выпалила, что звонил Вахид. Буриной Талгатович решил ждать — значит, позвонит еще раз.

Но телефон молчал. Буриной Талгатович начал беспокоиться: может, предположение Юлдуз ошибочно, может, звонил не Вахид? Тогда — кто? Впрочем, неважно. Важно — что сын не хочет разговаривать. Или не осмеливается первым пойти на сближение, гордость не позволяет? И невольно Буриной Талгатович стал искать повод, чтобы позвонить самому. «Полюбопытствовать, как дела в институте?», «Какие там могут быть дела, если экзамены еще не начались. Узнать, нужны ли деньги? Оскорбится, намек какой-нибудь дурацкий усмотрит: днем, мол, дал, а сейчас напоминаешь? Да и на заискивание, на попытку купить расположение похоже.

Сказать, чтобы взял у матери сумки и принес? Буриной Талгатович не выдержал, позвонил Вахиду сам: «Найду причину на ходу, по обстоятельствам». Сын к телефону не подошел.

Через полчаса Буриной Талгатович позвонил снова. Потом еще раз. И еще. Безрезультатно. Успокаивая себя — Вахид, мол, обрадованный, что вернулся к нормальной, обычной жизни, пропадает, наверное, у друзей, — Буриной Талгатович названивал ему до самой полуночи. Юлдуз, понимая состояние мужа, затаилась где-то в глубинах квартиры, не давала о себе знать, даже телевизор не включала. Буриной Талгатович, притворяясь, будто занят срочной работой, заперся в кабинете. Там и спать лег, чтобы не видеться с женой и не сорваться — не наорать на нее из-за какого-нибудь пустяка: неудачного слова, сочувствующего взгляда, вздоха...

В сосредоточенной задумчивости, прикидывая, ехать к сыну или нет, Буриной Талгатович умылся, побрился, оделся. Молча позавтракал, избегая встречаться глазами с женой, и отправился на работу. Решил, что сначала позвонит главврачу психбольницы, этому... как его?.. Низамову, договорится о диагнозе Гульноры, попросит поскорей, сегодня-завтра, выписать ее и тогда уж разыщет Вахиду в институте: «у меня есть хорошие новости о твоей матери!» Причина веская, поэтому и держаться с сыном можно будет уверенно, с достоинством, говорить тоном оскорбленного, не простившего, но готового простить, отца — хоть ты, неблагодарный, и ведешь, мол, себя недостойно, но я выше этого, я беспокоюсь о твоей матери, делаю все, чтобы у нее не было неприятностей.

Повеселев, он, почти не притворяясь, чтобы выглядеть таким же жизнерадостным, как всегда, бодро заявился в свою приемную. А там — приятный сюрприз, там настроение взвилось до высшего предела от новости, которую выпалила Лолочка. Она, сосредоточенно читавшая за столом какую-то газету, вскочила и аж взвизгнула от радости:

— Ой, Буриной Талгатович, а про вас статья есть! Вот, смотрите! Обалденно написано, прямо закачаешься!

И смутилась, увидев, что шеф насупил: сочла, что из-за ее вульгарных слов, ее фамильярности. Но Буриной Талгатович нахмурился не поэтому — он изо всех сил пытался сдерживать растерянно-недоверчивую улыбку. Чуть-чуть подавшись к газете, пробежал глазами начало очерка: «Поразителен все-таки наш советский Восток с его неповторимым колоритом, с его архаической и современной экзотикой: здесь странно и органично соседствуют монументально-изящные средневековые дворцы, медресе, голубые свечи минаретов и супермодерновые административные здания, достойные гения Корбюзье или Нимейера...» Перебросив взгляд на подпись «П. Родин», Буриной Талгатович осторожно вытянул из пальчиков секретарши «Советскую торговлю» и, небрежно помахивая газетой, направился в кабинет.

— Только, пожалуйста, верните, — умоляюще попросила Лолочка. — Я про вас вырежу и на стенд «Наши достижения» повешу.

Устроившись поудобней за столом, прочитал очерк — прилежно, не спеша. Честно говоря, не верилось, что этот Родин, казавшийся пустомелей, даст в прессу хотя бы крохотную информацию. А уж о том, чтобы написал так много, к тому же мастерски, по высшему классу, и не мечталось. Ай да Павел Ефимович, вот так Павел Ефимович — действительно ас!

Вкрадчиво и нежно закурлыкал телефон. «Вахид!» — Буриной Талгатович, все это время помнивший о нем, схватил трубку.

— Слушаю... — чтобы не отпугнуть сына, придал голосу подкупающую, блажелательную интонацию.

— Это Файзиев, — не поздоровавшись, постно представился абонент. — Ахмаджон Хабибович велел вам прийти к нему через час в гостиницу «Советская» и принести отчет за полугодие.

— Как отчет? — поразился Буриной Талгатович. — Но ведь полугодие еще не кончилось...

Но Файзиев уже положил трубку. «Хам! Дегенерат!» — обозлившись неизвестно на кого, то ли на Хабибова, который не соизволил позвонить сам, то ли на этого его холая, Буриной Талгатович, не задумываясь, набрал номер люкса гостиницы «Советская»: надо поставить Ахмаджонова лакея на место, чтобы впредь не смел прекращать разговор, пока не разрешили. Если же к телефону подойдет сам Ахмаджон...

— В чем дело? Кого надо? — еще более хамски, властно и недовольно, рявкнул взявший трубку.

— Мне бы... Пригласите, пожалуйста, товарища Хабибова, — Буриной Талгатович, узнав голос Рахимова, растерялся.

По тому, что Алимджон не стал выяснять, кто просит Хабибова и зачем, понял Буриной Талгатович, что Рахимов тоже узнал его, но показать это не считал нужным, как и Файзиев, даже не поздоровался.



Зато Хабибов, который подошел через некоторое время к телефону, был настроен дружелюбно, голос его звучал ласково, воркующе.

— Можешь июнь не включать, перенести его на третий квартал, — разрешил он, не раздражаясь, когда Буриевой Талгатович несмело напомнил, что до конца полугодия еще далековато. — Приводи в порядок свою бухгалтерию, времени у тебя целый час. И — ко мне. Когда будешь готов, позвони, пришлю сопровождающего.

В трубке щелкнуло — разговор окончен.

Буриевой Талгатович уперся ладонями в стол, собираясь встать, и задержался в такой позе. «А почему там оказался Рахимов? — вспомнилось запоздало. — Может, вывернулся из лап Ахмаджона и заявился к нему отыграться?» И отбросил эту мысль, как нелепость, — быть такого не может! Да и не пошел бы в таком случае Рахимов в гостиницу, вызвал бы Хабибова к себе, чтобы покуражиться, поглумиться. И Ахмаджон держался бы по-иному, не так безмятежно и барственно. Мозг Буриевой Талгатовича мгновенно, как ЭВМ, просчитал варианты: хорошо или плохо, если придется встретиться с Алимом в люксе Ахмаджона? «Хорошо, — решил Буриевой Талгатович. — Увидит, как Хабибов дорожит мной, как я нужен ему. Пусть позавидует. Может, поубавит гонор, глядишь, и снова друзьями станем». Горделиво расправил плечи и, довольный, что все устраивается, кажется, как нельзя лучше, стремительно поднялся.

На ходу сложив газету, сунул ее в карман, присанился перед дверью. В приемную вышел важный и неприступный. Свинцовым начальническим взглядом скользнул по лицам ожидающих приема. Четверо. Трое с сегодняшней «Советской торговлей» в руках. Умильно смотрят на Лолочку, которая, растопырив пальчики, взметнув тонкие дуги бровей, рассказывала что-то: делилась, скорей всего, впечатлениями от «Маяка...»

— У меня важная встреча, — весомо объявил Лолочке. — Извинитесь перед теми, кому назначено на сегодня. Скажите, что приму завтра.

Кивком попрощался со всеми. Преисполненный достоинства, покинул приемную, и четверка преданных сотрудников устремила за ним. Выйти из здания Буриевой Талгатовичу удалось не скоро — в коридоре поджидали, словно бы случайно оказавшись там, сослуживцы: улыбались, поздравляли, спешили пожать руку. Из кабинетов выходили еще и еще люди, вовсе уж неведомые, незнаемые, какие-нибудь делопроизводительницы, машинистки, тоже улыбались, тоже поздравляли с публикацией. И каждому надо было в свою очередь улыбнуться, каждого поблагодарить, потому что это были не партком-местком, которые поспешили в приемную, возможно, по обязанности, из-за своего служебно-общественного положения: в коридоре поджидали, старались попасться на глаза простые, скромные подчиненные, их никто не заставлял выражать свои чувства начальнику, а значит, радость этих людей была искренней, идущей от сердца, и не откликнуться на нее нельзя.

Под впечатлением такого проявления любви к нему приехал Буриевой Талгатович домой растроганный, в настроении умильной сентиментальности. Приветливо поздоровался со старушкой-вахтером дневной смены и, предвкушая встречу с Юлдуз, поднялся к себе в квартиру.

Но жены дома не оказалось. Буриевой Талгатович по привычке нахмурился: почему утром не предупредила, что уйдет, почему не сказала — куда? Рядом с аккуратной стопкой газет на столе в гостиной увидел исписанный лист бумаги. Прочитал: «Буриджон, как жаль, что я не первая Вас поздравила. Представляю, какое столпотворение было у Вас в кабинете. Наверное, Ваши друзья Вас и увезли. Отмечать. Я звонила. Мне сказали, что Вы ушли. Не сердитесь, пожалуйста, поехала на кафедру хвастаться очерком про Вас. Я так счастлива, так горжусь Вами. Ваша Юлдуз».

Скомкав записку, он пренебрежительно бросил ее на стол. И подсадовал: что-то там, в институте, наговорит Юлдуз? Не поставила бы себя в смешное, нелепое положение. Хотя... что бы она там ни говорила, все пойдет только на пользу, все сработает на нее — не вредно лишний раз напомнить, чья она жена.

Пройдя в кабинет, Буриевой Талгатович тут же настроился на деловой лад. Подошел к застекленным, во всю стену, книжным стеллажам. Сдвинул стекла в секции, где плотно стояли на трех полках синие тома собрания сочинений Ленина. Привычно, не задумываясь, взялся за среднюю полку, сильно дернул на себя и, когда секция плавно и полностью выдвинулась, легко, вместе с книгами, отпахнул ее, точно толстую, широкую дверцу. Из неглубокой ниши, оставленной в замурованной кирпичом двери на кухню, достал плоский черный кейс-«пятысотку» (входит ровно пятьсот тысяч — сторублевками). Без интереса, машинально — все ли на месте? — бросил взгляд на прислоненные к задней стенке тайника «скоросшива-

тель» с оперативной текущей документацией и второй кейс, «миллионник» с резервным фондом. Опять, как дверцу, закрыл секцию, втолкнул на место.

Сел к столу. Набирая шифр, пощелкал ребристыми колесиками замков кейса. Открыл его, вынул прозрачную полиэтиленовую папочку с отчетностью, которая была поверх тесно уложенных, забандероленных по-банковски пачек денег. Буриевой Талгатович раздранно вытянул из папочки бумаги — приспичило же Ахмаджону потребовать полугодовое сальдо сейчас, за месяц до срока: все уже так хорошо подогнано, выверено, и вот, надо переписывать. Не будешь ведь давать материал с исправлениями. Ахмаджон сразу насторожится. Скажет: заранее итог подготовил? Откуда, спросит, знаешь, сколько чего получится? На глазок, зашипит, и, конечно же, в свою пользу работаешь, давно, наверно, меня обманываешь? И не оправдаться тогда перед ним тем, что вместе же еще в начале года спланировали, а в конце первого квартала уточнили, объемы и сроки поставок, поэтому, зная, так сказать, алгоритм поступлений из «Сангама», вычислить шестимесячную прибыль не сложно. «Убедить его, пожалуй, и можно. Только зачем ему знать, что я могу авансом вносить из своих? Нет уж, лучше не давать ему повод для раздумий!» Буриевой Талгатович, не глядя, достал из ящика стола калькулятор, листы чистой бумаги.

Закончив перерасчет, расписав в двух экземплярах заново все показатели по пунктам и графам, Буриевой Талгатович с удовольствием потянулся: славно поработал! Вынул из кейса пачки денег — лишние по новому варианту отчета, и, поглядывая на всякий случай то в одну ведомость, то в другую — не прокрасалась бы какая-нибудь, пусть и самая крохотная, ошибочка! — набрал номер телефона: пора Ахмаджону высылать охранника.

Поглядывая на часы, не спеша, чтобы дать время хабибовскому посланцу приехать, Буриевой Талгатович снова открыл тайник за книжными стеллажами. Положил туда деньги, которые вынул из кейса «пятисотки». Спрятал в «скоросшиватель» старый полугодовой отчет. Вдвинул на место секцию с томиками Ленина, взял кейс и вышел из кабинета, машинально притронувшись к карману — здесь ли газета? Надо будет найти возможность деликатно показать ее Хабибову.

Еще раз взглянув на часы, решил, что, пожалуй, пора, телехранитель, наверно, уже приехал. Однако сопровождающего около подъезда еще не было. Буриевой Талгатович обозлился — какая недисциплинированность, заставляют ждать! Хотел было уже поехать в гостиницу на своей машине, но все же не решился: случись что-нибудь, отвечать за кейс придется самому, а так — тому, кого пришлет Хабибов. Хорошо, если бы это был Евгений Рубенович — приятный человек: интеллигентный, обаятельный.

Приехал, действительно, он. Евгений Рубенович выскочил из машины, воспитанно открыл заднюю дверцу. Перехватив недовольный взгляд Буриевой Талгатовича, извинился скороговоркой:

— Простите, что немного задержался. Сегодня что-то на редкость много работы. Не вы один... — и осекся, решив, что сболтал лишнее.

С неподвижным, бесстрастным лицом, не произнеся больше ни слова, отвез он Буриевой Талгатовича к «Советской». На стоянке около гостиницы, подергивая еле заметно левым плечом под просторной светлой курткой, словно поправляя ляжку помочей, подождал Буриева Талгатовича, пока тот выберется из машины.

Мимо почтительно замершего швейцара прошел первым, а потом снова пристроился сзади. Лишь на втором этаже, перед самой дверью хабибовских апартаментов, опять опередил на шаг. Открыл дверь, пропуская Буриева Талгатовича. Сам не вошел. Посмотрел вопросительно на Абдуллаева, начальника горпромторга. Тот, обычно важный, самодовольный, сейчас выглядел подавленным. Затравленно вскинул глаза на Евгения Рубеновича, поспешно поднялся с кресла, заторопился к выходу, не откликнувшись на приветственный кивок Буриевой Талгатовича. «Нагоняй от Ахмаджона получил», — догадался тот. Таким же кивком поздоровался с Файзиевым, который, вскочив с кресла по другую сторону стола, семенящими шажками устремился к двери во внутренние покои. Осторожненько постучав, приоткрыл створку, всунул голову в образовавшуюся щель, а потом бочком и сам протиснулся в нее.

Буриевой Талгатович переступил с ноги на ногу, нервно зевнул — хоть и был уверен, что с отчетностью полный порядок, в груди все же заняло. Но тут же придал лицу почтительное и заинтересованное выражение — в прихожую выскользнул Файзиев: в глазах сироп, каждая морщинка излучает радость. Он широко открыл дверь, радушно, гостеприимно повел рукой: прошу!

Буриевой Талгатович притронулся, точно к амулету, к газете в кармане. Подернул ее вверх, чтобы побольше высунулась, чтобы сразу бросилась в глаза, и решительно вошел в комнату.

Немного смутился, хотя и не потерял самообладания, увидев Рахимова, окаме-

нело сидевшего рядом с развалившимся Хабибовым. «Неужели Алим не понимает, что для его репутации убийственно так долго торчать здесь? — бодро поздоровавшись, улыбаясь приветливо, подумал почти злорадно Буриной Талгатович. — Ну, нанес визит вежливости, узнал, как здоровье, как дела... — И встревожился. — А может, Ахмаджон хочет при нем говорить о делах? Зачем, для чего это?»

— Здравствуй, Бури, здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть, проходи, садись. — Хабибов грузно шевельнулся, словно собираясь встать навстречу, и плавно повел рукой по направлению от двери к низенькой, из того же мебельного гарнитура, что и диван, банкетке по другую сторону столика с фруктами, сладостями, чайным сервизом.

«Не может, чтобы не унизить», — Буриной Талгатович демонстративно посмотрел на стулья около круглого стола в центре, на удобные широкие кресла у стен, однако взять стул или подтащить к дивану кресло все же не хватило дерзости. Опустился на банкетку. Неудобно — точно на корточках: колени на уровне подбородка, да и глядеть приходится снизу вверх, по-собачьи как-то.

Пристроив кейс на коленях, одергивая вздыбившийся пиджак, Буриной Талгатович вынул из кармана газету, сделал вид, будто раздражен тем, что она мешается. Пренебрежительно положил ее на столик, как бы отложен в сторонку, а на самом деле чуть ли не сунув под нос Рахимову. Стрельнул на него взглядом: обратит внимание на очерк Родина? Но угрюмый, о чем-то глубоко задумавшийся Рахимов на газету и взгляд не повел: казалось, он вообще не видел, что и даже кто перед ним. А вот Хабибов сразу все понял. Маленькие глазки его заблестели игриво, тугие щеки еще более округлились от широкой улыбки.

— Похвастаться хочется, да?.. Опоздал. Я уже знаю, что ты «маяк», мне уже доложили, — показал взглядом на смиренно застывшего у двери Файзиева, — и даже прочитали вслух. — Дернулся, выпрямляясь. Сел, склонил голову к плечу, посмотрел хитренько. — Пожадничал, Бури, а? Не щедро угостил москвича, на подарок поскупился? Мало он что-то о тебе красивых слов сказал. Если этот человек и обо мне так же плохо напишет, — лениво постучал толстым пальцем по очерку Родина, презрительно оттопырил нижнюю губу, — то... пошлю к нему тренера Евгения, чтобы побеседовал с ним, — и беззвучно засмеялся, подрагивая всем телом. — Правильно говорю, Кулмурат?

Покосился на Файзиева. Лицо у того собралось в лучистые морщинки, он замурился, захихикал, тискаая, потирая ладошки.

— Не надо, хозяин. А то Паша-ака еще умрет от радости, когда увидит тренера Евгения. Очень он его полюбил.

— Это я знаю, — Хабибов совсем уж весело, широко заулыбался. — Иди сюда, — добродушно позвал Файзиева, поманив небрежным жестом. Потом с виноватым видом заглянул в неподвижное лицо Рахимова. — Прости, Алимджон-ака, прости, брат, но тебе опять придется немного посидеть в приемной, — и когда тот, слегка вздрогнув, точно проснувшись, смерил его, насколько это возможно сидя, взглядом, повторил, странно сочетая в голосе ласковость и твердость. — Подожди в приемной. Как только приедет Насыров, продолжим. На вот, почитай пока, чтобы скучно не было, — протянул газету резко вставшему и еле сдерживающему гнев Рахимову. — Порадуйся вместе со мной тому, что о моем друге пишут.

У Буриной Талгатовича от таких слов на душе стало — будто в райский сад попал. Он подчеркнуто робко взглянул снизу вверх на Рахимова. Тот изобразил губами улыбку, кивнул приветливо, словно только что заметил и, скомкав в кулаке газету, удалился с гордо поднятой головой в прихожую. А на его место на диване уже пристроился скромненько Файзиев: морщинистое личико сладкое, взгляд ласково-выжидательный.

Буриной Талгатович передал ему через столик кейс и, наблюдая, как Файзиев привычно набирает шифр замков, заметил сочувственно:

— Что-то наш уважаемый Алимджон Акбарович не в духе сегодня.

— Неприятности у него, — Хабибов скорбно вздохнул, но глаза были насмешливыми. — Нехорошие люди его обидели.

Перед самым приходом Латыпова, когда полностью, кажется, закончили начатое с утра обсуждение всех проблем, связанных с поездкой в Ташкент, и когда Рахимов хотел было уже попрощаться, Хабибов, сделав вид, будто только что вспомнил, достал из кармана пакет с фотоснимками. «Что это?» — насторожился Рахимов. «Карточки, которые нашли у Сашки Белова», — невинно ответил Хабибов. «Как?! Ведь твой Микеладзе принес мне их в ту же ночь!» «Разве? — правдоподобно удивился Хабибов. — Я и забыл. Тогда это те, что передал мне Насыров». Расчет оказался точным: Рахимов оцепенел. Хабибов скучающе смотрел на него, понимая, какие мысли сейчас клокочут, шгибаются в голове Алима, который был убежден, что ловко выпутался из истории с фотографиями: снимки, найденные у мертвого шофера, получил так быстро, что с них, конечно же, не успели снять копии; пленка

и все, как думалось, милицейские экземпляры фотокарточек уничтожены, так что — все в порядке, все прекрасно, можно дышать спокойно. И вдруг — такой удар! «Кроме этих, есть еще?» — зло спросил Рахимов, «У меня есть, — сдерживая притворную зевоту, протянул Хабибов. — Спрятаны вместе с твоими расписками и прочей шара-барой. А есть ли у Насырова, не знаю. Сам у него спросишь, когда придет». Лицо Рахимова помертвело, и опять Хабибов понял, что творится сейчас у того на душе: ну, мол, то, что друг Ахмаджон завладел компроматом, — это, разумеется, неприятно, но не страшно, а вот то, что милиционер-нишка обманул, обвел вокруг пальца и, понятно, оставил себе комплект, — это плохо, очень плохо...

— Неприятности, неприятности... — Буриной Талгатович тоже вздохнул, снова так остро, что все прочее отошло на задний план, вспомнив о Вахиде. — У кого их нет?

Файзиев, изредка поднимая глаза к потолку и шевеля губами, проверял отчетность — все данные: объемы поставок, сроки, цены он держал в уме, и не было случая, чтобы ошибся хоть на самую малость. Буриной Талгатович как бы рассеянно, а на самом деле внимательно — вдруг все же проскочило какое-нибудь упущение? — следил за ним и, скорбно морща лоб, огорченно заметил, словно не для Хабибова, а всего лишь сожалея вслух, что у него тоже неприятностей хватает. С сыном хотя бы. И опечаленным голосом начал рассказывать, что тот стал совсем другим: озлобленным, непочтительным, резким — очень уж на него подействовало случившееся с матерью. «В психбольницу попала, такое горе, такое горе!» Файзиев был все так же сосредоточен и, казалось, ничего не слышал. Хабибов же — Буриной Талгатович уловил, почувствовал это — заинтересовался, как только речь зашла о Вахиде. И, как ни странно, даже повеселел.

Постепенно, исподволь подкрадывался Буриной Талгатович к главному — хотелось выяснить, какова же роль Хабибова в судьбе Гульноры, можно ли рассчитывать на него в противоборстве с Рахимовым и Насыровым, если начать сегодня же вызволять из клиники мать Вахида?

— У тебя хороший сын. Настоящий мужчина растет. Я видел его, знаю, что говорю, — уверенно заявил Хабибов, оборвав унылое повествование Буриной Талгатовича, и когда тот вскинул на него вопросительно-недоуменный взгляд, нахмурился. — Не притворяйся, будто он не рассказывал, что был у меня. Не люблю, когда хитрят. Твой Вахид должен был все высказать. Обо мне. О тебе. О том, что мы приятели. Если это не так — я ничего не понимаю в людях!

— Да, да, так и было, — поспешно промямлил Буриной Талгатович, отводя взгляд. — Он мне все рассказал. Даже то, что вы будто бы каким-то образом причастны к происшедшему с его матерью, — и выжидательно покосился на Хабибова.

Тот сосредоточенно выбирал в вазе яблоко.

— Пророк сказал: «Приходите ко мне не с делами своими, но с намерениями», — с хрустом откусил от яблока кусок, продолжил с набитым ртом. — Вижу твоё намерение: хочешь попросить побыстрее выпустить бывшую жену, чтобы показать сыну свои возможности, вернуть его любовь. Разрешаю. Следователя Латыповой больше нет, а мать Вахида есть. Пусть мальчик порадуется. Нравится он мне. Глупый еще, конечно, смешной, — и, сморщив нос, улыбнулся так, словно вспомнил что-то забавное. — Но его ошибки — поступки смелого. Люблю таких.

— Все правильно, — с еле уловимым сожалением доложил Файзиев и протянул отчетность Хабибову.

Тот сразу стал серьезным. Принялся бегло просматривать бумаги.

— Передашь главврачу Низамову, что я велел отпустить твою бывшую жену, — пробормотал, не глядя на Буриной Талгатовича. — Болезнь ей придумал сам.

— А если Рахимов и начальник милиции не захотят... — осторожно начал Буриной Талгатович и смолк под свирепым взглядом Хабибова.

— Тебе сказано: я велел, — медленно и четко выговаривая слова, повторил он, не повышая голоса.

Разделил отчетность на две части. Одну кинул в кейс, скользнув взглядом по деньгам и задержав над ними руку; другую часть бумаг сунул, не глядя, через столик Буриной Талгатовичу.

Буриной Талгатович, проверяя, везде ли расписался Файзиев, и тоже украдкой, словно прощаясь, поглядывая на кейс, спросил тоном озабоченного и прилежного служащего:

— Такое внеплановое подведение итогов будет теперь систематическим? Или сегодняшний случай исключение из правил?

— Исключение, — буркнул задумавшийся Хабибов. Он все же не выдержал: вынул сначала одну пачечку сторублевок, потом вторую; ласково огладил их. — В понедельник я должен быть в Ташкенте на пленуме, оттуда — в Бухару, оттуда, наверно, сразу в Москву, на сессию, — голос его звучал глухо, тускло, как у сонно-

го. — Потом, заодно уж, и к нашим землякам под Новгород загляну. Так что... некогда мне, дома, может, весь июнь не покажусь.

Буриевой Талгатович, придав лицу выражение уважительной заинтересованности, мелко кивал в такт словам: понимаю, мол, понимаю, простите меня за бестактность, у вас-де такие важные государственные дела, а я с какими-то суетными, мелочными вопросами лезу. Он знал, что на тридцатое мая действительно назначен Пленум ЦК по вопросу увеличения производства товаров народного потребления с докладом Предсовмина республики Худайбердиева; знал и о том, что семнадцатого июня открывается сессия Верховного Совета СССР, где — из верных источников — утверждают указ от 17 декабря прошлого года об освобождении Щелокова от должности министра внутренних дел и выберут Андропова Председателем Президиума союзного Верховного Совета; знал и то, что у Хабибова, конечно же, есть свой интерес в узбекских коллективах, совхозах, мехколхозах, мелиоративных трестах, восьмой год осваивающих русское Нечерноземье, и понимал, что Хабибову понадобятся деньги. Но ведь не такая куча! У Ахмаджона своих не честь, а он досрочно и такую малость, как общепитовские, да и не только их, а, судя по всему, и горпромторговские, абдуллаевские, истребовал. Зачем?.. И все так же почитательно, восхищенно, чуть ли не влюбленно глядя в рот Хабибову, решил, что, проговорившись о Бухаре, Ахмаджон назвал главное: там после ареста начальника областного УБХСС положение стало тревожным — начнет Музаффаров давать показания, разоблачения потянутся дальше и вверх, в обком, в Ташкент: так, стоит лишь затлеть кончику бикфордова шнура, и опасный огонек, чадя и смердя, неудержимо устремится к потаенному заряду, который разнесет в клочья все чистое и грязное, светлое и мрачное, среди чего запрятан. Если, конечно, вовремя не перерубить шнур.

Хабибов, нежно, почти любовно перебиравший, сам того не замечая, деньги, тоже подумал о Бухаре, о Музаффарове, умудрившемся попасть под следствие из-за копеечного, всего лишь в тысячу рублей, подношения: столько колхозник за место на рынке платит. Глупая и смешная история: за такую сумму суюнчи большому начальнику, если узнают, что он взял, даже выговор не объявляют — по-журят, поставят на вид и отпустят с миром. Посмеиваясь над незадачливым Музаффаровым, которому не повезло, все, кто знал об этом, были убеждены, что неприятности для него тем — партийным порицанием, оргвыводами — и закончатся. Так считал и Отахон, когда он, Хабибов, разговаривал с ним из дома по прямому телефону, интересовался между прочим и тем, что происходит в Бухаре. Но вот вчера Отахон позвонил сам. Напомнив про Пленум в понедельник, велел обязательно приехать — надо поговорить, обсудить кое-что с глазу на глаз: за месяц не удалось ни выволотить Музаффарова из следственного изолятора КГБ, ни передать его дело в областную, по месту жительства, или пусть даже в республиканскую прокуратуру, и Музаффаров начал, кажется, говорить, назвал пока лишь только как своего самого близкого друга начальника Бухарского горпромторга. Не сумев скрыть озабоченность, что с ним, всегда ровным, мягким, бывало очень редко, Отахон поинтересовался, что за человек Кудратов: «Ты должен его хорошо знать, он ведь твой приятель». Чтобы успокоить Отахона, пришлось поклясться, что Шоди Кудратов не подведет, ни в чем не признается, даже если его выше макушки завалить уликами, доказательствами, но на всякий случай предложил найти способ представить Кудратова в выгодном свете как руководителя, который всего себя отдает работе, заботится о бухарцах, рядовых тружениках, простых советских людях. Отахон, подумав, согласился, что совет этот разумен, и сказал, что распорядится, чтобы сразу же после Пленума открыли наконец в Шахристане, в заповедной зоне Бухары, торговый центр «Гостиный двор», который вот уже сколько лет обещает землякам Абдувахид Каримов, Первый Бухары. Прощаясь, Отахон, словно бы мимоходом, словно бы между прочим, попросил привезти «все, что можешь», потому что — могут понадобиться.

Хабибов усмехнулся — вспомнил, как Абдуллаев, обрадованный, что разговор начался с душевной беседы о его друге Кудратове, попытался было под хорошее настроение попросить об отсрочке хотя бы части полугодовой выплаты и как потом чуть ли не на коленях умолял простить за эти необдуманные слова, пообещал завтра с утра принести даже всю, до копейки, июньскую долю, готов, если надо, и на штрафные санкции за свою наглость.

Бросив деньги в кейс, Хабибов подровнял в нем пачки.

— Налей нам чаю, — захлопнув крышку, повелел негромко Файзиеву.

Тот, ожидающе стоявший около него и уже нагнувшийся к кейсу, чтобы взять, мигом развернулся, схватил чайник и начал было уже наливать в пиалу, но — притронулся к чайнику и опять резво, точно крутнули на месте, развернулся. Праворно, мышкой, шмыгнул в прихожую.

Вернулся так же поворотно, почти сразу же, наливая чай, доложил:

— Начальник милиции Насыров приехал. Рахимов, сердитый, ругает его. Насыров, красный, оправдывается.

Хабибов довольно фыркнул, точно хрюкнул. Полюбопытствовал:

— Микеладзе тоже там? При нем разговаривают?— И когда Файзиев, почтительно подавая пиалу, кивнул, приказал ему:— Отнеси это,— небрежно ткнул пальцем в кейс,— и иди к ним.

Файзиев подхватил чемоданчик с деньгами, крепко прижал его к груди и зашпешил в спальню. Но на полпути ему пришлось сделать зигзаг к столу в центре комнаты — на нем зазвонил телефон. Взял трубку, выслушал, объяснил Хабибову:

— Габидзе... Говорит: все в порядке, не обманули. И заказчик там.

— Хорошо,— Хабибов оживился. Заелозил, переваливаясь с боку на бок, удовлетворенно заулыбался.— Пусть везет его сюда, и — сразу ко мне. Ну а дальше, как договорились. А те,— кивнул головой в сторону прихожей,— пускай подождут.

— Может, выпьем, Буриевой, за окончание деловой части?— весело спросил Хабибов.— И за то, чтобы и дальше у нас с тобой были полное понимание и взаимная выгода.

— Как скажете, Ахмаджон-ака,— Буриевой Талгатович удивленно посмотрел на него: не ожидал ни такого предложения, ни того, что Хабибов может гладко, без запинки выговорить такую изысканную фразу. Помялся.— Правда, честно говоря, только не обижайтесь, пожалуйста, мне не очень хочется. Предпочитаю днем не пить.

— Нет так нет,— согласился Хабибов.— Обойдемся чаем.— Сделал движение пиалой, словно предлагая чокнуться.— Будь здоров и пусть будут здоровы все твои родные и близкие.— Отпил глоточек, поглядел задумчиво, спросил, посмеиваясь:— Как себя чувствует молодая жена? Не собирается стать матерью?

Делая вид, будто сконфузился, а на самом деле устав сидеть на этой дурацкой банкетке — ноги затекли, спина изнылась,— Буриевой Талгатович поерзал, меняя позу.

— Говорит, что собирается,— признался, постаравшись, чтоб голос звучал смущенно.— Обещает к Новому году сына, как говорится, разрешите уже сейчас пригласить вас на день рождения моего мальчика. Первым и самым почетным гостем будете.

— Спасибо. Приду. И на день рождения приду, и на суннат.<sup>1</sup>— Хабибов кивнул с важной благосклонностью. Пожелал торжественно.— Пусть и он вырастает таким же, как Вахид.— Медленно прихлебывая чай, опять, как и в начале беседы, похвалил.— Хороший у тебя сын Вахид, можешь гордиться. Есть чем.

— Вам тоже есть чем гордиться, Ахмаджон-ака,— польстил Буриевой Талгатович.— Ваша Малика и красавица, и умница, и...— сдержанно, воркующе, чтоб не выглядело издевательски, засмеялся,— и живет не от полочки до полочки. Настоящая принцесса из сказки.

— Ты прав,— лицо Хабибова стало ласковым, глаза подобрели, затуманились,— с дочкой мне повезло, грех жаловаться...

Буриевой Талгатович, преданно глядя на него, задержал дыхание: все, решил! «Нет, соваться к Насырову не стоит, Рахимов может подвести, и тогда начальник милиции отыграется, окончательно станет врагом, непримиримым и мстительным, начнет пакостить, где и как сумеет. Пес с ним, с тем, кто шарился на квартире Гульноры, пес с ней, с милицией, пусть хоть вся заворуется. Лучше их не раздражать». Мелькнула, правда, мысль попробовать подключить Хабибова, но Буриевой Талгатович, даже не анализируя, отверг этот вариант: Ахмаджон не любит помогать, к тому же может рассердиться — стоило, мол, с тобой заговорить по-человечески, по-дружески, сразу с просьбами лезешь.

— ...только какой вот принц этой принцессе достанется?— уловил Буриевой Талгатович конец фразы.

— Понимаю, очень хорошо вас понимаю,— сообразив, что надо что-нибудь сказать, сочувственно отозвался он.

— Ничего ты не понимаешь,— недовольно буркнул Хабибов.— Если бы я был уверен, что тот, кого она выберет, действительно любит ее,— озолотил бы. Но я не верю в это. Все время боюсь, что не Малика будущему зятю нужна, а я! Мой достаток! Моя власть! Моя сила!— голос его стал угрожающим, мясистое лицо отвердело.

— Да, да, не исключено,— поспешно согласился Буриевой Талгатович, осторожно отодвигаясь от столика.— Парни теперь такие расчетливые.

Хабибов тяжело посмотрел на него. Но постепенно глаза его оттаяли, потеплели.

— И твой сын тоже?— спросил насмешливо.

<sup>1</sup> Суннат — обряд обрезания.

Буриной Талгатович, передернув плечами, промямлил что-то неопределенное, невразумительное. Хабибов раздвинул губы, обнажив крепко стиснутые крупные зубы, улыбнулся. Но тут же согнал, точно сдернул, улыбку. Отпивая редкими, маленькими глоточками чай и пристально, не мигая, глядя сквозь Буриной Талгатовича, начал, словно раздумывая вслух, делиться своими отцовскими заботами. Что Малика-де хоть и студентка, взрослая уже, казалось бы, но совсем еще ребенок, может наделаться глупостей». Ташкент — не махалля, где все на виду, в городе свои законы, и хоть присматривают там за дочкой надежные люди, но ведь не могут же они быть с нею всюду. В институте, например, она безнадзорная. Да и не только в институте. В гостях у кого-нибудь — тоже неизвестно с кем общается. Увиваются вокруг нее все какие-то шалопаи, папенькины сынки, а это плохо, если она станет женой одного из них. Они сами из могущественных семей — станут смотреть на Малику без почтения, как на равную, и, женившись, надумают еще со временем развестись: нет, нет, все эти детки республиканского советского и партийного начальства ей ни к чему, и ему, Ахмаджону Хабибову, ни к чему, ему связи, чье-то покровительство не нужны, в Ташкенте все сами связи с ним, его покровительства ищут. Самое лучшее, если Малика выберет себе жениха попроще, чтобы тот был благодарен ей за это, чтобы она была главой в семье, а не муж. Ну, конечно, чтоб был достойный, не какой-нибудь темный, грязный кишлачник или нищий студентка без копейки в кармане, потому что... — и опять завел про то, как все только и мечтают войти в доверие к нему, Хабибову, чтобы воспользоваться его положением, весом в обществе, материальными, денежными и всякими прочими возможностями.

Буриной Талгатович, не осмеливаясь даже шелохнуться, замер с пиалой в руке и чувствовал себя отвратительнейше — знал, что когда Ахмаджон выговорится, ему станет стыдно за свою откровенность, и тогда он возненавидит слушателя, перед которым открывал душу. Поэтому, когда в дверь негромко постучали, Буриной Талгатович облегченно перевел дух — Ахмаджон отвлечется, ему некогда будет раздумывать о своей исповеди, и со временем воспоминание о ней, возможно, затушуется в памяти, а то и вовсе забудется.

— Пацаненка привезли, — ровным голосом доложил, появившись бесшумно в комнате, Евгений Рубенович.

Хабибов на миг насупись, недовольный, видимо, тем, что отвлекли, но тут же лицо его стало веселым.

— Давай этого героя сюда, — повелел благодушно. — И скажи Файзиеву, что минут через пять жду его. Пусть поторопится.

Хитренько как-то посмотрел на Буриной Талгатовича, откинулся на подушки, развалился, все так же весело глядя на дверь. От взгляда Хабибова стало Буриной Талгатовичу не по себе. Он насторожился, тоже развернулся к входу и... обомлел — увидел Вахида. Сын тоже оторопел, даже назад дернулся, словно от толчка, и Буриной Талгатович чуть не зажмурился от стыда. Обдало жаром — представил, как жалко и унизительно выгладит в глазах Вахида: сидит чуть ли не на корточках, будто проситель, из милости допущенный к столу возлежащего в праздности вельможи, хозяина, врага сына и его матери. Буриной Талгатович вымученно заулыбался, но ни встать — ноги отяжелели, ни сказать хоть что-то — горло перехватило — не мог. Вахид первым пришел в себя. Хмурясь, не глядя на Хабибова, сказал отрывисто:

— Хорошо, что ты здесь, папа. Я искал тебя. Поговорить надо.

— Ты почему со старшими не здороваешься, сынок? — насмешливо укорил Хабибов. — Эти двое твоих... кто они тебе: дружки, слуги?.. даже портрет мой приветствовали, в землю ему кланялись, а ты... — Поцокал языком, покачал неодобрительно головой. — Нехорошо, нехорошо... Ненавидишь меня, да? Презираешь? — Большое тело его заколыхалось от негромкого, булькающего смеха. — Ноздри-то, ноздри как раздулись. Дай тебе нож — зарежешь? Как думаешь, Бури, зарежет, а?

«Что за двое? Какие двое? Кто кого зарежет? За что?» — Буриной Талгатович, бледнея, краснея, все еще вымученно улыбаясь, перебрасывал взгляд то на довольного, почти счастливо жмурившегося Хабибова, то на побелевшего, с бескровными губами, сына, лишь на секунду посмотревшего с нескрываемой ненавистью в сторону дивана.

— Меня выгоняют из института, — глядя прямо в глаза отцу и не сумев или не захотев погасить ненависть, сипло сказал Вахид. — Приказ уже подписан.

— Как, выгоняют? Отчисляют, что ли? — Буриной Талгатович непонимающе заморгал, но тут же до него дошел смысл сказанного, и он угрожающе вскинулся. — Кто тебе сказал? Почему? За что?

— За то, что кому-то надо было засадить меня в тюрьму, — Вахид опять зло глянул в сторону Хабибова. — Я сказал деканше, что бодел, она требует справку, говорит, что вру.

— Да они что, с ума там походили?!— взревел, свирепея, Буриной Талгатович, и лицо его налилось кровью.— С чего они взяли, будто ты был под следствием?! Не было этого, не было! Ты чист, перед тобой извинились за недоразумение!— Вскочил с банкетки, решительно подошел к телефону. Схватил трубку, властно посмотрел на сына.— Какой номер вашего деканата? Для начала я узнаю, откуда у них такие сведения про тебя, выясню, кто мне пакостит! Ну, какой номер?!

— Не знаю и знать не хочу!— отрезал Вахид.

Буриной Талгатович яростно набрал «09». Подождал. Набрал снова.

— Успокойся, Бури,— снисходительно посоветовал Хабибов.— Не надо никуда звонить.

Отец и сын одновременно посмотрели на него. Он все так же, не изменив позы, полулежал на подушках, изучающе разглядывал Вахида. Перевел глаза на Буриной Талгатовича и в ответ на его вопросительный взгляд объяснил скучным голосом:

— Позвонит Рахимов. У него убедительней получится. А Насыров подтвердит, что никакого задержания не было. И пригрозит, что привлечет за клевету.— Опять перевел глаза на Вахида.— Не беспокойся ни о чем, сынок, учись спокойно, сдавай свои экзамены.

И торопливо сел, начал запахивать на груди китель.

Вахид, проследив за его взглядом, оглянулся на широко распахнувшуюся дверь. Посторонился, пропуская невысокую девушку в тубетейке, в струящемся, переливающимся всеми цветами радуги длинном и просторном национальном платье. Она коротко взглянула на Вахида большими глазами — о таких поэты прошлого писали: газельи,— пискнула, не обращая ни к кому, а точнее, обращая ко всем сразу: «Саломатмисиз», и потупилась. Но в мимолетном взгляде ее успел Вахид прочитать и любопытство, и насмешку, похожую на просьбу понять-простить: приходится-де разыгрывать смиренницу, а вообще-то, мол, я не такая, но — что поделать? Вахид внутренне подобрался — мелькнула, как наитие, мысль: надо, хотя и не знал еще зачем, для чего, понравиться этой девушке. Он искоса, так же быстро, как и она, взглянул на нее: ничего, в порядке девочка, настоящая юная восточная красавица, какими их изображают на персидских миниатюрах, пэри, гурия, таких в раю обещают праведникам, немного, правда, полновата, поест, наверное, любит...

— Прости, дочка, что заставил тебя так долго ждать,— сказал виновато и подчёркнуто сокрушенно Хабибов.

«Дочка!»— Вахид снова быстро взглянул на нее и сразу же отвел глаза: вспыхнуло в памяти — тюремная камера, Абдурахман на коленях, его страстная мольба к аллаху наказать раиса Ахмаджона, покарав и его семья, его детей.

— Ничего не получается, никак не могу освободиться,— огорченно продолжал Хабибов.— Видела, в приемной еще двое сидят?.. Придется тебе в город одной идти.

Вахид непроизвольно косился на девушку, но теперь уже с жадным, болезненным любопытством: какая она — дочь самодовольного, глумящегося над всеми врага.

— Почему же одной?— услышал несмелый голос отца.— Мой сын не против составить компанию Малике. Не возражаете?

— А я тут при чем?— Хабибов хмыкнул.— У Малики спрашивай, не у меня. Ты как, дочка, согласна?— поинтересовался ласково. И когда она, не поднимая глаз, шевельнула неопределенно плечиком, разрешил, точно резолюцию наложил:— Хорошо. И мне спокойней — никто к тебе не привяжется,— и тебе, глядишь, скучно не будет. Идите!— приказал, снова став властным.— У нас еще много работы.

Вахид, возмущенный такой бесцеремонностью и отца, и Хабибова — «Моего согласия даже не спросили. Точно прислужника выбрали и назначили»,— бесстрастно посмотрел на Малику: та наконец-то поглядела на него. Открыто, в упор, с явным интересом.

Уже в коридоре девушка попросила категорическим тоном:

— Подожди минутку. Я только переоденусь.

С пренебрежительной гримаской захватила двумя пальчиками платье: слегка оттянула его, отпустила. И, не оглянувшись, скрылась в номере напротив — таком же, как у отца, люксе, судя по двери.

Парень в голубом и один из шоферов «Жигулей» все так же сидели за столиком в холле. Вахид скользнул спокойным взглядом по их равнодушным лицам и, не торопясь — лицо тоже равнодушное, спина прямая,— спустился в вестибюль первого этажа. Невозмутимо, как на пустое место, посмотрел на блондинчика Вадима, опять скучавшего около швейцара у входа; на кавказца, который привез сюда и теперь сидел на скамеечке рядом со старшиной и вторым здоровяком в голубом.

Озабоченно посмотрел на часы, давая понять, что засек время и настроился ждать, Вахид огляделся. Подошел к киоску «Союзпечать», поразглядывал газеты, журналы. Купил «Советскую торговлю» и «За рубежом» — пусть хабибовцы, гады,



видят, пусть знают, что он не чета, не ровня им, и поймал себя на неискренности: ведь взял-то еженедельник, которым никогда не интересовался, чтобы произвести впечатление не на этих хряков, а на Малику. Немного смутившись, Вахид сразу же и ожесточился: пусть так, пусть из-за нее купил — все правильно, все, как надо! Развернулся лицом к лестнице на второй этаж, навалился плечом на стену, принался медленно, притворяясь заинтересованным, листать страницы.

Увидев, что белообрый Вахид сменил расслабленную позу, подтянулся, а крепыш в голубом и кавказец, глядя на него, поднялись со скамьи, встали чуть ли не по стойке смирно, понял Вахид, что в вестибюль сходит кто-то имеющий над ними власть: возможно, другой, главный, кавказец, а возможно, и сам Хабибов.

Оказалось — Малика. В первый момент Вахид даже не узнал ее: белая, почти в обтяжку, блузка, белые джинсы, волосы, до этого заплетенные в множество тонких длинных кос, распущены, стекают на плечи, на спину тяжелыми, иссиня-черными крупными волнами. Девушка остановилась, недоуменно посмотрела на Вахида. Он, спокойно глядя на нее, не шевельнулся. Она не спеша подошла.

— В чем дело?— спросила с подчеркнутым удивлением, слегка приподняв левую бровь. Взгляд, словно измеряя Вахида, скользнул вниз по нему, задержался на «Советской торговле». Опять поднялся к лицу.— Ну что, идем?— спросила с требовательной интонацией.

— Простите, девушка,— Вахид вежливо улыбнулся, откачнулся от стены.— Вы ошиблись. Я жду не вас, а отца.

— Как отца?— В недовольных глазах Малики появилась растерянность.— Вы же обещали меня сопровождать, развлекать.

— Вы что-то путаете,— тщательно складывая газеты, с мягким укором, как капризному ребенку, заметил Вахид.— Я вам ничего не обещал. Это ваш папа обещал, это он решил, что я подхожу на роль затейника.— Зевнул, прикрыв рот ладонью, посмотрел на часы.— Ну, отца мне, видно, не дожидаться... Желая вам приятно провести время.

И, похлопывая по ладони газетами, направился праздной походкой к выходу. Но перед самой дверью, лениво шагнув из-за спины швейцара, дорогу преградил Вадим: лицо равнодушное, глаза безразличные.

— Дай пройти,— Вахид пренебрежительно притронулся газетами к нему, словно намереваясь сдвинуть с места: Вадим, не изменив выражения лица, не шелохнулся.

— Выпусти его,— приказал натянутый до дрожи девичий голос.— Пусть убирается отсюда ко всем чертям!

Вахид оглянулся. Успел заметить, как подавшиеся вперед, насторожившиеся кавказец и парень в голубом расслабились, перевел взгляд на Малику. Она, вытянувшись в струну и крепко сжав кулаки, постукивала ими по бедрам то ли от возмущения, то ли от сдерживаемой ярости, отчего бесчисленные тонкие золотые браслеты на запястьях подпрыгивали, перезванивались, точно посмеивались тихонько.

Вадим так же лениво сделал шаг в сторону, швейцар услужливо открыл дверь, и Вахид нарочито медленно вышел. За дверью, зная, что сквозь стекло его видно из вестибюля, задрал голову к небу, широко раскинул руки и, прогнувшись назад, с удовольствием потянулся. Потом, не торопясь, пошел по прямой, опять же с таким расчетом, чтобы те, кто в вестибюле, не потеряли его из вида.

На середине площади остановился, словно бы в раздумье, и решительно свернул к «Райхону».

В прохладном, уютном кафе было как всегда почти пусто: шептались, улыбались друг другу две парочки за дальними столиками, скванно и напряженно сидела за третьим столиком девушка, ожидая своего друга, который, делая вид, будто он здесь завсегдатай, топтался у стойки, храбрясь и бодрясь, хотя это и плохо получалось: цены здесь...— за деньги, потраченные на порцию мороженого и чашечку кофе, можно в приличной лагманной наесться до одури.

Румяный, пышноусый бармен Рафик радостно заулыбался, приветственно поднял руку. В другое время Вахид поболтал бы с ним о каких-нибудь пустяках, но сейчас было не до этого. Заказав порцию пломбира с айвовым вареньем и двойной кофе, Вахид сел за ближайшим столиком, лицом к входу, спиной к бармену: чтобы не видеть его и не отвечать на приторные улыбки. Разостлал на столике «Советскую торговлю», притворился, будто опять внимательно читает. Но в этот раз не видел ни строчки: стояло перед глазами лицо Малики, то скромно-покорное, как в гостиничном номере, то озадаченно-гневно, как в вестибюле, и наплывали на него лица отца, Хабибова, кавказцев, парней в голубом, Вадима, но чаще других — несчастного Абдурахмана в камере и печального, горестного, но одновременно и насмешливого Фахрудина в зиндоне.

Ждать пришлось недолго. Не успел Вахид, вяло ковырявший ложечкой моро-

женое, ополовинить вазочку, как увидел в проеме открытой двери Малику, которая уверенно шла к бару. Сзади и чуть в стороне брел с видом скучающего зеваки блондинчик Вадим.

Вахид опустил взгляд на газету и, поднеся к губам чашку с кофе, замер, прислушиваясь: так, вошла... приближается... остановилась у столика. Вахид поднял глаза.

Малика резко отодвинула стул, резко и угловато села. Поставила перед собой локти — браслеты, нежно пересмеиваясь, скользнули вниз, сцепила пальцы, положила на них подбородок.

— А ты, оказывается, гордый,— сказала ровным голосом.

Вахид, не слушая ее, наблюдал за Вадимом. Тот, появившись в двери, отсутствующим взглядом посмотрел на него и вяло двинулся ему за спину, к стойке.

— Принеси и мне, пожалуйста, то же самое,— приказным тоном попросила Малика и показала мизинцем на вазочку с мороженым.— Только пусть не поливают этой дрянью... И бутылочку «кока-колы»,— добавила деловито, когда Вахид, поизучав ее взглядом, встал.

Рафик, угождая, осклабившись, отчего пышные усы встопорщились, суетливо наливал в высокий стакан молочный коктейль, и в поведении бармена, даже в облике его явственно угадывались испуг и подобострастие, что удивило Вахида,— Рафик всегда держался независимо, а иногда и нагло, с посетителями, от которых не рассчитывал что-то получить. Откуда же было знать Вахиду, что бармен сразу же узнал в белобрывом здоровяке, заказавшем молочный коктейль, того самого милиционера, который со своим штатским напарником, похожим на грузина, интересовался не так давно тем чокнутым, который, заплатив за коньяк, выпил водяру, да к тому же вторично и за нее заплатил, а потом укатил на вишневой «ладушке».

Вадим взял молочный коктейль, опять скользнул ничего не выражающим взглядом по лицу Вахида и отправился к столику у входа.

Когда Вахид принес Малике мороженое и бутылку «пепси-колы», девушка скорчила недовольную гримасу.

— Я же просила «кока-колу»,— разочарованно протянула она.

— Когда будешь в Штатах, тогда и попьешь!— огрызнулся Вахид.— У тебя и юмор-то какой-то... с претензиями. Как у валютной девочки.

И увидел, что при звуках его злого голоса Вадим, сидевший боком, насторожился — перестал потягивать через соломинку коктейль.

— Ой, прости, я забылась,— Малика чисто по-женски, когда они сожалеют о сказанном только что, прижала пальцы к губам. Большие глаза ее стали виноватыми.— Очень уж люблю «кока-колу», привыкла к ней. Ящичками беру в «Березке» или в интерцентре. Извинил, договорились?

Услышав ее подчеркнуто покаянную интонацию, Вадим успокоился — опять сгорбил над стаканом, посасывая коктейль.

— Погоди, я не ослышалась? Ты тоже, кажется, перешел на «ты»?— вспомнила Малика и обрадовалась.— Наконец-то! А то напустил на себя важность, сидишь, точно в президиуме совета ветеранов.— Откачнулась к спинке стула, в раздумье перебирая по столу пальцами, посмотрела ему в глаза.— Надо бы по этому поводу выпить на брудершафт. Возьми шампанского у этого усача,— не отрывая взгляда от Вахида, повела головой в сторону бармена.— Лучше сладкого. В крайнем случае, полусладкого.

— А как же твой телохранитель?— Вахид тоже смотрел ей в глаза, тоже повел головой: в сторону Вадима.— Папе наклаузничают, что я тебя, невинную и наивную, совращал.

— Какой телохранитель?— правдоподобно удивилась Малика. Обернулась.— Этот?— небрежно показала большим пальцем через плечо.— Он сам по себе.— И когда Вахид иронически улыбнулся, опять оглянулась, спросила по-русски, еще более правдоподобно изобразив возмущение:— Штирлиц, характер нордический, выдержанный, ты что, следишь за мной?— И когда Вадим нехотя поднялся, посмотрел скучающе в потолок, приказала сердито:— Чтобы я тебя больше не видела! Слышишь?! Ни тебя, ни Гиббона, ни Тевтона, ни Шмайссера, ни вашего Джека Руби — никого из вас! Можешь так и передать отцу, если он велел надзирать за мной. Понял?!

— Понял, мэм,— широко и глупо улыбаясь, подражая кому-то, дурашливо подтвердил Вадим.— Понял, что мэм не должна видеть меня.

Беззлобно посмотрел на Вахида и, когда Малика тоже поглядела на него — ну что, мол, доволен?— быстро подмигнул. Улыбнулся и, подражая, видимо, на этот раз морскому волку, вразвалку вышел.

Вахид купил шампанского. С бесстрастным видом открыл бутылку, разлил вино по бокалам. Малика сделала глоточек, слегка поморщилась.

— Полусухое,— отметила огорченно.

Они, как и полагается, когда пьют на брудершафт, сплели в локтях руки и каждый выпил свой бокал до дна.

— Ну вот, теперь мы с тобой друзья, — бодро объявила Малика и, полузакрыв глаза, подставила для поцелуя щеку.

Поколебавшись с секунду, Вахид прикоснулся губами к ее губам.

8

Вахид застонал и проснулся.

Хмурясь, думая о Малике уже не с той теплотой, как вчера вечером и только что во сне, Вахид решительно поднялся с постели. Института не избежать, а значит, нечего тянуть время, надо скорей туда, и если с деканатом будет все в порядке, попробовать хотя бы мало-мальски подготовиться к зачету. Если же в деканате... «Пусть отец помечется. Так ему и надо. Когда меня выгоняют, будет знать, каких друзей выбирать себе. Может, поумнеет».

Вспомнив об отце, хотел было включить телефон, но раздумал — вдруг отец позвонит, как наверняка названивал и вчера. А разговаривать с ним не хотелось.

Пока Вахид умывался, пока одевался, думал все о том же, о Малике. Он попробовал было, как и вчера, в первые минуты встречи с Маликой, настроиться на расчетливое, обдуманное отношение к ней, но ничего не получилось. Что уж перед собой-то притворяться, себя не обманешь — славная девочка: мало того, что красивая, так еще и веселая, с характером легким, незлобивым. А может, это от шампанского?.. Захмелела вчера Малика как-то сразу, и Вахид не забыл, как встревожился тогда: Хабибов не простит ему, если догадается, что дочь пила. Поэтому и не расстался с ней, как наметил, едва почувствовав, что заинтриговал. Пришлось задержаться, накачивать Малику черным кофе, чтобы привести в норму. А Малика оживилась, раскрепостилась, заговорила непринужденно, раскованно. Об отце: какой он хороший, чуткий, заботливый, вот и сюда приехал только для того, чтобы встретиться, хоть на денек да пораньше увидеть ее, хотел даже в Ташкент к ней прилететь, но не успел, она опередила, была уже здесь, в гостинице, в своем любимом и постоянном номере. О себе: что хоть и отличница, Ленинская стипендиатка, но в наукахничегошеньки не понимает и понимать не хочет, так как для нее главное — жить в Ташкенте, где столько интересного, где время летит, а не тянется, как в этой затхлой провинции. Вахид слушал ее со все возрастающим изумлением, хотя и скрывал это за бесстрастностью. Его удивило, что в девушке, при ее данных, не было даже намека на кокетство. Изредка, когда она умолкала, Вахид, чтобы оживить беседу, подбрасывал вежливо вопросы: «А почему в Ташкенте учишься, а не в Москве, например?» или: «А почему приехала накануне сессии? В академотпуске, что ли?» Малика смеялась, посматривала хитровато, но отвечала все так же открыто и непосредственно: в Москву отец не пустил, боится, что там дочка его испортится, забудет о родине, выйдет замуж за какого-нибудь русского, к тому же сомневался он, что сумеет помочь поступить там в институт, хлопотно ему в союзной столице нужных людей искать, договариваться с ними, да и сама она не хочет в Москву, там легко затеряться, а здесь, среди своих, всегда на виду; что же касается сессии, то сдала ее еще зимой, может оценки за все оставшиеся семестры и даже диплом хоть завтра получить, возможность есть, но не собирается этого делать, будет учиться долго-долго, пока отец не заставит выйти замуж... Когда действие шампанского закончилось и Малика опять стала собранной и ироничной, Вахид, решивший сдать ее с рук на руки телохранителям, чтобы не было потом к нему претензий, предложил вернуться в гостиницу и расстаться: «Мне еще к завтрашнему зачету готовиться надо». «К зачету? — Малика очень удивилась. — Разве у твоего отца нет возможности обеспечить автоматический?»

Вспомнив сейчас ее искреннее недоумение, Вахид обозлился: «Попробовал бы чей-нибудь отец, хотя бы и твой, сунуться со своими возможностями к ФЭМэ!» И опять стало тревожно на душе — завалит зачет, обязательно завалит! Надо же было так бездарно потратить вчера время — мог ведь хотя бы полистать тексты, как советовали Рустам и Шавкат, мог вечером встретиться с Майрам, она бы про этого Достоевского и его писанину все выложила. Так нет же, домой приплелся, чтоб завалившись на диван, думать о Малике, вспоминать ее улыбку, интонации, оттенки голоса, выражение глаз, которые смотрели то невинно, открыто, то осторожно, изучающе.

Глянув на часы, Вахид выскочил из квартиры — надо, чтобы деканша увидела его как можно раньше, до занятий. Тогда, если она будет настаивать на справке, нужно сразу, не встречаясь с однокурсниками, уйти.

Однако получилось не так, как хотелось: в институтском скверике уже под-

жидал Рустам. Увидев Вахида, он вскочил со скамейки под липой, заторопился навстречу, улыбаясь и радостно, и обеспокоенно.

— Привет! Ты опять, что ли, телефон отключил? Дома спал?

Вахид кивнул подтверждающе, небрежно шлепнул его по ладони.

— Привет. Не знаешь, Нафиса уже пришла в институт? У себя она?

— Нет еще. А зачем тебе?.. Хотя да, понимаю: объяснительную велела принести... Принес? Дай почитаю,— Рустам требовательно шевельнул пальцами.— Посмотрю, не напелел ли чего лишнего.

Вахид искоса, сверху вниз, смерил его взглядом. Молча подошел к скамье, рухнул на нее. Сунул руки в карманы, вытянул ноги, устался на вход в скверик. Рустам пристроился рядом. Сначала неуверенно, на самом краешке скамьи, не отрывая взгляда от неподвижного лица Вахида. Потом развернулся, тоже всунул руки в карманы, тоже вытянул ноги.

— Ладно. Так и быть,— помолчав, сказал серьезным, необычным для него тоном.— Ты мне друг. Настоящий, единственный. Если что, если сам не вывернешься, помогу: позвоню, еще раз подтвержу, что ты наш, что ты надежный человек.— Говорил он негромко, замедленно, словно с трудом выталкивая слова сквозь стиснутые зубы.— Если они вмешаются, тогда тебя точно никто и никогда больше беспокоить не будет.

Вахид с недоумением посмотрел на Рустама. Тот полоснул его юрким, но каким-то смущенным, ускользающим взглядом и отвел глаза. И почти сразу же посмотрел опять. Недолго, но остро. Улыбнулся неуверенно.

— А что, если и тебя сосватать? Может, согласятся на твою кандидатуру? Тогда и Нафиса, и Рахмона, и все-все перед тобой на цыпочках ходить будут. Стопроцентная гарантия. А сам ты будешь иметь право говорить, что захочешь.— Оживился, зашевелился: как-то неестественно, дергано.— А что? Это мысль! Студенты тебя уважают, скрытничать, осторожничать перед тобой не станут. Ну как, предлагать тебя?

— Чего ты лопочешь? Куда сосватать? Куда предлагать?— рассердился Вахид. И вдруг до него дошло. Лицо его стало растерянным.— В осведомители, что ли? В доносчики?

— Ну зачем же так? Ты еще скажи: в стукачи!— Рустам неискренне засмеялся. Поелозил, фыркнул.— Доносчики, осведомители... Просто... надо ведь знать, о чем говорят люди, что у них на уме... Это долг... каждый сознательный человек... мало ли что? Да что тут такого?!

— Ни фигя себе...— потрясенно протянул по-русски Вахид.

Его не удивило и даже не напугало признание Рустама, что о студентах собирают негласно сведения — догадывался: такое возможно, а вернее, должно быть. Ошеломило другое, то, что информатором оказался Рустам — друг.

— Ну что, замолвить за тебя словечко?— выжидательно спросил Рустам.— Я скажу в райкоме, там с тобой побеседуют, а потом, если все будет в порядке, они уж дальше сами — куда, к кому...

— Пошел ты в задницу со всеми своими этими... идеями,— вырвалось у Вахида, и тут же ему стало страшно и за слова свои, и за тон. Он старательно изобразил на лице простодушное изумление.— Ты что, серьезно?.. Я же чуть под следствие не попал, почти уголовник.

— Неважно, это не имеет значения, это для них, может, даже и хорошо,— начал уверять Рустам, но что-то в глазах Вахида ему не понравилось и он насторожился.— Забыли об этом,— предложил твердо.— Само собой, о нашем разговоре — никому!

— Рустам, Рустамчик, за кого ты меня принимаешь?— укоризненно протянул Вахид.— Что я, маленький? Дурак?— Обнял его, прижал к себе.

И тоскливо подумал, что теперь надо быть всегда начеку, настороже, следить за каждым своим словом. А с другой стороны, придется поддерживать с Рустамом прежние, добрые, отношения, чтобы не обозлить его, не сделать врагом. Но — как же это тяжело. И противно. Хватит ли сил и самообладания?

Рустам поверил, что Вахид не потрясен, не осуждает, что отношения между ними останутся теми же, и нескрываяемо обрадовался. Улыбнулся благодарно, вывернулся из-под руки Вахида, попросил:

— Покажи все-таки объяснительную. Ум хорошо, а два...— и не договорил. Поглядел, куда смотрит Вахид, увидел появившуюся в скверике Майрам, буркнул насмешливо:— Понятно. Сейчас, думаю, уместней другая русская поговорка: третий лишний. Мне уйти?— в голосе послышалось явное облегчение.

— Как хочешь,— Вахид с безразличием дернул плечом, но взглядом дал понять: неплохо, если бы дал побыть с Майрам наедине.

— Хоп!— Рустам решительно поднялся, бодро взметнул ладонь, приветствуя

Майрам и, не глядя на Вахида, повторил властно.— Не забудь: о нашем разговоре никому ни звука.

Майрам неуверенно приближалась: на губах смущенная улыбка, в глазах — и радость, и напряженное ожидание. «Будто у дворняжки, которая не знает, какое настроение у хозяина»,— с неожиданным раздражением подумал Вахид, невольно вспомнив другую девушку, Малику: непринужденную, уверенную. Не желая того, мысленно сравнил их: эта — худенькая, сутулящаяся от застенчивости, одетая в самое нарядное, наверное, но какое-то нелепое, словно с чужого плеча, платье, та — пухленькая, с естественными, раскованными движениями, чувствующая себя свободно и в национальном наряде, и в модных джинсах.

Вахид выпрямился, похлопал ладонью рядом с собой, приглашая Майрам сесть, и отдернул руку — так же Хабибов приглашал к себе отца.

Девушка, скомканно поздоровавшись, присела, но не там, где ей предложили, а в сторонке, подальше. Не поднимая глаз, стараясь выгладеть деловой, открыла старый, вызывавший в первое время усмешки сокурсников, портфель: простенький, ученический, на котором даже угадывалось тщательно смытое, тусклое, почти невидимое, а когда-то крикливо-яркое, аляповатое изображение Чебурашки.

— Я узнала... мне сказали... ты сегодня сдаешь Достоевского. Владимир Яковлевич очень строго принимает, вот я и подумала...— Решилась, выдернула две толстых тетради, неуверенно положила их рядом с Вахидом, — вдруг тебе понадобятся мои конспекты, вдруг пригодятся?

И вскочила, чтобы умчаться, но Вахид успел схватить ее за руку.

— Куда ты? Сядь!— несильно дернул Майрам к себе.— С конспектами ты хорошо придумала, очень кстати... Да сядь же!— повторил требовательней и снова дернул ее руку, уже резче.— Может, у тебя такой почерк, что ничего не разобрать, понадобится, чтоб объяснила.

Майрам послушно опустилась рядом, сразу же осторожненько отодвинувшись. Застыла, точно прилежная школьница: спина прямая, глаза опущены, ладони — параллельно — на портфеле.

Вдруг Вахид почувствовал какое-то беспокойство, похожее на смутную тревогу. Вскинул настороженно глаза, и... наткнулся на такой тяжелый взгляд деканши, что все внутри оборвалось. Но смотрела она так лишь миг, в следующий момент Нафиса Сабитовна ласково прищурилась, слащаво заулыбалась. И вечно угрюмая Рахмона Хашимовна, которая стояла за ее спиной, тоже изобразила губами улыбку; правда, глаза ее под сплошной полосой широких черных бровей остались такими же, как всегда, — пристальными и суровыми.

Майрам, будто подброшенная, взлетела со скамьи. Поздоровалась каким-то чужим, сдавленным голосом и потупилась. Вахид, всем своим видом демонстрируя вежливость и смирение, тоже быстренько поднялся, тоже поздоровался — получилось хрипло, отрывисто, а от этого вызывающе, хотя и в мыслях такого не было, — но, в отличие от Майрам, взгляд не опустил, заставил себя смотреть в глаза деканше.

— Что читаете?— Она непринужденно приблизилась, вытянула из пальцев Майрам поспешно протянутую тетрадь. Глянула на раскрытые страницы, протянула конспект Вахиду.— Похвально, похвально. Если хочешь, разрешаю на занятия сегодня не ходить — готовься к зачету. Рахмона Хашимовна объяснит преподавателям...

— Спасибо, Нафиса Сабитовна, не надо, — торопливо попросил ошеломленный Вахид.— Я, как все, я и так сумею подготовиться.

— Что ж... — губы декана еле заметно дрогнули.— Я не сомневалась, что ты откажешься. Приятно убедиться, что не ошиблась в тебе.

Одарила Вахида чуть ли не влюбленным взглядом и удалилась, сопровождаемая шаг в шаг массивной Рахмоной, похожей на вышколенного адъютанта.

Да, силен Хабибов!

Время до зачета Вахид провел с Майрам. На всех лекциях, консультациях, даже у Раджабова, устраивался вместе с ней за последним столом — что для Майрам, самой добросовестной и внимательной студентки, было чуть ли не дерзостью, — и снова, теперь уже тщательно, перечитывал конспекты. Изредка, когда забывал, что значит какое-нибудь сокращение в тексте, тыкал локтем в бок Майрам, и она, испуганно поглядывая на преподавателя, щекоча щеку Вахида теплым, прерывистым дыханием, шептала в ухо разъяснения.

Русская литература была последней парой. Вахид прилежно таранился на Владимира Яковлевича, делая вид, будто заинтересованно внимает его рассуждениям. Но лишь когда пронзительно прозвонел звонок, объявивший конец занятий, и все, конечно же, кинулись, радостно гомоня, из аудитории — кроме Майрам и Рустама, которые, сочувственно посматривая на Вахида, двинулись к двери не спеша, словно бы нехотя, — Владимир Яковлевич впервые дал понять, что видит

студента Латыпова. Поджидая, когда тот подойдет, смотрел на него из-под лохматых бровей тяжело, не мигая. Покосился на закрывшуюся за Рустамом дверь.

— Давайте зачетку,— потребовал глухо, и как только Вахид положил перед ним открытую уже на нужной странице зачетную книжку, быстро и с судорожной grimасой расписался в ней. Так же быстро и брезгливо оттолкнул ее от себя.— Заполните сами. Можете идти.

— Но... Владимир Яковлевич, как же так?— Вахид растерялся. Натянуто, и радостно, и неверяще заулыбался, протянул руку к зачетной книжке и сразу же отдернул. Насулился, хмуро глядя на огромный желтый, с длинными залысинами лоб преподавателя, буркнул:— Так нечестно. Я учил, я готовился. Спросите хоть что-нибудь.

Владимир Яковлевич поднял голову.

— До свидания. Любопытствующим скажите, что я поставил вам автоматический зачет... за активность на лекциях.

Так и не застегнув портфель, сунул его под мышку и, сгорбившись, заторопился из аудитории.

Дверь приоткрылась, заглянул Рустам с выжидательным лицом. Вахид как можно дружелюбней посмотрел на него; сжав кулак, оттопырил вверх большой палец: все, дескать, в порядке. Рустам просиял.

В коридоре, конечно же, маялась, изнывала в ожидании Майрам.

— Спасибо, Маечка. Твои конспекты действительно кое в чем помогли.

Они уже выходили из института и, оказавшись в двери рядом с Майрам, Вахид хотел шутиливо приобнять ее, но... рука задержалась в порыве, а потом сама собой опустилась — на него смотрела Малика.

Она сидела на ближней, прямо против входа, скамье, непринужденно забросив ногу на ногу.

Малика плавно сняла очки, закусила губами дужку, смеющимися глазами посмотрела на Вахида. Потом, бегло, без интереса,— на Рустама. Потом, чуть пристальней, оценивая, и сразу же — равнодушно, на Майрам. И — опять на Вахида.

— Ну, пока. Еще раз спасибо, Маечка,— Вахид повернулся к ней и поперхнулся: лицо Майрам, неотрывно смотревшей на Малику, осунулось, потемнело, стало страдальческим.— Ты меня, честно говоря, здорово выручила.— Он постарался придать голосу как можно больше признательности.— Без тебя я бы завалил зачет.

Слабая улыбка шевельнула бледные, плотно сжатые губы Майрам; она коротко и благодарно взглянула на него и опять перевела глаза на Малику, и столько тоски и зависти, ненависти и обиды было в тех глазах, что Вахиду стало жалко ее, выглядевшую несчастной, обманутой.

— Надеюсь, твой рабочий день наконец-то закончился и ты имеешь право немного отдохнуть?— перестав покачивать ногой, спросила насмешливо Малика. Поразглядывала Вахида, удивилась:— А почему такой суровый, застегнутый на все пуговицы?.. Неужто не сдал тот дурацкий зачет?

— Сдал, сдал, не сомневайтесь,— масляно глядя на нее, поспешно заверил Рустам, топтавшийся рядом с Вахидом.— Когда это было, чтоб он не сделал то, что наметил?

Малика, слегка приподняв дугой тонкую красивую бровь, с веселым недоумением воззрилась на него: а это, мол, что еще за говорун?

— Что же ты не познакомишь нас?— Рустам нахально ткнул плечом Вахида и развязно затараторил:— Такая ослепительная, очаровательная девушка, фея двадцатого века, можно сказать, ради которой...

— Это мой друг Рустам,— бесцеремонно перебив, представил его Вахид, чуть запнувшись на слове «друг».— Самый лучший, самый надежный,— подчеркнул как можно тверже и приобнял его.— А это,— показал взглядом на Малику,— дочь Хабибова.

И почувствовал, как вздрогнул Рустам.

— Хабибова?— в голосе его пропали фатовские интонации.— Того самого?— вырвалось у него встревоженно.

— Того самого,— серьезно подтвердил Вахид.— Ахмаджона Хабибовича.

Малика фыркнула — настолько ошарашенным выглядел Рустам. Склонила набок голову, наслаждаясь его растерянностью. Подняла узкую розовую ладонь, пошевелила пальцами, кокетливо прощаясь, и, надев очки, властно взяла Вахида под руку.

Малика, стискивая его локоть, рассказывала о том, что отец ее улетел в Ташкент и она осталась совсем одна в своем гостиничном номере, одна во всем городе.

— Одна?— сообразив, что надо как-то откликнуться на это, усомнился с игривой ухмылочкой Вахид.— Не считая, конечно, Джека Руби, Шмайссера и, как ты их там еще называла?

— А чего им тут делать?— удивилась Малика.— Они тоже все разъехались:

кто с отцом, кто в кишлак вернулся. С час назад последний укатил: Вадим. Ну тот, Штирлиц, который был в «Райхоне». Пригнал мне из дома мою машину...

Они уже выходили из скверика на улицу, и Малика небрежно повела рукой в сторону серого, цвета тусклого серебра, двухместного спортивного автомобиля, похожего на огромную хищную рыбу: вытянутый овальный багажник, капот напоминает чудовищно большую акулю морду с широко расставленными стеклянными глазами-фарами.

— ...вот эту,— закончила Малика. — И вернулся назад, в свой «Еш куч». Так что я, сиротинушка, теперь совсем одна-одинешенька,— она опечаленно вздохнула, и тут же весело рассмеялась.

На миг еще крепче прижалась к Вахиду. Выпустила его локоть, решительно направилась к машине, привычно открыла дверцу.

Вахид рассеянно глянул на появившихся Рустама и Майрам, осторожно зыркнул вверх-вниз по улице; не верилось, что Хабибов оставил свою дочку без присмотра,— возможно, вон в том бежевом «Москвиче» сидит какой-нибудь Тевтон-Гиббон и материт в душе Малику, оберегая которую, вынужден так глупо проводить время.

Верх автомобиля, под радостный визг мальчишек, плавно, бесшумно пополз назад, открыв солнцу и воздуху кабину.

Пряча за бесстрастным лицом восхищение, Вахид медленно приблизился к машине, обвел ее скачущим взглядом. Положил ладони на капот, несильно надавил. Передок автомобиля легко и послушно осел, чтобы так же легко приподняться, как только Вахид убрал руки.

— Не боишься оставлять без присмотра? — спросил он, следя, чтобы голос звучал равнодушно. — Игрушка дорогая, любители найдутся.

— Интересно, какой идиот захочет ее украсть? — презрительно хмыкнула Малика. — Ведь этот «порше» невозможно продать. Он единственный в Узбекистане. Садись! — предложила требовательно. — Я предупредила твою мать, что ты придешь поздно.

— Мою мать? — глаза Вахида округлились. — Ты что, разговаривала с ней? Когда? Как?

— Обыкновенно, по телефону,— Малика недоуменно смотрела на него сквозь лобовое стекло. — Позвонила: вдруг ты дома? Подошла она...

— Так, значит, ее выписали? — Вахид радостно ахнул. В два прыжка обогнул машину, плюхнулся на сиденье, захлопнул дверцу. — Едем! — Скользнул мимолеетным взглядом по уныло-обреченному лицу Майрам, по оцепеневшему Рустаму, повернулся вполоборота к Малике, негромко засмеялся. — Ну ты и молодец, что позвонила к нам, ну ты... С меня суюнчи! А откуда ты номер узнала? — спросил бездумно. — Через «09»?

И улыбка застыла на лице: вспомнил, что все эти дни телефон был отключен. А ведь мать наверняка пыталась дозвониться, и не раз,— совсем забыл об этом, забыл о ней.

— Не слишком ли ты высокого мнения о себе, все значительно проще: ваш номер мне дал Вадим. Он как-то звонил Гульноре Саматовне домой. По какому-то отцовскому делу, как я поняла.

Отличного настроения у Вахида как не бывало. Снова все вынырнуло из недолгого забвения: арест, тюрьма, мать в психбольнице, подземелье-зиндон.

По-своему поняв угрюмость Вахида, Малика поинтересовалась сочувственно, чем болела его мама. Вахид не ответил, лишь шевельнулся раздраженно: сложное чувство, в котором почти не осталось доброго, теплого отношения, испытывал он сейчас к Малике, дочери врага, и сложность эта определялась желанием понять: все ли знает она о своем отце, или живет в неведении, наивной, капризной простушкой, избранницей, как полагает, и любимицей судьбы?

Только когда «порше», качнувшись, замер около гостиницы «Советская», Вахид очнулся. Недоуменно посмотрел на Малику.

— Зайдем ко мне в номер,— деловито объяснила она. — Там и обсудим программу на вечер. Или сначала в ресторан, поедим?

— Да ты что, в своем уме? — возмутился Вахид. — Какая программа на вечер, какой ресторан? Мне домой надо!.. Выруливай вон на ту улицу,— и резко, раздраженно показал рукой, куда ехать.

Малика оскорбленно выпрямилась, лицо ее стало холодным. Машина серебристой торпедой сорвалась с места. Вахид коротко командовал: «Направо!», «Прямо!», «Теперь налево!», «Стоп!» Как только «порше» сразу и намертво застыл, Вахид, снова наполняясь радостью — сейчас увидит мать! — повернулся к Малике и звучно поцеловал девушку в щеку.

— Спасибо, малышка! Повторяю: суюнчи за мной.

Успел заметить, как в расширившихся зрачках сдернувшей очки Малики

всплыло изумление, как влажно блеснули белым зубами между разомкнувшимися от растерянности губами, и выскочил из машины.

У двери нетерпеливо нажал на кнопку звонка: раз, другой, третий. В квартире тишина: ни быстрых шагов, ни шороха, ни шелеста.

Вахид встревожился. Торопливо достал ключ, торопливо отомкнул и, войдя, облегченно перевел дух, увидев аккуратно поставленные рядом с ящиком для обуви черные, «служебные», туфли матери. «А вдруг ей плохо, не может встать, потому и не открыла?» Испуганно заглянул в комнату. Никого. Но мать явно была: пол, судя по матовому блеску, недавно вымыт, плед на диване опять сложен безупречным квадратом, стол накрыт свежей скатертью.

Вахид еле сдержал улыбку — ну все, самое страшное, самое плохое позади, жизнь вернулась в дом, жизнь продолжается! Пошел было к холодильнику: наверняка мать принесла чего-нибудь поесть. Но, сделав лишь шаг, свернул к настенному шкафчику. Достал коробку из-под халвы, порылся в ее содержимом и похвалил себя за то, что вложил сюда недостающие пятерки, — денег не было: ясно, мать отправилась заготавливать съестные припасы.

...Вахид уже истомился, ожидая мать. Засомневался даже: а может, она на службу пошла и там ее задержали? Но нет — форма в шкафу, а в штатском мать никогда к себе в горотдел не заявлялась. Хотел было пойти к Еве Семеновне, спросить: вдруг мать предупредила ее, когда вернется? Вспомнил, что соседка или на работе, или скорей всего, как сказала вчера на лестнице, уехала в отпуск: вечером названивал ей в дверь — бесполезно.

Потерянно пристроившись на табуретке у кухонного окна, Вахид не отрывал глаз от дорожки к дому. Хотел уж позвонить на всякий случай в горотдел (может, мать все-таки там?), и — увидел ее: худенькая, маленькая, с чайником в левой руке и разбухшей, тяжелой сумкой в правой, мать медленно шла от автобусной остановки, поднимая лицо к окнам своей квартиры.

Вахид сорвался с табуретки, вылетел на лестничную площадку и, не захлопнув дверь, кинулся вниз по ступенькам.

Гульнора Саматовна остановилась, неверяще глядя на сына.

— Давай я понесу. — Вахид потянул из ее руки сумку; Гульнора Саматовна заторможенно разжала пальцы. — Ого! Как же ты ее дотащила?.. Подождала бы меня, вместе бы сходили, набрали, что надо, если уж тебе так хочется, — недовольно забубнил он.

И только тут Гульнора Саматовна пришла в себя, точно очнулась. Порывисто обхватила сына, стукнув его по спине чайником; восторженно, любяще посмотрела снизу вверх в глаза Вахида.

## 9

Подполковник Насыров дочитал медицинское заключение, провел в задумчивости ладонью по ежику волос.

— Что ж, дорогая Гульнора-хон, рад за тебя, очень рад, — объявил бодро, не поднимая однако взгляда. — Тут, — потыкал толстым пальцем в справку из психдиспансера, — ни слова о том, что ты не можешь работать в органах. Поздравляю! Потому что жалко было бы расстаться с таким кадром, как ты. — Вздохнул, тяжело шевельнулся. — Будь моя воля, ты у меня уже сегодня приступила бы к исполнению обязанностей. Но, ведь сама знаешь, решаю не я, а руководство, ВТЭК. Доложу начальству в управлении, а там уж... — и опять глубоко, опечаленно вздохнул. Поднял наконец на Гульнору Саматовну глаза, полные сочувствия и скорби. — Все будет хорошо, я дам тебе отличную характеристику, аттестую положительно. А пока — ни о чем не думай. Я проконсультировался, можешь сидеть на больничном до четырех месяцев...

— Это справедливо только для психических больных, — Гульнора Саматовна встала со стула. — А я здорова.

— Конечно, конечно, я и не сомневаюсь, что ты здорова, — поспешно согласился Насыров, но в голосе его легкой, еле уловимой тенью скользнула усмешка. — Больничный лист все же не торопись закрывать, — попросил заботливо. Предположил, словно бы размышляя вслух: — А может, тебе пока очередной отпуск оформить? Я распоряжусь. С какого числа?

— У меня по графику в сентябре, — ровным голосом напомнила Гульнора Саматовна. — Больничный закрою сегодня же, и с понедельника — на работу. Разрешите идти?

Насыров внимательно посмотрел на нее. Расправил толстые плечи, выпятил грудь. Приказал, сделав многозначительное лицо:



— В понедельник прошу быть к четырнадцати ноль-ноль в областном управлении внутренних дел. До свидания.

Подождал, пока за Гульнорой Саматовной закрывается дверь, и лениво снял телефонную трубку: вопрос о Латыповой давно решен, приказ об ее увольнении уже одобрен и заготовлен в УВД — не хватало еще, чтобы работники правоохранительных органов состояли на учете в психбольнице! Осталось только поставить дату. Понедельник так понедельник. Можно было и нынешним, и каким угодно днем этой недели оформить. Набрав номер отдела кадров, Насыров, представившись, попросил официальным тоном поставить в приказе о капитане Латыповой Гульноре Саматовне дату «30 мая», а на вопрос, сохранить ту же формулировку или появилась новая, подтвердил, не задумываясь: ту же, «в связи с заключением врачей о невозможности по состоянию здоровья дальнейшего прохождения службы». И снова, как и во время беседы с Латыповой, удивился: зачем Ахмаджону Хабибовичу понадобилось так быстро выпускать ее из дурдома? И тут же решил позвонить, доложить Рахимову, чтобы отыграться, пощекотать ему нервы.

— Н-ну, в чем дело? Чего надо? — высокомерно и зло спросил тот.

Наизвинявшись за беспокойство, за то, что осмелился отвлечь, Насыров подчerkнуто встревоженным и обеспокоенным голосом доложил, что следователя Латыпову выпустили из больницы, признав совершенно здоровой, и она решительно настроена продолжить поиск тех, кто организовал убийство шофера-шантажиста.

— Надеешься настроение мне испортить? — посопев, угрожающе спросил Рахимов. — Я знаю, ее уже уволили, а дело закрыто. Что-то ты слишком осмелел, если позволяешь по отношению ко мне шуточки, да еще с такой подлой, поганой целью. Забываешься, майор, — он тщательно выговорил это слово, — я тебе не ровня. Можешь и капитаном стать за... развал работы и должностные проступки. И никакое покровительство тебе не поможет. Ты ведь на моего, — выделил и это слово, — друга рассчитываешь? Не будет он тебе помогать, не надейся!

Насыров, вмиг покрывшись липким потом, проклиная себя за то, что поддался порыву позвонить, принялся клясться, что ни на кого не рассчитывает, что дорожит только его, уважаемого Алимджона Акбаровича, хорошим отношением, потому и поспешил предупредить: Латыпова только что, вот сейчас, секунду назад, была здесь и дала слово, что доведет дело Белова до конца, будет писать протесты в связи с закрытием его в республиканскую, союзную прокуратуры, и сразу же отправилась из кабинета к следователю, который заместил ее, чтобы выяснить, на какой стадии прекратили расследование.

— Да мне-то зачем все это знать?! — только сейчас, очевидно, вспомнив, что секретарша может подслушивать, рявкнул Рахимов. — Безобразие, возмутительно, со всякой мелочью — ко мне, ко мне! Что у тебя, своего начальства нет?! Докладывайте ему, товарищ майор!

Щелчок, запели гудки. Ошарашенный Насыров положил трубку и, словно замороженный глядя на нее, вдруг яростно, по-боксерски ударил кулаком в кромку стола. Хакнул от боли, скривился. Вскочил с кресла, нервно подскочил к окну. И передернулся, чуть ли не заскрежетал зубами — увидел удаляющуюся Латыпову: она, только она одна виновата во всех неприятностях и осложнениях.

Глубоко задумавшись, Гульнора Саматовна шла вдоль бровки тротуара и размышляла об увиденном и услышанном в горотделе: кажется, там ее считают действительно больной — все делали вид, будто обрадовались, что она вернулась, но в глаза не смотрели и, сославшись на занятость, торопились расстаться. Даже Сафронов, добрейший, милейший Николай Иванович, поинтересовавшись скороговоркой о здоровье, извинился, отведя взгляд, меня ждет Дурдыев. А когда после разговора с Насыровым хотела еще раз встретиться с Николаем Ивановичем, оказалось, что тот уехал куда-то. Как и Zufаров, пообещавший дожидаться ее, сколько бы она ни пробыла у Насырова. Насыров... неискренний он какой-то, недоговаривает что-то. Что?.. Жалко, не удалось повидать Ракова, дежурный сказал, что того срочно вызвали куда-то.

Сзади, вплотную к тротуару, неслышно выплыла белая «Волга», и Гульнора Саматовна даже вздрогнула от неожиданности. Повернулась к машине, потому что передняя дверца ее приоткрылась.

— Товарищ Латыпова? Какая приятная неожиданность! — сидящий в кабине Рахимов слегка подался наружу. — Добрый день, Гульнора Саматовна. Как себя чувствуете, как здоровье, настроение?

Она, остолбенев, поражено смотрела на него: невероятно! — улыбается, голос доброжелательный, взгляд приветливый, словно вовсе и не этот человек бесчинствовал в кабинете, уничтожил следственные материалы, швырнул в лицо, смяв, протокол, орал, что выгонит с работы.

— Все еще сердитесь на меня?.. Или считаете ниже своего достоинства разговаривать? — продолжая улыбаться, спросил Рахимов. — Напрасно. Меня проинформировали, что у вас в связи с болезнью появились проблемы на службе. Могу помочь, — выдержал паузу и, откровенно весело глядя ей в глаза, закончил беспечным тоном: — как помог вашему сыну Вахиду.

— Вахиду? — глаза Гульноры Саматовны округлились, она судорожно проглотила слюну. — Как это — помогли ему? В чем?

— А, ничего особенного, — с пренебрежительной интонацией успокоил Рахимов. — Просто я немного злоупотребил, как вы это называете, своим положением. Не благодарите, услуга незначительная, не стоит благодарности. До свидания, товарищ Латыпова. Выздоровливайте.

Начал закрывать дверцу, но Гульнора Саматовна, опомнившись, вцепилась в ручку. Зачастила встревоженно:

— О чем вы? Что случилось, что было у Вахида? Объясните, прошу!

— Прямо вот так будем разговаривать: я в машине, вы на улице? — как бы в раздумье спросил Рахимов. Кивнул себе за спину. — Садитесь, а то неудобно получается. Заодно отвезу вас. Вам куда? Домой?

Гульнора Саматовна дернулась к задней дверце, рванула ее на себя, юркнула в салон. «Волга» сразу же резко набрала скорость.

— Мне доложили, что вы по делу Белова намерены писать протесты в надзорные органы, вплоть до Генерального прокурора, — чуть повернувшись к Гульноре Саматовне, начал насмешливо Рахимов, но она оборвала его возмущенным выкриком:

— Какие протесты?! Какому прокурору?! О чем вы? Да пропади все пропадом: и Белов ваш, и его дело! Что случилось с Вахидом? Чем, как помогли вы ему? — Выпалив это без остановки, она задохнулась. Судорожно, со всхлипом, втянула в себя воздух. И обессиленно, обезволенно опустила плечи. — Или о сыне вы все придумали? Вам хотелось узнать: предприму ли я что-нибудь в связи с убийством шофера Хабибова? — Подождала ответа, усмехнулась, пообщела устало: — Не бойтесь, ничего я предпринимать не буду, никуда писать не стану.

— Мне — бояться? — Рахимов неуклюже развернулся к ней, поразглядывал с ленцой. — Так вы все еще подозреваете меня?.. А как же Буриной? Я же вам предоставил доказательство его, так сказать, странного поведения. Проверили? Или решили выгородить бывшего мужа?

— Я подозреваю вас, — не отводя взгляда от его холеного, самодовольного лица, без интонаций, словно обвинительное заключение, сказала Гульнора Саматовна. — Но что толку? — опередила Рахимова, когда тот, вытаращив глаза, раскрыл рот, чтобы рывкнуть что-то гневное. — Вы неуязвимы, — голос ее стал тусклым, — на таких, как вы, законы, нормы юридического права не распространяются. Да кто мне поверит? — призналась с горечью. — Стоит мне хотя бы только намекнуть на вас, как и в самом деле объявят сумасшедшей.

— Это уж точно, — скучающе согласился Рахимов и отвернулся.

— Выпустите меня, — окрепшим голосом попросила Гульнора Саматовна.

Крепыш-водитель в приплюснутой замшевой кепчонке, не разу не посмотревший и даже не покосившийся на пассажирку, вопросительно взглянул на Рахимова, но тот молчал. Насупившись, он прикидывал в уме, стоит ли продолжать разыгрывать перед бывшей следовательшей оскорбленность или не задерживать больше ее внимания на всей этой истории с дураком-шантажистом? Пора, пожалуй, чтобы окончательно добить Латыпову, выложить новость о ее сынке, и еще подумал одновременно, параллельно с этим размышлением: врал ли Насыров, что она угрожала, будто добьется прокурорских санкций? Решил: в кабинете начальника могла от бессилия и отчаяния заявить такое, и почувствовал к подполковнику нечто вроде благодарности — все-таки неплохой он человек, беспокоится, переживает, сразу предупредил о возможной опасности. Рахимов удовлетворенно напыжился: все, конец, капитанша сдалась, а значит, неприятности, связанные с тем фотокомпроматом, можно выбросить из памяти. И сразу же мысли переключились на другое — надо перед отлетом в Ташкент хотя бы раз прочитать доклад, приготовленный для выступления на Пленуме ЦК: чтобы на трибуне не заикаться, не выглядеть смешным, как покойный Брежнев, который половину слова выговорить не мог.

— Остановите машину! — уже резче потребовала Гульнора Саматовна.

«Волга» остановилась. Гульнора Саматовна открыла дверцу и уже сунулась было наружу, но задержалась. Нерешительно повернула голову к Рахимову.

— Мы вряд ли еще увидимся, — негромко, с усилием сказала она. — Поэтому позвольте... мне страшно, что власть — это вы. Я... ненавижу вас.

Презрительная гримаса застыла на лице Рахимова. Шофер, медленно, словно ржавый робот, развернувшись, впервые посмотрел на Гульнору Саматовну, и она, закрывая дверцу, увидела в пустых глазах его смутный отблеск мысли.

— Да! О сыне-то твоём чуть не забыл,— Рахимов коротко, скрипуче засмеялся, и Гульнора Саматовна, не успевшая еще закрыть дверцу, замерла.— Его как уголовный элемент хотели выгнать из института, но я все уладил. Так что ты молишься на меня должна.— Сделал паузу, и голос, только что дрожавший от ярости, стал опять притворно вежливым.— Могу и за вас замолвить словечко. Вас тоже ведь выгоняют. Из милиции. Посодействовать с трудоустройством, а? — Он издевательски смотрел на нее, улыбался едко.— Так уж и быть, пойду еще раз на злоупотребление властью, устрой протекцию.

Гульнора Саматовна с такой силой захлопнула дверцу, что водитель, пригнувшись, зверски посмотрел сквозь стекло ей в спину.

— Стерва идейная, ничтожество. Ненавидеть еще осмеливается,— люто глядя вслед Гульноре Саматовне, пробормотал Рахимов.

А Гульнора Саматовна была потрясена. Мысли метались: неужели Вахида действительно хотели отчислить? Неужели Рахимов действительно вмешался и вырчил его? Или все придумал? А если нет? Как быть тогда Вахиду, что ему делать? Уйти из института?.. А может, он и не знает ничего? Спросить? Но если Рахимов обманывает, тогда Вахид оскорбится, что его подозревают. Нет, нет, ему ни в коем случае нельзя даже намекать на такое. Как узнать правду, у кого?.. У Буриной! Если Рахимов звонил в институт, то сделать это мог только по просьбе Бури! Гульнора Саматовна, вздрогнув, тряхнула головой, взгляд ее стал осмысленным: где она находится? Оказывается, шагах в двадцати от дома. Забыв и о том, что собиралась в психбольницу, и вообще обо всем, кроме сына, кинулась Гульнора Саматовна к себе.

И только в квартире, когда, не разувшись, не задерживаясь, метнулась к телефону, сообразила, что могла бы позвонить и из уличного таксофона... Слава богу, Буриной был на работе, в кабинете.

— Латыпов слушает,— как всегда, властно, барственно начал он и, тоже как всегда, как только узнал, с кем говорит, сменил голос на покровительственно-язвительный.— Вот уж не ожидал...

Но Гульнора Саматовна не дала договорить. Злясь и смущаясь, что приходится обращаться к нему, сбивчиво рассказала об услышанном от Рахимова, то и дело спрашивая сердито: «Могло быть такое?.. Ты ничего не знаешь?.. Не просил его звонить в институт?»

— Бред какой-то! — решительно заявил он.— Зачем я буду его просить, если у Вахида там все в порядке? — И предположил неуверенно: — Наверное, Алим просто-напросто хотел сделать тебе больно. Даже догадываюсь почему, а ты — знаешь. Но то уже ваши проблемы. Сын тут ни при чем. У него никаких сложностей, поняла?! Поэтому не вздумай — знаю тебя! — расспрашивать его о чем-либо, а тем более, соваться в институт, там что-то выяснять.— Сбавив тон, попросил с неожиданной, похожей на сочувственную, интонацией: — Лучше расскажи, как у тебя дела, что сказал Насыров?

— Спасибо, хорошо,— невпопад ответила Гульнора Саматовна, с облегчением, успокоенно думая о Вахиде, и положила трубку...

А Вахид думал о Малике: увидит ее сегодня или нет? Захочет ли она встретиться, пусть даже и сделав так, будто случайно.

С утра у него было прекрасное настроение — мать, кажется, не обеспокоена тем, что с ней произошло: ни подавленности, ни угнетенного состояния, ничего, намекающего на ее нездоровье, чего так боялся Вахид. Поэтому в институт он пришел бодрый.

На каждой перемене отправлялся в скверик — что, если Малика опять поджидает на скамейке? — и даже, словно прогуливаясь в задумчивости, выходил на улицу: вдруг там, где-нибудь в сторонке, вдали, стоит серебристый «порше». А потом опять брел в аудиторию и, с жалостью, с сочувственным пониманием посматривая на ни разу не оглянувшуюся на него Майрам, видел не ее, а Малику — веселую и серьезную, кокетливую и надменную, смеющуюся и задумчивую.

Субботу и воскресенье Вахид провел дома — зубрил политэкономии. И все время ждал, что Малика позвонит. Телефон молчал. Кроме одного раза — рано утром в субботу. Вахид, вылетев из своей комнаты — «Это меня!» — опередил мать, замешкавшуюся в кухне. Нет, не Малика.

И в понедельник Малика не дала о себе знать, не позвонила ни утром, ни вечером, не подъехала к институту. Рустам, к которому Вахид, почти не насилуя себя, относился уже спокойно — «Закладываешь? Ну и закладывай, пес с тобой!» — и с которым снова сидел за одним столом, сразу же, как только встретились, начал игриво допытываться: ну, как, мол, у тебя с хабибовской дочкой прошел четверг, было что-нибудь? Однако Вахид с усмешечкой смерил его взглядом: это, дескать,

дело мое, о таких вещах не распространяются, и Рустам, поняв, больше не приставал. А о Малике Вахид постарался забыть: неинтересен ей — не надо!

Во вторник, убежденный, что ничего не знает, он, не изменяя своим принципам, пошел сдавать экзамен в первой группе: зачем маяться, нервничать? Лучше сразу, не откладывая, встретить неизбежное. Повезет с билетом — хорошо. Не повезет — тогда уж и думать, как быть дальше, что предпринимать.

Повезло. Первый вопрос: «Товарный фетишизм». Понятно, надо ругать: советские люди против каких бы то ни было фетишей, идолов, культов и кумиров. Второй вопрос: «Так называемая теория «рыночного социализма» и ее антинаучность». С этим тем более все ясно. Ответ заложен в самом вопросе, в его постановке. Требуется заклеить.

Когда настала его очередь, Вахид к преподавательскому столу сел уверенно. Стараясь не смотреть на показавшегося ехидным Раджабова, не отрывая взгляда от непроницаемого лица его ассистента, заведующего кафедрой научного коммунизма, Вахид обрушился на товарный фетишизм, подразумевая «вещизм», который осуждали и в книгах, и в газетах, и по радио-телевидению. «В капиталистическом обществе, основанном на частной собственности,— места в карьер понесся Вахид,— в обществе, где свирепствует анархия рынка, где все продается-покупается...»

— Безудержная погоня за прибылью — вот единственная цель антигуманного, беспощадного капиталистического производства, а сама прибыль является олицетворением бесчеловечности разлагающегося, обреченного на гибель буржуазного строя,— закончил с подъемом Вахид.

— Прекрасно, Латыпов. Поздравляю,— Раджабов расписался в зачетной книжке.

Вахид выскочил, счастливый, за дверь. Его, понятно, сразу же обступили: ну как? какой билет достался? что поставили? Отвечая налево и направо: «Седьмой... седьмой билет!» — Вахид поднял растопыренную пятерню, показывая, сколько получил.

— Ну, пошел и я,— срывающимся голосом сказал Рустам.

— Валяй. Я тебя около института, в скверике, подожду.

Вахид медленно вышел из института и, автоматически глянув туда, где сидела в четверг Малика,— никого, пусто,— поплелся к этой скамейке, уткнувшись носом в книгу.

— Не споткнись,— насмешливо сказали сбоку.

Вахид, краем глаза отметивший у двери невысокую фигуру, но не задержавший на ней внимания, резко обернулся на этот веселый девичий голос — голос Малики.

Она, в джинсовой шапочке с большим козырьком, в новой, фирменной и дорогой, но какой-то пятнистой, точно неумело выстиранной куртке, таких же пятнистых, нелепых, с карманами и замками-молниями на коленях, брюках, походила на неряшливо одетого студента — немудрено, что не узнал ее сразу.

— Привет! — Малика приблизилась к нему свободной, развинченной походкой, однако видно было, что немного переигрывает: не знала, наверное, как держаться.— Я должок приехала получить, ты суюнчи мне обещал. Приготовил?.. Времени у тебя было достаточно.

Вахид тихонько, как от щекотки, засмеялся и, не задумываясь, понес какую-то ахинею: еще, мол, не выбрал, что подарить, то ли яхту, то ли бриллиантовое кольцо — все остальное, как ни ломал себе голову, кажется недостойным, не может обрадовать и удивить.

— Бриллиантовое кольцо кстати тоже,— невозмутимо ответила она.— А яхта... Что ж, неплохо бы, конечно, поплавать на ней по Кызылкумам, например. Или сходить под парусом до Ташкента. Но ведь пока построят, пока доставят сюда, я, глядишь, уже и уеду... Мы вот что лучше сделаем,— предложила деловито.— Подари мне сегодняшний день, и — квиты. Согласен? — голос прозвучал шутовски-развязно, и по этой интонации стало ясно, как нелегко далось девушке такое предложение: получается, будто она навязывается.

— С удовольствием,— Вахид не скрывал, что обрадовался.— Экзамен я столкнул, поэтому сегодня свободен, как горный орел.

— Вот и отлично. Тогда так и сделаем, горный орел, рванем в Бурут Уяси,<sup>1</sup> к нам на дачу.— Малика непринужденно, естественным движением взяв Вахида под руку, опять на миг, как и в четверг, плотно прижалась.— Побудем совсем одни,— пообещала вкрадливо.— Отдохнем, расслабимся. А то я дома уже звереть начала от тоски и Надирыхон.

— Кто это? — чтобы поддержать разговор, поинтересовался Вахид.

<sup>1</sup> Бурут Уяси — орлиное гнездо.

— А, не спрашивай,— Малика передернулась.— Мачеха не мачеха, не знаю, как назвать. Бывшая жена отца.— Выпустила локоть Вахида, лицо ее стало пренебрежительным, а потом и злым.— Шагу ступить не дает, воспитывает, вынюхивает, надзирает. Привыкла в тюрьме да за своими ешкучевскими уголовниками шпионить, вот и не отучится никак. Лезет со всякими советами: это девушке нельзя, то нельзя...

— Она, что,— сидела? — Вахид пораженно заморгал.— Жена твоего... я хотел сказать, жена самого Ахмаджона Хабибовича сидела?

Малика, сообразив, что сболтнула лишнее, нахмурилась. Но уходить от ответа было, видимо, не в ее привычках. Кивнула подтверждающе.

— Что-то у них с отцом произошло,— пояснила раздраженно.— Давно, когда я еще девочкой была. Судили ее за то, что на отца, кажется, покушалась. Пошли! — спросила недовольно, сердясь, очевидно, на себя.

И, не дожидаясь ответа, решительно направилась из скверика. Вахид медленно пошел следом. Он вспомнил тщедушного Абдурахмана из камеры следственного изолятора: того безобидного дехканина тоже, помимо кражи каких-то дынь, обвинили в покушении на раиса Ахмаджона. Сейчас, когда Вахид узнал Хабибова, здорового, откормленного, к тому же всегда окруженного культуристами-телохранителями, такое смешно и представить-то.

Малика уже сидела за рулем и в этот раз, конечно же, окруженного пацанами «порше», когда Вахид подошел к машине. Взглянув на его сосредоточенно-отрешенное лицо и поняв это по-своему — когда же бывало такое в узбекской семье, да и в любой другой, наверное, чтобы муж отдавал под суд жену?! — Малика, дождавшись, пока Вахид устроится рядом, сказала отрывисто:

— Ты не думай, отец не злой. Так уж получилось с Надирайхон.— Повернула ключ зажигания, нервно перебросила рычажок скорости. Поглядывая назад, развернула «порше» почти на месте и вопреки всяким правилам.— Надирахон не в обиде. Жизнью довольна. Когда освободилась, отец разрешил ей быть рядом с ним, своим помощником сделал...

Когда «порше», подрулив к дому Вахида, остановился, Малика посоветовала деловито:

— Возьми только плавки и бритву. И предупреди, что, возможно, задержишься до утра.

Мать оказалась дома. Засуетилась, встречая, охнула восторженно, порывисто поцеловала, узнав про отметку по политэкономии. Но что-то в ее поведении, в ее глазах не понравилось Вахиду. Заметил он, что настроение матери ухудшилось, еще вчера вечером, когда пришел из института,— мать старалась выглядеть бодрой, но лицо ее осунулось больше обычного, губы, когда она, забывшись, задумалась, поджимались горестно и скорбно. На осторожный вопрос: «Случилось что-нибудь?» — ответила испуганно: «Нет, нет, ничего, просто голова немного разболелась». И вот сейчас такая же, как вчера: впечатление, будто прислушивается к незатихающей внутри боли.

Вахид прошел в комнату и, стараясь не смотреть на мать, глухо, недовольным голосом, словно не одобряя, а всего лишь ставя в известность, сказал, что сокурсники решили сегодня, в честь сдачи первого экзамена, поехать за город, отдохнуть, и его пригласили, но он еще не решил — согласиться или нет?

— Что ты, сынок, что ты? — переполошилась мать.— Обязательно езжай. А то нехорошо получится. У твоих товарищей может сложиться впечатление, будто ты отрываешься от коллектива. Еще подумают, что ты зазнался, ставишь себя выше их. Мы тоже,— она оживилась,— когда я училась, всегда после экзамена отдыхали: гуляли по городу, ходили в кино, в кафе-мороженое... Что же я стою? Ты же должен для пикника принести какие-нибудь продукты.— И бросилась в кухню.

— Ничего не выдумывай, мам! — досадливо поморщившись, крикнул Вахид.— Мы скинулись по рублю и купили все, что надо! Пока! — Он быстренько надел кроссовки и выскочил из квартиры.

Гульнора Саматовна, вздрогнув от щелчка замка, дождалась, когда внизу еле слышно бухнула дверь подъезда, и устало пошла на кухню. «Хорошо, что он уехал»,— подумала не очень уверенно. Ей хотелось, как и вчера, быть одной — тяжело притворяться перед сыном веселой и беззаботной. Завтра, если после разговора с генералом Гаппаровым все решится окончательно, можно будет сказать Вахиду правду. А пока... пока есть надежда, не стоит тревожить сына.

Вчера она, выполняя распоряжение начальника горотдела, явилась к двум часам в областное управление внутренних дел. Ожидая Насырова — наверное, и он должен прийти, чтобы объяснить, куда, к кому и зачем обратиться,— стала от нечего делать читать все, что было на доске приказов. И обомлела. Увидела приказ о своем увольнении «по состоянию здоровья». Подпись: генерал-майор милиции Н. Г. Гаппаров. Дата: 30 мая. Сегодняшнее число! На ватных ногах отправилась

Гульнора Саматовна в отдел кадров. Там и разговаривать не стали: приказы не комментируются! Предложили взять обходной лист, побыстрее закончить расчет и сдать служебное удостоверение. Точно во сне, поднялась Гульнора Саматовна на второй этаж, точно во сне, вошла в приемную Гаппарова. Франтоватый лейтенант хорошо поставленным баритоном заученно сообщил, что товарищ генерал-майор в пятницу отбыл в Ташкент, прибудет во вторник, так что лучше всего записаться на среду, в день приема по личным вопросам, в другое время начальник УВД принять ее не сможет, так как она в этой системе уже не работает.

Гульнора Саматовна, упершись ладонями в подоконник, выглянула на улицу. Равнодушно проводила глазами удалявшийся серебристый автомобиль странной и непривычной формы, поискала глазами Вахида. Сына не было. Очевидно, успел сесть в автобус и уехать.

А Вахид, развалившись на сиденье «порше», уже не думал о матери. Он был доволен — Малика оценивающе обвела его взглядом, и в глазах ее появилось удовлетворение: вид Вахида, кажется, понравился ей.

...Машина шутя одолела серпантинный подъем в горы и выскользнула на просторную площадку для отдыха водителей, откуда открывалась панорама долины с владениями Хабибова. Малика интригующе глянула на Вахида и вывернула руль, направляя «порше» к ответвлению — неширокой асфальтированной дороге, змеисто уползающей выше, за недалекую седловину. Вахид недоуменно посмотрел на девушку, потом снова перед собой, на бело-черный шлагбаум, к которому сверху был прикреплен «кирпич» — знак: проезд закрыт, — а снизу длинная, широкая табличка с надписью на русском и узбекском языках: «Запретная зона!» Из добротной кирпичной будочки стремглав выбежал высокий, жилистый старик: дремучая, до глаз, крашенная хной борода, полосатый таджикский чапан, узкая зеленая, жгутом обмотанная вокруг тубетейки, чалма, хромовые сапоги — ему бы карабин за спину, пулеметные ленты крест-накрест через грудь, маузер в деревянной кобуре, был бы настоящий киношный курбаши или воинственный имам басмачей, фанатичный борец за ислам, враг неверных. Очень колоритный, плакатно-экзотический дед-муджахед!

Он проворно поднял шлагбаум. Заулыбался. Прижал ладонь к сердцу и, остро глянув на Вахида, низко поклонился Малике:

— Ассалом алейкум, Бахрам-амаки, — приветливо поздоровалась она. Попросила: — Передайте, чтоб Тентак открыл ворота и немедленно, сразу же, убрался к себе!

«Порше», виляя на поворотах, взлетел к горной седловине, и как только машина выскочила на нее, увидел Вахид — будто в лихом средневековье очутился — мощную, высокую, сложенную из крупных камней стену, перекрывающую горизонт. «Вот это крепость, настоящий рабат,<sup>1</sup> — с невольным уважением подумал Вахид и, как зачарованный, устоял на телеобъектив над распахнутыми воротами из толстенных стальных прутьев, образующих решетку. — И подступы просматриваются. Любую осаду можно выдержать. Только с воздуха и возьмешь».

Но внутри стен впечатление суровой неприступности Бурут Уяси сразу исчезло.

Зеленые газоны. Дорожки из красноватых плиток расплзлись меж редкими тенистыми деревьями, уплотняющимися по сторонам, переходящими в большой фруктовый сад. Белые низенькие строения в глубине этого сада. Белый же, кирпичный, двухэтажный, дом с плоской крышей, с обширным айваном на тонких колоннах, с выложенными бирюзовой и голубой плиткой орнаментами на стенах. Плавных очертаний бассейн, облицованный такой же плиткой, с водой настолько прозрачной, что она лишь угадывалась по бликам на поверхности, с лежаками, шезлонгами, тентами на ближнем к дому берегу, выстланном узкими светлыми досками. Чистый неширокий ручей, булькающий на сооруженных между деревьями невысоких каменных перекатах.

«Все для отдыха трудящихся! Мусульманский рай, да и только, гурий лишь не хватает», — Вахид, чтобы не выглядеть разинувшим от восхищения рот, сидел, пока машина подъезжала к дому, прямо, смотрел перед собой, по сторонам не зыркал, и чуть не вздрогнул от неожиданности: эт-то еще кто, это что за образина?!

Распахнув резные, со сквозными узорами, створки высоких деревянных дверей, вывалился наружу странный, похожий на бесшерстную гориллу, голый до пояса, босой, в коротких пижамных брюках, мужик: мясистые покатые плечи, толстые руки, жирные обвисшие грудные мышцы, массивная шея, чудовищная голова, похожая на узкую сверху и широкую внизу желтую дыню, выпирающие надбров-

---

<sup>1</sup> В прошлом цитадель с гарнизоном для защиты торговых путей и караван-сараев от разбойников.

ные дуги на безволосом, идиотски счастливым лице. Пуская слюнявым ртом пузыри, радостно гугукая, он, покачиваясь, переваливаясь, заковылял к машине.

Малика побагровела от прихлынувшей к лицу крови. Взглянула виновато, словно прося прощения, на Вахида и, вытаращив глаза, срывая от бешенства голос, заорала на мужика:

— Ты как здесь оказался?! Кому Бахрам велел спрятаться?! Хочешь, чтоб опять отцу... твоему хозяину сказала, что в дом заходил, да?!

Скопческое лицо дебила задергалось, перекошилось от ужаса. Он, очевидно оправдываясь, застучал кулаками по груди, замычал, загундосил жалобно, потом сунул руку по направлению Вахида и сделал свирепую, угрожающую, теперь уж точно, как у гориллы, рожу.

— Он — свой человек. Наш. Мой, — четко и громко выговаривая слова, Малика приобняла Вахида, положила ему на плечо голову. — Ступай, закрой ворота и больше мне на глаза не показывайся! — приказала опять заулыбавшемуся дурачку и, откатнувшись от Вахида, поправив мягким движением волосы, сделала внушение неизвестно откуда появившейся сухонькой, с ласковыми морщинами, старушке: — Ты почему, Сония-апа, не следишь за Тентаком. Он снова меня напугал. И в дом попрежнему лезет. Сколько можно об одном и том же говорить!

— Это он только при вас, молодая хозяйка, такой непослушный, — заоправдалась старушка. — Очень уж вам обрадовался, ждал вас все время, не забыл, помнил... Вы уж не говорите отцу про него, а то Ахмаджон Хабибович рассердится на Тентака, плохо тому будет.

— Хорошо, не скажу, — недовольно пообещала Малика. — Идем! — повелительно предложила Вахида, который и во время сцены с Тентаком, и во время разговора с Сонией-апа, сидел, не зная, как вести себя.

Малика вышла из машины. Подождала Вахида у двери и, пропуская его вперед, попросила старушку, поведя рукой в сторону бассейна:

— Приготовь нам здесь чай. Ну и поесть хорошо бы. Только не горячее. Лучшее — кукси<sup>1</sup>. В такую жару это самое подходящее.

— Ох и жара! — повторила со вздохом, войдя в дом.

По ее неуместно развязной интонации понял Вахид, что Малика чем-то обеспокоена. «Бойтся, что начну про Тентака выспрашивать». Давая понять, что не намерен совать нос в чужие тайны, заметил с улыбкой:

— Симпатичная дачка. — И решил блеснуть эрудицией, вспомнив кое-что, слышанное от отца, хобби которого была история. — Этаким скромный загородный дворец какого-нибудь Тита Флавия, Веспасиана или Цезаря.

— Не Тита Флавия, не Веспасиана и не Цезаря, — Малика, благодарная, вероятно, за то, что не придется ничего говорить о неприятном, обнаженном дураке, весело рассмеялась, — а всего лишь горная хижина вольноотпущенника Ахмаджона Хабибова. Здесь отдыхают его гости, — показала взглядом на двери. Подняла глаза вверх, к балюстраде правой стороны второго этажа: — Там его покои и резиденция, когда он прибывает сюда. — А там, — повернулась к левой, и с такой же балюстрадой, стороне, — женская половина, то есть мои владения. — И, лениво стаскивая с себя куртку, направилась к широкой лестнице, ведущей наверх, в ту самую половину. Оглянулась удивленно. — Чего стоишь?

— Я же гость, — Вахид улыбнулся. — Мне куда-то сюда полагается.

Потыкал указательным пальцем в сторону дверей, словно подсчитывая их или имитируя выстрелы.

— Ты мой гость, а не отца, — тоже улыбнувшись, спокойно пояснила Малика. — Поэтому я и буду решать, где и что тебе полагается...

И уже не оглядываясь, уверенная, что он следует за ней, стала не торопясь подниматься по лестнице.

Миновав первую лакированную дверь, Малика скрылась за второй, и Вахид, уверенный, что это предназначенная ему комната, тоже смело вошел туда. Оказалось, попал в спальню. Причем, явно в девичью: широкая кровать-тахта под алым шелковым покрывалом; на окнах тюлевые шторы, занавески с вышивочками, на дверях в соседние комнаты алые же портьеры с какими-то рюшечками; в углу стопа разноцветных одеял-курпачей, рядом разрисованный, в жестяных узорах женский сундук; в другом углу вычурный инкрустированный столик с трельяжем, шкатулками и всякой парфюмерной всячиной: флаконами, коробочками, тубиками.

— Я сейчас. Только переоденусь, и пойдем купаться, — громко шурша жесткой джинсовой тканью, резко, сипловатым голосом сказала Малика, закрывая створкой шифоньера у входа. Помолчала, добавила еще более резко: — Ты тоже можешь пока... чтоб время не терять... надеть плавки. — И затихла, точно затаилась.

<sup>1</sup> Национальное корейское блюдо: суп-лапша. Подается в холодном виде.

Вахида обдало жаром. Так, понятно: отступать некуда. Он облизнул пересохшие губы, тихонько поставил сумку на пол. Сбросил с ног кроссовки, отпихнул их в сторону. Расстегнул слабо затрепавшую молнию на брюках, и сразу за створкой торопливо зашелестело: Малика продолжала переодеваться. Вахид, пританцовывая то на одной ноге, то на другой, содрал с себя джинсы, нагнулся над сумкой, чтобы достать плавки, и замер в такой позе — почувствовал: за спиной Малика. Плавно выпрямился, развернулся к ней. Она, в простеньком, застегнутом на все пуговицы, халатике, стояла покорно и ожидающе: смотрит вниз, руки опущены вдоль тела, дыхания не слышно. Вахид осторожно положил ладони ей на плечи. Она медленно подняла лицо. Он, серьезно глядя в ее большие, тоже серьезные, глаза, притянул Малику к себе...

Потом, позже, когда Вахид был в состоянии спокойно обдумать случившееся, он твердо уверовал, что здесь, в спальне, произошло какое-то необъяснимое, загадочное его раздвоение. Один Вахид, ничего не соображая, растворившись в сладком тумане, лихорадочно расстегивал пуговицы халатика Малики, целовал ее в шею, губы, волосы, шептал, задыхаясь, ласковые, нежные глупости, убежденный, что в них единственная правда и высший смысл, что это — озарение, просветление; другой, холодный и рассудочный, как бы наблюдал со стороны и удивлялся самопроизвольно вырывавшимся в горячем шепоте словам, их не только бессмысленности, но и пошлости; этот другой стыдился суетливости рук Вахида, обнаженности его тела, с которого Малика сорвала и — когда? как? — майку, стыдился судорожности телодвижений, физиологизма, биологизма, животности происходящего; этот другой спокойно отмечал и постанывания Малики, и ее долгие, затяжные вздохи, и пунцовые пятна на искаженном счастливой мукой лице, и то, как смутно, но блаженно улыбалась она, как, глубоко закусив нижнюю губу, извивалась, изгибалась, как уползала под верхние веки радужки ее глаз, отчего становилась она, будто у слепой. Такое раздвоение озадачило Вахида: ведь Малика у него не первая, и до нее — никаких проблем, никаких психологических, психических, или как их там называют, сложностей. Почему же сейчас: забвение, потеря себя в чувственности и застенчивость, а потом трезвый, похожий на злорадство, анализ? Да и не ломал он никогда ни над чем таким голову. «Что случилось? Люблю и ненавижу?» — размышлял он в растерянности...

— Не могу больше, нет сил, — Малика с красным, пылающим лицом слабо и благодарно улыбнулась Вахиду, вяло прикрыла ладонью глаза. — Иди, искупайся... Я тоже скоро приду, — дыхание ее почти восстановилось, но говорила она еле слышно, словно бы с усилием. Не почувствовав, что Вахид, пластом лежавший рядом, пошевелился, попросила настойчивей: — Иди. Мне надо остаться одной. Не понимаешь, что ли?

Вахид набрал полную грудь воздуха, задержал его, чтобы окончательно унять еще не успокоившееся, колотившееся сердце. Выдохнул и тяжело сел, свесив с кровати ноги. Потер ладонями горящие щеки. Не глядя на Малику, оторвался от постели, встал. Покачиваясь, точно пьяный, подобрал трусы с лопнувшей резинкой, мятую, с надорванным воротом, футболку. Сунул их в сумку. Достал плавки, рубашку. С джинсами и кроссовками вернулся к кровати, по-прежнему стараясь не смотреть на Малику, которая лежала уже на животе, уткнувшись лбом в сгиб руки. Замедленно, как во сне, Вахид оделся, обулся и, не застегнув, не заправив рубашку в брюки, поплелся из спальни. Так же медленно, оседая из-за слабости в коленях, спустился на первый этаж. Около водоемчика с фонтаном остановился. Нагнулся. Тупо глядя на толстых, золотистых и серебристо-пятнистых рыб с забавными мордочками, неестественно большими, смешными плавниками и хвостами, поплескал ладонью воду на лицо. Лоб, щеки охладились, силы вернулись.

Вытираясь полой рубашки, Вахид вышел на улицу. Пошевеливая, поигрывая плечами, чтобы разогнать истому, весело огляделся: дурака не видно — наверное, запрятался в той вон клетушке около запертых ворот; старушонка Сония-опа тоже исчезла. Но за это время она — маленькая-маленькая, а какая расторопная! — постаралась, похлопотала от души: на берегу бассейна, под тентом, был приготовлен уже длинный стол с фруктами, лепешками, тарелками, прикрытыми никелированными колпаками, с кашушками, пиалами.

Вахид, снимая на ходу рубашку, быстро прошел к бассейну. Побросал одежду в шезлонг и с удовольствием, плашмя, плюхнулся в воду. Эх, славно, просто отлично, просто великолепно! Вода ласкала, нежила, гладила тело, успокаивала и бодрит одновременно.

Вскоре появилась и Малика. Она резво выскочила из двери и, скинув халатик, оставшись в бикини, так подобранном в тон загара, что купальник почти не различался на теле, с визгом обрушилась ногами вперед в бассейн.

Они ревелись в бассейне, бесились, и им было хорошо.

И потом, утомленные, праздно полулежали друг против друга в шезлонгах,



разделенные столиком. Сбив аппетит отменно приготовленной лапшой-кукси, потягивали ароматнейший зеленый чай, лакомились сыром, брынзой, холодной копченой сайгачатиной, абрикосами, виноградом.

— Ну что, не жалеешь, что приехал сюда? — Малика, склонившись над тарелочкой, чтобы липкий сок не капал на колени, обсасывала ломтик ананаса, поэтому посмотрела на Вахида снизу, по-птичьей как-то. — Правда, здесь замечательно?

— Правда, — помедлив, согласился он. По округлившимся в ожидании ответа внимательным глазам Малики понял, что та ждет восхищения. — Только вот, очень уж все это... — Помялся, подбирая слова... — Вот скажи, пожалуйста, почему ты едешь на «порше»? — с мягким укором вкрадчиво спросил Вахид. — А не на «жигуленке»? Или пусть даже на «Волге», если папин карман позволяет? Хочешь людей поразить, себя показать? Или страдаешь комплексом Элочки-Людоедочки из «Двенадцати стульев»? Та, смешная и жалкая, пыжилась, из кожи лезла, чтобы стать отражением какой-то миллионерши из Штатов. Тебе нравится быть похожей на такое ничтожество? — Наблюдая, как леденеют глаза Малики, как сходятся к переносице ее брови, подпустил яду в сочувственную интонацию. — У тебя «порше», а у кого-то «рено», «вольво», «тойота», «мерседес», «ролс-ройс». Глупо и бесполезно тянуться за ними. Тебе не кажется?

Лицо Малики потемнело, стало похоже на изображающую гнев маску из обожженной глины, и — внезапно расслабилось.

— Ты прав, — она сокрушенно вздохнула. — Придется расстаться с «порше». Буду ездить на арбе или верхом на ишаке. А эту противную, растлевающую, подсунутую гниющими империалистами машину подарю тебе. Чтоб не завидовал. Спокойно! — выставила перед собой розовую ладонь с плотно сдвинутыми пальцами, потому что Вахид вскинулся, как подброшенный. — Я слушала твой лепет, теперь послушай меня. Ты что, вправду считаешь, что наше насквозь прогнившее, фальшивое общество самое совершенное и справедливое? — спросила серьезно. — Что в нем надо жить так, как предписывают? Так, и никак иначе? — Поизучала Вахида колким взглядом, посоветовала почти презрительно: — Не будь простаком. Или... ханжой.

И снисходительно, как о скучном, неинтересном, очевидном для нее, заявила, что социализм, который построили в нашей стране, — самое бесстыдное надувательство: идеологи — «идеолухи», уточнила пренебрежительно, — обещали счастье каждому, а на деле что получилось? Поэтому лозунги лозунгами, а жизнь жизнью, — голос Малики стал насмешливым. — Тот, кто понял это, получает; тот, кто верит призывам, отдает. Умным — все, что пожелают; наивным — энтузиазм, преодоление трудностей, светлое завтра, которого ждали еще их деды. А на сладкое — романтика. Что-нибудь осваивать или строить, где голодные, грязные современные павки корчагины будут ликовать оттого, что им дали возможность совершать трудовые подвиги.

Вахид облебенно расслабился: нет, эта девчонка искренна, она, кажется, действительно много размышляла над смыслом жизни и определила свое место в ней — этакая юная, красивая, соблазнительная пиранья в родной стае таких же хищных рыбин.

— Дурачат нас, дурачат беззастенчиво. И кто? — Малика брезгливо сморщила нос. — Насмотрелась я на этих небожителей в Ташкенте. Вхожа, так сказать, в дома с элитными отпрысками... — Заметила, что Вахид шевельнулся, осеклась, нахмурилась недовольно. — Что-то я не о том завела. — Звучно шлепнула ладонями по подокотникам, оттолкнулась от них, качнулась к столику. — Если б ты знал, как надоели льстецы, манерные подхалимы, самовлюбленные пижоны. Как хочется иметь верного друга, на которого можно положиться.

— Тогда ты не ошиблась: это я, — Вахид улыбнулся.

— Как говорят, от скромности не умрешь, — Малика засмеялась.

Глаза ее опять затуманились, зрачки стали расширяться, ноздри вздрогнули. Она, медленно приподнимаясь, поманила пальцем Вахида, и когда тот, тоже плавно, без резких движений встав, нагнулся к ней через столик, сбивчиво прошептала ему в ухо.

— Пойдем, покажу, где будешь спать... комнату твою покажу.

Провела ладонью по стриженной голове Вахида, прижалась щекой к его щеке, потерялась о нее, затаив дыхание. И вдруг отшатнулась.

— Что случилось? — Вахид оглянулся, чтобы увидеть, в чем дело.

У ворот, створки которых стали раскрываться, медведем топтался Тентак, из сада, переполошив павлинов, бежала к воротам Сония-апа.

— Отец едет! — выдохнула испуганно Малика.

— Как отец? — Вахид рывком повернулся к ней. — Ты же сказала, что он в Ташкенте, что мы здесь будем одни! Чего ему тут надо?

— Понятия не имею. — Малика торопливо надевала халатик. Улыбнулась вымученно. — Ничего страшного, не беспокойся, папа не рассердится.

«Вот влипли бы, пригласи она посмотреть комнату минут десять назад! — У Вахида похолодело внутри. — В клочья меня разорвали бы, золотым рыбкам скормили!» Он, сам не заметив как, оказался уже в рубашке. Схватил джинсы. Но опомнился: «Что это я?.. В штанах загораю?» А следом мелькнула страшноватенькая мысль: в случае чего, если что, если начнется расправа, — какая разница, в брюках или нет? Поднял глаза на Малику. Та уже в застегнутом халатике почти спокойно жевала оранжевую лепешечку кураги и выжидательно смотрела за спину Вахида. Подбодрила его мимолетным взглядом и снова — все внимание на ворота.

Первой показалась белая «Волга», за ней — знакомый «ГАЗ-69», и Вахиду стало не по себе: все-таки Хабибов приехал не один, на что была робкая надежда, а со своими громилами.

Машины, не притормаживая, подъехали к «порше», остановились. Из второй выскочил хмурый и злой блондинчик Вадим. Даже не взглянув по направлению бассейна, кинулся к «Волге», открыл ее заднюю дверцу, и Малика, Вахид заметил это краем глаза, поспешно встала. Сам же он поднялся с шезлонга, только когда из машины вылез непривычно одетый Хабибов — в темно-синем костюме, с галстуком в крапинку, в светлой, дырчатой капроновой шляпе. Не торопясь, важно направился к ним, Вахиду и Малике...

Из Ташкента Ахмаджон Хабибович прилетел первым, дневным, рейсом и сразу же, из депутатской комнаты, позвонил Надире: выслала ли людей? «Да, да, конечно, все сделала, как вы вчера приказали, — заверила та. — Ждут вас в «Советской». Там же, может быть, и дочку увидите». Неуверенный тон Надиры и это скользкое «может быть» насторожили Ахмаджона Хабибовича. «Говори ясней, знаешь ведь, что не люблю загадок!» — он повысил голос, и Надира виновато призналась, что Малика без спроса уехала в город, а Штирлиц, которому доверили охрану ее, замешкался, не догнал.

Он успокоился и даже обрадовался: хоть на полдня, хоть на час да раньше увидит дочь — в гостинице, а не дома, в «Сангаме». Довольный, забыл даже позвонить администратору «Советской» — там ли Малика? Кивнул, приглашая за собой, невздумавшему Микеладзе, который теперь уже с пустым — хотя нет, набитым, пожалуй, каким-нибудь, заграничным барахлом, — большим австрийским чемоданчиком, с сумкой, полной его, Хабибова, подарков дочке, статуей стоял рядом.

По ту сторону двери поджидал уже Файзиев, не решавшийся даже заглянуть в депутатскую комнату. Он, путаясь под ногами, сразу же начал докладывать: в «Сангаме» все идет по плану, по графику, никаких происшествий, никаких нарушений ни в чем нет.

О Малике промолчал — значит, и с ней полный порядок: не болела, не сумасбродничала, — лишь упомянул мимоходом, что сегодня она уехала в город. «Вам ведь Надирахон доложила?» — полюбопытствовал невинно. Ахмаджон Хабибович не ответил. Еще чего, помогать Файзиеву выяснять что-либо: и Кулмурат, и Надира следят за каждым шагом друг друга, чтобы при малейшей оплошности поспешить с доносом. Пусть и сейчас, в этом пустяковом случае, сами разбираются, кто виноват.

В «Волге», которую пригнал к аэропорту, Файзиев уступил место за рулем тренеру Евгению, а сам, продолжая доклад, перечисляя гектары, центнеры, тонно-километры, рубли, сел сзади, рядом с Ахмаджоном Хабибовичем. Но тот его уже не слушал. Он думал о Бухаре.

Вчера, во время перерыва в заседании Пленума ЦК, Отахон пригласил его, дорогого своего друга Ахмаджона-ака, и бухарского Каримова к себе в кабинет. Секретарю приказал никого не пускать: будет читать, подредактирует решения Пленума. И действительно, сев за рабочий стол, углубился в бумаги. Лишь изредка поднимал красивую седую голову и рассеянно, обдумывая, очевидно, какую-то формулировку, смотрел мягким и ласковым взором на Ахмаджона Хабибовича и Первого Бухары, устроившихся рядышком далеко от него, у двери. А они беседовали. Сосредоточенно и серьезно. Потому что положение в Бухаре становилось все тревожней: КГБ вцепился в Музаффарова намертво. Неизвестно, чем это кончится, но вероятность крупных неприятностей очень реальна. Нет, отказался Каримов от предложения Ахмаджона Хабибовича, деньги не нужны, деньги есть. Тут Хабибов с любопытством поглядел на Отахона, человека, которому Микеладзе передал австрийский чемоданчик полным, получив его назад пустым, но претензий у Ахмаджона Хабибовича к Отахону не было: у того могут быть большие расходы и здесь, в Ташкенте, — суд, прокуратура, да мало ли что еще. Нужны надежные, крепкие и не болтливые ребята, которые могли бы провести определенную работу: побеседовать кое с кем — предупредить, подсказать, что нужно говорить, если

пригласят в органы. Конечно, ответил Каримов на вопросительный взгляд Ахмаджона Хабибовича, а в Бухаре есть верные, старательные товарищи, готовые выполнить любое поручение, но их в городе видели, могут узнать, поэтому хорошо бы неизвестных, незнакомых, которые приедут на день и — сгинут, растворятся, исчезнут. «Можете, уважаемый Ахмаджон-ака, помочь нам в этом?» Ахмаджон Хабибович твердо пообещал: да, обеспечит! Осведомился, сколько человек требуется, когда им прибыть в Бухару, к кому обратиться за инструкциями. О дате Каримов сказал, не задумываясь: лучше всего послезавтра, 3 июня, — на открытии торгового центра в Шахристане будет много народу, легко затеряться, рассмотреть тех, с кем надо будет провести акции. А вот сколько исполнителей понадобится и кто их будет курировать — надо посоветоваться, проконсультироваться. Договорились, что Каримов зайдет вечером в гостиничный номер Ахмаджона Хабибовича, там и обсудят все детали. Само собой, заверил Каримов, транспортные, командировочные расходы за счет бухарской стороны, гонорар будет выплачен. Против оплаты билетов в оба конца, гостиничных, суточных Ахмаджон Хабибович возражать не стал, а вот о вознаграждении попросил его людям даже не упоминать: они получают хорошую зарплату за то, что без разговоров выполняют любые задания, к тому же им может понравиться дополнительный доход и они начнут искать халтуру на стороне, а это ни к чему — сам их поощрит! Вечером, когда все обговорили и согласовали с Каримовым, Ахмаджон Хабибович позвонил Надире и велел приготовить, отправить в город, в гостиницу «Советская», десять человек: поедут в командировку.

Малики в гостинице не оказалось, она сегодня сюда вообще не заходила, и это обеспокоило, даже встревожило Ахмаджона Хабибовича. Он немедленно позвонил в Бурут Уяси: может, дочь там? Нет, не приезжала. И в «Сангам», сказала Сония, Малика не возвращалась, Бахрам доложил, что серебряная машина молодой хозяйки промчалась только в одном направлении — в город. Приказав Сонии сразу же позвонить ему в «Советскую», если Малика объявится, Ахмаджон Хабибович стал проверять, что за кадры прислала Надира. Не хотелось опозориться перед Каримовым. Бухара заказала не только мускулистых и решительных, но и сообразительных, умеющих убедить словом, а не только своим видом и кулаками: если получится, надо обойтись без физического воздействия — вдруг что-то выплывет, лучше без улик. Габидзе забрал Ахмаджон Хабибович сразу: этот только и умеет, что делать зверскую рожу и без раздумий ломать кости. Остальные, кажется, ничего. Достойных подобрала Надира. Правда, успел Ахмаджон Хабибович прокзаменовать, вызывая по одному в гостиницу, только четверых — позвонила Сония: Малика приехала, и не одна, а с каким-то парнем.

«Что за парень? Если сын Буриова Латыпова, не беда, а скорей даже неплохо. А если какой-нибудь нахал, бабник?» Оставив вместо себя Микеладзе — «Проверь остальных!» — помчался Ахмаджон Хабибович в Бурут Уяси. С собой прихватил, чтоб были свидетели, Файзиева, Габидзе. Взял и Спирина: проморгал Малику, пусть сам и разбирается с тем парнем, а потом и его можно отдать Габидзе...

Отлегло у Ахмаджона Хабибовича от сердца лишь тогда, когда он, еще при въезде, узнал в сидевшем рядом с Маликой Вахида.

Но, выбравшись из машины, дверцу которой открыл утративший веселость Спирин, придал Ахмаджон Хабибович лицу осуждающее выражение: все-таки нехорошо, что дочь наедине с мужчиной, пусть даже и сыном Буриова. Девушка не должна так делать! Надо наказать Сонию. Хотя... как она может помешать Малике, если та чего-нибудь захочет? Да и недопустимо такое: Малика хозяйка, а Сония кто теперь? Кухарка, уборщица, прислуга, сторожиха, присматривающая за дачей.

Ахмаджон Хабибович остановился, оглядел с головы до ног опустившую глаза дочь: платье коротковато, колени видно — предупредить, что так не полагается. Перевел взгляд на Вахида: держится свободно, но не вызывающе, в глаза не пялится — на грудь, на депутатский значок, на звездочку Героя смотрит. Выглядит хорошо, крепкий, здоровый, только вот... рубаха расстегнута, без брюк. Ахмаджон Хабибович нахмурился, но, поймав себя на этом, чуть не усмехнулся: «Что же, ему в штанах купаться? Я бы на его месте и рубаху снял. Жарко». Чтобы оправдать свой суровый вид, сказал внушительно, с угрозой:

— Я недоволен тобой, Вахид.— И когда тот, еле заметно вздрогнув, поднял напряженно-выжидательные глаза пояснил: — Кому я велел в гостинице вызвать ко мне Файзиева? — Повел головой за спину на сладколищего старичка в тубетечке, которого Вахид видел в приемной номера-люкса.— Тебе! А ты не сделал этого. Смотри, чтоб такое было в последний раз. Если я сказал, надо выполнять. Быстро и точно.— Посопел. Смягчил взгляд. Разрешил: — Ну ладно, отдыхайте. Скоро обедать будем.

Не спеша развернулся и, массивный, с достоинством, удалился в дом, отмахнувшись от запыхавшейся Сонии, которая начала что-то объяснять. Как только за

ним и Файзиевым плавню закрылись створки дверей, Вахид, плюхнувшись в шезлонг, стал надевать джинсы.

— Отвези меня домой! — требовательно попросил Малику.

— Почему? — радость, вспыхнувшая на ее лице, как только ушел отец, погасла. — Обиделся на папу?.. Он всегда с виду такой строгий, а на самом деле... Ну, хочешь, я извинюсь перед тобой за него?

— Отвезешь? — Вахид, натянувший уже на ноги носки, обувшийся, стремительно встал. Застегивая брюки, направляя в них рубаху, заявил непримиримо: — Иначе я пешком уйду!

— Да что с тобой? Что это — будто с цепи сорвался? — Малика, изогнувшись, заглянула сбоку ему в лицо. — Папа сказал, обедать будем...

— Лучше опять в его зиндон, чем за один стол с ним сяду! — рывкнул Вахид, вытаращив бешено глаза. Оглянулся на блондинчика и невысокого, неглавного, кавказца, которые что-то обсуждали, разглядывая «порше». Снизил голос до яростного шепота. — Я не только хлеб из рук твоего отца брать не могу, я видеть его не хочу! Поняла?!

— Да как ты смеешь говорить такое?! — Малика медленно распрямилась, голос ее, растерянный вначале, стал в конце фразы возмущенным. — Забыла, что я его дочь? Оскорбляя его, ты оскорбляешь меня. Проваливай отсюда! Сейчас же!

Театрально, хотя у нее этот жест получился естественным, выкинула по направлению ворот руку с прямыми указательным пальцем.

— Ножкой еще топните, ваше величество. В ладоши хлопните, чтоб лакеи подскочили, в шею меня вытолкали, — насмешливо посоветовал Вахид.

Уверенно направился к воротам, кавказец и белобрысый Вадим неторопливо тронулись наперерез, но Малика крикнула властно:

— Штирлиц, Гиббон, назад! Пусть уходит. Пусть выметается!

Не глядя больше на Вахида, решительно, с гордо вскинутой головой, ушла в дом. Но за дверью качнулась. Зажав лицо в ладонях, пошатываясь, зигзагами, побрела к водоемчику. Наткнулась на его широкое мраморное обрамление, чуть не упала. Нагнулась, будто переломилась, схватилась за ушибленную голень и, потирая ее, разрыдалась...

По лицу Ахмаджона Хабибовича, который, не отрываясь, наблюдая за дочерью, смотрел на экран монитора телеустановки, скользнула судорога. Он хотел было крикнуть Файзиеву, чтобы сейчас же привел Малику сюда, но удержался: пусть дочка выплачется, в таком состоянии разговора не получится.

Он сразу же, как только вошел с улицы в вестибюль, побежал тяжелой, неуклюжей рысью на второй этаж, в свою половину. Проскочил холл в своих покоях, кабинет и, задохнувшись, ввалился в каморку с пультом телеустановки. Привычно, еще в движении, включил ее, щелкнул тумблером: из динамика вырвался гневный голос Малики: «Забыла, что я его дочь? Оскорбляя его, ты оскорбляешь меня. Проваливай отсюда! Сейчас же!» Покручивая верньер, чтобы объектив, спрятанный за решеткой под карнизом фасада, развернулся к бассейну, Ахмаджон Хабибович мысленно похвалил дочь: «Молодец девочка. Умеет с людьми разговаривать». На экране появились наконец Малика и Вахид, а из динамика долетело еле слышное: «Ножкой еще топните, ваше величество. В ладони хлопните, чтоб лакеи подскочили, в шею меня вытолкали». Ахмаджон Хабибович хмыкнул: «ваше величество» — неплохо сказал. Слушая, как Малика отдает приказание выпустить Вахида, разворачивая телеобъектив, понаблюдал за воротами, перед которыми, слегка присев, раскинув руки, стоял свирепый Тентак. Опять подсадовал, что Малика не спрятала его: не надо бы Вахиду видеть этого уroda. Повернул переключатель на режим работы внутренней камеры, установленной в стене напротив входа. Увидел на экране Малику. Закрыв лицо руками, мотаясь из стороны в сторону, она приближалась к фонтанчику. Запнулась. Наклонилась. Заплакала. Долго смотреть на это Ахмаджон Хабибович не смог. Он снова включил наружный объектив: Тентак присел еще ниже, руки раскинул еще шире; Вахид в нерешительности топчется перед ним. Ахмаджон Хабибович нажал большую красную кнопку на стене: ворота стали открываться, Тентак, оглянувшись на них, отошел, переваливаясь, в сторонку. Ахмаджон Хабибович снял телефонную трубку, набрал двузначный номер, распорядился тусклым голосом:

— Бахрам, парня, который идет от нас, не задерживай. И не обыскивай. Обеспечь ему машину в город. Только так, чтобы он не знал, что это сделал ты. А то не сядет в нее.

Ахмаджон Хабибович выключил установку. Прошел через кабинет. В холле приказал Файзиеву, смиренно ожидающему у входной двери, позвать Малику.

— Поссорились? — спросил, не повернув головы к вошедшей дочери. — Из-за чего?

— Не из-за чего, а из-за кого, — без почтительности в голосе уточнила Малика. И объявила дерзко: — Из-за тебя!

Ахмаджон Хабибович счел нужным показать, что ее тон ему не понравился.

— За что он тебя так ненавидит? Что между вами произошло? — не обращая внимания на угрюмое лицо отца, выкрикнула Малика.

— Ненавидит? — искренне удивился Ахмаджон Хабибович. — Ты не ошиблась?.. Может, раньше и было такое, но сейчас, нет, не должен ненавидеть. — Он был уверен: кроме благодарности за то, что не выгнали из института, сын Буриевой к нему ничего не испытывает. — Вахид уважает меня. Конечно, и боится немного. Ахмаджона Хабибова все боятся.

Тяжело, несмело двинулся к дочери, которая, уронив руки вдоль тела, смотрела перед собой пустым взглядом.

— Все пропало, — тихо и безысходно произнесла она. — Если бы ты слышал, что он говорил, если бы видел его... — Зажмурилась, как от невыносимого стыда, помотала в отчаянии головой. — Нет, он ни за что не простит. Никогда больше не захочет встретиться со мной.

— Главное, чтоб ты захотела, — Ахмаджон Хабибович неуклюже обнял ее. — Ты-то хочешь с ним видеться?

Малика, опустив голову, кивнула. Ахмаджон Хабибович повеселел, ободряюще похлопал дочь по спине.

— Все будет так, как ты хочешь, — пообещал уверенно.

## 10

Буриевой Талгатович остановил «Волгу» в квартале от института, помня, что сын не любит, когда отец приезжает на машине. «Только бы он не сбежал с занятий, — подумал встревоженно, захлопывая дверцу, — а то скверно получится, что тогда сказать Ахмаджону?»

Утром, когда Буриевой Талгатович проводил планерку, в приемной послышался настолько громкий, возмущенный голос Лолочки, что его не заглушила даже двойная дверь. А через секунду-другую секретарша с оскорбленным, негодующим видом заглянула в кабинет: «Буриевой Талгатович, простите, пожалуйста, что отвлекаю, но здесь...» Но в следующее мгновение исказившееся в испуге лицо ее исчезло — кто-то просто-напросто взял Лолочку под мышки и отставил в сторону. Дверь открылась во всю ширь, и Буриевой Талгатович, приготовившийся испепелить взглядом секретаршу за непорядок в приемной, пораженно открыл рот, увидев Хабибова.

Это казалось немислимым: Ахмаджон, если ему что-то было нужно, вызывал к себе. Но Буриевой Талгатович тут же опомнился. Вскочил, замахав рукой на вновь появившуюся в дверях Лолочку — сгинь! — приказал весело: «Приготовь чай дорогому гостю. По высшему, обкомовскому разряду!» Объявил скороговоркой коллегам: «Остальные вопросы, товарищи, обсудим потом, в рабочем порядке!» И заспешил навстречу Хабибову. Склонив почтительно голову, уважительно, обеими ладонями, сжал протянутую руку, прикоснувшись к плечу посетителя, направил его к столику для чаепития. Подвел, усадил в кресло. Устроился в таком же кресле напротив, безостановочно благодаря воркующим, переливающимся от избытка чувств голосом за то, что дорогой Ахмаджон-ака смог, нашел возможность нанести визит своему другу — это такая приятная неожиданность, такое радостное событие.

Вплыла Лолочка с подносом. Составляя на столик чайник, пиалы, лакомства, она мило, хотя и несколько неуверенно, улыбалась Хабибову. Закончив сервировку, налив в пиалы чай, опустила покаянно голову: «Простите, Ахмаджон Хабибович, что не узнала вас. Столько работы, столько работы, скоро мать родную узнавать перестану».

— Иди, дочка, не переживай, я не рассердился, — мягко улыбнулся гость.

Но когда обрадованная Лолочка скрылась в приемной, Хабибов снова стал серьезным. Попросил, а вернее, потребовал, чтобы Буриевой Талгатович привел в гостиницу Вахида: надо поговорить с ним. В ответ на удивленный, вопрошающий взгляд Буриевой Талгатовича усмехнулся: «Выясню его отношения к моей дочери, тогда и с тобой все обсудим. — Поднес к губам пиалу, задержал ее, принохиваясь к аромату. Сделал маленький глоток, пожевал губами, смакуя чай. — Если буду доволен твоим Вахидом, переведем его в Ташкент. Пусть учится вместе с Маликой». «Так вы свататься, что ли, пришли?» — простодушно вырвалось у ошалевшего от неожиданности Буриевой Талгатовича. «Свататься ты должен. У тебя жених, у меня невеста. Порядков не знаешь?! — возмущенно отрубил Хабибов. Сделал еще глоточек из пиалы, объяснил уже более спокойно: — Сейчас я просто объясню

тебе, как отец отцу, что выбрал твоего сына. Поговорю с ним, подумаю. Тогда уж, если не изменю своего мнения, жду тебя. Свататься. Как велит обычай. Может, и породнимся»...

Буривой Талгатович, обдумывая, как бы заманить в гостиницу к Хабибову сына, если тот, конечно, все еще на занятиях, вошел в скверик. Осмотрелся: кого бы попросить вызвать Вахида? Тот запретил появляться в институте — не любил, не хотел, считал, что приятели будут смотреть на него косо, как на папенькиного сынка.

Около подъезда видны были за деревьями несколько парней — шалопаи, прогульщики, наверное. Справа, на ближней скамеечке под липой, сидела худенькая печальная девушка в простеньком, без затей, ситцевом платьишке. Скромница, видать по всему. Прилежная и старательная студенточка, но, скорей всего, недалекая: вид унылый, пришибленный — неуд, вероятно, получила или зачет завалила.

Буривой Талгатович направился к ней. Девушка в лучших традициях узбекской молодежи благовоспитанно встала, и это понравилось.

— Простите,— придав голосу вкрадчивую интонацию, чтобы тоже выглядеть достойно, обратился он,— вы случайно не знаете такого студента — Вахида Латыпова? Он учится... — и не успел назвать ни курс, ни факультет, потому что девушка встрепенулась.

— Да, знаю, конечно, знаю,— заверила она почти восторженно.— Мы с ним в одной группе. Он сейчас на консультации.

И голос девушки, и оживившееся ее лицо заставили Буривой Талгатович внимательней поглядеть на нее: Симпатичная, даже красивая, пожалуй. Славная девушка, очень славная. Кажется, Вахид ей нравится, вон как глазенки заблестели».

— Я его отец,— представился он с подкупающей улыбкой.— Будьте добры, сходите и скажите Вахиду, что я жду его.

— Хорошо, конечно, я сейчас... — с готовностью пообещала она, а в глазах опять появилась непонятная тоска.— Я передам Вахиду.

Угловато повернулась и, опустив голову, одно плечо выше другого, торопливо пошла, почти побежала в институт. Но заглянуть в аудиторию Майрам даже в голову не пришло, она терпеливо ждала звонка, чтобы сказать Вахиду, что пришел отец.

...У Буривой Талгатовича настроение было неважное. Сейчас, когда сын должен с минуты на минуту появиться, а значит, не надо пугаться, что не выполнит просьбу Ахмаджона, Буривой Талгатович, успокоившись, уже не горячечно, клочками, а хладнокровно обдумывал сказанное Хабибовым: что несет это сыну, радость или беду? Допустим, Вахид согласится, хотя такое трудно представить, сын ведь почти не знает Малику, видел ее всего раз, тогда, в гостинице: мальчик гордый, продавать себя ради чьей-то прихоти не станет. Но... допустим: Вахид познакомится с дочкой Ахмаджона поближе, она понравится ему, он женится. И что получится? Благо или горе? «С таким тестем,— Буривой Талгатович насутился,— да еще если и Малика в отца, не жизнь будет, а сплошное унижение». Вспомнились рассуждения Хабибова о том, каким он хочет видеть зятя. Стало совсем тяжело на душе. И все же... заманчивая партия: пока Хабибов в силе, Вахид никогда, ни в чем ни нужды, ни заботы знать не будет. «Почему — пока?» — успев поймать это прошмыгнувшее слово, удивился Буривой Талгатович. И сосредоточился на нем: может ли что-нибудь угрожать могуществу Хабибова? Кажется, нет. Да какое там «кажется», определенно, безусловно нет! Герой Соцтруда, десять лет член Верховного Совета СССР, Узбекской ССР, член бюро обкома партии, республиканского ЦК, руководитель лучшего, образцово-показательного производственного объединения. И главное — близкий, доверенный друг Шарафа Рашидовича, его своеобразный «серый кардинал», как покойный Сулов у покойного Брежнева. Пока у власти Шараф Рашидович, ничто и никто не обеспокоит Ахмаджона. А Шараф Рашидович неколебим, Шараф Рашидович — монумент, колосс, утес. Буривой Талгатович улыбнулся, вспомнив не то легенду, не то быль о том, как Хабибов вошел в доверие к Рашидову.

В сорок девятом году, когда Шараф Рашидович был редактором газеты «Кзыл Узбекистон», а шестнадцатилетний Ахмаджон Хабибов возглавлял комсомольско-молодежную бригаду в родном кишлаке Бошбулок, в центральные республиканские органы стали поступать из этого кишлака анонимные сигналы о хозяйственных нарушениях местных руководителей, а потом и пострашней — о националистических проявлениях, об антисоциалистических, антисоветских настроениях. Дело серьезное! Из Ташкента срочно выехала представительная комиссия, в которую вошел и Шараф Рашидович, чтобы дать в прессе разоблачающий, бичующий материал. Едет комиссия. На полях пусто — весь народ к правлению согнали, важных гостей встречать. Поэтому особенно удивительно, почти абсурдно выглядела на этих просторах одинокая фигурка, размеренно взмахивающая кетменем. Кортёж остановился. Мелкая районная шушера рысью кинулась по пахоте к старательному

труженику. Привели энтузиаста. Поставили пред светлые очи высокого начальства. Представили: Ахмаджон Хабибов — комсомолец, член бюро райкома. Высокое начальство побеседовало с ним. Осталось довольно: юный хлопкороб только о деле, о будущем урожае думает, больше ни о чем и не помышляет. Шараф Рашидович его к себе в машину посадил. И по дороге, и потом дома, в гостях у прилежного Ахмаджона, о многом, очевидно, поговорили они. Да так душевно и откровенно, что на следующую же комиссию были неопровержимые факты, чтобы отдать под суд агронома, исключить из партии секретаря парторганизации. Хотели снять с работы председателя, но ограничились строгим выговором с занесением в учетную карточку — опытного хозяйственника с высшим образованием, фронтовика, орденоносца, нечем было пока заменить: из райцентра никто в «Ленинчи» ехать председателем не захотел. А о юном бригадире Хабибове вскоре появился в газете «Кзыл Узбекистон» восторженный очерк, сам же Ахмаджон был вызван в Ташкент на бухгалтерские курсы, которые и закончил с блеском. Потом его направили на курсы руководителей среднего звена, и на родину он вернулся, когда его покровитель Шараф Рашидович стал уже Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР и заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Месяца два проработал Ахмаджон бухгалтером в колхозе, а потом стал его председателем. Прежнего раиса посадили-таки: вскрылась его приверженность панисламизму, прошел по так называемому делу «арабистов» — у него при обыске нашли книгу касыд на узбекском языке, но в арабской графике. Хозяйство при Ахмаджоне Хабибовиче крепло, расширилось, обросло дочерними предприятиями и производствами; Шараф Рашидович гордился своим молодым другом, всегда, всюду всем ставил его в пример, он стал для Отца Нации типичным представителем выросшего из низов умелого экономиста, а многоотраслевое объединение, которое возглавлял теперь Ахмаджон Хабибович, — ярким свидетельством, подтверждением процветания республики под его, товарища Рашидова, разумным и продуманным руководством. Хабибов дружбу с Первым в республике не афишировал, но все хотя бы мало-мальски сведущие о расстановке сил в верхах знали, что товарищ Рашидов во всем доверяет товарищу Хабибову и тот нередко выполняет деликатные, щекотливые поручения Шарафа Рашидовича по делам, улаживать которые он считал для себя неэтичным: как, например, отрегулировать натянутые отношения с Рахманкулом Курбановым<sup>1</sup> или нейтрализовать назревающий конфликт между Яхьяевым и Эргашевым...<sup>2</sup>

Буриевой Талгатович нервно зевнул, уперся ладонями в руль, откинулся назад, напряжив все мышцы, — из институтского скверика вышел сын. Сейчас будет самое сложное, самое трудное: не спугнуть Вахида, сделать все, чтобы его встреча с Хабибовым состоялась. Да, задача! Свое унижение сын, если убедить, если он все обмозгует и взвесит, может, и простит, а вот за мать... «А, проклятье! — Буриевой Талгатович только сейчас вспомнил о бывшей жене. — Гульнора ни за что не согласится, чтобы ее сын стал зятем Хабибова!.. Ладно, это потом. Если все получится, как намечается, Вахид убедит ее. А не получится — он парень самостоятельный, обойдется и без материнского благословения, не умрет. Да и ей теперь не до того». Помрачнел. Протяжно выдохнул сквозь сложенные трубочкой губы — представил, как бывшая жена сидит сейчас, наверное, в приемной начальника областного УВД и ждет, когда пригласят в кабинет.

Вчера вечером Гаппаров сам — сам, неожиданно-негаданно! — позвонил и раздраженно попросил объяснить Гульноре Саматовне, что ее комиссовали, вопрос решен окончательно и обжалованию не подлежит, поэтому будет лучше, если на прием она завтра не придет, избавит его, Гаппарова, от необходимости что-то выслушивать, что-то говорить. Конечно, звонить бывшей жене Буриевой Талгатович не стал: как передать такое, как язык повернется сказать человеку, что его турнули со службы, как найти нужные слова, нужный тон, чтобы Гульнора поверила в сочувствие, а не решила, что это хорошо замаскированное злорадование?

Буриевой Талгатович, придав лицу ласковое выражение, подождал, пока серьезный и сосредоточенный Вахид усядется рядом. Поинтересовался озабоченно, закончились ли занятия и подсадовал на себя. А что, если сын вышел только на перерыв и ему надо будет вернуться в институт? Что тогда — все равно везти к Хабибову? Пусть манкирует? Некрасиво как-то, не по-родительски.

— Да, отстрелялся на сегодня, — не задумываясь, соврал Вахид.

Оставалось еще два часа консультаций, но — наплевать и на них, и на деканат, если завтра опять примутся прорабатывать. Поговорить с отцом — нужней. Дело щекотливое, тонкое: деньги кончились. А деньги были нужны: вдруг каким-то

<sup>1</sup> До 1975 г. Председатель Совета Министров Узбекской ССР.

<sup>2</sup> Министры Внутренних дел Узбекской ССР. Яхьяев — до 1979, Эргашев — с 1979 г.

чудом увидится с Маликой, вдруг удастся помириться? Тогда надо будет пригласить ее куда-нибудь, в тот же «Урюкзор», например; а она неизвестно что закажет — можно опозориться.

— Зачем вызвал? — спросил сухо, обдумывая, как бы поаккуратней, поизящней подвести отца к разговору о деньгах.— Случилось что-то?

— А без причины, просто так, я уж и повидаться с тобой не могу? — Буриной Талгатович негромко и добродушно засмеялся.— А что, если нам сейчас где-нибудь вместе пообедать? Заодно и начало экзаменов, твою пятерку по политэкономии отметим. Расскажешь, как Хафиз держался, как вел себя, когда ты отвечал. Согласен? Поехали?

— Можно,— не сразу, а словно прикинув что-то в уме, согласился как бы нехотя Вахид, на самом деле обрадовавшийся: надо будет после еды подсуетиться, будто собирается заплатить, а потом дать понять, что не сможет этого сделать, и тогда отец непременно поинтересуется озабоченно: «У тебя что, деньги кончились?»

— Не возражаешь против ресторана «Советский»? — непринужденно спросил Буриной Талгатович.— Это рядом, и кухня там неплохая.

Вахид сначала настроился,— гостиница «Советская», штаб-квартира Хабибова? — а потом кивнул, соглашаясь. Мелькнула мысль: вдруг около гостиницы стоит «порше»? Тогда, если повезет, не исключено, что и Малику увидит. Во всяком случае,— если, конечно, «порше» у «Советской»,— ясно будет, что Малика не в кишлаке и не в Бурут Уяси.

Но машину ее он увидел раньше. Не успели проехать мимо входа в институтский скверик, где скорбной статуей стояла Майрам, как вдали показался, а потом и медленно, точно неуверенно, проехал мимо серебристый каплевидный автомобиль. Вахид от неожиданности непроизвольно вжался в спинку сиденья и даже чуть-чуть сполз пониже, будто спрятаться хотел. Буриной Талгатович притворился, что не заметил этого.

— Какая машина! Сказка, мечта! — поглядывая в зеркальце заднего обзора, он восторженно поцокал языком.— Да и хозяйка не хуже. Тоже сказка, мечта. Помоему, это дочь Хабибова. Кажется, я узнал ее за рулем,— и заулыбался затуманенно.— Вот повезет парню, который женится на ней,— заметил с легкой завистью.— Хабибов, точно джинн, любое желание зятя исполнит. Захочет тот счастливчик партийным, советским, хозяйственным боссом стать — пожалуйста: любого ранга, любого уровня. Захочет ученым — нет проблем: вплоть до академика. Захочет за границу — куда желаете, надолго ли, кем? Туристом, дипломатом, торгпредом? — Голос Буриной Талгатович стал восхищенным.— Для Хабибова невозможного нет, а он для мужа дочери делает все. Потому что только ради нее и живет.— Снова помолчал. Полюбопытствовал невинно: — Ты ведь, насколько я помню, уже познакомился с Маликой?

— Уж не видишь ли ты меня тем счастливчиком? — насмешливо спросил Вахид.— Такое впечатление, будто хочешь женить меня на ней.

— Ну, что ты...— Буриной Талгатович зерзал.— Какое значение имеет то, чего хочу или не хочу я? Жениться — не жениться, это тебе решать.— Взглянув украдкой на сына, сменил тон.— А почему бы и нет, собственно говоря? Породниться с Ахмаджоном Хабибовым...— Покачал глубокомысленно головой.— Я бы на твоём месте...

— Ты не на моем месте! — жестко отрезал Вахид.— Ты на своем: друг это...— хотел похлеще обозвать Хабибова, но сдержался, не стоит сейчас опять ссориться с отцом, раздражать его,— ...этого человека. Хочешь меня сделать таким же, как он? — Вдохнул, попросил примирительно: — Давай, отец, договоримся. Я больше не буду психовать, злиться, что у тебя такие знакомые. Ты не будешь навязывать мне свое мнение. Что делать мне, я как-нибудь сам разберусь. Не возражаешь?

— Что ж, уже не мальчик, тебе видней,— без энтузиазма согласился Буриной Талгатович и осторожно посмотрел на часы.— И все же прошу... не по этому поводу, а вообще. Как говорят русские, семь раз отмерь, один раз отрежь. Чтобы не раскаиваться потом.

«Волга» выскочила на площадь и, описав по ней полукруг, остановилась. Но не у входа в ресторан, а у подъезда гостиницы. Вахид подумал, что у отца так получилось машинально. Хотел обратить на это его внимание, но — какая разница? Из вестибюля «Советской» тоже можно пройти в обеденный зал. Правда, несколько встревожило Вахида то, что на автомобильной стоянке узнал он хабибовскую «Волгу» и «газик» телохранителей, а в гостиничной двери, когда подошли к ней, увидел опять рядом с важным, как генерал, швейцаром блондинчика Вадима. Тот оттеснил плечом швейцара, предупредительно открыл дверь, впуская Вахида. «Западня? Подстроили?» — на мгновенье растерялся он, увидев в вестибюле отца Малики.



Хабибов, теперь без галстука, в распахнутом пиджаке, в расстегнутой рубашке, похожий на усталого, ожидающего решения администрации гостиницы, командированного сидел на низенькой скамеечке напротив входа и сосредоточенно крутил в пальцах заграничную игрушку, кубик Рубика, пытаясь добиться одноцветности сторон. Исполдбья внимательно посмотрел на появившихся в двери.

— Ты специально привез меня сюда? — лишь слегка повернув к отцу голову и не отрывая взгляда от Хабибова, громко и зло спросил Вахид. — Вы договорились с этим твоим... благодетелем?

— Что ты, сынок, что ты, — заоправдывался Буриной Талгатович. — Это случайность. Честное слово, случайность.

Хабибов лениво встал. Так же лениво, не глядя, бросил кубик Рубика в мусорную урну около скамейки. Неспешно приблизился на несколько шагов к Вахиду, оценивающе оглядел его с головы до ног.

— Случайность, как учат марксизм-ленинизм, это непознанная закономерность, — объявил внушительно. — Я эту случайность уже десять минут жду. — Перевел ставший недовольным взгляд на Буриной Талгатовича, потом опять, уже по добром, посмотрел на Вахида. — Пойдем, — повел приглашающе в сторону лестницы на второй этаж. — Мне надо поговорить с тобой.

— О чем нам с вами разговаривать? — храбрясь, спросил Вахид.

— О многом, — все так же дружелюбно ответил Хабибов. — О моей дочери, например. — Изобразил губами улыбку, заметив, что Вахид чуть изменился в лице. — Или боишься?

— Чего мне бояться? — Вахид деланно усмехнулся. — Только... если вы хотите узнать, о чем она мне рассказывала, так я не доносчик.

— О Малике мне и так все известно. Я не о ней хочу побольше выяснить, а о тебе. Идем, идем, — Хабибов неторопливо направился к лестнице. — А ты, Бури, подожди пока здесь, — попросил пристроившегося рядом Буриной Талгатовича. — Если будешь нужен, позову.

Блондинчик Вадим положил ладонь на спину Вахида, подтолкнул несильно. Он, огрызнувшись: «Убери лапу!» — посмотрел иронически на растерянного, виновато улыбавшегося отца и пошел за Хабибовым.

В холле второго этажа и в этот раз сидели за столом двое: неглавный кавказец, которого Малика называла Гиббоном, и незнакомый лейтенант милиции.

Чуть сбившись с шага, глянув на номер Малики так, будто ожидал, что она — хотя и знал, что ее там нет, — вот-вот появится, Вахид вошел в хабибовский люкс. Дверь внутрь апартаментов была тоже гостеприимно распахнута. Около нее стоял с обычной своей слащавой улыбочкой морщинистый старикашка Файзиев. Вахид, непроизвольно оглянувшись, словно намереваясь выскочить назад, в коридор, решительно вошел и в эту дверь: путь к отходу был отрезан Штирлицем и Гиббоном, торчавшими за спиной. Дверь с легким стуком закрылась.

Хабибов, сняв пиджак, положив его рядом с собой, переваливаясь с боку на бок, устраивался поудобней на диване. Приглашая сесть, молча показал рукой на широкое кожаное кресло у столика, уставленного, конечно же, всяческими лакомствами. Вахид сел, отметив, что ему предложили кресло, а не издевательский, как отцу, пуфик: значит, разговор будет доверительный, на равных и для Хабибова, видимо, непростой.

— Разговор будет серьезный и важный для тебя, — словно прочитав его мысли, подтвердил Хабибов. — Хочешь выпить?.. Ты уже взрослый, позволяешь себе, наверное?.. А я выпью немного, — решил, поколебавшись недолго, когда Вахид отрицательно помотал головой. — Устал. Не выспался — признался извиняющимся тоном.

Он действительно и устал, и почти не спал: остаток вчерашнего дня и чуть ли не всю ночь обдумывал — лететь ли самому в Бухару или поручить руководство Микеладзе? Но, наконец, решил остаться: Малика важнее всех каримовых, ее заботы главной всех бухарских проблем. Потому и поехал он к Латыпову: пусть разыщет сына и приведет в «Советскую»...

— Ты что, совсем не пьешь? — спросил Хабибов, наливая в пиалу коньяк «Наполеон» из темной, пузатенькой бутылки, и выжидательно посмотрел на Вахида. — Или только со мной не хочешь?

— Вообще не пью, — с вызовом ответил тот. — Пьянство — это добровольное сумасшествие, сказал Аристотель.

— Сумасшествие? — Хабибов призадумался. — Правильно сказано, точно. — Запрокинул голову, вылил коньяк в рот, точно в воронку: только кадык дернулся. Внушительно погрозил Вахиду пальцем. — Никогда не пей, сынок. Во-первых, надо всегда иметь ясную голову...

Меланхолично пожевал маслину, глядя мимо Вахида, выплюнул через столик косточку. Решился. Вдруг дочка уже проговорилась про Тентака? А если нет, то сын Буриной все равно наверняка удивлен: что это за дурака держат на даче? Промол-

чать — значит, вызвать у Вахида настороженность, недоверие ко всему, о чем с ним будут говорить.

— А во-вторых,— хмуро продолжил Хабибов,— Аллах запретил употреблять вино и может покарать ослушника. Как наказал меня Тентаком.

«Здоровенный debil — его сын?» Вахиду вспомнилась камера, истовая молитва Абдурахмана. «Только не наказывай Малику,— мысленно попросил в испуге Вахид у Аллаха. И опомнился.— Да ведь она уже выросла!» Подумал, чуть не улыбку нарисовав, что такими дочерьми судьба не карает, а награждает людей. И еще подумал насмешливо, что становится не только мистиком, но и глупым: при чем тут мольба Абдурахмана, если тот просил об отмщении на прошлой неделе, а Тентак родился лет тридцать назад?

— Я был молод, горяч, держал жизнь за шиворот,— рассказывал между тем Хабибов.— Пил, гулял, ни о чем не думая. И ждал наследника. Мечтал передать сыну все, что знаю, все, что имею и умею. А Сония родила Тентака...

Нахмурился: не забылось, как отец Сонии хотел вмешаться, когда до него дошло, что зять Ахмаджон каждый день избивает жену, его — секретаря райкома! — дочь, за то, что родила такого сына. Пришлось тестю расстаться, и с кабинетом, и с партбилетом — по приказу из Ташкента отправился в Голодную степь заново зарабатывать авторитет.

— Вынужден был сказать ей трехкратное «талак»<sup>1</sup>. Совсем старухой стала после родов. Не могла больше детей иметь,— сдерживая зевоту, пробубнил Хабибов.— Потом была Надира. Родила такого же, как Тентак. Правда, Майиб прожил недолго, спасибо небу... Хочешь чаю?

— А за что вы Надирухон в тюрьму посадили? — вырвалось у Вахида, который при упоминании еще и о каком-то Майибе опять подумал об Абдурахмане и, конечно же, о камере, в которой сидел вместе со стариком-дехканином: оттого, наверное, и ляпнул про тюрьму.

Хабибов, не донеся до пиалы Вахида чайник, медленно опустил его на стол. Всплыло из прошлого — прижав подушку к страшному, красному, словно ошпаренному, лицу Майиба, душит его, отталкивая обезумевшую Надиру, которая, сорвав голос, сипит: «Пожалуйста, пожалейте, пощадите, я заберу сына, я уеду с ним, я спрячусь, вы ничего не будете знать о нас, вам не надо будет стыдиться своего ребенка!»

— Дочка про Надиру сказала? — Хабибов опять налил в свою пиалу коньяка.— Тяжелый у нас получается разговор, непривычный для меня. Никогда и не перед кем я не откровенничал, а тут вот...— Усмехнулся. Выпил. Зевнул, широко открыв рот.— В тюрьму Надиру не я отправил, а суд. За то, что этого самого Майиба подушкой придушила и меня хотела убить. А ведь в Коране сказано: «не убивай». И там же сказано: «люби ближнего», «не оставляй человека в беде». Поэтому я простил Надиру. Даже помог ей раньше освободиться, чтобы за Маликой присматривала. Рядом с девочкой обязательно должна быть взрослая женщина,— заметил внушительно,— чтоб учила, воспитывала.

«Ничего себе! Нашел воспитательницу — зэчку!» — удивился Вахид.

— А что же мать Малики? Ей не доверяли? — спросил осторожно.

— Она умерла. Во время вторых родов. Вместе с ребенком, мальчиком,— Хабибов поднял на Вахида сумрачный взгляд.— Теперь ты понимаешь, что значит для меня Малика? — И когда Вахид поспешно кивнул, поинтересовался почти злоеще: — Как ты к ней относишься?

— Хорошо. Как же к ней еще можно относиться? — судорожно проглотив слюну и глядя ему прямо в глаза, искренне ответил Вахид.— До знакомства с вашей дочерью я и не знал, что бывают такие девушки.

Суровое лицо Хабибова смягчилось, глаза его потеплели.

— Она к тебе тоже хорошо относится. Сама мне сказала. И мне ты нравишься. Хочешь стать ее мужем? — не отрывая взгляда от Вахида и не делая паузы, предложил все тем же ровным голосом.

— Я? Мужем вашей дочери? — поразился Вахид.

— Знаю, о чем подумал,— спокойно сказал Хабибов.— Мне не надо, чтоб ты меня любил. Главное, будь послушным. Меня никто не любит, кроме Малики, и что же? Я от этого плохо сплю?

— Ну почему же никто не любит? — торопливо возразил Вахид, думая о другом: о том, как бы заставить этого самоуверенного кабана поупрашивать, начать обещать золотые горы, и тогда уж!..— Я знаю одного человека, который каждый день молится за вас, просит аллаха, чтобы тот покровительствовал вам, оделяя своими милостями.

<sup>1</sup> Формула развода по законам шариата.

— Кто это? — Хабибов недоверчиво посмотрел на него. — Буриной, что ли?.. За отца своего беспокоиться? Хлопочешь, чтоб я не отвернулся от него? — Улыбнулся понимающе, одобрительно и, слегка повернув голову к двери, позвал: — Кулмурат! — А когда тот влетел, распорядился: — Налей нам чаю!

— Нет, я не об отце, — возмущенный таким предположением, Вахид с трудом сдержал дрожь в голосе. Чтобы не встретиться с глазами Хабибова, глядел в заполняющую чаем пиалу. — В камере вместе со мной сидел старик Абдурахман. За то, что покушался на вас и украл дыни. Он-то в каждой молитве и желал вам... долгой жизни.

— Абдурахман? Какой Абдурахман?.. О ком речь, Кулмурат?

Судя по тону, Хабибов был неподдельно озадачен, и Вахид растерянно посмотрел на него: неужто не помнит человека, которого отдал под суд? Хабибов вопросительно глядел на Файзиева.

— Абдурахман? — тот, сморщив лоб, задумался лишь на мгновение. — Это Мамаджонов из колхоза «Правда Востока», хозяин.

— И что, он в самом деле молится за меня? — Хабибов перевел на Вахида недоверчивые глаза.

— Зачем мне врать? — Вахид выдержал взгляд: «Может, клонет, может, облегчит участь того старика?» — Абдурахман очень религиозный. Настоящий правоверный. Он мне тоже все время повторял изречения из Корана: «возлюби ближнего», да и другие: «смири гордыню, будь кроток», «покорись властям и сильным, ибо они от бога». Бывают такие люди. Страдают, а обидчика не осуждают. Овцы. Кролики.

— Мамаджонов из «Правды Востока», Мамаджонов, — задумчиво пробормотал Хабибов. — Нет, не помню... Все, ступай отсюда! — приказал Файзиеву, и как только тот вышмыгнул в прихожую, выжидательно уставился на Вахида. — Ты не дал мне ответа, сынок. Я жду.

— Вы искренне просите о том, чтобы я женился на вашей дочери? — Вахид выделил слово «просите».

Его тон не понравился Хабибову. Он снова нахмурился.

— Я спрашиваю, — как и Вахид, подчеркнул интонацией сказанное, — хочешь быть моим зятем? Моим сыном?

— Можно, папа? Разрешишь? — пропел смиренный голосок.

Вахид всем телом развернулся к двери, в щель между створками которой просунула голову Малика. Она со смущенно-виноватым видом взглянула на отца, потом задержала взгляд на Вахиде.

Неуверенно вошла. Опять скромница, опять пай-девочка в белой блузочке, в белой полотняной юбке-миди, в белых туфельках. Волосы гладко зачесаны назад, заплетены в две тугие косы. Через плечо — лямка синей адидасовской сумки.

Вахид торопливо поднялся с кресла, встал рядом с ним, глядя внимательно, с раздумьем на Малику.

— Ой, Вахид, как хорошо, что я нашла тебя. Ты оставил у нас, — она шевельнула пальчиками по сумке на боку. — В институте мне какая-то девушка, злая истеричка, сказала, что ты уехал с отцом. Я и вернулась сюда. А внизу, в вестибюле, увидела твоего папу и догадалась, что ты... — Оборвала журчащий поток слов. Спросила без жеманства: — Я помешала вам? Вы что-то обсуждали?

— Твой отец просил меня взять тебя в жены, — четко выговаривая слова, ответил Вахид.

— Чего-о-о? О чем просил? — Глаза Малики округлились. — Мне замуж?.. И не думаю, и не собираюсь! — Повернула к отцу потрясенное, побледневшее лицо. — Папа, ты что, серьезно это затеял?

— Помолчи, дочка! — Хабибов властно поднял руку, словно отгораживаясь от Малики ладонью. — Ну и что же ты мне ответишь? — твердо спросил Вахида.

— Я не задумываясь взяла бы Малику, — так же четко выговаривая слова и не отрывая взгляда от начавшего темнеть, наливаясь кровью лица Хабибова, ответил Вахид. — У нее много достоинств...

— Прекрати немедленно! — возмутилась Малика. — Что это такое? Завели торг какой-то! Что я вам — вещь? Конь, которого покупают?!

— ...много прекрасных качеств, — подождая, когда она, задохнувшись от возмущения, смолкла, продолжил Вахид, не решаясь даже покоситься на девушку. — Но эти качества умерли. Потому что Малика ваша дочь. И восприняла ваши взгляды. А они мне противны. И вы, Ахмаджон Хабибович, мне противны. Лучше сдохну, чем стану вашим зятем.

— Да кому ты нужен, кто тебя в нашу семью возьмет? — Малика издевательски, но не очень уверенно, фальшиво, засмеялась.

Теперь Вахид выставил в ее сторону ладонь, требуя помолчать.

— Но я доволен этой встречей, — сказал, заставляя себя не отводить взгляда от

лютых глаз Хабибова. — Вы просили меня, я видел вас слабым. Я сказал вам «нет», когда вы привыкли слышать только «да». Я победил, я взял вверх, а вы проиграла. — Засмеялся. — Неужели вы вправду думали, что моя кровь может слиться с гнилой кровью вашего рода? Мне такое и представить-то страшно...

— Что ты себе позволяешь?! — уже неподдельно зло выкрикнула Малика. — Кто ты такой?! Да ты... — Но отец перебил ее:

— Торжествуешь? — спросил Вахида, точно выдохнул. И заулыбался. — Дурак. Торжествовать всегда буду я. Кулмурат! — окликнул негромко, и как только Файзиев появился, приказал: — Зови Хасанова!

Вахид, невольно проследив за взглядом Хабибова, столкнулся с такими ненавидящими глазами Малики, что слабость сразу, волной, наполнила его. «Зачем я все это? — мелькнуло огорченно. — Спектакль, мелодрама, пижонство: и слова мои, и интонации», — но раскаяния не было: сказал, что думал, сделал, как хотел, как наметил.

— Ты, мальчик, много о себе возомнил, — свистяще прошипела Малика. — Я от скуки разрешила тебе побыть рядом с собой, а ты, ничтожество, вообразил невесть что. Забери свою дешевку, — сорвала с плеча ляжку сумки. — От этой копеечной подделки воняет нищетою и жалкими потугами быть равным мне, дочери Хабибова!

Презрительно швырнула в лицо Вахида сумку. Кувыркаясь, она просвистела рядом с его головой. Из сумки, не застегнутой вчера на замок-молнию, вылетела электробритва, выпали, плавно опускаясь, трусы и футболка. Вахид поймал их и, чувствуя, как распирает его бешенство, растянул в руках трусы, потом и майку.

— Как же тебя в жены брать, если то, что порвала, не зашила, резинку не вставила? — спросил насмешливо. — Любвица ты, конечно, хорошая, а жена никудыш... — и не договорил.

Хабибов взревел, сшиб столик и с ножом, которым до появления дочери чистил апельсин, обрушился на Вахида. Вахида спасло то, что в прыжке отец Малики задел кресло и дернулся в сторону. Кресло опрокинулось, пригнувшийся к полу Вахид — тоже. Хабибов всей своей массой рухнул на него, придавая ему голову животом, и это тоже спасло Вахида — нож, ища его тело, беспорядочно тыкался вокруг, рассекая, полосуюя ковер. Малика взвизгнула, метнулась к отцу.

— Ты же убьешь, зарежешь! — она пыталась схватить отца за руку. — Оставь, не надо, успокойся!

— Потаскуха! Опозорила! — Хабибов, отбросив нож, выкинул к ней руки, вцепился в юбку, дернул дочь к себе.

С хрустом лопнул шов корсажа, прыснули пуговицы; Малика упала на спину и, отбиваясь, суча ногами, выскользнула из юбки. Вскочила, хватая беззвучно воздух ртом, и, согнувшись, вытаращив глаза, прикрывая ладонями черные кружевные трусики, пулей выскочила за дверь, чуть не сбив Файзиева и милийского лейтенанта.

Хабибов, сжимая в кулаке юбку, рывками полз к двери, за которой скрылась дочь. Попытался подняться, но Габидзе и Спириин, навалившись на него, вцепившись в руки, прижимали к полу.

— Нэ нада, хозаын, нэ отмажэшься послэ, — пыхтел Гиббон. — Дочыка нэ выновата. А этого, — он с силой ударил каблуком в грудь приподнимавшегося Вахида, — я сам замочу. Потом. Одын на одын.

— Тихо, тихо, патрон, — просил и Штирлиц. — Побольше выдержки, поменьше эмоций. Надо все делать с холодной головой.

— Это ты виноват, — Хабибов, изловчившись, ударил его макушкой в скулу. Тебе доверили оберегать дочку, а ты!

Попытался ударить снова, но увидел перед носом черные ботинки, форменные милийские брюки и угомонился.

— Прекратить безобразия! — фальцетом закричал лейтенант. — Вы что, сдурели?! Да я вас за такое... под вышку подведу!

Оттолкнув вставшего Вахида, подскочил к креслу, поднял его, установил. Шаркнул ладонью по сиденью, как бы стирая с него пыль. Заулыбался Хабибову.

— Прошу. Садитесь, пожалуйста, Ахмаджон Хабибович, сейчас приступим. — Перешагивая через пиалы, тарелочки, оскальзываясь на раздавленных фруктах, поспешил к столу у окна. Уселся за ним, деловито раскрыл планшетку, вынул бумаги, ручку. — Что будем оформлять? Хулиганство? Кражу? Нападение с агрессивными целями? — поинтересовался озабоченно, даже не взглянув на Вахида, который, прижимая руки к груди, поднимался с пола.

— Изнасилование дочери! — решительно объявил Хабибов.

Габидзе и Спириин уже усаживали его бережно в кресло. Файзиев, успевший за это время поставить столик и рассматривавший на просвет коньячную бутылку — осталось ли там что-нибудь? — нагнулся к Хабибову. Зашептал ему что-то в ухо, сделав сочувственное лицо.

— Так ей и надо, пусть все видят, все знают! — рявкнул тот, не дослушав. — Я ее, блудливую тварь, из дома выгоню, камнями прикажу забить, как собаку! Пиши: изнасилование! — грозно повторил лейтенанту, бездумно пялившемуся на него, и закончил вне всякой логики с только что сказанным: — Пусть люди знают: она не виновата, что не девушка. Ее обесчестили, над ней надругались. Вот доказательство!

Протянул было в сторону лейтенанта юбку, но, задержав руку, задумался на миг. И размахисто, с плеча, ударил кулаком, в котором была зажата юбка, в нос угодливо застывшего рядом Файзиева. Тот отшатнулся назад, крепко зажмурился, плаксиво сморщился, но не отскочил, не взвыл. Хабибов, тыча ему в лицо юбкой, старательно вымазал ее в обильно струившейся из носа Файзиева крови. Скомкал юбку, кинул ее на стол лейтенанту.

— Вот свидетели, — показал взглядом на Файзиева, только теперь решившегося прижать к носу рукав кителька, на Габидзе и Спирина, изваяниями застывших около кресла. перевел тяжелые, холодные глаза на Вахида. — А этому раскрути на всю катушку. Пусть тюрьмой хоть немного прикроет стыд моей дочери, то, что она... — Всмотрелся в Вахида, скрипнул зубами. — Радуешься, что насмеялся надо мной?

Дернулся, чтобы вскочить, но Габидзе опередил. С разворотом, в резком выпаде сунул кулак в лицо Вахида, но тот успел уклониться, а нога его, сама, рефлекторно, ударила в промежность кавказца. Тот захлебнулся своим воплем: перехватило дыхание. Переломился, однако тоже, повинувшись рефлексу, закрепленному к тому же профессиональной тренированностью, сумел поймать ногу Вахида, крутануть ее. Вахид упал. А сзади на него уже успел насесть Спирин — сдавил ему горло удушающим захватом сгиба руки, отдирая голову.

Лейтенант поднял лицо от бумаги, притворно равнодушно, но с заинтересованно заблестевшими глазами поразглядывал Вахида и лишь когда тот захрипел, когда у него вывалился в кровавой пене язык, выпятились, стекленея, глаза, прикрикнул:

— Хватит! Придушите, а мне отвечать?.. Я кому сказал: хватит! — гаркнул уже грозно, когда Габидзе, всунув пальцы в рот Вахида, начал разрывать его.

Вскочил. Пнул в бок кавказца; тот, оставив Вахида, рванулся к лейтенанту, но сообразив, что к чему, сдержал себя. Выпрямился, стоя на коленях. Спирин тоже отпустил Вахида, легко, пружинисто вскочил на ноги. Весело посмотрел на Хабибова, ожидая поощрительной улыбки. Но тот на него не глядел. С постаревшим лицом он, криво держа пиалу, из которой тоненькой струйкой лился на брюки коньяк, потухшими, мертвыми глазами смотрел на Вахида.

Габидзе и лейтенант уже поставили того на ноги. Вахид с трудом поднял голову — горло болело, словно туда затолкали шипастый ком; в ушах звенело, перед глазами, утратив четкость, все плыло, покачивалось в серо-красном мареве. Вахид попробовал дерзко усмехнуться Хабибову, но губы состоящие, казалось, из сплошной боли, не слушались, одеревенели.

Буривой Талгатович измаялся, ожидая, когда его позовут к Хабибову. Снова полистал газеты, которые купил в киоске, — не пропустил ли чего интересного? Увы, ничего. Поднял от газет глаза и оцепенел: увидел сына. Тот, с наручниками на запястьях, поддерживаемый двумя хабибовцами, шел, как пьяный: ноги подгибаются, мотается голова. Следом семенил с постным видом Файзиев.

На какое-то время Буривой Талгатовича парализовало. Хотел вскочить — не смог; даже вскрик не получил — вырвалось какое-то шипенье. Только когда Вахида подвели к выходу и швейцар бесстрастно открыл дверь, Буривой Талгатовича подбросило со скамеечки — в нем точно взорвалось что-то, опалив изнутри, прошив раскаленными струями тело, онемевшие руки, ноги.

Отшвырнув газету, Буривой Талгатович рванулся вслед за сыном.

Выскочил из гостиницы. Вахида уже подводили к хабибовскому «газику», за рулем которого, опередив группу, пристраивался Файзиев.

— Что вы делаете? Куда вы моего сына? За что?! — Буривой Талгатович схватил за плечо лейтенанта, резко развернул его к себе.

Лейтенант цапнул его руку, сорвал с погона, глянул уничтожающе, но Буривой Талгатович смотрел не на него, а на сына. Вахид, услышав голос отца, поднял лицо. Ужас, ужас — не лицо, маска! Перекосившееся, левая половина вздулась, налилась синевой, в подглазьях набухли черные мешки, губы разбиты, в запекшейся крови. В мутных глазах Вахида появилось слабое отражение осмысленности.

— Матери помоги, — силпо попросил он. — Денег ей дай, у нее нету...

Но хабибовцы, не дав договорить, впикнули его в машину; лейтенант, пригнувшись, тоже полез туда; Буривой Талгатович вцепился ему в бока, потянул милиционера назад.

— Куда вы его? — теперь он уже орал. — За что вы его так?

Но лейтенант, свирепо зыркнув через плечо, оттолкнул Буривой Талгатовича

ногой, а хабибовцы, схватив его за предплечья, отшвырнули от машины. И «газик» умчался.

— У-а-а-а! — взвыл Буриной Талгатович.

Сгорбившись, сжав кулаки так сильно, что заныли пальцы, бросился назад, в гостиницу.

Влетел в номер Хабибова. Взгляд зафиксировал разгром — растоптанную еду, раздавленные фрукты, разбитые пиалы, чайник, — но сознание не задержалось на этом.

— Что вы сделали с моим сыном, Ахмаджон-ака?! — подскочив к креслу, выкрикнул, брызжа слюной, Буриной Талгатович. — За что избили, почему милиция, почему наручники? Опять самодурствуешь? Ханствуешь? Больше у тебя это не пройдет, сейчас я придушу тебя!

И, широко растопырив пальцы, потянулся к Хабибову, но Габидзе и Спирин схватили Буриной Талгатовича за руки, заломили их.

— Я все равно разделаюсь с тобой, выродок! Я убью тебя за Вахида! — дергаясь, вырываясь, шипел Буриной Талгатович, не отрывая остановившихся свирепых глаз от Хабибова.

— Заткнись! — тот резким движением плеснул ему в лицо коньяк из пиалы. — Твоего сына я раздавлю, как гниду. А заодно и тебя. — Задыхал так, что грудь заходила ходуном; смотрел тоже свирепо, не мигая. — Завтра тебя выбросят из партии, снимут с работы, направят в посудомойки. И не вздумай тунеядствовать за счет наворованных денег. Иначе посажу тебя, как и твоего недоноска!.. Вышвырните его отсюда, вытолкайте в шею! — приказал хрипло.

Габидзе и Спирин дернули руки Буриной Талгатовича вверх — от боли он низко, как в глубоком поклоне, согнулся. Хабибовцы развернули его и, то один, то другой подгоняя под зад коленом, вывели.

Хабибов подождал, когда стихнут шаги. Хотел подняться, чтобы взять в холодильнике новую бутылку коньяка — надо выпить, успокоиться, — и не смог: ноги не держали. Наложил ладонь поверх пиалы, сдвинул ее — фарфор захрустел, осколки глубоко и больно вонзились в руку. Лицо Хабибова перекошилось, задергалось. «Отыгрался все-таки мальчишка, отомстил и за мать и за себя. Да еще как отомстил!» — в глазах у него зашипало: впервые в жизни к ним подступили слезы. И тоже впервые в жизни он не устыдился бы, если бы заплакал. Может, отпустило бы удушье, может, стало бы легче. Но ничего не получилось, плакать Хабибов не умел.

## ЭПИЛОГ

31 октября ушел из жизни Отахон — Шараф Рашидович Рашидов, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, четверть века беспрерывно возглавлявший Коммунистическую партию Узбекистана.

Люди, как требует обычай и естественное человеколюбие, сострадание, поскорбели, прощаясь с Первым среди равных, и стали ждать перемен — уходила одна, брежневско-рашидовская, эпоха, наступала другая. Какая? Верилось, еще более лучшая, светлая.

Неделю-другую после кончины Отца нации жили надеждами и в местах лишения свободы. Мечтали об амнистии. Все, в том числе и Вахид. Амнистию не объявили.

Суд на Вахидом состоялся быстро, как только сошли синяки, полученные в гостинице и во время следствия. Статью ему сменили. Обвинили всего лишь в попытке изнасилования, посягательстве на честь и достоинство гражданки Хабибовой Малики Ахмаджоновны и в циничном, особо дерзком и злостном хулиганстве; не фигурировала в качестве вещественного доказательства и юбка — все-таки Хабибов одумался и не стал позорить дочь. Вахид виновным себя не признал ни на следствии, ни на суде.

И Малика, и ее отец на процесс не явились. Интересы потерпевшей представлял на западный манер, адвокат: ввиду того, что гражданка Хабибова М. А. после перенесенного потрясения находится на лечении в санатории. Сообщения адвоката Малики, подтвержденное медицинским заключением, вызвало у Вахида настолько острое чувство жалости к ней, что он отказался от последнего слова, в котором собирался еще раз, уже не для следователя, а только для матери, сидевшей в зале, рассказать, как все было на самом деле. Приговор Вахид выслушал рассеянно — думал о Малике, а она в это время лежала на закрытом для посторонних гурзуфском пляже и любовалась очередным своим дружкой, красавцем Сигурдом Олаф-

соном, с грустью сознавая, что скоро этот лжешвед, какой-нибудь Сидор Олсуфьин по паспорту, обворует ее, дурачок, и вместо того, чтобы получить за любовь намного больше той, может, тысячи, которую украдет вместе с двумя-тремя ювелирными безделушками, будет скрываться, лишив себя и ее ласки и этого пляжа.

Получил Вахид пять лет общего режима. И никто, кроме обвинителя, районного прокурора, судьи, адвоката потерпевшей — из которых каждый, разумеется, знал только о своей встрече с отцом обвиняемого, — не подозревал, во что обошелся этот приговор Буривою Талгатовичу: резерв в его кейсе-«миллионнике» поубавился.

После того, как Вахида увели под конвоем из зала суда, к Гульноре Саматовне подошел защитник Вахида, председатель областной коллегии адвокатов Гребер. Посочувствовал, заверил: сделал все, что мог, приговор самый мягкий, какого только можно было добиться. «Вы же сами, Гульнора Саматовна, слышали показания свидетелей Файзиева, Габидзе, Спирина, лейтенанта Хасанова — на десять лет строгого тянули!» И неожиданно предложил ей работать у них, в юридической консультации. Как ни отстраненна была раздавленная горем Гульнора Саматовна, последние слова Гребера прорвались в ее заблокированное трансом сознание. Все время после ареста Вахида, в промежутках между кошмарными бессонными ночами и попытками днем как-то связаться с сыном, чем-то помочь ему, искала она работу. На предприятиях, в организациях, учреждениях, где требовались консультанты, ее встречали радостно, но окончательное решение всегда обещали дать на следующий день, а когда Гульнора Саматовна приходила на следующий день, отказывали.

О том, что за нее хлопотал Буривой Талгатович, Гребер, естественно, промолчал; о том, в какую сумму денег обошлось Латыпову трудоустройство его бывшей жены, тем более не сказал. Договорившись, что Гульнора Саматовна завтра же приступит к исполнению своих новых обязанностей, Гребер удалился с Буривым Талгатовичем, чтобы получить вторую часть гонорара за защиту его сына.

Буривая Талгатовича уволили не на следующий день после избияния Вахида в гостинице, как пообещал Хабибов, а через три. Вызвал Ишанбаев, заведующий торговым отделом обкома партии, и, объяснив, что и в исполкоме, и во всех инстанциях вопрос согласован, решение одобрено, зачитал приказ об увольнении товарища Латыпова Б. Т. с занимаемой должности «за использование служебного положения в корыстных целях и нарушение норм коммунистической морали». Предупредил, что если Буривой Талгатович вздумает протестовать, возмущаться, оспаривать приказ, на него заведут уголовное дело: хищения, развал работы. Буривой Талгатович не протестовал, не возмущался, не оспаривал. Бывший его заместитель Махкамов предложил должность заведующего производством кафе «Умид» в старой части города. Буривой Талгатович еле вспомнил, что это такое, — самая захудалая столовка, едва-едва вытягивающая план, он ее даже теневым налогом никогда не облагал, собирался закрыть, да все тянул, откладывал: в том микрорайоне больше ни одной точки общепита не было. Оказалось, сберег такую мерзость для себя.

Но сильно Буривой Талгатович не расстроился. Впереди — подумал о том с облегчением, чуть ли не с радостью, — ждет новая жизнь: не надо будет пугаться, как посмотрит на него тот, что подумат о нем этот. Станет потихоньку работать, а по вечерам заниматься любимой историей, помогать Юлдуз в ее исследованиях эпохи великих Моголов, подбирать материалы для диссертации жены.

Но о диссертации пришлось забыть. Через несколько дней после того, как Буривая Талгатовича уволили, отчислили из аспирантуры Юлдуз. За неактуальность темы диссертации: в нашей стране нет проблемы межнациональных отношений, а значит, нет и необходимости в научных исследованиях. У Юлдуз после такого решения ученого совета произошло «самопроизвольное преждевременное прекращение беременности из-за сильного психического потрясения», как было отмечено в справке врача. Вернувшись из больницы и немного придя в себя, Юлдуз не стала испытывать судьбу, а пошла работать вместе с Буривым Талгатовичем в кафе «Умид», чтобы быть всегда рядом с мужем...

Хабибов, когда узнал, какой приговор вынесли Вахиду, озверел. Адвокат Малики еле-еле оправдался, свалив все на прокурора и судью, проявивших непонятную либеральность, и на виртуозную защиту Гребера — наверняка Латыпов-отец обработал их. Хабибову это показалось убедительным. А вскоре ему и вовсе стало не до Вахида: назревало что-то неслыханное и невиданное, непонятное и тревожное. Неожиданно, чего раньше никогда не бывало, вызвал к себе Рахимов и в доверительной беседе предупредил, что в Узбекистане начали работать московские ревизоры: разбираются с поставками хлопка на текстильные фабрики Центральной России. Из достоверных источников известно, сказал Рахимов, что в поле зрения комиссии попало и производственное объединение «Сангам». Попросил, если есть какие-нибудь недочеты, упущения, привести все в порядок. Предупреждение не

встревожило Хабибова — Отахон в обиду не даст! — хотя и озадачило: что за комиссия, насколько это серьезно?

Вернувшись к себе после беседы с Рахимовым, Хабибов позвонил по прямому проводу Отахону. Тот, чего за ним почти никогда не замечалось, был явно обеспокоен: москвичи уже вскрыли и продолжают вскрывать крупные приписки по хлопку — выяснилось, что из обещанных стране шести миллионов тонн около полуотера миллионов есть только на бумаге; Политбюро собирается прислать группу ответственных работников, чтобы те выяснили реальное положение дел в республике; в Бухаре тоже неприятности, «музаффаровское» дело, которое еще в июне перешло к следователям по особо важным делам из Прокуратуры СССР, разрастается, наполняется новыми фактами коррупции.

Хабибов занервничал. Велел Файзиеву перепроверить отчетность по хлопку, по связям с Бухарой. Файзиев даже оскорбился — все, дескать, в полном порядке, хозяин. Зачем обижаете недоверием?

И вот Шараф Рашидович ушел в вечность, в бессмертие. На похороны вождя узбекского народа прилетел и Ульмас Джураев. Был, как полагается, траурно печален, но с дядей, с Хабибовым, держался предупредительно, подобострастно, в рот заглядывал, ласкового слова ждал. После ноябрьских праздников Джураев, закончив учебу в Москве, вернулся на родину. Стал помощником второго секретаря обкома, который, как положено, был русским и имел свои, непосредственные связи с ЦК КПСС. В конце ноября Джураев внезапно, без предварительного договоренности, приехал глубокой ночью домой к Хабибову и выложил невероятное: московская комиссия, изучавшая положение с заготовкой и поставками хлопка, передала материалы в Прокуратуру СССР, и там решили: наряду с другими хозяйственниками привлечь к уголовной ответственности за приписки и Ахмаджона Хабибовича Хабибова, генерального директора производственного объединения «Сангам». Сказанное удивило Хабибова: кто посмеет его арестовать? «Посмеют, — горестно пообещал Ульмас. — Я точно знаю, вас уже лишили депутатской неприкосновенности в Москве и в Ташкенте. Вам надо скрыться, сменить фамилию». Такое предложение показалось Хабибову дурацким, нелепым, диким: он, как мелкий жулик или мошенник, будет где-то прятаться под чужим именем? Отказавшись от своего? Зачем тогда создавал его? Зачем тогда вообще жить — неведомо кем, неведомо где? Он — Хабибов! И Хабибов он только здесь, в Узбекистане! Долго беседовали они. Почти до утра убеждал Джураев дядю подготовиться к самому худшему, умоляя никому не проговориться об этой встрече, иначе его не только в аппарате не оставят, заведующим клубом в глухой кишлак не пошлют, а на своем посту он еще сможет пригодиться. Уговаривая Хабибова, предложил даже сделать упреждающий ход, чтобы оставить ни с чем московских следователей, — пусть вас, дядя, за какое-нибудь незначительное финансовое нарушение, за халатность, например, арестуют местные органы, судит местный суд. Тогда можно будет обеспечить щадящий приговор. Дадут, допустим, годика два. Правда, условно и с отсрочкой, к сожалению, не получится, придется с изоляцией от общества, чтобы люди Прокуратуры Союза не были в претензии. «Разменять срок, как говорят в преступной среде», — застенчиво пояснил Ульмас. А до этого надо подготовить всю документацию так, чтобы, если вскрыется что-нибудь серьезное, отвечал за упущения кто-то другой, заместитель: предположим, верный Файзиев. «Все бумаги и так он оформлял, — заметил хмурый Хабибов. — Ни на одной расписке, ни на одной накладной нет моей подписи». Он не поверил племяннику — нет, не может быть, чтобы его, Хабибова, осмелились судить, обманул кто-то Ульмаса, — но на всякий случай, поразмыслив, выдал ему папки с компроматом: на его начальника, второго секретаря обкома Сукачева, на Гаппарова, на Рахимова. Поколебавшись, отдал еще две: на Министра внутренних дел Эргашева и на... нового Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усманходжаева. Пусть и этих людей племянник держит в руках, они помогут ему, если в его борьбе за дядю появятся трудности. Папку, заведенную на покойного Отахона, Хабибов здесь же, в присутствии Джураева, сжег — друзей, тем более, успевших, не предают. У Джураева, получившего такой материал, голова пошла кругом и от страха, и от ответственности. Но еще больше закружилась она, уже от радости, когда дядя передал ему чемоданчик-кейс с деньгами на текущие расходы и три сберкнижки на предъявителя. Увидев размеры вкладов, Джураев чуть не потерял сознание. «Если понадобится еще, когда меня... посадят, — Хабибов засмеялся над этим словом, как над удачной шуткой, — возьмишь у бригадира колхоза «Правда Востока» Абдурахмана Мамаджонова. У него же будут улики против остальных. Вот список, — подал ученическую тетрадку, полистав которую, Ульмас опять чуть не потерял сознание: какие должности, какие фамилии! — Я сегодня же вывезу свой архив к Мамаджонову, пусть спрячет. Он предан мне, как дворянтя. Скажу ему, чтобы тебе, только тебе, выдавал все, что потребуешь. Мало ли что понадобится: может, золото, всякие кольца-мольда для жен нужных лю-



дей». Ульмас понял, что может стать владельцем неведомых, но, очевидно, немалых богатств, и у него мелькнула неожиданная мысль: а не засадить ли дядю до конца его дней? Но Джураев переборол этот соблазн — дядя на воле даст намного больше. Он повалился в ноги Хабибову, схватил его руку, принялся целовать: «Спасибо за доверие, дядя. Я пыль под вашими ногами, раб ваш, должник навеки. Спасибо, что за слова мои не выгнали меня из дома, что выслушали мою информацию, приготовьтесь».

В январе все-таки приехала в Узбекистан группа товарищей из ЦК КПСС, чтобы составить представление о политическом и экономическом положении республики: случилось то, чего так опасался покойный Рашидов. И вскоре полного сил, пышущего здоровьем Рахимова отправили на пенсию. Его место занял Сукачев Егор Фомич, второй секретарь обкома. Джураев стал заведующим отделом оргпартрabajo. В том же месяце был снят с работы Первый секретарь Бухарского обкома партии Абдувахид Каримов. А через несколько дней после этого арестовали Хабибова. Он к тому времени уже подготовился к возможным неприятностям: значительную часть сбережений перевел на счета Надиры, Сони и, конечно же, в разных сберкассах, на имя Малики; другую часть накопленного отдал на хранение надежным людям, в том числе и верному до гроба, благодарному Абдурахману Мамаджонову; дачу «Бурот Уяси» переформил на Сонию с сыном Тентаком, дачу «Шодлик» — на Надиру, дачу «Русчи уйи» — на Малику. Арест Хабибов принял равнодушно, но когда узнал во время следствия, что умер Генеральный секретарь Андропов, взбунтовался. Был убежден: тревожные времена кончились, в республике все вернется в привычную колею — дряхлый, больной аппаратчик Черненко не захочет потрясений, пусть даже и в далеком Узбекистане. Для нового Генсека главное — чтобы в стране все было тихо, внешне пристойно, как при его покойном друге Леониде Ильиче Брежнев. Но следователь не разделял оптимизма Хабибова. Сомневался. Говорил: неизвестно, что будет дальше, разоблачения в республике начались широко и глубоко, теперь их не остановить. Лучше получить маленький срок, уверял, лучше переждать сумятицу в сторонке, а там видно будет. И Хабибов дал согласие на суд над собой. Обвинили его в «халатности, выразившейся в ослаблении контроля за деятельностью хлопкоочистительной фабрики производственно-объединения «Сангам», в результате чего стали возможными невыполнения плановых заданий по обеспечению текстильных предприятий сырьем». Приговор: три года лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. И повезли Хабибова туда, где отбывал наказание Вахид.

Колония эта в системе исправительных-трудовых учреждений числилась на привилегированном положении. Здесь сидели крупные хозяйственники-растратчики, проворовавшие управленцы, нарушившие закон сотрудники правоохранительных органов, суда, прокуратуры — все те, кому не удалось по тем или иным причинам ускользнуть от кары, но которых, для их же безопасности, нельзя было содержать с уголовниками, не занимавшими на свободе исключительного положения. Работали осужденные на кирпичном заводе с западногерманским оборудованием. Самые солидные, уважаемые на воле, числились в сувенирном цехе — лепили блюда, горшки, кувшины, покрывали их глазурью: шли ли эти изделия в торговлю, неведомо, потому что продукция получалась корявая, уродливая. Зэки попроче, рангом ниже отбывали повинность на производстве кирпича. Здесь работали исключительно милицейские, судейские и прокурорские неудачники, умудрившиеся попасть под статью и получить срок. Хрустальной мечтой этих людей было — перебраться в цехи или хотя бы на кирпичный склад, поэтому были они злы, подозрительны друг к другу: вдруг кто-то из отряда сумел словчить, угодить оперу, режимнику, замполиту, выслужиться перед ними, и этого проныру выведут из карера? Сюда-то и определили Вахида. А ему было все равно. Позже, когда он освоился в зоне, даже обрадовался, что попал в карьер: здесь платили больше. Значит, больше можно посылать матери. Он, сориентировавшись в местных правилах, попросил, чтобы деньги, оставшиеся после вычета на содержание и «на ларек», не помещали на лицевой счет, а отправляли Латыповой Гульноре Саматовне. Но это — потом. А сначала ему было не до того. Сначала ему вообще ни до чего не было ни интереса, ни дела.

Режим в колонии поддерживался мягкий. По сравнению с другими зонами. Не было здесь ни произвола администрации, ни беспредела заключенных. Но Вахиду не с чем было сравнивать. Да и не имело для него значения, легче ли здесь, лучше ли, чем в других местах лишения свободы. Все равно — колючая проволока над забором, вышки по углам, собаки, конвой, черная роба с биркой на груди, поверки, жесткий распорядок, строй, шмоны: НЕСВОБОДА! На пять лет. Пять бесконечных, беспросветных лет. И что будет после них? Ничего. Руины планов, развалины надежд. Пустота, мрак. Будущего нет.

Хотя в этой, без рецидивистов, колонии лагерные законы в среде осужденных

проявлялись слабо, все же они были. Потому что были сильные и слабые, богатые и бедные, властвующие и гонимые. Особенно жестко указывали каждому на его место в третьем отряде. Решили и Вахида — кто он, каков он? — проверить. На свою беду. Он уже знал, что в отряде собрали бывших милиционеров, юристов, и, ненавидя их за то, что с ним сотворили такие, как они, за то, что вычеркнули его из жизни, избивал напавших безжалостно и с наслаждением. Подвернулся черенок лопаты — уродовал попадавших под руку черенком, как когда-то в детстве уличных пацанов. Его испугались. Поняли — этот бешеный парень поставил на себе крест, ему не страшны ни «раскрутка»<sup>1</sup>, ни увечья, ни даже смерть. Когда Вахид вышел из шизо<sup>2</sup>, к нему больше не подступались. Его — молчаливого, с остановившимися, неживыми глазами — откровенно боялись. Здесь никогда не было никакой «отрицаль». Вахид стал первым. И все же его со временем сделали бригадиром: работал он на износ. А когда узнал, что оплата зависит и от производительности других, заставил и этих других работать. Глиняный карьер перестал быть самым слабым звеном в технологической цепочке. И администрация отступилась, перестала вербовать осужденного Латыпова в активисты-общественники: сумел отряд подчинить, выполнят они показатели, и ладно. Правда, свидания с родными осужденному Латыпову запретили. Вахид был только рад этому: не хотел, не мог встречаться с матерью. Первое время даже письма не читал. Ни от нее, ни от отца. Опасался, что не выдержит, расслабится, утратит ту внутреннюю оледенелость, в которой только и видел спасение, надежду, что не вздернется или не вспорет себе вены.

Потом стали приходиться письма от Майрам. Первое время Вахид тоже не хотел даже и распечатывать: начнет расписывать про институт — тяжело читать. Но все же вскрыл конверт, чтобы посмотреть: у кого Майка узнала адрес? Так и думал: у матери. Не заметив, прочитал все письмо. Умница Маечка, об институте — ни слова. Рассказывала, как жила на каникулах в кишлаке, как работала в колхозе, писала о каких-то неведомых братьях, сестренках. Второе ее письмо Вахид читал уже спокойно: опять какие-то мелкие домашние радости, неприятности, огорчения. Ответил ей. Майрам стала писать чуть ли не каждый день. Получилось что-то вроде эпистолярного дневника. Вахид привык к этим письмам. Со временем они стали самой большой его радостью. Начал читать он и письма матери, отца. Хотя настроение после этого и портилось. Мать призывала терпеть, крепиться, верить в справедливость, ждать пересмотра дела, о чем усиленно хлопочет; просила не присылать денег, она работает, у нее все есть, зарплаты ей хватает, а тебе, сыночек, когда освободишься, деньги пригодятся. Отец советовал не вешать носа, не унывать, он тоже через Гребера занимается кассационными проблемами. Отцу Вахид отвечал скупое: жив, здоров, спасибо за посылки. Вахид начал оттаивать. Чтобы не тосковать, отвлечься от тяжелых дум, навалился на книги. Библиотеку в колонии подобрали приличную, в расчете на то, что осужденные, бывшие до этого избранными, а значит, и культурными людьми, заскучают без духовной пищи. Но заключенные, даже самые уважаемые когда-то, читали только газеты. Выискивали в них намеки на возможную амнистию. В любой зоне только этой надеждой и живут. Так что книги брал, пожалуй, один Вахид. И начал он с «Преступления и наказания» — в библиотеке оказалось полное собрание сочинений Достоевского: серые, новенькие, никем не листанные тома. Времени на чтение почти не оставалось — распорядок, распорядок! К тому же, уставал Вахид, как последний доходяга, хоть и втянулся уже в работу. Да и где читать? В бараке, в этом шалмане? Но «Преступление и наказание» проглотил Вахид, сам не заметил как, за неделю. И три дня ходил ошалелый. Потом принялся за «Записки из Мертвого дома». Не понравилось. Посмотрел бы Достоевский на нынешних эзков, не кудахтали бы сочувственно о человечности-бесчеловечности. Рекомендованные ФЭМэ факультативно «Записки из подполья» и «Бесы» не решался Вахид читать. Пока. Отложил на потом. Боялся разочароваться в Достоевском, как после «Записок из Мертвого дома». Взаялся за «Братьев Карамазовых» — об этой книге Владимир Яковлевич много говорил на лекциях. Еле одолел. Но, закончив, опять несколько дней ходил обалдевший. Потом был «Идиот». И снова — двое-трое суток не мог прийти в себя. Началось возрождение Вахида.

Когда пригнали этап с Хабибовым и Вахид увидел среди новеньких своего врага, то сперва глазами своим не поверил. И мать, и отец писали, что всесильного Ахмаджона арестовали, но Вахид не думал, что его посадят. Не сомневался — Хабибов выкрутится.

Опомнившись, Вахид вплотную подошел к Хабибову. Медленно, внимательно оглядел его с головы до ног. Хабибов взгляд выдержал, в глазах не было ни испуга,

<sup>1</sup> Суд за преступление, совершенное уже в местах лишения свободы.

<sup>2</sup> Штрафной изолятор.

ни растерянности, только скука. Вахид, скопив во рту побольше слюны, сплюнул ему на один башмак, на другой. Мужики из бригады заржали, загоготали, захихикали — Вахид был уже полным, непререкаемым авторитетом в отряде.

Весь день раздумывал Вахид — потолковать ли с Хабибовым, или — ну его в очко, пусть дрожит, ожидая с часу на час расправы? Но когда на утреннем разводе узнал, что Хабибов получил наряд на работу в библиотеку, а прежнего библиотекаря, хилого старичка Каскадера, профсоюзного деятеля, сбившего машинной женщину, перевели на сортировку кирпича, Вахид взъярился: бугай Хабибов, Кабан, отхватив непильную, самую придурочную работу, собирается и здесь верхушку держать?

После работы он решительно отправился в библиотеку. За ним, ожидая, наверное, потехи, потянулся и кое-кто из бригады. Хабибов вошедших встретил спокойно. «Ну что, падла, — сказал сквозь зубы Вахид, — пришло время платить долги. Я ничего не забыл». «Если есть возможность, плати», — снисходительно разрешил Хабибов. «Так вот, тварина, окучивать я тебя, старика, не буду. Но прощения ты у меня попросишь, соплей нахлебаешься. — И рывкнул: — На колени, гад! Ползи ко мне, скули, что раскаиваешься!» «На колени, так на колени, — согласился Хабибов. — Становись».

От сильного удара в затылок у Вахида почернело в глазах. Очнулся он, уже стоя на коленях, лбом в пол, с руками, заломленными чуть ли не выше головы. Хватку ослабили. Вахид посмотрел вправо, влево: правую руку держал Огарок (статья: изнасилование малолетней), левую — Батон (статья: превышение необходимой обороны). «Тихо, тихо, бригадир, — шипели они, — не крути башкой, а то шею свернем». Вахид поднял глаза на Хабибова. Тот улыбался.

— Говоришь, ничего не забыл? — спросил ласково. — Сомневаюсь. Ты забыл главное: я — Хабибов. Я не замнач по режиму, не замполит, не начальник отряда, но я был, есть и останусь Хабибовым. Вы называете «хозяином» начальника колонии. Ошибаетесь, хозяин и здесь я! — Смолк, посмотрел задумчиво на Вахида. — Ладно, «раскрутку» тебе оформлять не буду. Посидишь в буре<sup>1</sup>, подумаешь. Может, все же поуменьшь.

В ПКТ Вахид пробыл около месяца. Вышел оттуда усохший, шатаясь, еле волоча ноги от истощения и слабости. Бригадирство похерил, хотя отрядный и просил остаться на должности. Огарок и Батон делали вид, будто между ними и Вахидом ничего не произошло. Он тоже. Узнав, что на следующий день после стычки с Кабаном приехала мать — добилась-таки свидания! — Вахид немного расстроился. Неплохо бы встретиться с ней. Надо попросить, чтобы привезла какие-нибудь книги. Не беллетристику, нет. Лучше заумные. По философии, например. Чтобы можно было читать, перечитывать, изучать, разбираться, что к чему, долго, до конца срока. В библиотеку теперь, когда там Кабан, ходу нет, даже по приговору суда не заставят туда зайти. Да если б и захотел, не смог бы: библиотека почти всегда была закрыта — Хабибов в зоне появлялся от случая к случаю. Поговаривали, что его то ли в бесконвойники, то ли чуть ли не на поселение перевели. Вольнонаемные рассказывали, что живет Ахмаджон Хабибович на окраине поселка в небольшом частном домике, который снял для себя, а может, и купил.

Чтобы успокоить мать, дать ей понять, что ничего страшного не случилось, что все идет по-прежнему, что сын ее не оскотинился, не озечился, не потерял человеческих интересов, Вахид отправил ей письмо. Попросил, как только разрешат свидание, привезти «Философские тетради» и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина: знал, что такая просьба осчастливит мать. Написал и Майрам. Вспомнил, что ФЭМэ рекомендовал книгу «Гамбургская драматургия» какого-то западного писателя. Попросил достать — был убежден, что Майрам с этим письмом кинется к матери. Вот той и еще одна радость, еще одно подтверждение, что сын не опустился. Давно уж догадался Вахид, что мать и Майрам сблизилась, нахваливают друг друга в письмах. Отцу писать не стал. Все еще не мог простить ему шашни с Кабаном, угодничество перед ним.

Убогая забегаловка «Умид» с тех пор, как в ней стал работать Латыпов, преобразилась и продолжала преображаться. Уродливые столы с отслоившимися пластиковыми покрытиями, такие же старые, расхлябанные железные стулья Буриной Талгатович выбросил. Купил за свой счет новую мебель — благо связи еще остались. За свой же счет сделал ремонт.

...В «Умиде» и около, на топчанах, которые тоже соорудил Буриной Талгатович под специально высаженными взрослыми уже деревьями, было полно обедающих

<sup>1</sup> Барак усиленного режима (устар.). Сейчас называется «помещение камерного типа (ПКТ): внутренняя тюрьма в колонии.

бездельников, праздно попивающих чаек стариков — кафе стало любимым местом отдыха жителей махалли старого города.

Юлдуз, увидев Гульнору Саматовну, приветливо улыбнулась: она уже не делала холодного, неприступного лица, как в первые дни, когда бывшая жена ее мужа приходила, чтобы узнать, нет ли новостей от сына. Буриной Талгатович откровенно обрадовался Гульноре Саматовне: понял по ее виду, что от сына пришло письмо, и письмо то нестрашное. Буриной Талгатович в свой кабинетик-клетушку приглашать Гульнору Саматовну и не подумал, знал, что не пойдет. Почитал письмо Вахида к матери, к Майрам. Тоже посветлел лицом: порадовался за сына. Заметил, что книги у него такие есть. Сказал, что отдаст Вахиду, кроме «Гамбургской драматургии», еще и «Лаокоон» того же Лессинга. Похвалил Вахида за то, что тот выбрал для изучения такие солидные, серьезные работы по литературоведению и эстетике — наверное, сын в будущем собирается заняться писательством: дай-то бог!

На следующий день, не предупредив жену, собрав посылку (колбаса, галеты, конфеты, сгущенка, курево), прихватив книги, поехал Буриной Талгатович на свидание с сыном. Хотелось, чтобы Вахид видел, знал, что это он, отец, достал ему такие нужные, редкие книги. Может, улучшатся отношения с мальчиком, может, тот простит его или хотя бы не будет так ненавидеть и презирать?

Но встретиться с сыном Буриной Талгатовичу не позволили. И передачу для Вахида не приняли.

Свидание с родными осужденному Латыпову разрешили только в начале июля. После XVI пленума ЦК Компартии Узбекистана, который произвел в республике эффект взорвавшейся бомбы, ввергнув одних в эйфорию, других в панику. Пленум выработал концепцию исправления перекосов и злоупотреблений в политической, экономической, социальной сферах, допущенных в предыдущие годы; неотложной и главной была названа проблема кадровой политики.

Льготный режим, либеральные порядки в колонии отразились и на процедуре встречи заключенных с родственниками: никаких решеток, никаких переговоров через стеклянные перегородки, длинный стол — по одну сторону отбывающие наказание, по другую — те, кто пришел к ним.

К Вахиду приехали, мать, отец и... Майрам. Они бодрились, старались выглядеть естественно, но на лицах всех троих явно читался страх. Если бы Вахид посмотрел на себя со стороны, да еще сравнил бы себя нынешнего с собой прежним, понял бы причину этого страха: кости черепа выпирают, лицо в глубоких морщинах, серые губы зло и упрямо поджаты, ввалившиеся глаза холодно колючие. Гульнора Саматовна, в первый момент даже не узнавшая сына в этом жилистом мужчине, напомнившим ей самых трудных последствий, не идущих ни на какие контакты и ненавидящих всех, сразу же принялась объяснять Вахиду, что она предпринимает: пишет в прокуратуры, суды, областной, Верховный республики, Верховный Союза. Глаза Вахида оставались безучастными, незаинтересованными. Лишь изредка в них мелькала что-то вроде снисходительной насмешки: глупости, мол, говоришь, ничего это не даст. Пытался и Буриной Талгатович рассказать о том, что он предпринимает, чтобы облегчить участь Вахида. Но тот отца не слушал, в его сторону почти не смотрел. Только поблагодарил за книги, за передачу, которую, распотрошив, все, что можно, раскрошив, перемяв, прощупав, контролер поставил перед ним на стол: можешь забирать! Глядел Вахид на Майрам. Та, сжавшись, напуганная тем, наверное, что оказалась здесь, в этом жутком заведении, сидела молча, опустив глаза. Изредка, когда чувствовала, что Вахид отводит от нее взгляд, поднимала глаза на него, и тогда лицо Майрам было, как у фанатично верующей христианки, взирающей на редкую чудотворную икону: благоговейное и встревоженно-выжидающее одновременно. Иногда глаза Вахида и Майрам встречались, и тогда она, вспыхнув, смущенно улыbnувшись, снова опускала торопливо голову.

На следующий день вечером, когда Вахид валялся на койке и, увлекшись, читал в книге «Мировые загадки» — она оказалась проще, понятней других — главу «Лестница души», дойдя уже до раздела «Скала воли, свобода воли», в барак вошел Хабибов. Он последнее время стал появляться в зоне все чаще и чаще, а недели полторы назад, в разгар XVI пленума, и вовсе перебрался на постоянное жительство в барак сувенирщиков.

Вахид покосился на него, но книгу не отложил, читать не перестал. Сидевший рядом на койке и штопавший носок Фофен (за обещанную бутылку водки отпустил с работы пятнадцатисуточника, а он напился и избил жену до инвалидности) вскочил, увидев Хабибова. Тот небрежным жестом приказал ему: пошел отсюда! Сел на его койку, задумчиво уставился на Вахида.

В минувший месяц положение в «Сангаме» начало складываться угрожающе. Файзиев, регулярно приезжавший с докладами, откровенно струсил: появились московские следователи, взялись за объединение всерьез, копать начали глубоко

и тщательно. «Выходи на Джураева, — разрешил Хабибов. — Он знает, что и как делать». Файзиев немного успокоился. Но две недели назад встревожился уже сам Хабибов: какой-то дохляк решил взять и у него показания. Начальник колонии еле успел предупредить, чтобы уважаемый Ахмаджон-ака, как он всегда обращался к нему, вернулся в зону — вот был бы скандал: куда делся осужденный? По вопросам дознавателя Хабибов понял, что следственная группа вышла на главное: где пять миллионов, выделенных на мелиорацию? Хорошо еще, что речь зашла о пяти, а не о пятнадцати или пятидесяти миллионах, расписанных по другим отраслям хозяйства. Хабибов притворился, будто плохо знает русский язык, не понимает вопросов. Попросил переводчика. На следующий день дохляк приехал с переводчиком. Выслушав о пяти миллионах, Хабибов удивился: знать ничего не знаю. Свалил все на Файзиева — спрашивайте у него. А переводчика попросил как можно скорей передать об этом допросе Джураеву. «Кто такой Джураев?» — встепенулся дознаватель, уловив в узбекской речи только это слово. Пришлось выкручиваться: спросил, мол, не Джураев ли фамилия переводчика; кажется, он приезжал когда-то в «Сангам» и фамилия у него, или похожего на него, была именно такая. А четыре дня назад Хабибова пригласили на свидание. Оказалось — Спирин. Он сказал, что с Файзиева взяли подписку о невыезде, за ним следят. Сказал еще: Джураев велел передать — делает все, что в его силах, но пока ничего не получается, следственная группа подчиняется непосредственно и только Москве. Не успел Хабибов рассверпеть, Спирин, или, чтобы отвлечь, или, чтобы добить, мстя за прошлое свое холуйство, выдал вовсе уж неожиданное: зря, дескать, вы, Ахмаджон Хабибович, тому пацану, Вахиду Латыпову, срок сострипали; дочка ваша до него и давно уже не девушка была, наши парни о ее похождениях в Ташкенте все знали, только вам не докладывали, да и сейчас она, пока вы здесь сидите, резвится вовсю, так что скоро займет она или ребенка, или триппер. Контролеры еле удержали Хабибова, пришлось его даже придушить малость и наручники за спиной защелкнуть. А Спирин, помахав прощально ручкой, ушел.

Хабибов взял с тумбочки Вахида книги, полистал, сделав торжественное лицо, томики Ленина. Поинтересовался, чем Вахид собирается заняться, когда освободится? Вахид не ответил. Хабибов, придав голосу уважительные нотки, заметил, что ему, Вахиду, надо учиться, вон какие умные книги он читает; пообещал помочь восстановиться в институте и вообще — устроиться в жизни: замолвит словечко Джураеву, тот работает в обкоме и уже теперь многое может, а вскоре будет и вовсе весильным, ты, Вахид, с его помощью можешь стать большим человеком. Вахид молчал. Хабибов вздохнул. Потом еще раз. Искренне. Глубоко и горько. Сказал, что над ним, наверное, будет пересуд, и он, Ахмаджон Хабибов, скорей всего, никогда уже не выйдет на свободу, так и умрет за колючей проволокой. Вахид впервые посмотрел на него. Недоверчиво, презрительно. «Да, да, меня уже не выпустят, — обреченно покачал головой тот. — Дадут лет десять. Или даже пятнадцать. А я старый. Не выдержу. Жизнь кончена. А тебе — жить да жить. Семью заведешь, детишки пойдут. Человек должен жить для будущего, чтобы род свой продолжать. — Опустил голову, попросил тихо: — Прости меня. Малику прости. Это я посадил тебя, а не она. Она плакала, кричала на меня за то, что так поступил с тобой. А тебя Малика любит. В каждом письме, когда узнала, что мы вместе сидим, спрашивает о тебе, приветы посылает. — Смолк. Надолго. Затем опять попросил, вовсе уж тихо: — Когда выйдешь, возьми мою дочку в жены. А я тебе за это... свидание вот с родителями разрешил, освободишься, хоть завтра, в деньгах купаться будешь. Не хочу, боюсь, что угаснет род Хабибовых». «Пусть угасает, — оскалив зубы, проговорил тихо Вахид. — Я ни вас, ни Малику, ни род ваш поганый знать не хочу. Уходите. Я не только разговаривать с вами, не только видеть вас, одним воздухом с вами не могу дышать!»

На следующий день Вахид через вольняшку отправил заказные письма. Майрам — просил ее выйти за него замуж, и немедленно, сразу же начать оформлять все, что нужно; приврал, что от этого зависит его будущее, досрочное освобождение. Матери написал — хочу, мол, жениться на Майрам, уговори ее, если колеблется. Знал: мать вдохновится — еще бы, сын думает о семье, собирается строить свое будущее!

Регистрация брака состоялась в августе. Спасибо Буривую Талгатовичу, его стараниями администрация колонии ограничила время на обдумывание решения одним месяцем. Умельцы эски сделали обручальные кольца, от золотых не отличишь. Замполит напыщенно провещал что-то о священных узах Гименея, которые облагораживают, удерживают от дурных помыслов и поступков. Вахид поцеловал Майрам, которая была ни жива ни мертва, в сухие, плотно стиснутые губы, и краешком глаза увидел страшное, позеленевшее лицо Хабибова. Начальник колонии подписал свидетельство о браке, и молодые ушли в комнату долгосрочных свиданий.

ний, не оставшись в столовой на обед, чаепитие, которое устроили осужденным родители жениха.

Майрам при каждом лязге засовов вздрагивала, перед каждой решеткой камелла. Контролер посмотрел на часы, объявил время начала свидания — начала совместной жизни Вахида и Майрам — и захлопнул за ними массивную, с глазком, дверь их первой семейной квартиры, их первой спальни. Все трое суток, пока они были вместе, Майрам не поднимала глаз, говорила еле слышно, поминутно краснела, обращалась к Вахиду на «вы» и старалась предугадать малейшее его желание: «Вам чаю?.. Поесть?.. Закурить?» Когда настала пора расставаться и за Вахидом пришел контролер, Майрам не обняла, не поцеловала мужа, не сказала ему ни слова — стояла посреди комнатухи-камеры столбом.

Вахид ушел решительно, не оглядываясь, чтобы не видеть слез на белом, как хлопок, лице Майрам, своей жены.

А в зоне ждало его невероятное — Хабибова увезли в тюрьму.

Весть о том, что против дяди возбудили новое уголовное дело по обвинению в особо крупных хищениях, взяточничестве, подкупе должностных лиц, злоупотреблениях, что его поместили в следственный изолятор КГБ, не застала Джураева врасплох. В начале августа арестовали бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии Каримова, потом, уже здесь, в области, Рахимова, Гаппарова, Ишанбаева, Махкамова. А ведь все они были друзьями, некоторые и деловыми партнерами дяди. Так что на этом этапе помочь ему сложно. Надо выждать, узнать, какие показания начнут давать другие подследственные. Будущее покажет, как действовать дальше. Пока же на место выбывших надо подобрать достойные кадры. Это поручение самого Егора Фомича!

Для того, чтобы проверить свои способности беседовать с людьми, Джураев решил для начала подыскать кандидатуру на должность поменьше, на место Махкамова, например. Вызвал его заместителя Кадырова. Долго и нудно объяснял ему, что нужно оздоровить обстановку в системе общепита, что долг руководителя заключается в том, чтобы бороться не только за экономические показатели, но прежде всего за то, чтобы сотрудники, подчиненные, вплоть до самого низового уровня, были морально безупречные люди. Кадыров преданно глядел в глаза, кивал, заверял: не сомневайтесь, если доверите, я, мол, наведу порядок, очищу свое ведомство от расхитителей, взяточников, обманщиков, занимающихся недовложением продуктов. И все время нажимал кнопки миниатюрного, изысканного, как техническое совершенство, диктофона. Когда говорил Джураев, включал, когда поддакивал сам, выключал. Наконец Джураев не выдержал: «Что это вы все время с какой-то игрушкой балуетесь?» «Это не игрушка, — Кадыров сделал вид, будто смертельно перепугался. — Я ваши руководящие указания записываю, чтобы потом выучить наизусть. А когда сам говорю, выключаю. Зачем себя слушать? Я и так о себе все знаю; что думаю, чего хочу». «Ну-ка, ну-ка, — Джураев взял диктофон, покрутил в руках. — Любопытная вещица. Незаменима на совещаниях». «Нравится? — Кадыров обрадовался. — Оставьте себе. Мне эта машинка ни к чему, а вам пригодится, вам много заседать приходится. Я вам и кассет, и батареек японских целый чемодан принесу». «Как вы смеете делать такие предложения? — Джураев нахмурился, но, увидев, что Кадыров от страха чуть под стол не полез, подобрел. — Ну, если вы от чистого сердца... Спасибо. Такой магнитофончик для меня действительно лучший помощник в работе. Ни записной книжки, ни стенографистки не надо».

На следующий день Кадыров был утвержден в должности начальника областного управления общественного питания.

13 сентября рано утром, когда посетителей было еще мало, в кафе «Умид» пришли двое: один молодой, крепкий, хмурый; второй — пожилой, щупленький, улыбчивый. Не узбеки. Пожилой по-русски, но с сильным, странным акцентом, мягко произнося согласные, поинтересовался у стоявшей на раздаче Юлдуз, где ее муж и можно ли с ним поговорить? Юлдуз насторожилась — проверка, ревизия? Указала на дверь в кабинетик. Парочка вошла туда, не постучавшись, не спросив разрешения. Буриной Талгатович в это время распекал Каюма. Увидел вошедших, отпустил шурина. Заулыбался: «Слушаю вас, товарищи». Пожилой показал постановление об аресте. Буриной Талгатович обмяк на стуле, стал хватать ртом воздух, замямлил жалко: за что, мол? У меня-де никаких нарушений, никаких проступков... ударник коммунистического труда... почетная грамота. «Тумаєте са прошлые крехи с вас и спроса нет? — пожилой усмехнулся. — Тоше мне, кающаяся Мария Макталина нашлась. Расвратил всю систему общепита, сплел паутину, которую сам тьявол не распутает, и ни в чем не виноват? Вставай-те, пошли!»

Оправившись от удара, вернувшись из больницы, куда попала с сердечным приступом, Юлдуз по совету Гребера, пока не наложили арест на имущество, рас-

продала все, что можно, включая библиотеку и оставив только драгоценности и украшения — это ее личная собственность; разменяла свою четырехкомнатную квартиру на двухкомнатную.

В конце сентября арестовали Файзиева, Микеладзе, Габидзе. В аэропорту. Файзиева и Габидзе — в зоне досмотра. Микеладзе — в депутатской комнате, где все дежурные знали и любили Евгения Рубеновича. Правда, в этот раз Мария Никифорова — Машенька — обеспокоила Джека Руби: в глаза не смотрит, улыбка фальшивая, суетится не по делу. Но ничего опасного, кажется, не было — в кресле сидел только один человек: плешивый старикашка с газетой. Взяв кейс в левую руку, подергивая плечом, словно поправляя под курткой сползшую лямку помощи, Микеладзе поплотней прижал к телу укрепленный под мышкой пистолет — успокаивает, придает уверенность. Но воспользоваться оружием не удалось. Когда выходил на летное поле к своему рейсу, снаружи, слева и справа от двери, навалились дюжие профессионалы. И, несмотря на мгновенную реакцию Джека Руби, был он уже через секунду в наручниках. Валюта, советские деньги, ювелирные изделия, оказавшиеся в его кейсе и чемоданах Файзиева, поразили даже многое выдавших следователей — за один раз такую кучу ценностей они еще не конфисковывали.

На допросах и Микеладзе, и Габидзе молчали, проклиная себя за то, что сунулись в аэропорт с Файзиевым, а не избежали от него сразу, как только он собрал багаж: хотелось как лучше — обрубить концы в Ташкенте, подальше от «Сангама», а получилось чистое фраерство. Файзиев же на следствии был словоохотлив и без конца уверял: все, что нашли у него, принадлежит не ему, а Ахмаджону-ака, хозяину.

В октябре арестовали начальника горотдела милиции подполковника Насырова и старшего следователя капитана Зуфарова. На следующий год, после суда, они оказались в колонии, где сидел Вахид, и стали работать в одной бригаде вместе с ним. Сначала, узнав Зуфарова, Вахид возликовал. Хотел было даже, рискуя снова попасть в бур или шизо, устроить бывшему старшему лейтенанту «разборку», но злость почти тут же и угасла, сменилась мстительным презрением: отцарствовался, старлей! Ну, попаши теперь, попаши, похлебай баланды, все равно тебя с твоими замашками кто-нибудь когда-нибудь окупит.

Ни Рахимова, ни Ишанбаева, ни Махкамова, ни отца Вахида в колонию, где сидел Вахид, не поместили: они получили усиленный режим. Рахимов — пятнадцать лет, Ишанбаев — девять, Махкамов и Латыпов — по восемь. Файзиев, Микеладзе и Габидзе отбывали наказание тоже в другом месте, их приговорили к содержанию в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

10 марта 1985 года тихо упокоился Константин Устинович Черненко, ничем не проявивший себя, ничем не запомнившийся, кроме выдвинутого им лозунга: «Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать!» Да еще, пожалуй, оставшийся в истории потому, что восстановил в партии В. М. Молотова и лично вручил партбилет этому дряхлому динозавру сталинизма, ярому и до конца дней своих верному, твердокаменному приверженцу, стороннику, поклоннику зловещего Отца народов.

Новым Генеральным секретарем ЦК КПСС стал энергичный, обаятельный, умеющий убеждать, не старый еще Михаил Горбачев.

Егора Фомича Сукачева отозвали на работу в Москву, в аппарат ЦК партии. На место Егора Фомича заступил молодой, полный сил и желания работать, улучшать, совершенствовать все, что можно, член бюро обкома компартии Узбекистана Ульмас Тимурович Джураев.

В апреле он улетел в Москву на Пленум ЦК КПСС, где наметились планы ускорения и радикализации социально-экономического развития страны и впервые прозвучали слова: «перестройка», «новое мышление».

Вернувшись на родину, Джураев решительно и горячо взялся за дело. Прежде всего надо было вдохновить на трудовые подвиги и поощрить лучших из лучших.

В торжественной обстановке, в атмосфере всеобщего одобрения Ульмас Тимурович вручил переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании по итогам первого квартала начальнику управления общественного питания товарищу Кадырову. После официальной части растроганный, благодарный товарищ Кадыров, как и положено, пригласил товарища Джураева отметить столь выдающееся, знаменательное событие за чашкой чая. Ульмас Тимурович не возражал.

Отобедали в банкетном зале ресторана «Урюкзор». Сухроб, с утра подгоняемый, проверяемый и перепроверяемый Кадыровым, расстарался: приготовил тандыр-кеبوب — жаренного целиком барашка. Неназойливо звучали вкрадчивые алжирские и индийские мелодии, вытекающая из стереоустановки; на экране «Шарпа» непрерывно, один за другим, шли эротические, пикантные видеофильмы; рыжая шайтанка Лолочка, секретарша Кадырова, очень и очень неплохо показала стриптиз, но Лейла, секретарша самого Джураева, перещеголяла ее: исполнила танец

живота совсем как в арабских кинокартинах. Джураев попивал кумыс, доставленный, как с гордостью доложил Сухроб, со специального высокогорного пастбища, и блаженствовал. Лишь когда Кадыров начинал произносить очередной тост, менял Ульмас Тимурович пиалу с кумысом на хрустальную рюмку с коньяком. Армянским. Высшего качества. Тосты слушал благосклонно, хотя Кадыров не слишком разнообразил их: пил только за здоровье уважаемого Ульмаса Тимуровича, который для всех является образцом принципиальности, деловитости, умелого руководства. Заверил: «Под вашим начальством, Ульмасджон-ака, я прохожу отличную школу, после ваших уроков я без страха возьмусь за любое дело и выполняю его, потому что сейчас особенно важно умение работать. Наше сложное, революционное время требует полной отдачи всех сил, способностей, жара души и сердца, требует чистых помыслов и рук. Все это есть в нашем дружном коллективе, который вы, дорогой Ульмас Тимурович, так высоко оценили сегодня. Долгих вам лет счастья, будьте, как говорится в народе, живы, пока стоит мир!» Застолье затянулось до глубокой ночи, а потом Джураев поехал к Лейле...

Вахид освободился в конце июня восемьдесят восьмого года. Отторчал, как принято это было называть в тех кругах, где провел пять лет, от звонка до звонка. В последний раз прошел Вахид под конвоем в КПП, украшенный по обеим сторонам щитами с осточертевшими заклинаниями: «На свободу — с чистой совестью!» и «Помни сам, внуши другому: честный труд — дорога к дому!»

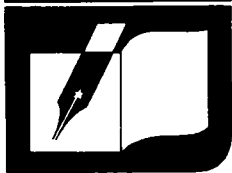
В Москве проходила XIX партконференция, и замполит приказал включить прямую трансляцию ее на полную мощность: из динамиков раскатисто громыхал над зоной чей-то гневный бас. Кто-то требовал от главного редактора «Огонька» Коротича объяснений, почему в журнале помещена статья о том, что на конференции якобы присутствуют коррумпированные делегаты, — это бросает тень на узбекскую делегацию, дискредитирует ее, так как статья написана следователями, работающими именно в Узбекистане.

За воротами колонии Вахида встретили седая мать — теперь, когда сын выходит из заключения, не было необходимости красить волосы — и жена Майрам с трехлетним сыном Эркином. Эркин надулся, отвернулся от страшного, в черном, плохо пахнущего дяденьки, которого ставшие веселыми, радостными бабушка и мама велели называть папой.

Хабибов все еще находился под следствием, и когда его будут судить и будут ли судить вообще, не знал никто. В области поговаривали, шептались, что он давно уже на воле, живет где-то под чужой фамилией. Но это, конечно, бред и домыслы обывателей.

Малика, закончив на «отлично» институт, вышла замуж за Алию Мухаммада Бурхани, хрупкого, застенчивого иракца, учившегося в ординатуре и разве только не молившегося на свою красавицу жену.





Мурад Абдуллаев

## ОТРАВЛЕННЫЙ РАЙ

Меньше часа требуется для того, чтобы самолетом попасть из Ташкента в субтропики Сурхандарьинской области. И здесь вашему взору откроются райские сады. Их бдительно охраняют каменные великаны Гиссар и Бабатаг.

Тысячи родников, бьющих из горных недр, разливаются говорливыми хрустально-чистыми ручейками, питающими корни огромных орешин. Весной зеленые склоны источают аромат цветущих трав и деревьев, а осенью осыпают жителей орехами и фруктами. Хурма, абрикосы, орехи, гранаты, виноград — всем этим в изобилии одаривала издревле земля Сариасийского района. И людям думалось: красота, щедрость природы, чистый воздух — вечны...

Первыми почувствовали беду птицы — они спешно оставляют насиженные гнезда. Поблекли краски цветов. Почти исчез аромат трав. Не редкость — погибшие сады. Силы стали покидать не только стариков... И в душах людей поселилась тревога.

Что же случилось?

Нет, не селевые потоки, не разрушительные землетрясения принесли горе в селения. Здешняя беда — творение рук человеческих. Она пришла на сурхандарьинскую землю вместе со строительством алюминиевого гиганта, который расположился в десяти километрах от границы Сариасийского района, в соседнем Таджикистане. Завод преградил путь живительным ветрам, несшим свежий воздух с соседних гор. Окутал дымом и вредоносными выбросами фтористых соединений прилегающие земли.

— Утром просыпаемся усталыми, еле живыми. Во рту горько, будто целую ночь жевал горчак, — свидетельствует один из жителей.

— Ближе к полночи становится совсем нечем дышать. Даже закрыв окна и двери, невозможно спастись от неприятного запаха. Душит зловонье, напоминающее запах обгоревшей кошмы, — утверждают другие.

— Все больше донимают людей болезни, сынок, — жаловался мне инвалид Великой Отечественной войны Эсан-ата Назаров. — В больницах — некуда ступить. Да что больницы! Проверьте любого человека, и вы не найдете ни одного здорового... Кто избавит нас от невидимого палача?

Та же боль и в словах старейшего колхозника Ашурбая-ата Ташева:

— Гибнут виноградники, перестают плодоносить сады. Болезни губят помидоры, картофель. Все труднее становится жить.

Когда-то Сариасия славилась своими белыми сладкими, как мед, абрикосами, «с чайник величиной» гранатами, наводнявшими рынки не только Сурхандарьи, но и соседнего Таджикистана. Теперь же, чтобы полакомиться фруктами, сариасийцы отправляются на рынки в Таджикистан. Собственные же сады засыхают, словно хлопчатник после гармсея — горячего ветра.

Три-четыре года назад началось сплошное отравление шелковичной грены. И жители Сариасийского района и соседнего Денауского — родины знаменитых

шелководов республики — оказались лишены своего дохода — планы по производству коконов уже не выполняются.

Рассказывает секретарь парткома колхоза «Ленинизм» Шарафиддин Насридинов:

— До ввода в эксплуатацию алюминиевого завода наш колхоз только от производства коконов ежегодно получал по 60 тысяч рублей дохода. А прибавка к бюджету каждой семьи составляла от полуторы до трех-четырёх тысяч рублей в год. К примеру, семья Муртазаевых из колхоза имени Пирназарова ежегодно сдавала государству до тысячи килограммов коконов и имела соответственную прибыль за труд. Теперь и хозяйства в целом, и отдельные колхозники лишились своих доходов. Почти перестали плодоносить фруктовые сады: если раньше каждое дерево хурмы давало до 250—300 килограммов плодов, то сегодня 10—15. То же и с персиковыми садами. Вот уже четыре года подряд абрикосовые деревья не приносят урожая. Весной, как обычно, на них появляются цветы, распускаются листья, но ближе к поре созревания листья и плоды сморщиваются и опадают. Значительно упал урожай картофеля, болгарского перца, помидоров.

Омертвляющее дыхание завода коснулось и соседних районов — Алтынсайского и Денауского.

— Если завод будет расширяться, то пострадают и наши земли, — говорит директор совхоза «Денау» Ибрахим Алимарданов. — Мы и сейчас уже испытываем сложности. Дело в том, что у нас недостаточно тутовника для нормального ведения шелководства, и его листья мы завозили из Сариасии. Но сейчас, когда стало известно, что листья тутовника, впитывающие в себя соли фтора, являются причиной гибели шелковичной грены, мы, естественно, отказались от ввоза. А это значит — придется сворачивать производство шелка-сырца.

Когда учеными были установлены причины гибели грены, крестьяне надеялись, что будут приняты экстренные меры. Так что же сделали для спасения шелководства? С хозяйств, находящихся под особо сильным отравляющим воздействием алюминиевого завода, сняли план по заготовке коконов... И это все!

Смертоносное влияние алюминиевого завода ощущают уже хозяйства, расположенные в 70—75 километрах от города Турсунзаде, где находится предприятие. Но особую тревогу, конечно, вызывает положение в самой Сариасии. Здесь заметно снизилась урожайность главной культуры — хлопчатника. Если раньше собирали по 40 центнеров хлопка-сырца с гектара, то сегодня о таком урожае только мечтают. Дехкане с болью в сердце видят, как опадают бутоны, цветы и нераскрывшиеся коробочки хлопчатника. Особенно резко снизилась урожайность средневолокнистых сортов. Бригадир колхоза «Ленинизм» Салима Исламова говорила:

— Работать мы стали в два-три раза больше, чем раньше, а результат — еле сводим концы с концами. Хлопчатник растет хилый, хотя сил у нас забирает много...

Пропорционально увеличению мощности алюминиевого завода возрастает и объем выбрасываемого в атмосферу фтористого водорода. А это, в свою очередь, наносит вред не только местным садам и плантациям хлопчатника, но и, что самое ужасное, серьезно угрожает здоровью и жизни людей. Так, по данным отделов здравоохранения Сариасийского и Денауского районов детская смертность здесь возросла в два-три раза, более распространенными стали болезни почек, печени, органов дыхания у взрослого населения. Люди все чаще жалуются на одолевающее их бессилие.

Загрязнение окружающей среды — это не только экономические и медицинские проблемы. Оно затрагивает судьбы многих людей, порождает духовно-нравственные, социальные проблемы. Ущерб, наносимый природе алюминиевым заводом, не может быть оправдан никакими соображениями «экономической эффективности». Мы уже получили немало уроков от варварского отношения к природе, но так и не научились делать правильные выводы. И нельзя не согласиться с мыслью украинского писателя Юрия Щербака, писавшего в «Литературной газете» о том, что уроки Чернобыля не должны оставаться только в архивах истории. Эти уроки необходимы нам прежде всего для созидания будущего. Из трагедии Чернобыля нам всем следует сделать вывод. Варварское отношение к природе не должно продолжаться.

Непродуманность волевого решения о месте расположения завода очевидна. Предприятие «посажено» в таком месте, где с помощью «розы ветров» наносит ущерб огромной территории двух соседних республик. Особенно страдает Узбекистан с его густонаселенными районами, отличающимися уникальными природными богатствами, равных которым, пожалуй, нет во всей Средней Азии.

Путь к исправлению допущенной ошибки лежит через ее откровенное всенародное признание. Многие уже осознали неправильность дислокации вредоносного предприятия. Подтверждением официального признания этого факта являются

и свидетельства сариасийцев, которые утверждают, что им обещают компенсацию за нанесенный ущерб. Но, согласитесь, проблему такая компенсация не решает.

Все обостряющаяся экологическая и морально-психологическая обстановка в Сариасии требует незамедлительных действий по защите окружающей среды. Трудно сегодня предсказать результат кампании, развернувшейся за спасение уникального уголка природы. За чистый воздух для нынешних и будущих поколений голосуют и писатели соседнего Таджикистана. Мы же обращаемся ко всем здравомыслящим людям — пусть победят разум и желание оставить после себя потомкам не гиблое место, не заброшенный край, а уникальный уголок природы для детей и внуков.

Все изложенное выше основывается на рассказах жителей Сариасии, на том, что видел я сам «невооруженным» глазом. Не желая быть обвиненным в предвзятости и дилетантстве, сошлюсь на выводы официальных комиссий. Их здесь уже побывало немало: местных, центральных, ведомственных и нейтральных... К примеру, группа специалистов Среднеазиатского регионального гидрометеорологического института и Управления по гидрометеорологии Узбекской ССР организовала ряд экспедиций в Сариасийский и Денауский районы. О результатах работы одной из них рассказывает ее руководитель, заведующая лабораторией воздействия загрязнения воздуха на природную среду кандидат биологических наук С. А. Нишанходжаева<sup>1</sup>:

— Фтор, как известно, относится к числу самых агрессивных газов, его отравляющее действие опаснее, чем у ангидрида серы, и загрязнение атмосферы воздуха фторидами, выходящими из труб алюминиевого завода, стало очень серьезной проблемой.

Наша экспедиция вела комплексные исследования на территории Сариасийского и Денауского районов. Измерено количество соединений фтора в воздухе и на почве, изучено их влияние на растительный и животный мир. Результаты экспедиции подтверждают отрицательные последствия вредоносных выбросов. В местности, расположенной на юго-западе от алюминиевого завода, нам удалось установить следующее:

Фтористый водород сильно поражает листья виноградников. Повсеместно опадают листья и плоды косточковых, особенно абрикосов. Резко снизилась урожайность персиков и черешни в совхозе «Дашнабад» и в колхозе имени Свердлова. Сильно пострадала денауская хурма, некогда славившаяся своим вкусом; опали ее листья и плоды.

В шести хозяйствах Сариасийского района шелковичные черви погибли, не закончив цикла своего развития. Это только за один сезон принесло экономические потери хозяйствам в триста тысяч рублей.

На животноводческих фермах колхозов «Правда», имени Свердлова, Карла Маркса, совхозов «Дашнабад», «Коммунизм» растет заболеваемость скота. Телята рождаются очень слабыми. В двух-трехлетнем возрасте у животных выпадают зубы, их кости не развиваются, становятся хрупкими. Из-за этого происходит все больше случаев перелома костей, увеличивается количество хромых животных. Лечение телят не дает результата. Среди животных распространяется туберкулез легких, желудочно-кишечные заболевания. Население страдает от головных болей, болей в суставах, бессонницы. Глаза воспаляются. Люди жалуются на то, что ночью от острого, неприятного запаха тяжело дышится, ощущается резь в носу, вялость, бессилие. Уже через 3—4 часа работы на поле крестьяне чувствуют неодолимую усталость, сильную боль в ногах. Все это подтверждают медицинские заключения.

В атмосферном воздухе объем газообразующих соединений фтора в несколько раз выше нормы.<sup>2</sup> Хотя известно, что даже при содержании в воздухе фтористого водорода, близком к норме, наблюдались заболевания и падеж скота, высыхание хвойных растений, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и другие отрицательные явления.

— Проблемы губительного влияния выбросов Таджикского алюминиевого завода, — сказала в заключение беседы С. А. Нишанходжаева, — занимают многие организации. Еще семь лет назад об обострении экологической обстановки в этом районе были поставлены в известность соответствующие министерства и ведомства. Наши исследования полностью подтвердили верность прежних данных. Вместе с тем, они показали и то, что год от года вредное воздействие предприятия расши-

<sup>1</sup> В настоящее время работает в Институте химии АН УзССР.

<sup>2</sup> В июле 1990 года в Сариасийском районе, по опубликованной Узгидрометом сводке, содержание фтористого водорода в 1,6 раза превышало предельно допустимую концентрацию.

рется. Поэтому в своем заключении экспедиция отметила необходимость принятия срочных и действенных мер.

Был ли услышан кем-нибудь вывод экспедиции?

Увы! Лишь по требованию общественности Сариасийского и Турсунзадеского районов для определения наносимого заводом ущерба была создана правительственная комиссия. Возглавила ее... представители заинтересованного Министерства цветной металлургии СССР. Можно ли было надеяться на объективность?

Ответ на этот вопрос дало заключение самой комиссии. Она, как и следовало ожидать, прежде всего защитила ведомственные интересы. Представители Узбекистана в комиссии не подписали смертный приговор своим землякам. За это и услышали в ответ: «Товарищи из Узбекистана не смогли обосновать свои претензии. Неясны источники экологического дисбаланса в Сариасии и примыкающих к ней районах.» Так «уважаемая» комиссия отмахнулась от очевидного.

Невольно возникает вопрос: а разве не задачей самой комиссии являлось выяснение источников экологического неравновесия в регионе? Кто мешал членам комиссии определить «источники экологического дисбаланса в Сариасии»? Почему она пошла по пути неопределенности? Да потому, что в сложившейся ситуации для комиссии главным было выиграть время! Чтобы до создания очередной комиссии (как это у нас принято!) можно было кое-что «подправить». А пока, основываясь на выводах комиссии, удастся избежать материального возмещения за нанесенный ущерб и отодвинуть неопределенное время разговоры о закрытии или перепрофилировании завода. И при этом говорить о том, что предприятие дает неплохие заработки людям и т. д. Словом, все получилось по разработанному сценарию: комиссия с чувством выполненного долга уехала, а люди, возлагавшие на нее большие надежды... оказались в дураках.

Справедливости ради надо заметить, что населению Турсунзадеского района Таджикистана все же удалось кое-что «урвать» от комиссии. Дело в том, что по проекту одновременно со строительством завода было предусмотрено переселение некоторых кишлаков для создания вокруг предприятия так называемой санитарной зоны. Однако и эти первоочередные задачи выполнены не были. Таджикские товарищи напомнили комиссии об этом, продемонстрировав трагические последствия равнодушного отношения к местным жителям. Завод взял на себя исправление этой «проектной» недоделки.

Для опровержения выводов комиссии о якобы невыясненных источниках экологической беды в Сариасии нужно было убедительно доказать, что источником отравления природы и всего живого в этом районе является алюминиевый завод. Для этого ташкентский ученый-медик Галина Ходжибаева провела серьезные исследования состояния здоровья женщин этого района в сравнении с жительницами Джаркурганского района, который находится вдалеке от зоны влияния завода. Собранные ею пробы в зоне бедствия были отданы в Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, где подверглись самым современным методам анализа. Сопоставление полученных данных с пробами из Джаркурганского района неопровержимо определило виновника. В этих двух близких по структуре хозяйства районах с одинаковыми природно-климатическими условиями уровень заболеваемости женщин резко отличается. В Сариасийском районе он значительно выше, здесь больше смертных случаев, преждевременных родов, рождения детей с различными дефектами. Появляются на свет даже двуглавые дети... Доказано и происхождение всех этих бед — влияние выбрасываемого заводом в атмосферу яда.

Подтверждения экологической беды в этом регионе можно найти и в официальных источниках. Так, председатель межведомственной комиссии Совета Министров СССР, начальник контрольно-ревизионного управления Госкомитета СССР по охране природы В. И. Зиберов в интервью с корреспондентом ТАСС С. Морозовым сообщает: в июле 1989 года содержание в воздухе фтористых соединений в 2,4 раза превышало предельно допустимую концентрацию. Заболеваемость детей в районе увеличилась в 2,8 раза; взрослых — в 2,2 раза. Снизилась устойчивость организма людей к болезням. У детей карие молочные зубы возрос вдвое, а заболеваемость флюорозой<sup>1</sup> — почти в девять раз.

Такова страшная официальная статистика результатов деятельности Таджикского алюминиевого завода в некогда райском уголке моей республики. Узнав о ней, мы, журналисты, обязаны бить в колокола, искать возможность защитить здоровье людей, восстановить справедливость. Однако среди моих коллег находят и такие, которые, вопреки очевидному, занимают сомнительные позиции. Особенно обидно, когда предвзята информация исходит от центральных средств

<sup>1</sup> Флюороза — хроническое заболевание костной системы и зубов, развивающееся при длительном избыточном поступлении в организм фтора и его соединений.

массовой информации. К примеру, откровенным оскорблением национального достоинства местных жителей является мнение авторов письма, опубликованного в «Правде» 9 января 1990 года, о том, что увеличение заболеваемости в районе связано в основном с «низким уровнем здесь санитарной культуры, тем, что люди безграмотны в вопросах планирования семьи».

Позволительно спросить уважаемых авторов: почему же люди Сариясии в культурном отношении опустились даже ниже уровня предыдущих десятилетий, дореволюционного, наконец? А может за эти десятилетия и безмолвные животные тоже до такой степени «обескультуривались», что из-за этого уже не могут держаться на своих костях, рождаются беззубыми или теряют зубы, не успев подняться на ноги?!

Можно ли понять заводчан, требующих не поднимать голоса протеста против отравления предприятием окружающей среды лишь потому, что оно предоставило «тысячам интересную и высокооплачиваемую работу»? Разве не с нашего молчаливого согласия загублен Арал? Из-за этого случилась и катастрофа в Чернобыле... Все меньше остается на нашей земле экологически чистых мест. Но особую тревогу должны вызывать бездумные действия ведомств, уничтожающих уникальные природные богатства, утрата которых влечет за собой серьезные опасности для всего живого.

Понимание этого всеми здравомыслящими людьми сегодня кажется очевидным. Когда же журналист, выросший и ставший человеком под некогда голубым небом нашего края, специальный корреспондент «Литературной газеты» ташкентец А. Кружилин в своей заметке обвиняет не губителей природы, а погубленных людей, складывается впечатление, будто его материалы взяты не из объективных источников десятков авторитетных комиссий, а из алюминиевых котлов завода. Этот «защитник справедливости» идет дальше своих заинтересованных единомышленников, дополняя их в восторженном восхвалении «заслуг» предприятия, обеспечивающего свои кадры хлебом и молоком, в очернении общественности Сурхандарьинской области. Тех, кто благодаря влиянию алюминиевого завода лишается не только хлеба насущного, но и самой жизни.

А тем временем над головами почти миллионного населения края продолжает разноситься яд. Гибнет уникальная природа субтропиков.

Под воздействием общественности, будем объективными, на самом алюминиевом заводе кое-какие меры по уменьшению вредных выбросов приняли. Но этого явно недостаточно. Необходимо более радикальное решение проблемы. А пока жители Сариясийского и сопредельных с ним районов задают вопрос: что будет с ними завтра?



Михаил Кагарлицкий

## БОЛЬНИЧНЫЙ В СЕНТЯБРЕ

РАССКАЗ

1

Ночью у Карнаухова заболело горло. По носоглотке поползли мокроты. Стало поламывать зубы.

«Старая знакомая,— подумал Карнаухов,— встретились».

При хроническом тонзиллите подобные встречи проходили каждую осень. Утром жар охватил все тело.

— Саботируем?— спросил Димка, заглянув в комнату.— А завтрак кто делать будет?

— Дай термометр,— попросил Карнаухов.

Димка подошел к дивану и провел указательным пальцем по карнауховскому лбу.

— Нагрелся. В пределах тридцати восьми. Больничный вызвать?

— Да.— Карнаухов приподнялся, сел, расправив ладонью простыню.— И не забудь позвонить на работу, предупредить.

— Оформим.— Димка вышел в коридор, и спустя минуту донесся его искаженный до неузнаваемости голос.

— Аллё, тетенька, примите, пожалуйста, вызов! У меня старший братик заболел. Да нет, тетенька. Мне в детскую не надо. Тридцать два года братику, с гаком.

«Опять ерничает,— вздохнул Карнаухов.— Управы на него нет».

— Запишите: Карнаухов, Вэ-Вэ. Да не Гарнаухов, а Карнаухов. Карась, кукуруза, кубанские казаки. Да-да. 16—40—76. Звонить три раза. Да я не шучу, тетенька. Братишка уже вулканизирует, так что желательнее в первой половине дня. Заранее признателен.

А через полчаса Карнаухову пришлось прослушать еще один монолог. Димка верещал громким басом:

— Это отдел, в котором работает товарищ Карнаухов? Очень рад, здравствуй-те. Примите мои соболезнования: Вячеслав Владиславович тяжело болен и на работе в ближайшие три-четыре дня не появится. Нет, спасибо, не надо. Он не в больнице, еще дома. В случае летального исхода информируем. Спасибо, передам. Конец связи.

— Тебя ни о чем нельзя попросить!— возмутился Карнаухов.— Ты из всего устраиваешь балаган!

— Как умею,— улыбнулся Димка.— Кстати, в отделе мне ответил очень привлекательный голосок. Кто?

— Для тебя старовата. И замужем.

— Понял. Не будем углублять.

Димка пересек комнату и остановился в дверях:

- Что желает отведать высококочтимый сеньор?  
— Яичницу,— ответил Карнаухов.— Ты все равно больше ничего не умеешь.  
— Почему,— обиделся Димка,— а бутерброды?

Завтрак прошел в дружеской, непринужденной атмосфере.

— Пережарил,— подытожил Карнаухов.

— Ничего, зато на сладкое у тебя большой выбор: эритромицин, бисептол, тетрациклин, олететрин, сульфадиметоксин... Все к вашим услугам.

— Бисептол.

Димка порылся в аптечке и вынул лекарство.

— Часами говорим о любви к Отечеству, а чуть что — тянемся к иностранным таблеткам.

— Да иди ты...— огрызнулся Карнаухов и запил два белых кругляшка водой.

— Видишь ли,— виновато сказал Димка.— Там нет срока годности. Если он прошел, возможны побочные реакции. Подождем, посмотрим.

Он уселся на табурет и с любовью уставился на Карнаухова.

— Надо менять постель,— заметил Карнаухов.— Достань простыни и наволочку.

— Врач придет,— усмехнулся Димка.— Неудобно... Я бы на твоём месте сменил сначала кое-что другое!

Димка метнулся за дверь, но у Карнаухова все равно под рукой ничего не было.

— Ты не опоздаешь в институт?— крикнул он.

— Первой пары нет, а остальные придется пропустить,— решил из своей комнаты Димка.— На что не пойдешь ради любимого брата, да и преподаватели должны немного отдохнуть — не все же им, бедным, мучиться.

— Тогда стели!— мрачно приказал Карнаухов.

Димка вернулся и начал сосредоточенно, со знанием дела, стягивать с дивана простыню.

«Всякое ожидание мучительно,— размышлял Карнаухов, вытянувшись на диване.— Ждешь, ждешь, и минуты кажутся часами, а часы вечностью. И еще эта проклятая зависимость от врача, когда должен подобострастно жаловаться на боль, подтверждая, что не напрасно остался дома».

Димка копался у себя, чуть ли не каждые пятнадцать минут осторожно заглядывая к Карнаухову. И тому ничего не оставалось делать, как притворяться спящим.

Врач пришла без двадцати двенадцать. Загремел звонок. Димка бросился в коридор, и по его отдельным репликам, доносившимся сначала от двери, а потом из ванны, Карнаухов понял, что врач молода и не лишена обаяния. Но действительность превзошла самые смелые ожидания. Перед Карнауховым стояло совсем молоденькое существо, тоненькое, худенькое, очень неуютно чувствующее себя в широком белом халате.

«До первокурсниц дожили»,— с ужасом подумал он.

Существо посмотрело на Карнаухова большими робкими глазами и тихо представилось:

— Меня зовут Блик Евгения Валентиновна. Я ваш новый участковый врач.

— А нас зовут Вячеслав Владиславович, у нас температура и горлышко болит,— сообщил Димка, подставляя доктору стул.

— А какая температура?— спросила доктор, прижимаясь к высокой спинке стула.

— Тридцать восемь и пять,— ответил Карнаухов и на всякий случай несколько раз кашлянул.

Врач задумалась.

«Сейчас полезет в сумку, достанет справочник и начнет листать страницы»,— представил Карнаухов.

— Вы бы его послушали,— подсказал Димка,— а вдруг у него хрипы?

Очевидно, молоденькая доктор больше всего на свете боялась симулянтов. Она достала свой термометр, предложила его Карнаухову и попросила открыть рот.

— Он и без ложки может,— пояснил Димка,— напрактиковался.

Карнаухов приподнялся на диване, старательно прижав кончик языка к зубам.

— А-а-а...

— Так. Теперь дышите, пожалуйста. Еще. Еще, если можно.

Карнаухов послушно дышал.

— Спасибо, хватит.

Врач взяла термометр, даже не взглянув на него, и спрятала в сумку.

— У вас хронический тонзиллит?

— Да,— подтвердил Карнаухов,— он самый.

— Обострение,— отметила врач.— Я вам выпишу лекарства. Что вы обычно принимаете?

— Бисептол,— сказал Димка.— Этазол, тетрацилин. Смотря по сроку годности.

— Будете принимать эритромицин вместе с сульфадимезином. Полоскать горло календулой или эвкалиптом через каждые полтора часа. Вечером — ингаляция.

Врач вынула из сумки несколько чистых бланков, озабоченно порывалась в кармане халата и тяжело вздохнула. Ее простое, доброе лицо с высоким лбом и маленьким носиком печально сморщилось. Казалось, вот-вот — и она расплачется.

— Я ручку у Третьякова забыла,— грустно сказала доктор.

Карнаухову захотелось прижать ее к себе и погладить по голове, как ребенка.

— Это не страшно,— успокоил Димка.— Мы вам новую подарим.

Когда все бланки были исписаны круглым аккуратным почерком и вместе с направлениями на анализы и флюорографию составили небольшую горку, доктор встала и сделала последние наставления:

— Ничего холодного или горячего. Витамины только после еды. Подойдете в поликлинику в пятницу, двенадцатый кабинет. До двух часов.

— Евгения Валентиновна, а главное?— осведомился Димка.— А больничный?

— Больничный я открою,— улыбнулась доктор.— И ручку вам обязательно верну. Выздоровливайте!

— До свидания!— сказал Карнаухов и закашлялся.

— Слабый он у нас,— заметил Димка,— почти сирота.

— Как это почти?

— Родители в длительной зарубежной командировке,— радостно объяснил Димка.— Изучают фольклор аборигенов Малабарских островов. А мальчик совсем одичал.

«Начал!— возмутился Карнаухов.— Заработало радио».

Закрыв дверь, Димка подошел к карнауховскому дивану.

— Ну как тебе новенькая?— спросил Карнаухов.

— Худющая очень,— заметил Димка.— Велосипед.

— Опять!— поморщился Карнаухов.

— Больше не буду,— Димка поднял руки.— Отдыхай на здоровье.

Вечером температура спала. Карнаухов и Димка сидели у телевизора: по первой программе шла республиканская информационная передача.

— Пора родичам писать,— сказал Карнаухов,— твоя очередь.

— Напишу,— пообещал Димка,— с припиской: «Ваш старший сын у последней черты. Прощание в пятницу».

— Пока дойдет письмо, я заболею по-настоящему.

— Теперь ты часто будешь болеть,— усмехнулся Димка.

— Отстань,— оборвал Карнаухов.— Лучше садись за стол и пиши. Завтра отправишь.

— Малабарские острова... Песни и пляски художественной самодеятельности... Завидую! Нам бы туда, Вячеславик. Представляю!

— Тебя не пустят — там уже десять лет военных переворотов не было. Рекорд для Карибского бассейна.

— Все-то ты знаешь,— зевнул Димка,— и потому с тобой скучно. Вика была права.

Карнаухов промолчал, а диктор на синем фоне выпуклого экрана бойко рапортовал о выявленных недостатках в работе тружеников сельского хозяйства. Раздался продолжительный звонок.

Карнаухов толкнул задремавшего в кресле Димку, а сам бросился к дивану, напряженно вслушиваясь в разговор, доносившийся из прихожей.

Так и есть. Испуская всеразлагающий запах французских духов, в его обитель вплыла Нинель.

— Привет, Славочка!— задекламировала она, плюхаясь в кресло.— Еле тебя обнаружила, да еще молодой человек не хотел впускать.

— Исключительно в профилактических целях,— заметил Димка.— У больного заразное заболевание.

— Ладно-ладно! У меня крепкие ноздри, юноша.— Нинель направила указательный палец в потолок.— Там знают кого посылать.

— Как дела, Нинель? Что нового в отделе?



— Последняя новость — твоя болезнь, Славочка. Вадим не знает, что делать. Премия под вопросом. Общественность орет СОС! Выходи немедленно.

— Он болеет, — потряс рецептами Димка.

— Вылечим, — заявила Нинель. — Меня обычно угощают черным чаем с вишневым вареньем. Хорошая реакция, юноша! Так ты серьезно, Славочка?

Карнаухов кивнул.

— Прощай, тринадцатая! — Нинель вытряхнула на стол из сумки печенье, конфеты и яблоки. — На последнее купила, учти.

— Попросите Дамину, пусть заменит.

— Дамин на овощной базе. А остальные... сам знаешь.

— Нельзя заменить одного человека? — Из кухни с чайником и чашками появился Димка.

— Кем? — Нинель отпила из чашечки. — Спасибо. Заварку можно было и покрепче. Огородникова, кроме «Бурды», ничего читать не умеет, у Хасанова на уме одни бабы, Чекмарева с мужем пятый месяц разводится, Русин после отпуска никак в себя не придет, а с меня спрос невелик. Вот и весь пасьянс.

— Не все так мрачно...

— Все так, — Нинель взглянула на часы. — О, мне пора. Лечись с ускорением. Дай я тебя поцелую.

Карнаухов подставил щеку.

— Знаешь, нет. У меня помада, стирать придется. Лучше за тебя вот этого молодого человека.

Димка поспешно ретировался.

— Видишь, — усмехнулась Нинель, — я совсем старая баба.

— Просто скромный отрок попался, — успокоил Карнаухов.

— Не шибко скромный, — вздохнула Нинель. — Если от тебя бегут мужчины, пора выходить на пенсию.

— Ты что?! Да как же мы без тебя!

— Действительно? — Нинель улыбнулась и поправила прическу. — Посмотрим. Тебе три дня на отлежку. И ни минутой больше. Бегу!

— Димка! — крикнул Карнаухов. — Проводи Нинель Владимировну.

— Ну вот! — показала язык Нинель. — Владимировну...

Перед сном Димка заставил Карнаухова сделать ингаляцию, выпить чай с малиной и положил на спину горчичники.

— За что? — стонал Карнаухов.

— Найдется, — уверял Димка.

Здание поликлиники выделялось среди окруживших его жилых домов, как иностранец в толпе инженеров, собравшихся на картошку. Карнаухов толкнул стеклянную дверь и сразу отправился на флюорографию. Медсестра у входа в кабинет пунктуально записала данные, лениво прошлась взглядом по его длинной нескладной фигуре и протянула карточку с номером.

— Заходите и раздевайтесь до пояса.

Карнаухов вошел в кабинет, послушно снял с себя свитер, рубашку и застыл перед аппаратом. Кругом стояла абсолютная тишина. Прошла минута, вторая. Карнаухов кашлянул, напоминая о своем существовании.

— Иду! — раздался громкий голос, и снова стало тихо.

Кашлять ему пришлось долго.

Минут через десять из-за перегородки, отделяющей угол комнаты, появилась смуглая женщина в белом халате.

— Зачем волноваться?! — сказала она. — Зачем шуметь? Что, постоять не можешь?

— Холодно, — застучал зубами Карнаухов.

— Скажи, пожалуйста! — удивилась женщина. — Простыть боишься? Ты же и так больной, что тебе будет?

Она вставила в прорезь карточку.

— Прижмись как следует. Не дыши.

Несколько секунд машина работала, издавая утробные звуки.

— Ну вот, — подытожила женщина. — Одевайся. У меня от твоего стриптиза особой радости нет.

Карнаухов взял в регистратуре больничный и поднялся на второй этаж. Возле двенадцатого кабинета держала оборону железная очередь из шести пенсионерок. Карнаухов вздохнул и сел сбоку. За полчаса он получил подробные и достоверные сведения из самых различных отраслей медицины. Обогащенный знаниями, Карнаухов терпеливо дождался своей очереди и зашел в кабинет.

У стола, зажатого двумя высоченными шкафчиками, сидела незнакомая ему

врач. Она мельком взглянула на очередного посетителя, уставилась в больничный и ловким движением фокусника-манипулятора вытащила из толстой пачки анкету Карнаухова.

- Температура?
- Нормальная. Выписывайте, доктор.
- Флюорография?
- Прошел.— Карнаухов показал корешок.
- Анализы?
- Сдал.

Врач бдительно посмотрела Карнаухову в глаза и, что-то решив для себя, вывела:

- Хорошо. Больничный я вам продлеваю еще на три дня.
- Выписывайте, доктор. Я здоров. Мне надо на работу.
- Нет,— отрезала врач, усердно заполняя передний листок карнауховской анкеты.

— Но мне необходимо...

— Здесь думаю я,— резко определила доктор и протянула больничный.— Следующий!

Карнаухов спустился на первый этаж, подошел к двери, немного постоял и вернулся к регистратуре. У окошка сидела медсестра и с задумчивым видом разглядывала иллюстрацию журнала «Катера и яхты».

— Извините, девушка!— обратился Карнаухов.— Я хотел бы узнать...

— Ну!— медсестра недовольно подняла голову.— Что у вас, гражданин?

— Позавчера ко мне вызывали врача на дом. Блик, Евгению Валентиновну. Вы не подскажете, где я могу ее найти?

Медсестра задумалась.

— Блик? Так она у нас всего месяц работала. Пришла-ушла. Успела нахамить?

— Нет-нет, все в порядке,— торопливо заверил Карнаухов.— А где она сейчас, вы не в курсе?

— А кто ее знает! Правда, Зинка рассказывала...

Медсестра замолчала и выжидающе посмотрела на Карнаухова.

— Да-да,— попросил он.

— ...она каждый вечер в центральную библиотеку ходит. «Здоровье» старые просматривает. Пунктик у нее такой.— Медсестра хмыкнула, тут же испугалась своего недостойного поведения и строго спросила:— Других претензий нет?

— Нет,— улыбнулся Карнаухов.

— Вот и отлично. А то у нас и так слава плохая,— заметила медсестра и ловким щелчком сбила со стола посмеявшегося залезть туда таракана.

Карнаухов неуклюже топтался на остановке, то и дело поглядывая в сторону главного входа центральной библиотеки, напоминающего раскрытую пасть первобытного монстра. Сзади недовольно пыхтел Димка.

— Обманули дурака,— гнусно ворчал он,— посмеялась над простофилей. А я стою, золотые минуты теряю.

— Кто тебя звал?!— ответил Карнаухов.— Сам навязался.

— Тиресно,— сказал Димка.— Наблюдать в естественной среде шизофреников.

Карнаухов обиделся и пошел прочь, заложив руки в карманы.

— Стой, Славка!— крикнул Димка.— На горизонте чудное мгновение!

Карнаухов обернулся и увидел, как мимо колонн, потрескавшихся от ветхости и времени, проскользнула тонкая фигурка в серой курточке. Догнать ее не представляло особого труда.

— Евгения Валентиновна!— окликнул Карнаухов, печатая семимильные шаги. Фигурка замерла, словно примеряя на себя столь необычное звание, повернулась, изумленно опознавая приближающегося Карнаухова.

— Я из сорокового дома. Вы еще у меня ручку прихватили,— сказал он самое глупое из того, что можно было сказать.

— Да, конечно.— Она слегка покраснела, улыбнулась и осторожно пожала его руку.— Помню. Сейчас...

Но Карнаухов не дал ей раскрыть сумочку.

— Что вы! Я просто шел мимо. Совершенно случайная встреча.

Она кивнула, убеждая себя, что это действительно так. На автобусной остановке, немного обалдев от двухчасового ожидания, подпрыгивал Димка.

— Давайте я вас провожу,— предложил Карнаухов,— вы на автобус?

— Нет. Пешком. Я недалеко живу.

Улица была пуста, и только багряные отблески фонарей высвечивали черные впадины арыка.

— Как ваше горло?— спросила она.— Прошло?

— Абсолютно.— От сырости стало побаливать нёбо, и следовало изъясняться кратко и однозначно.

— Вас выписали на работу?

— Еще нет.

Где-то сзади, шагах в двадцати, гуськом ковылял Димка.

— А я вас еще на холодном воздухе держу,— ужаснулась она, и ее лобик страдальчески поморщился.— Немедленно идите домой.

— Так я и иду,— неожиданно для себя сказал Карнаухов,— к вам.

Явно опешив, она остановилась и pokrutila головой.

— Ну, знаете...

— Знаю. Меня зовут Слава, а вас — Женя?

— Женя,— растерялась она и тут же поправила:— Евгения.

— Отлично.

Карнаухов взял ее под руку и, слегка прижав к себе маленький острый локоток, повел дальше спокойно и уверенно.

А вскоре показался и небольшой домик, уютно пристроившийся к шеренге таких же невзрачных строений. Мягким светом отдавали в полумраке два маленьких окошка. Евгения, словно опомнившись, высвободила руку и стала торопливо прощаться.

— Завтра, в библиотеке?— спросил Карнаухов.

У нее в глазах заискрились веселые огоньки.

— Может быть...

Евгения махнула ладошкой и скрылась за низкой приземистой дверью.

На Карнаухова накатилась непонятная волна нежности и теплоты, но тут возник Димка.

— Супермен,— с удивлением отметил он,— действовал, как в лучших отечественных фильмах.

— Действительно,— подумав, согласился Карнаухов,— со мной происходит что-то странное...

## 2

Карнаухов встал поздно. Больничный даровал ему еще один день почти полной свободы, а свобода, как известно, развращает. Не торопясь, с выхоленной барской ленцой, он растянул завтрак и только после этого заставил себя побриться.

Выдвинув правый ящик серванта, Карнаухов открыл коробку из-под шоколадных конфет, достал хранившуюся там пачку денег, взвесил на ладони и, отделив большую часть, положил обратно. Эту нехитрую процедуру он повторял каждую вторую пятницу месяца.

Выбравшись из троллейбуса, Карнаухов завернул за угол, прошел по перекинутому через траншею мостику и оказался на огромном пустыре, окруженном со всех сторон серыми девятиэтажными махинами. Посреди пустыря терялись песочница с грибком, поломанные качели и железная перекладина. Из песочницы живой торпедой вывалился человек в желтой курточке и помчался навстречу Карнаухову.

— Элка!— воскликнул он и едва успел подхватить девочку.— Ты когда-нибудь расшибеш себе нос!

— Привет, старик!— затараторила Элка.— Кормительные принес? А то старухе на бензин не хватает!

— Принес,— ответил Карнаухов, в который раз удивляясь способности дочери сразу выделять главное.— Ну как ты?

— Норма.— Элка подняла вверх указательный палец.— Димка вчера заходил.

— Да?— удивился Карнаухов.— А мне ни слова.

— Мармелад достал,— облизнулась Элка.— Класс, а не дядя.

— Лучше бы на лекции ходил.

Он стоял, не зная, о чем говорить дальше.

— Не волнуйся,— поняла его состояние Элка.— Старуха катит.

По пустырю, взрывая облака пыли, неся мотоцикл. Он лихо затормозил рядом с ними, обдав Карнаухова струей песка.

— Салют!— Вика сняла шлем и слезла с сиденья. Старый кожаный костюм плотно облегал ее тело, сухие маленькие руки, узкие отточенные бедра, слегка выпирающие колени. Она и сейчас, спустя семь лет, напоминала угловатого неказистого подростка. На Карнаухова строго смотрели знакомые раскосые глаза.

— Я звонила в понедельник,— начала без вступления Вика.— Ты купил детские тапочки?

— Я сразу подошел в «Детский мир», но там было так много людей...

— И ты, как всегда, встал в очередь, тебя оттерли и последнюю пару увели перед самым носом?— Она презрительно скривила свои узкие губы-стрелки.

— Ты же знаешь, у меня замедленная реакция,— вздохнул Карнаухов.

— А у старухи повышенная!— заметила Элка.

— Молчи, детсадовский выкормыш!

Элка задумалась, обижаться или нет на подобное обращение, и эти сомнения ясно читались на ее светлом лице.

Карнаухов, тем временем, торопливо достал деньги и протянул их Вике.

— Что-то много...— Поинтересовалась:— Себе-то оставил для самочек?

— Как ты можешь!— возмутился Карнаухов.— При ребенке!

— Заткни уши, старуха!— скомандовала Вика.

Элка зажала уши ладонями, а ее губы радостно повторяли новое лакомое слово.

— Чертенюк,— улыбнулся Карнаухов.

— Возможно.— Вика выпрямилась и убрала сползшие на лоб волосы.— Но этот чертенюк, в отличие от тебя, сумеет пробить себе тропу в жизни.

— Я не сомневаюсь.

Она провела рукой по блестящему боку мотоцикла и бросила короткий нервный взгляд на Карнаухова.

— Тебя подвезти?

Он замялся и с трудом выдавил из себя:

— Нет... Спасибо. Я сам...

— Как знаешь!— отрезала Вика и, оставив возле песочницы мотоцикл, направилась к подъезду, потащив за собой хныкающую, упирающуюся Элку.

Карнаухов пришел в центральную библиотеку немного позднее, чем хотелось. По еще студенческому пропуску его пустили в читальный зал, и он, остановившись у входа, стал рассматривать сидящих за столиками. Рядом с крайним окном, почти у самой стены, перелистывала маленький темно-коричневый томик Евгения.

Карнаухов неслышно подошел и шепотом поздоровался.

— Здравствуйте!— приветливо улыбнулась Евгения.— Как ваше здоровье, больной?

— Я уже здоровый,— шептал Карнаухов,— а где ваше «Здоровье»? Где стопка прошлогодних журналов, зачитанных до дыр?

— Вы и это вывели?— улыбнулась Евгения.— Мою легенду?

— Легенду?— не понял Карнаухов.

— А кто поверит, что я хожу сюда читать стихи? А если поверят, то я окажусь не в поликлинике, а совсем в другом лечебном заведении!

И она протянула книгу Карнаухову.

— «Пастернак».— Он посмотрел на переплет и попытался по памяти:

Метель лепила на стекле  
Кружки и стрелы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.  
На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья.

Она с любопытством смотрела на него и так же, почти бесшумно, продолжила:

И падали два башмачка  
Со стуком на пол,  
И воск слезами с ночника  
На платье капал.  
И все терялось в снежной мгле,  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

— Странно,— сказал Карнаухов.— Я, кажется, знал вас всю жизнь.

Она ничего не ответила, встала и отнесла книгу. Когда они вышли из библиотеки, было еще светло.

Не сговариваясь, они пошли в соседний сквер с разросшимися вековыми де-

ревьями, с суровым памятником и с полным отсутствием скамеек. Убрав скамейки, городские власти надеялись одним ударом покончить и с бандитизмом, и с ситуацией.

Карнаухов молчал. На ум приходили какие-то пустые, нелепые фразы, а говорить следовало совсем иное. И эти слова должны были прийти сами.

Евгения тоже молчала, кротко к чему-то прислушиваясь. Они гуляли долго, пока ночная сырость окончательно не разлеглась по городу.

У порога своего дома Евгения подержала в ладошках руку Карнаухова и дружески встряхнула ее.

— Ну, прощайте!

— До завтра,— шепнул Карнаухов.

— Начинаю понимать родителей,— иронизировал Димка, открывая дверь,— заучивающих телефоны райотдела милиции и городского морга. Все-таки я обещал за тобой присматривать!

— Будет.— Карнаухов снял плащ и прошел в комнату.— Мне никто не звонил?

— Я, может, сам полчаса как дома.

— А где пропал?

— Там же, где вы, сеньор!— обиделся Димка.— В одном болоте чахнем.

Карнаухов решил воздержаться от дальнейших вопросов и засел на кухне. Но Димку так и тянуло пообщаться со старшим братцем.

— Некому учить меня уму-разуму,— сокрушался он, усаживаясь напротив.— Был один родственник, и тот заболел.

— Поздно,— заметил Карнаухов.

— Учить поздно?— спросил Димка.

— Поздно. Спать пора.

Карнаухов вымыл посуду, вытер стол тряпкой и спрятал затвердевшие лепешки в хлебницу.

— Некоммуникабельная ты личность,— зевая, констатировал Димка.— Таких неприятности любят.

— Таких никто не любит. Такие сами любить должны,— грустно улыбнулся Карнаухов.

Утром Карнаухов отправился в поликлинику. Отстояв свое в переваривающей болезни очереди, он вошел в кабинет с заранее подготовленной фразой:

— Доктор, мне стало гораздо хуже!

Как и ожидал Карнаухов, его сразу выписали. Размахивая больничным, как знаменем, отвоеванным у противника, он сбежал по лестнице и чуть было не столкнулся с Русиным, задумчиво рассматривающим стенд, посвященный профилактике СПИДа.

— Здравствуй!— обрадовался Русин.— Лечишься?

— Выписываюсь,— ответил Карнаухов.— С понедельника на работу!

— Так ты ничего не знаешь!— Русин удивленно отстранился.

— Нет. А что?

— Нинель смолчала? Вот хитрюга. Новости у нас, Вячеслав, новости!

Карнаухов насторожился. За четыре года совместной работы Русин впервые назвал его полным именем.

— Объединяют два отдела — наш и Боткина,— медленно начал Русин.— Сам понимаешь, необходимы сокращения. А у Боткина работает Вайсман, ну, ты знаешь, голова. Зачем в одном отделе две головы? Да и Боткин на тебя сердит: ты же отлынивал в прошлом году от сельхозработ, а он, чертяка, памятливей.

— А Вадим?

— Вадим вроде пробовал тебя защищать, но...— Русин помялся.— Мы, конечно, все... что можно... Но решение принимают т а м. А Вадим...

Русин оживился и даже замахал руками.

— Слушай, езжай прямо сейчас к нам. Вадим у себя, документы готовит. Суббота, никого нет. Вот и поговоришь по душам. Вы же с ним вместе политех заканчивали!

Через полчаса Карнаухов был в институте. Кивнув дремлющему вахтеру, он вошел в лифт и поднялся на шестой этаж. В приемной Вадима шуршала бумагами молоденькая секретарша Светочка. Заметив Карнаухова, она испуганно выпрямилась и, нажав на клавишу селектора, трагически произнесла:

— Вадим Сергеевич! К вам Вячеслав Владиславович!

Вадим выбежал из-за стола, участливо пожал руку, похлопал по плечу.

— Здоров? Ну и славно. Присаживайся, сейчас чайку раздавим.

Он выглянул в приемную.

— Светочка, нашего, индийского, пожалуйста.

Потом опустился в кресло и начал поправлять галстук. Мельком взглянул на Карнаухова.

— Ты все знаешь?

Карнаухов кивнул, наблюдая за суетливыми движениями бывшего однокурсника.

— Ничего не удалось сделать. Боткин категорически против: ему своих сохранить в первую очередь... А что я могу? Кого тронуть? Чекмареву, Хасанова, Русина? Они же все блатняки. Слово скажешь — такой шум поднимется... А у тебя к тому же образование не совсем по профилю.

Вадим заметил движение Карнаухова и тут же продолжил:

— Знаю, знаю. У меня такое же. Но я все-таки... Пойми, будь что-нибудь другое — костями бы лег, а здесь — сокращение штатов. Мертвая статья.

— Значит, все? — спросил Карнаухов.

— Ты сам виноват! — вдруг совсем другим тоном заговорил Вадим. — У тебя всегда была своя точка зрения. Если нет — то нет, если да — то да. Но так же нельзя, этого не любят. У Андрея Поликарповича сложилось определенное мнение.

— Ясно. — Карнаухов сделал попытку подняться, но Вадим силой усадил его обратно. — Мы же друзья, — скривился он, — старые добрые товарищи.

Дверь широко распахнулась, и Светочка втокнула в кабинет тележку с чайником, чашками и конфетницей.

— А вот и чаек! — обрадовался Вадим. — А то мы все всухую да всухую.

Он кивком поблагодарил, отпустил Светочку и торопливо налил чай.

— Ситуация, конечно, неприятная. У нас есть место в филиале, но ты ведь туда не поедешь?

— Там для меня нет работы, — сказал Карнаухов.

— Да-да. Ты абсолютно прав. А мы сообразим вот что, — Вадим достал из стола чистый листок бумаги. — У тебя же не использован отпуск за этот год! Бери с понедельника и гуляй. Подумай, присмотришься. А я за это время постараюсь что-нибудь сделать.

«Ничего ты не сделаешь», — понял Карнаухов и сел писать заявление. Вадим ласково смотрел на него, мелкими глотками отхлебывая горячий ароматный напиток.

Из комнаты брата громыкала музыка. На двери висел, прикрепленный кнопкой, красный восклицательный знак.

Карнаухов постучал. За дверью не отвечали. Тогда он постучал более настойчиво. Дверь приоткрылась, и из нее выглянула рыженькая симпатичная мордашка.

— Меня зовут Ксана! — представилась девчонка. — А вы Славик?

— Славик, — согласился Карнаухов. — Димка где?

— Диму вызвали делать запись, — радостно сообщила рыжая. — Он переписывает классную кассету.

Она мотнула головкой, разметав свои пушистые волосы, и деловито предложила:

— Вас покормить?

— Спасибо, — отказался Карнаухов. — Сыт.

Он было пошел к себе, но, обернувшись, спросил:

— А вы что, будете у нас жить?

— Нет, — ответила девушка и, подумав, добавила: — Пока.

Димка вернулся, когда его гостья, пообедав и посмотрев всю дневную телевизионную программу, спала на диване.

— А, эта еще здесь? — удивился он, вставляя кассету в магнитофон. — Сейчас разбудим!

Карнаухов неодобрительно вздохнул.

— Миленькое создание! — отпарировал Димка. — Чисто платонические отношения.

Он поставил магнитофон на стол.

— Выменял одну запись. Специально для родителей. Основатели будут счастливы — уникальная вещь!

Димка надавил на кнопку, и хриплый голос завыл под гитарный перебор:

Сексуальная мадонна на четвертом этаже,  
Без особого фасона принимает в неглиже.

Приходите, заходите и не стойте у дверей,  
Пообщаться с ней хотите — приготовьте сто рублей!

Карнаухов поморщился.

— Фольклор,— развел руками Димка.

От музыки проснулась Ксана и спросонок уставилась на Димку.

— Быстрой раздевайся и ложись,— приказала она.— Теряем время!

— Да!— сказал Карнаухов, хлопнув входной дверью.— Да!

Иных слов в его обширнейшем лексиконе на данный момент не было.

Вечером Евгения в библиотеку не пришла. Не пришла она и в воскресенье, и в понедельник, и в течение всей следующей недели. Карнаухов часами стоял у ее дома — никаких признаков жизни. Позвонить он так и не решился.

— Затруднение?— интересовался Димка, пристраиваясь за блуждающим по квартире Карнауховым.

— Я пойду к ней. Сегодня же и пойду!

— А если она замужем? А муж — мастер спорта по боксу? Ты ведь наверняка, из хлипких интеллигентских побуждений, не спросил самого главного?

Карнаухов остановился.

— Я все равно пойду.

— Пойдем вместе,— предложил Димка.— Скажем: за макулатурой пришли. Я студент, ты аспирант.

— Идиотизм,— пробурчал Карнаухов.

— Чем вещь невероятнее, тем в нее больше верят,— пояснил Димка.— Да и вообще: двоих бить сподручнее.

— Сам!— сделал еще одну попытку отвязаться от Димки Карнаухов.

— И что ты в ней нашел?— спросил Димка.— Ничего особенного.

— Тебе не понять...

— Почему? Я знаю: ты ищешь то, чего не хватает самому. Как с Викой. Тебя поразила картинка: девушка на мотоцикле. Не столько девушка, сколько мотоцикл! Мо-то-цикл! Ты о нем всегда мечтал — раз; ты на него никогда не посмеешь сесть — два; а в-третьих, тебе на него никогда не накопить. Не то ищем, коллега!

— Профессор,— усмехнулся Карнаухов.

— Профессионал,— поправил Димка.

Они не стали дожидаться вечера и поехали в центр города. Зашли в палисадник, перемахнули через короткую дорожку и замерли у старой потрескавшейся двери.

— Звони,— предложил Димка,— остальное я беру на себя.

Карнаухов решительно надавил на кнопку звонка. Спустился некоторое время за дверью слышались тихие шлепающие шаги.

— Сейчас,— донесся сухой старческий голос.

Дверь отворилась, и перед ними оказался тощий сутулый старичок в длинном зеленом халате. На сморщенном лице блестели синие, по-детски чистые глаза.

— Молодые люди?— полуспросил он, прикрывая полый халата босые ноги в непомерно больших шлепанцах.

— Мы из института,— бойко начал Димка,— макулатуру собираем. У вас дома никого помоложе нет?

— Нет...— Старичок вздохнул, посмотрел на Карнаухова.— Проходите, раз пришли.

Димка дернул брата за руку, и они вошли в дом.

— Можете не переобуваться,— продолжил старик.— Плащи, если вас не затруднит, оставьте на вешалке. Присаживайтесь.

Комната была маленькая, словно игрушечная. Квадратный стол, длинная этажерка, над забытая книгами, допотопный диван со смешными валиками. На стене, над узким потертым ковриком, висела целая галерея самых различных портретов.

— Евгений Осипович!— наклонив голову, представился старик.

— Дмитрий Владиславович!— в пояс поклонился Димка.

— А вы Саша?— спросил Карнаухова хозяин домика.

Карнаухов и Димка переглянулись.

— Саша, Саша,— повторил старик.— Геня мне о вас очень часто рассказывала.

— Евгения?— провел ладонью по лбу Карнаухов.

— Геня. Ведь она вас любила.

Старик вздохнул и улынулся.

— Впрочем, за два года, наверно, можно полюбить любого человека.

Он помолчал и, словно размышляя вслух, произнес:

— Я не понимаю, Саша, что такое хорошая партия? Может быть, я слишком глуп и старомоден, но разве можно так: любовь и хорошая партия? Деньги, вещи, машина... и человек? Или она мне неправильно объяснила?

— Но я...— начал было Карнаухов, но понял, что сказать ему нечего.

— А может, вы ее плохо знаете? Ведь у Гени погибла мама, когда ей исполнилось десять лет, а отец скончался еще раньше... Она так и росла, со мной. Геня очень ранимый человек, Саша. С ней нельзя так...

И старик, скорчившись, тихо заплакал.

— Евгений Осипович, не надо,— подскочил к нему Димка,— все хорошо, мы здесь.

— Да...— вздохнул старик,— вам следовало показаться раньше. Намного раньше. Девочка так переживала, просто не находила себе места. А у нее такой сложный характер...

— А где она сейчас?— спросил Карнаухов.

— Уехала,— прошептал старик.— Вы против? Я тоже ей говорил, что Саша будет против, но она промолчала. А что я могу? Я всего-навсего дед... с полной потерей авторитета. У меня есть кефир. Хотите?

Димка покачал головой. Скванность Карнаухова как будто передалась и ему.

— А все из-за чего? Из-за пустяка. Для меня это пустяк, для вас это пустяк, а для нее нет! После окончания ее должны были отправить в Новогорск. Вы представляете себе, что такое Новогорск... А мне постоянно нужен уход, я больной человек, вы видите, но там на это не смотрят. Правда, у меня остались некоторые дружеские отношения... да... и я попросил оставить ее в городе. Она ничего не знала. Думала, все как положено. Но во вторник к нам пришла Инна. Вы знаете Инну? Нет? У нашей Инны такой язык, такой язык... Она все рассказала. Нет, Геня не стала нервничать, возмущаться, это не такой человек. Она просто уволилась, купила билет и уехала в Новогорск. Вчера принесли телеграмму: «Я работаю. Все в порядке». Она такой человек, Саша. С ней ничего не поделаешь.

— А в какой больнице Новогорска она работает?— спросил Карнаухов.

— Там только одна больница.

— Спасибо.— Карнаухов поднялся.— Мы пойдем, Евгений Осипович.

— И я опять останусь в одиночестве,— вздохнул старик,— и вечером, и ночью...

— Мы будем вас навещать,— пообещал Димка,— честное пионерское!

Дед улыбнулся и, шурша шлепанцами, проводил их до калитки. Они уже шли по противоположной стороне улицы, а он все стоял и смотрел им вслед.

Дома Карнаухов вытащил из шкафа чемодан и стал собирать необходимые в дороге вещи.

— Последние новости!— воскликнул Димка.— Ты в своем уме?

Карнаухов продолжал поиски отдельных предметов обихода.

— Да ты на себя посмотри!— возмутился Димка.— Тебя не сегодня завтра уволят!

— Сообщили?— обернулся Карнаухов.

— Пожилая девушка звонила. Просила, чтобы подготовил.

— Нинель?

— Она. Ты в курсе?

Карнаухов кивнул.

— Ну вот,— Димка уселся на чемодан.— Ты же знаешь — сейчас работу днем с огнем не отыщешь! Я поднял всех на ноги: пятнадцать девчонок ищут тебе место. Со дня на день я жду телефонного звонка и отглаживаю твой единственный личный костюм. А ты плюешь на все и пускаешься в заурядную любовную авантюру. Зачем, С а ш а?

— Разве это объяснишь?— спросил Карнаухов.

— Но это же глупо!— продолжал возмущаться Димка.— Я уважаю романтиков, сам романтик, но не до такой же степени! Ехать черт-те куда, наобум — ради чего?

— Не поймешь.

— Где мне понять! Кто я? Немного весельчак, немного пошляк, немного циник. Одним словом, неунывающий мальчик. С которым всегда легко, который всегда поможет, но которого нельзя принимать всерьез. Уж очень он веселый! И ничто у него этого веселья не выбило: ни пневмония в пятнадцать лет, когда наши практические родители уже прикидывали, что для полной нормы придется завести еще одного ребенка, ни удар ножа, лишь оцарапавший левое легкое, ни два года в стройбате на Севере. Не получилось. Веселый и все! А чего мне стоит это веселье — ты когда-нибудь задумывался? Может, это тоже работа — быть веселым, всегда веселым, потому что от тебя этого ждут. Потому что другим будет легче!

— Я не знал.— Карнаухов сел на стул и опустил руки на колени.— Вблизи не



всегда видишь, а я дальнорейкий. Но в этом городе четыре человеческих существа вызывают у меня уважение. Ты — пятый!

— Спасибо,— улыбнулся Димка.

— А сейчас сойди с чемодана,— попросил Карнауков.— Мне надо закончить.

— Куда ты поедешь,— сказал Димка.— Самолеты разбиваются, поезда сходят с рельсов, а автобусы попадают в катастрофы. Сиди дома.

— Я решил,— вздохнул Карнауков.

— Решил,— эхом отозвался Димка и посмотрел на него преданно, по-собачьи. Так смотрят подобранные на улице дворняги на своих непутевых хозяев.

### 3

Новогорск находился в самом центре пустыни. И возник он только потому, что однажды именно в это место на карте уперся мизинец бывшего руководителя республики. Город, обреченный на бурное развитие, со временем оказался экономически невыгодным. И только серые громадины многоэтажек заверяли гостей, что они прибыли в прежний областной центр, начало предполагаемого наступления на обширные районы непокоренного пространства. «Городом бетонных декораций» назвал Новогорск ненароком захвативший сюда известный московский журналист.

Вот и все сведения, которыми располагал Карнауков, оказавшись на автовокзале Новогорска.

По улицам мчали одиночные автомобили, сопровождаемые почетным окружением пылевых столбов. Два аксакала вели неторопливую беседу у стенда с газетами. Небо перекрывало красное полотнище с призывом бросить все силы на сбор урожая ударного года пятилетки.

Карнауков выяснил, где находится больница, и пошел по широкой типовой улице. В переулке, прямо из грунта, тянулось ввысь круглое белое здание, напоминающее дворец средневекового вельможи.

В приемной было пусто. Только смешливая медсестра-подросток хихикала кому-то по телефону. Заметив Карнаукова, она бросила трубку и в смущении прикрыла рот ладошкой.

— Слушаю вас, уважаемый! — ее детский голосок звучал серьезно и значительно.

— У вас работает Блик, Евгения Валентиновна? — спросил Карнауков, поставив чемодан на стулья. — Можно ее попросить?

— Женя? — Девочка удивленно вскинула на него глаза и, спустя секунду, запрыгала по лестнице.

Карнауков, чувствуя, как, потея, холодеют руки, потер их об успевший вдохнуть новогорской пыли свой непромокаемый плащ.

По лестнице спускалась Евгения. Увидев Карнаукова, она подалась ему навстречу, но тут же остановила себя.

— Вы?.. Приехали?..

Ее щеки порозовели, и мягкая улыбка высветила смущенное лицо.

— Знаешь, — сказал Карнауков, — я не мальчишка так за тобой бегать. У меня дочь растет, с работы гонят, брат совсем распустился и вообще... одни неприятности. Выходи за меня замуж!



Динара Абдулова

## ТО СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО

Вот уже неделю она жила в гостинице «Центральная». В Москву приехала после успешно завершённой летней сессии с одной целью — повидать жениха. Ей удалось созвониться и увидеться с ним.

Он явился из общежития ВГИКа оживлённый, похудевший, с каким-то новым блеском в узких, темных глазах. Из вместительной мягкой сумки вытащил бутылку шампанского и две плитки шоколада.

— Начнем пировать? Ты похорошела, старуха. Как жизнь?

Ей хотелось о многом рассказать и еще о большем расспросить, но разговор вышел самый пустяковый. Стало только ясно, что он уезжает на съемки, пробудет в Новгороде целое лето и, может быть, в сентябре приедет домой дней на десять. Они вышли на балконный выступ; допивая шампанское, смотрели на знаменитую, шумевшую под ними в лучах закатного солнца улицу.

— Сколько людей, — сказал он медленно и значительно. — Лица, лица, и в каждом скрытая тайная страсть. Когда-нибудь этот город будет моим.

Стемнело. Они спустились в лифте в тесный, неудобный вестибюль. Там вдруг пришла идея просить благословения на женитьбу у старого швейцара.

— Бог с вами, дети, вы молоды, свободны — женитесь. Но я не поп и не родитель, а так — разве ж можно возражать?

На другой день он уехал. Стало скучно, мучила неудовлетворенность от встречи, а главное — так было всегда. Каждый раз, когда она готовилась к свиданию с ним, — надеялась на что-то яркое, и каждый раз оставалось что-то недосказанное и этим унижительное для нее.

«Хорошо бы послать его к черту, — думала, когда бесцельно бродила по московским улицам, — послать к черту и обрести свою жизнь. Дело за малым: узнать бы, кто я? И что такое моя жизнь?»

Ей было девятнадцать лет, на эти вопросы она не знала ответа.

День был серенький, на редкость теплый, иногда моросил дождь. Она забрела на Новодевичье и там долго сидела на могиле Генриха Густавовича Нейгауза. Открытием мятущейся страдающей души она была обязана Нейгаузу, которого много раз слушала по радио. На кладбище было тихо, умиротворенно, иногда гулко бил колокол на монастыре, проходили незаметные, вполголоса разговаривающие люди. И от их незаметности, деликатности становилось хорошо на душе, благодарно. Она положила на могильную плиту зеленую ветку жасмина, вздохнула на прощание и направилась в гостиницу.

Войдя в вестибюль, мельком взглянула на свое отражение в зеркалах, поправила волосы и, поднявшись по нескольким ступеням, остановилась у дверей лифта. Лифта дождалась какая-то иностранная семья. Пожилая и молодая женщины разговаривали, мужчина докуривал сигарету, двое детей — девочка лет шести и мальчик четырнадцати — держались с достоинством. Продолжая думать о своем, она посмотрела на мальчика и в невольном удивлении остановила на нем взгляд. Он был поразительно хорош! Ослепительной белизны кожа, гордо посаженная

голова с тонким профилем, гибкая фигура, полная непринужденного изящества, взывали к памяти о мраморных богах. Мальчик почувствовал ее взгляд, щеки его окрасились ярким румянцем, но он продолжал играть взятую на себя роль, видимо, подражая кому-то. Едва заметное, как будто ревнивое движение возникло рядом с ним. Она перевела взгляд и не смогла сдержать возглас восхищения. Перед ней стоял тот, чьей копией был мальчик и кому подражал. Пожилая женщина замолчала, пристально посмотрела на нее. Она потупилась, замкнулась и была несказанно рада, когда раскрылись наконец двери лифта. Женщина и дети вошли, она осталась стоять на площадке. Прошла, должно быть, минута, к ней обратились на французском. Она подняла глаза, он ждал ее, любезно улыбался и приглашал в лифт. Она вспыхнула, сбиваясь, подыскивая французские слова, благодарно проговорила:

— Entrez — vous...s'il vous plaît.

Он, кажется, мог простоять так вечность. Ей ничего не оставалось, как покориться его воле.

«А любезная улыбка не к лицу», — подумала она, входя в лифт.

Две пары глаз встретили ее там. Одни — нежные, прозрачные, смотрящие с недоуменным любопытством, другие — холодно-враждебные.

В лифте установилось напряженное молчание. Она рассеянным взглядом скользнула по ореховым волосам девочки, которую женщина держала за руку, по-детски неправильному носику, большим зеленым глазам; ребенок был очаровательным. У молодой женщины потеплели глаза. Пожилая качнула головой и продолжала смотреть взглядом старой волчицы, призванной стеречь свое сокровище.

Как только лифт остановился и раскрылись двери, она зашпешила к дежурной по этажу, чтобы взять ключ от номера. Увы, за столом сидела та, которую она мысленно прозвала «прекрасная корова». Большие с поволокой черные глаза, полные сочные губы, чуть желтоватый цвет лица, тяжелый двойной подбородок. Стареющая и потому злая на весь свет особа.

Неделю назад, раскрасневшаяся, оживленная, она взбежала по этим ступенькам и, не успев спросить свой номер, услышала от нее:

— Смотри, не споткнись!

С этого момента они прониклись обоюдной неприязнью друг к другу.

— Ключ от сорок шестого, пожалуйста.

«Прекрасная корова» и ухом не повела.

— От сорок шестого, — повторила она.

В это время дежурная уже расплывалась в улыбке подошедшей иностранной семье.

Дальше произошло непонятное замешательство. Она увидела, как физиономия дежурной покрылась пятнами, а глаза приняли испуганное выражение, протянутая рука с ключом повисла в воздухе. Ключ не брали. Она перевела взгляд на француза. Его лицо словно сияло во гневе. Он истинно прекрасен!

Кляня про себя все на свете, дежурная протянула ей ключ.

Сказав ему «мерси», она убежала в свой номер.

В номере было пусто и прохладно. Она надела тапочки, расчесывая волосы, подошла к окну, с удивлением и удовольствием вспоминала все с нею происшедшее и не верила себе. Она, должно быть, слишком задержалась у окна, потому что на другой стороне улицы, как раз напротив ее номера, в оконном проеме появился мужчина с гипнотизирующим взглядом. Она скрылась за портьеру, чему-то рассмеялась, скинула одежду, нырнула в постель и тотчас же блаженно уснула.

Проспала ровно час. А когда проснулась, вспомнила, что, проходя мимо зеркал вестибюля и поправляя волосы, она ощутила как бы небольшой толчок.

«Как странно... Я еще не знала, что он есть на свете, а тело мое уже откликнулось на его взгляд. Он уже увидел и прочел меня с такой же легкостью, с какой я поняла его сына».

Она потянулась, с наслаждением ощущая свое молодое гибкое тело.

«А к сыну приревновал», — она громко рассмеялась.

Одна за другой пришли три ее соседки по номеру, и начались разговоры о работе, магазинах, покупках, волновавшие ее чувства потускнели, и скоро стало казаться, что все она придумала себе и ничего этого нет на свете, а есть магазины, семейные заботы, производственные интриги, командировки, дефицит обуви и дешевых сервисов. Чуть не плача от досады, она убежала в душ, который находился в другом крыле этажа.

Она долго плескалась, открывая краны то с горячей, то с холодной водой, — это была ее давняя детская игра. Холодная вода в ее воображении представлялась водами Северного Ледовитого океана, а теплая — водами Гольфстрима. В классе пятом или шестом учительница рассказала о течении Гольфстрим. Огромные массы теплой воды, которые текут мимо многих государств, смягчая климат, и затем

впадают в бескрайние просторы океана, поразили ее воображение и с тех пор превратились в точку притяжения ее души.

Потом в таинственном мире появилось еще одно притяжение — Он. Сначала был просто Он. Потом Он стал приобретать конкретные черты, и вот уже несколько лет это был юноша из ВГИКа. Но сейчас, когда она плескалась в душе, Он вдруг превратился во француза. Она вспоминала его, он нравился ей, и она тихо улыбалась ему.

Она надела батник, юбку, кое-как причесала мокрые волосы и направилась к «Прекрасной короле», чтобы заплатить за душ.

Она прошла холл, где группа людей, мужчин преимущественно, смотрели или делали вид, что смотрят телевизор, положила мелочь на стол и увидела в лице дежурной то самое испуганное выражение, какое возникло у нее, когда иностранец не пожелал взять ключ. И она к своему торжеству и ужасу поняла, что Он сидит в кресле и смотрит в ее сторону. Стоит ей сейчас обернуться — и они встретятся взглядами. Он ждет ее! Но тут она представила свое распаренное лицо, мокрые волосы, батник, кое-как надетый на влажное тело: «Нет, нет!» Она сделала два шага назад и, так и не обернувшись, скрылась в коридоре своего крыла.

В номере она металась, как пойманная птица в клетке. Вытащила из чемодана одно платье, второе, раскидала их на кровати. С какой-то судорожной тщательностью начала было красить тушью ресницы, но и тушь бросила на стол, потом схватила светлое платье, убежала в гладильню.

Когда же вернулась в только что выглаженном платье, задумчивая, с торжественной улыбкой на губах, в номере установилась тишина. Не торопясь, она выложила на стол хорошее печенье, шоколадные конфеты, баночку красной зернистой икры.

Три ее соседки переглянулись. Одна по-домашнему ворчливо проговорила:

— Домой что повезешь?

— Давайте пить чай,— тихо проговорила она.

Женщины сели за стол, чай пили в молчании, разговор не вязался. Наконец одна из них не выдержала, с тоской произнесла:

— Да пригласи ты его!

В ответ у нее в глазах сверкнули слезы.

Выпив чаю, легли рано и, немного еще поговорив, затихли. Она долго не могла уснуть, лежала с открытыми глазами. Блаженное волнение охватывало все ее существо, когда она пыталась вспомнить выражение его лица, голос, взгляд.

Проснулась довольно поздно, около десяти. Пустой номер был залит солнечным светом, в воздухе плавали пылинки, а за окном шумела улица. Настроение было легким, как в праздник. Она тщательно умылась, причесалась, надела лучшее платье, раскрыла окно и долго, чему-то улыбаясь, смотрела на улицу. И уж затем закрыла номер и направилась к лифту, чтобы спуститься в буфет первого этажа.

Сбегаая по ступенькам в самом беспечном и счастливом настроении, она бросила взгляд в холл и тотчас же увидела его. Он, напряженно вскинув голову, смотрел в ее сторону. Не изменившись в лице, она добежала до последней ступеньки лестничной площадки, на мгновение остановилась и дружески кивнула ему. Он поднялся с кресла и поклонился ей.

На другой день она уехала из Москвы.

С того лета прошел двадцать один год. Она известный в городе терапевт, у нее взрослый сын, который служит на дальней южной границе, муж режиссер. Некоторые даже завидуют ей.

А ей странно думать, что никто не догадывается, как она несчастлива с мужем, что она давно рассталась бы с ним, желчно-насмешливым, всегда несправедливым к коллегам и, в сущности, жалким человеком, если бы не сознание того, что она является его единственным истинным другом и опорой в жизни.

В последний год она часто грустит; в такие дни она довольна, когда вечером не застаёт мужа дома. Ставит пластинку Моцарта и погружается в воспоминания. И каждый раз память приводит ее в то счастливое лето, в Москву, в гостиницу «Центральная», где на четвертом этаже в сиянии солнца Он ждет ее. И она видит себя беспечной и свободной, сбегающей по ступенькам лестницы к нему, чтобы спросить: «Зачем ты здесь?»

# ВИЗИТ

Самолет летел в Москву. Она сидела тихо, затаившись, смотрела на пушистые поля облаков в сиянии ослепительного солнца и улыбалась оттого, что ей предстояло прожить семь дней отпуска в сутолоке гигантского города, который она плохо знала, но всем сердцем желала полюбить, встретиться с подругой, год назад окончившей университет, и нанести визит Ему. От всех этих предчувствий у нее кружилась голова, а в ушах гремели фанфары.

Москва встретила ее громами июльских гроз, сверкающим золотом куполов церквей над Москва-рекой, водоворотом человеческих страстей у прилавков магазинов и радостно-изумленным вскриком подруги. Шесть дней пролетели как один. И настал седьмой — грозный, когда она, незваная, должна была появиться на Его пороге.

Три года назад она написала ему, известному журналисту и критику, письмо, в котором, с присущей ей живостью и беспечностью, поведала о своем восприятии его недавно напечатанной статьи, наделавшей в литературных кругах много шума. Письмо произвело впечатление. Скоро она получила приглашение посетить на зимних каникулах «престольный град». Приглашение было выдержано в дружески-корректном тоне, и только искушенный глаз мог бы заметить в нем долю столичного кокетства. Она решила ехать.

Она выслала ему телеграмму о своем приезде. Он встретил ее в предрассветных сумерках на перроне Казанского вокзала, шел густой снег. Высокий, внимательно-спокойный, с лицом, в ее представлении, русского князя. Позже она узнала, что влюбленные в него девушки так и звали его за глаза: «Владимир — Красное Солнышко». Те же, которые его не любили или сердились на него, пренебрежительно говорили: «Вон шофер приехал», — так как ездил он на «Москвиче» и носил кепку. От снега и сумерек его лицо было таинственно-бледным, с печатью давнего, застенного ожидания.

«С таким выражением подстерегают судьбу», — подумалось ей, когда она слушала его приветствие.

Он повез ее по заснеженной Москве, мимо старого здания филологического факультета университета, которое, видимо, любил, мимо дома, выстроенного Корбюзье, по незнакомым улицам и проспектам, пока не приехали на Ленинские горы. Там они вышли из машины и долго, молча, смотрели на панораму мерцающего огнями сонного города.

Час спустя, когда они пили кофе в теплой полупустой квартире, он вдруг сказал ей: «Я рисковал, вы могли оказаться дурнушкой». От этих слов у нее что-то внутри оборвалось, она сжалась и ушла в себя, оставшись снаружи простодушного вида провинциалкой, который, впрочем, мог обмануть разве что слепого.

А дальше для нее начались муки узнавания в нем героев-любовников всей мировой литературы и угадывания в себе азартно-самолюбивой, страстной женщины. На четвертый день, измученная борьбой характеров и окончательно пришедшая в разлад с собой, она вдребезги разругалась с ним и бежала в свой далекий среднеазиатский город.

Дома она исповедалась перед давним умным другом, преподавательницей ее курса.

— В вашей внешности много восточного, — сказала преподавательница, — а это интересно, особенно для коренного москвича. У него поначалу могло сложиться о вас впечатление как о робком, диком, своеобразном существе, что может банально олицетворять Восток. И вдруг аналитический ум. Вы можете очень, очень спокойно разложить и показать душу человека... Анализ проходит не без кокетства и налета скепсиса, это интригует. Конечно, вы для него оказались существом неожиданным, пикантным. Думаю, если бы вы пошли ему навстречу, он переступил бы через свою осторожность, потому как натура, видно, азартная. Но вы держались ультранезависимо.

И вот уже три года она засыпала и вставала с его именем и сама превратилась в неприкаянный персонаж комедии, называемой жизнью.

## II

Стоял последний, жаркий день июля. Озираясь по сторонам, она прошла Миусское кладбище, вышла на улицу со старинным названием Посадская и возле

серого дома увидела его малиновый «Москвич». Вошла в подъезд, поднялась по ступенькам и нажала кнопку звонка.

«Нет, не глупо... но все-таки, на что я надеюсь? Зачем я здесь?» Дверь открыла, должно быть, его сестра. Увидев ее, она почему-то вздрогнула. На вопрос, дома ли он, нервно проговорила:

— Да-да, проходите.

Она не шелохнулась. Тогда женщина толкнула боковую дверь.

— К тебе!

Теперь только она переступила порог и скромно остановилась. В глубине темной прихожей обнаружила еще одну женщину, которая смотрела на нее расширенно-испуганными глазами. Тотчас же боковым взглядом увидела его. Он, откинув крепкую руку, не торопясь, надевал рубашку, зная, наверно, какое должны произвести впечатление его безупречной линии плечо и гладкая шея, облитые черноморским загаром. Она стояла перед ним вдохновенная, очень тонкая, в черно-белом атласного шелка платье и в бухарских серьгах. Поклонилась общим поклоном, прошла в кабинет, обернулась. На мгновение поймала на себе знакомый взгляд, которого не любила в нем: мрачный, полный горечи и холода взгляд человека, знавшего взлеты и падения. Очень медленно, должно быть, вспоминая все грехи, в которых она была повинна перед ним, проговорил:

— Чем обязан?

— Я в Москве... наношу визиты.

Он затворил дверь.

— Я не считал бы себя обделенным,— жестом пригласил сесть в кресло,— если бы визит этот не был нанесен.

«Язык отвергает, рука приглашает!»— подумала она, бледная, и, взглянув на него своим не самым лучшим взглядом, небрежно произнесла:

— Да, любопытно...

По его лицу как бы прошла тень, мелькнула искра неподдельного интереса, холод и неприязнь в глазах растаяли, и в нем проступил мужчина, который привык нравиться. Он сел за стол, медленно насыпал в клок газеты махорку, закрыл умопомрачительного вида закрутку и раскурил ее. А пепел стал стряхивать в хрустальную вазу, сверкавшую радужными иглами на столе. От дыма закрутки, солнца, радужных игл и всего пережитого у нее поплыло перед глазами.

— Должно быть, не всегда нужно уголять любопытство,— в его голосе прозвучало нравоучение.

Она внутренне вспыхнула, но сдержалась, с учтивым видом ответила:

— Вам виднее.

— Не-ет,— качнул он головой и снова стряхнул пепел в хрусталь.

Установилась длинная, ленивая напряженная пауза, каждый наблюдал, ожидая. Ей стало жаль себя. Вспомнились три прошедшие года, которые не просто дались, вспомнился путь сюда: гул самолета, кружение головы, поля пушистых облаков в ослепительном сиянии солнца. Теперь над ними летели ангелы с тяжелыми крыльями и печально дули в трубы.

«Встать и уйти?»

Но вслух произнесла:

— Говорят, московские квартиры похожи одна на другую,— и намеренно старательно оглядела комнату, но кроме солнечных пятен и книг ничего не увидела, потому что очень хотелось плакать.

— Не знаю, не думал.

«С таким же успехом можно было затеять разговор о колорадских жуках!.. Уйти бы как-нибудь».

Подняла на него глаза, не таясь, пристально вгляделась. Она узнавала и не узнавала его, освобождая свою память от наносов времени. Три года и для него прошли бесследно. Пышные с проседью волосы совсем побелели, ярко-синие глаза как бы выцвели, и на лице его временами проступала затаенная, горестная печаль. Она любовалась его тонким четким профилем, чуть впалой щекой, двумя резкими морщинами на высоком, словно храм, лбу, и у нее сладко ныло на сердце.

Он вдруг спросил ее тихо, совсем иным тоном:

— У вас дела в Москве?— и бросил скользкий взгляд на свернутые листы рукописи, которые она держала в руках.

Она потупилась, не объясняя же в самом деле, что листы рукописи — предмет конспирации и не более того. Но на потеплевший тон откликнулась.

— В отпуске нахожусь. Когда-то десятый-одиннадцатый века интересовали, все иконы в музеях смотрела. А теперь восемнадцатый притягивает авантюристкой, аллегориями, пышностью храмов,— она сделала произвольный жест рукой.

Тотчас же голубой молнией сверкнул его взгляд, который показал ей, что

дланные, нежные пальцы ее руки оценены вполне. Она положила руку на подлокотник и больше никаких жестов не делала.

— Какой у вас странный район,— она с усилием вспомнила,— Миусское кладбище.— И рассмеялась.

Он по-юношески заволновался, с нескрываемым самолюбием заметил:

— Старый район... древний.

— И что-то родное, провинциальное, птички за окном поют,— не унималась она.

Он промолчал.

— Впрочем, я не знаю Москвы, и все это может мне казаться,— неожиданно покладисто закончила она. На это он просто и хорошо улыбнулся.

За окном вился хмель, солнце, пробивавшееся сквозь него, наполняло комнату зеленым светом, было тихо, они с мирным удивлением и любопытством вслушивались; всматривались друг в друга и все больше проникались взаимной приязнью. Теперь само собой случилось так, что она разговорилась. Поделилась мыслями о научной проблеме, которая ее волновала, и посетовала на то, что приема в аспирантуру в этом году не будет.

— Не на этот, так на другой год... вы для аспирантуры идеальны.

От неожиданной этой милости она смешалась. Вдруг постучались. Дверь открылась, и она снова увидела те испуганные женские глаза, которые встретили ее в передней, только теперь в них была мольба.

— Мы едем?— спросила женщина, с недоумением оглядывая их обоих.

«Не прошло и четверти часа»,— подумала она. И вдруг, вскинув голову, послала такой властный взгляд, что женщина смешалась и скрылась за дверью.

Разговор расстроился. Она молчала, он продолжал курить.

«О, боже мой, что я сделала?!— она бросила взгляд на дверь, потому что теперь только поняла, что женщина с молящими глазами была беременна.— Кто она? Жена?.. Он женился?»— и стало ясно, почему при виде ее на пороге его сестра вздрогнула.

! — Я больше не смею вас задерживать,— сказала она.

Он стряхнул пепел.

— И я... больше не смею вас задерживать...

Она встала, сделала несколько шагов к двери. Он нехотя поднялся, проследовал за ней. У самой двери на мгновение остановился, чего-то ожидая.

«Проклятая, проклятая жизнь»,— сказала она себе. Вслух проговорила:

— В отличие от вас... мне было приятно вас видеть.

Он с тихим поклоном произнес:

— Спасибо.

В передней стояли все те же женские фигуры.

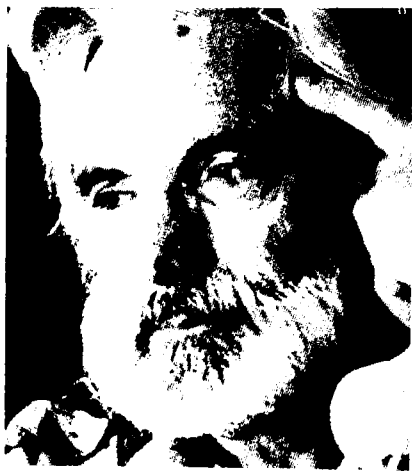
«Яд на кухне выпила бы, а не постучала»,— мрачно заметила она себе и больше на женские тени не обращала внимания.

Он стоял молчаливый, замкнутый и не смотрел на нее. Вновь затаенная печаль окутывала его черты.

«Не любимую жену себе, а мать своих детей выбрал... вот что с тобой случилось, возлюбленный мой. Значит, тогда, три года назад, жену искал, а я не разгадала. Ухожу... Никогда, во веки веков не выдать мне больше тебя. Разминулись».

— Прощайте,— она поклонилась ему, перешагнула порог, сбежала по ступенькам и, распахивая дверь подъезда, мысленно ужаснулась:

«Снова свободна. Боже мой, как я свободна!»



Михаил Гребенюк

## СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ

### ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

*«Деревня, где скучал Евгений,  
Была прелестный уголок...»*

*Александр Пушкин*

#### 1

Итак, ты снова, друг-читатель,  
Мой — повелитель, мой — каратель;  
Ты снова входишь в жизнь мою  
Необъяснимо и красиво;  
Пусть этот Сказ сверкнет, как диво,  
В твоём приветливом краю;  
Входя с тобой в пределы света,  
Я поднял звездный Жезл Поэта;  
Пленил меня Российский Бард  
Своей божественной строфою;  
Я вывел слабую рукою  
Строфу свою на звездный старт;  
Теперь Татьяна и Евгений  
Святили дни моих прозрений.

#### 2

Прости, читатель-друг, прости,  
Ты этот трудный Сказ прочти.  
Прочти, не мудрствуй, заклиная.  
Ты обретешь любовь и мир,  
К тебе пожалует Кумир  
Из неизбывных кущей Рая.  
Прочти вселенский этот Сказ —  
Не отвращай от Скорби глаз.  
Глядишь, найдешь в строке случайной,

Вопрос тревоживший тебя,  
С тех пор, как ты обрел себя;  
Глядишь, сроднишься с высшей тайной,  
Она, как некий чародей,  
Продлит рожденье новых дней.

#### 3

Ты усмехнулся, друг-читатель?  
Подумал, верно, я — мечтатель?  
Прости навязчивость мою,  
Читатель-друг, прости сердечно;  
Земное время быстротечно —  
Я на закате дней пою.  
Хочу понять свое явление,  
Свое безмерное терпенье,  
Любовь свою, свою печаль;  
Хочу понять явление бога,  
Одна у нас навек дорога,  
Страда одна, одна скрижаль;  
Хочу понять явление неба  
Без просветленья и без хлеба.

#### 4

Хочу понять дела вождей,  
Судивших страны и людей;  
Хочу проникнуть в подсознание  
Безумных этих держиморд —

\* Вторая глава романа была опубликована в июльском номере за 1989 год.



Порой под топот диких орд,  
Они шатали мирозданье;  
Хочу постичь — с какой поры  
Страдали вещие миры;  
Кто превращал людей в машины,  
Кто вращивал и сеял зло,  
Казня рожденье и тепло;  
Кто закрутил в веках пружины  
Неисчислимых ссор и битв;  
Кто породил рабов молитв.

5—13

Ты недоволен чем-то снова?  
Прости, прости, читатель-друг.  
Я — вестник истины и слова,  
Мне подотчетен Звездный Круг.  
Склонись к Вселенскому Порогу.  
Я вижу ясную дорогу,  
Исполнишь верой и теплом —  
В конце ее наш сущий дом.  
Вон у дубравы и Белово.  
Вон и за ним у речки бор.  
Ты помнишь? В нем, печалю взор,  
Святясь красиво и сурово,  
Являл вселенский скит миры  
Людской неведомой поры.

14

Вон и подворье Степаниды.  
Вон, кстати, кажется, она,  
Ты чувствуешь — ее флюиды  
Сближают снова времена.  
Вон и подворье Гавриила —  
Отца Марии и Кирилла.  
В избе, сровнявшейся с землей,  
Поздней Кирилл найдет покой.  
Мария время коротала  
В подворье мужа-кержака.  
Судьба ее была тяжка,  
Она немало испытала,  
Живя среди баб и мужиков  
Почти что семьдесят годов.

15

Ты знаешь, что сестра Кирилла  
С рожденья и до этих дней  
В селе экзамен проходила,  
Любя и не любя людей.  
Вон и подворье Баранцовых —  
Судей бездушных и суровых;  
Вон у плетня Армагедон;  
Смотри, как веселится он;  
Поблизости, должно быть, Вера?  
Вот, кстати, с бабушкой она.  
Наталья важности полна.  
Смотри, над ней чернеет сфера.  
Я не шучу — смотри, смотри:  
Исчезли вестники зари.

16

Я верую — настанет время  
Иных пророков и богов,  
Грядет из будущих годов

Младое, царственное племя.  
Ему вовеки быть в мирах  
Надежды, откровенья, света;  
Ему покается планета  
В своих проступках и грехах.  
Прими, читатель-друг, Кирилла,  
Пожалуй и его родных —  
Они из племени младых,  
Создавших звездные ветрила.  
Прими и мир, который я  
Соткал из пряжи бытия.

17

Должно быть, всадники рассвета  
Замешкались на тропях лета.  
Во всяком случае, Кирилл,  
Едва неясный звон разлился,  
С топчаном древним распростился,  
Не тратя на раздумья сил.  
Изба еще не осветилась —  
В прохладном сумраке томилась.  
Гадая, что готовит день.  
С икон ее святые немо  
Глядели, как являет небо  
То был и сон, то свет и тень.  
Возился домовый за печкой,  
Играя с догоравшей свечкой.

18

В сених томился чей-то дух —  
Ловил его стенанье слух.  
За огородом, у ракиты,  
Семь талов, выстроившихся в ряд,  
С восхода не спускали взгляд,  
Моля у господ зашиты.  
За ними, сколько видел взор,  
Чернел дремучий, дикий бор.  
Левее талов и околка,  
Пришедшего к избе светло,  
Лежало вечное село;  
За ним, неведомо и долго,  
Почти на самый край земли,  
Луга и перелески шли.

19

Из этой, кстати, южной дали  
Ребрихин им привез печали  
Своей истерзанной земле;  
Надеясь, что она приметит —  
По-русски хлебом-солью встретит,  
Найдет приют и щит в себе;  
Он мыслил, тайны постигая.  
Неповторима ветвь людская,  
В пространствах и в веках ее  
Переплетались были света;  
Ему плела венки планета,  
Венчая царствие свое;  
Бывает, что и я порою  
Страдаю дуростью такою.

20

Пожалуй, иногда и ты  
Блуждаешь в дебрях слепоты?  
Ты, как и я, как и создатель,  
С рожденья полон высших сил,

Ты тоже ад и рай вкусил.  
Я не ошибся, друг-читатель?  
Ребрихин, кстати, в этот миг  
Усы на шатком стуле стриг.  
В избе, под мрачными святыми,  
Стоял еще дощатый стол.  
На нем, в кувшине, кактус цвел.  
У двери, с полками пустыми,  
Пылится допотопный шкаф,  
Резной, таинственный, как граф.

21

Без слез, без радости, без цели  
Четыре долгие недели  
Ребрихин в этой келье жил.  
Он был подавлен и унижен,  
Судьбой и обществом обижен,  
Лишен величия и крыл.  
В его душе тревожной тухли  
Последние костры и угли,  
Хотя он и считал, что мог  
Еще подняться на вершину,  
Что мог и одолеть кручину,  
Мог и скрутить в бараний рог  
Любую тягостную муку,  
На помощь пригласив науку.

22

Об этом, между прочим, я  
Уже уведомил тебя.  
Сестра тревожилась сначала —  
То предлагала валидол,  
То самогонку, то рассол,  
То говорила, то молчала,  
То озарялась вся, кряхтя,  
«Живы упомощи» прочтя.  
Кирилл устало улыбался,  
Не понимая бед сестры,  
Или, помучась до поры,  
В околок ближний отправлялся.  
Мария, наконец, сдалась,  
Ненужных толков убоясь.

23

Не тратил без нужды усилий  
Кержак, супруг ее, Василий.  
Он говорил, зла не тая,  
Суша ей старческие слезы:  
«Чо тута? Сосны да березы.  
Да я исчо, да боль твоя.  
Опеть же комары да мухи.  
Да суп из щавеля и макухи.  
Раскинь мозгою, коли чо?»  
Мария возражала скупю:  
«Картошки, чо ли, нет для супа?  
Муки ли нет? Ли чо исчо?  
Мы не хужей других покуда».  
«Пуста однако же посуда —

24

Сбегай в магазин за вином,  
Не то совсем спечалим дом».  
Мария за вином сходила,  
Не жалко было денег ей —

В лесной обители своей  
Она немало накопила,  
Трудясь с темна и до темна,  
То вместе с мужем, то одна.  
Кирилл приятно удивился,  
Когда увидел дом сестры  
В плену беспечной детворы;  
Когда в амбаре очутился;  
Когда в пригоне побывал;  
Когда облазил сеновал;

25

Когда в саду, под сенью вечной,  
Поговорил с родней сердечной.  
Родня пришла на третий день.  
Она шумела бестолково,  
Вводя в смущение Белово.  
Кирилла мучила мигрень.  
Он узнавал родню не сразу —  
Мутился от сивухи разум.  
Меж тем явились Войтюки,  
Как прежде вещи и суровы;  
Не задержались Баранцовы;  
Сбежались и Гребеники;  
Приехали мудры и тихи  
Посланцы также из Ребрихи.

26

Кирилл беседовал с родней,  
Следя ревниво за сестрой.  
Ему все эти дни казалось,  
Что приходила тайно к ней  
Наталья с дочерью своей,  
Не смея подойти к столу,  
Она доставила селу  
Немало болей и печалей.  
Связавшись с нею, и Кирилл  
Своих вселенных не открыл,  
Не проложил и магистралей  
К своей владычице другой,  
Ушедшей мирно на покой.

27

Возможно, дело в том, что Маша  
Не возносилась, как Наташа?  
Возможно, дело в том, что он  
Не замечал достоинств Маши,  
Молясь достоинствам Наташи,  
Пытаясь взять ее в полон?  
Он сознавал — теряя Машу,  
Теряет также и Наташу.  
Возможно, дело в том, что рок  
Занес до срока меч над Машей,  
Вступив в безумный флирт с Наташей,  
Храня ее безумный род?  
Теперь была бы рядом Маша.  
С ней и забылась бы Наташа.

28

Была бы с ней и жизнь другой  
Под этой призрачной Луной.  
Во всяком случае, без Софьи  
Прошли бы годы на земле;

Теперь бы здесь, в родном селе,  
Не виделись кресты Голгофы.  
Следя ревниво за сестрой,  
Кирилл не унимал настрой —  
Все ждал, когда она украдкой  
Поманит за порог его.  
Он отрешится от всего,  
Уйдя по половине шаткой  
В мираж и в бредь любви своей,  
Горевшей юно с первых дней.

29

Наталья так и не явилась.  
В пути, должно быть, заблудилась.  
Или решила, что Кирилл  
Уже не годен к жизни этой —  
Живет давно в эпохе спетой  
Без вдохновения и крыл.  
Василий пьяно покачался,  
Когда с роднею распрощался.  
«Ты здря не растравляй себя.  
Все впереди у нас покуда.  
Взаправду ежли — жисть паскуда,  
Исчо она лягнет тебя.  
Слыхал? Евмениха брехала:  
«Вчерась Наташка захворала!»

30

Бывали и другие дни  
В плену безжалостной родни.  
Кирилл не думал, что Мария  
Живет в достатке и тепле,  
Что берегла еще в селе  
Патриархальный быт Россия.  
Что люд села, как прежде, был  
Красив и щедр, смешон и мил.  
Кирилл не мыслил, что позднее  
Открытие это окрылит  
Его печальный личный быт,  
Что станет он в селе добрее,  
Что этот быт в особый срок  
Откроет даль иных дорог.

31

Помучась месяц у Марии,  
Кирилл подумал, что его  
Осветят вечные стихии  
В подворье мира своего.  
Он не забыл, как в сновиденья  
Являлась хата из забвенья.  
Порой была пуста она,  
Порой была людей полна.  
Нередко в ней играли братья —  
Илья, Димитрий, Михаил,  
К ним дед Никита приходил,  
Даря конфеты и объятья;  
Нередко в ней сестра была  
С подружкой Машкой из Орла.

32

Была в ней мачеха порою,  
Порою был в ней и отец;

Чернела хата под луною,  
Не пряча лика от небес.  
Пытая эти сновиденья,  
Кирилл блуждал в сетях сомненья,  
Не понимая, почему  
Был Высший Мир суров к нему?  
Чьей воле мать повиновалась?  
Кому служила столько лет,  
Оставив рано этот свет?  
В каких пределах затерялась?  
Он звал ее, пытая плоть,  
Любя и мучась, как Господь.

33

Меж тем не меркли сновиденья,  
Являлась хата вновь и вновь,  
Тревожа, как и прежде, кровь,  
Вскрывая годы и мгновенья.  
Кирилл искал все так же мать.  
Она светло таилась рядом,  
Следя за ним влюбленным взглядом,  
Не в силах уз времен порвать.  
Он обходил пригон и сени,  
Спускался в погреб и подвал —  
Пред ним незримо дух блуждал,  
Скользили и скользили тени.  
Мать все таилась, словно ей  
Был неприятен мир людей.

34

Кирилл позвал владыку хаты.  
Он появился в тот же миг,  
Не пряча от Кирилла лик,  
Не пряча и свои наряды.  
«Я часто прихожу сюда,  
На этих нарах я родился,  
Вот здесь, в углу, Христу молился,  
Пугаясь Страшного Суда.  
Скажи: я — грешник? Я — преступник?  
Я не любил, не славил мать?»  
«Ты стал Белову забывать.  
Пойми, Ребрихин, ты — отступник», —  
Кивнув заросшей головой,  
Промолвил грустно домовый.

35

Услышав это обвиненье,  
Кирилл почувствовал, что он  
Навеки высших благ лишен  
В мирах любви и откровенья.  
«Я не отступник, домовый!  
Возможно, я блуждал по свету,  
Оставив бурям келью эту?  
Я торговал своей судьбой?»  
«Ты слишком строг. Побойся бога.  
Я чту законы старины.  
Глупеет мир от новизны.  
Не забывай — одна дорога  
У этой хаты, у села.  
Она и нас с тобой свела.»

«Постой! Скажи, где мать? Что с нею?  
Я зря веду тропу сюда?  
Ты был знаком с родней моею.  
Тебе близка ее страда.  
Ты знаешь, мы пришли в Белово,  
Навек приемля труд и слово.  
Ужель решила мать, что я  
Нарушил меры бытия?  
Что я забыл родные дали,  
Став пленником краев чужих?  
Ужель, скажи, в словах твоих  
Святятся и ее печали?  
Она встречается с тобой?  
Постой! Куда же ты? Постой!»

## 37

Владыка хаты удалился,  
Не завершая разговор;  
Кирилл на лавку опустился,  
Вперя в мглу тревожный взор.  
Он верил, что за этой мглою  
Таилась мать иной порою,  
Следя за хатой и за ним;  
Ее явлением святым  
Освещены его дороги;  
Ее любовью и трудом  
Согрет его вселенский дом;  
Он верил, что земные боги  
Вели миры в его жилье,  
Храня бессмертие ее.

## 38

«Ты видишь: покосилась хата,  
Зарос бурьяном огород.  
Подворье, точно кручи ада —  
Всего на нем неупроворот.  
Верни, Кирилл, душе и свету  
Обитель праведную эту.  
Найдя в ней веру и покой,  
Мать явит лик перед тобой, —  
В последнем кратком свиденье  
Сказал, прощаясь, домовой. —  
Служи, Кирилл, земле родной,  
Будь с ней в работе и в сраженье,  
Не отвергай приют ее,  
В нем благолепие твое».

## 39

Кирилл надолго затаился,  
Проснувшись в этот светлый день.  
Свет утра тихо в окна лился,  
Стирая с лика бога тень.  
Бог, видно, затаился тоже,  
Он стал задумчивей и строже,  
Его пыливый взор ловил  
Движенья мыслей и светил.  
В полоне этого мгновенья  
Был и его приемный сын —  
Пророк веков Иисус-Навин;  
Пройдя сквозь муки воскресенья,  
Не мог он видеть, как порой  
Страдал могучий род людской.

Не береглась и не таилась  
В час судный этот Божья Мать.  
Любовь в очах ее светилась,  
Лежала на челе печать  
Страданья и тревоги света.  
Алела вещая комета  
На грани неба и земли  
Не то вблизи, не то вдали.  
Заря пылала за кометой,  
Вскрывая вселюдской предел;  
Лик Божьей Матери светлел,  
Сливаясь с Матерью-Планетой.  
Входили в хату явь и сон,  
Из тьмы являя шум и звон.

## 41

Кирилл с трудом унял волнение,  
Поднявшись в это воскресенье.  
Сокрыла тень иконостас.  
Сгустился сумрак за лампадой.  
«И где ты со своей лопатой? —  
Раздался за окошком бат.—  
Мария постарела, вроде,  
Меж тем, чуть свет — на огороде.  
Вон и Оришка к ней идет.  
Ты чо, оглох? Аль, может, сватью  
Склонил в каком углу к понятию?  
Что вам теперя огород?»  
«Раз-мать твою, чо раскричалси?  
Поди, не с той ноги поднялси?»

## 42

Кирилл подумал, труд цения:  
«В заботах день и ночь родня.  
Сошлась, должно быть, на прополку.  
Попал Иван-китаец в цель —  
Василий тот еще кобель.  
Пожалуй, тискал в сенцах Польку.  
Хотя и я не из святых —  
Верчусь в плену страстей своих.  
Все жду чего-то от Наташи.  
Теперь уже и дочь ее  
Влекла сознание мое.  
Неисчислимы тропы наши,  
Не знаешь, на какой тропе  
Косая явится к тебе».

## 43

Кирилл замешкался, гадая,  
Как зародилась мысль такая,  
Он каждый день внулал себе,  
Что смерть к нему не прикоснется,  
Пока в нем сердце бога бьется;  
Что жизнь была к его судьбе  
Благочестива и сердечна;  
Что явь его светла и вечна.  
«Возможно, этот новый сон  
Позвал меня в иное время?  
Я понесу людское бремя

За некий вещий Рубикон?  
Возможно, старость приходила?»  
Грусть долго мучила Кирилла.

44

Он, как Обломов, вновь и вновь  
Смирал в постели плоть и кровь.  
В обед зашла Мария в хату.  
«Ты чо лежишь? Свалила лень?  
Севодни благодатный день.  
Сходи к соседке али к брату.  
Поди, и Степанида ждет —  
У ей, сдается, свой расчет».  
«Мы все зависим друг от друга, —  
сказал рассеянно Кирилл. —  
Брат, вроде, утром приходил?»  
«Об ем кручинится округа —  
Чо нужно ей? Лучшей, чем он,  
Не сотворит и Соломон».

45

«Брат расторопней иудея.  
Наверно, в дедушку Матвея».  
«Надумал! Дедушка Матвей  
Жил неуверенно и вяло,  
Ниче его не волновало,  
Он сторонился и людей.  
Снутри ли чо ли, чо ли с виду,  
Иван был в мать Степаниду,  
Тепери: дедушка Матвей  
Не дал своих кровей Ивану,  
Не предавайся зря обману.  
Его кровя в крови твоей».  
«Прости, я переспал, наверно,  
Вот и, как Яшка, мыслю скверно».

46

«Ну, Яшка при уме своем.  
Печаль-забота не об ем...»  
«Тебя моя судьба тревожит?»  
«Чужие чо ли мы с тобой?»  
«Али у нас разор какой?»  
«Мое явленье беды множит.  
Я, видимо, приехал зря.  
Не здесь уже моя заря».  
«Об чем ты, братик! Правый боже!  
Смири себя, смири, родной!  
Здесь вырос ты, здесь корень твой.  
Чо этой святости дороже!»  
«Скитаясь по краям чужим,  
Я, очевидно, стал другим».

47

Мария тихо повторила,  
Взглянув печально на Кирилла:  
«Смири себя, смири, родной!»  
Кирилл окинул взглядом хату,  
Ища неясную утрату.  
Пошарил по столу рукой.  
Стол виновато покачался.  
Кот под скамейкой показался.  
Должно быть, вылез из норы,

Черневшей у железной печки.  
Упал с горшка огарок свечки.  
Устав от сна и от игры,  
Кот на огарок покосился,  
Помедлил чуть и удалился.

48

Прошел по хате холодок,  
Плетя из вечных душ венки.  
Святые затаились снова.  
Какие бури и огни  
В юдоли сей родят они?  
Вернут ли век труда и слова?  
Осветят ли свои миры  
Прозреньем брата и сестры?  
Мария затаилась тоже —  
Картины бесконечных дней  
Теснились смутно перед ней.  
Являлась мать на смертном ложе,  
Из пустоты отец глядел,  
Страдая без любви и дел.

49

«Ты помнишь маму?» — Боль Кирилла  
Мгновенно душу опалила.  
Мария думала, что он  
Испытывал себя печалью,  
Любя и не любя Наталью,  
Благословляя быль и сон.  
В каких еще кострах сгорали  
Его былые дни и дали?  
«Не помнишь, — прошептал Кирилл,  
Терзая скорбный дух Марии;  
Все так же вещий мир стихии  
Пути свои к нему торил. —  
Не помнишь... Позади полвека.  
Печальна участь человека».

50

«Я чо-то не пойму тебя —  
Ты мучишь и казнишь себя,  
Ночами бродишь, как лунатик;  
Понатаскал, гляжу, икон,  
Есть чо ли в их какой резон?  
Я помню маму, помню, братик!»  
«Ах, Манька, Манька!» — «Братик мой!  
Ну чо стряслось? Ну чо с тобой?»  
«Какой она была? Ты знаешь?  
Сердечной? Вредной? Доброй? Злой?»  
«Севодни, прямо, ты не свой.  
Ли чо ли, где исчо блуждаешь?  
Ее святей не ведал люд  
С тех пор, как поселился тут»

51

«Ты рассердилась? Я, наверно,  
Веду себя довольно скверно?»  
«Я не сержусь, господе с тобой!  
Ли чо ли мы уже чужие?»  
«Оставь, сестра, слова такие.  
Мы венчаны навек судьбой.  
Ты в хате нашей не бываешь?»

«Зарази ты исчо не знаешь?  
Она лишь с виду вроде есть.  
Ей боле века будет вскоре.  
Стряслось исчо какое горе?  
Аль проняла какая весть?  
Аль, может, из своева скита  
Пытает душу Степанида?»

52

«Не властен, видно, человек  
Над магией вселенских вех.  
Ты знаешь: здесь жила колдунья».  
«Мать чо ли Маши? Не смеши.  
Милее не было души.  
Одна беловская брехунья  
Сплела об ей недобрый сказ,  
Он и пужал до срока нас.  
Василий приобрел подворье,  
Когда Авдотья померла».  
«Сейчас, поди, людей села  
Пугает это лукоморье?»  
«Я что-то не пойму тебя.  
Похоже, ты казнишь себя?»

53

Кирилл пожал слегка плечами,  
Упершись в желтый пол глазами.  
Ужели он себя казнил?  
Ужели древний мир Белова  
Лишит его труда и слова?  
Ужели вечный свет могил  
Не явит снова мирозданье,  
Не облегчит его страданье?  
Ужели не найдет к нему  
Своих путей-дорог Мария?  
Ужели вещая стихи  
Не уничтожит мор и тьму?  
«Я думаю: уйму тревогу,  
Вернувшись к отчету порогу».

54

«Ты чо ли в хату нашу хошь?»  
«Так нужно, сердце не тревожь!»  
«У нас тепери места мало?»  
«Не отговаривай, сестра!»  
«Ты перепил, поди, вчера?  
Вот и городишь чо попало,  
Иконам призрачным молясь!»  
Мария вышла, осердясь.  
Кирилл прислушался к покою,  
Остановив на Боге взгляд.  
Тревожно гас в душе разлад.  
Бог боготворною рукою  
Незримо трогал плоть и дух.  
Ловил неясный шепот слух.

55

Неощутимое дыханье  
Томило чувство и сознание,  
Кирилл потерянно спросил:  
«Вы, мама, это?»  
«Прошумели  
Не то дожди, не то метели.

Щенок под дверью заскулил.  
«Вы, мама, это? Не молчите!  
Скажите что-нибудь, скажите!»  
Сковала тишина избу.  
Из необъятных кущей скита  
Явилась тетка Степанида.  
«Племянник, не пытай судьбу.  
Неси смиренно бремя света.  
Всечеловечна доля эта».

56

«Скажите, тетя, мама здесь?»  
«Ты, вижу, исстрадался весь.  
Не торопись. Доверься Богу!»  
«Вы часто видите ее?»  
«У нас, Кирилл, одно жилье,  
Мы с ней храним одну дорогу».  
«Она в избе сейчас? В избе?»  
«Сейчас она, Кирилл, в тебе.  
Не оскорбляй ее сомненьем,  
Храни любовь и красоту.  
Будь верен Господу Христу,  
Исполнишь правдой и терпеньем;  
Зажги в избе отца очаг —  
Тебя покинут боль и страх».

57

«Я проложу тропу и к тятю,  
Найдя приют в родимой хате?»  
Кирилл тревожно замолчал,  
Взглянув на тетку Степаниду.  
Он не смирял свою корриду,  
С надеждой дни земли встречал.  
Вскрывались перед ним и дали  
Всегалактической спирали.  
Заколебался в окнах свет.  
По стенам заходили блики,  
Являя призрачные лики;  
Терялся из зазвездья след.  
Мгновенья и века листая,  
Сливалась с миром жрица края.

58

«Печален твой удел, Кирилл:  
Ты своего отца убил,  
Убил и мачеху Марию».  
«О чем вы, тетя?!» — «Не гневись!  
Еще не поздно — оглядись,  
Не правь обедню тьме и змию.  
Скажи, что сделал ты, когда  
Нависла над отцом беда?  
Когда он по земле скитался,  
Теряя близких и друзей?  
Когда среди чужих людей  
В чужом селении скончался?  
Молчишь? Небось, слова забыл?  
Ты своего отца убил!»

59

«Вы не правы!» — «Права, к несчастью».  
«Я был парализован властью».

«Не сваливай, Кирилл, на власть.  
В своем бессилье ты виновен.  
Мир суетлив и многословен.  
Сумев однажды в грязь упасть,  
Сумей из грязи в срок подняться».  
«Вы стали, тетя, сомневаться!»  
«Не сомневаются вожди.  
Запомни: ты уймешь тревогу,  
Найдя пути к отцу и к Богу.  
Не отчуждайся и не жди.  
Ищи и к мачехе дорогу —  
В трудах остынешь понемногу».

60

«Я потрясен!»— «Преступен век,  
Рождавший сыновей-калек!»  
Промолвив это, Стеланида  
Сокрылась в облаке теней.  
Кирилл последовал за ней,  
Однако, встретив пламя скита,  
Отпрянул к стенке и затих  
В заботах и в сетях своих.  
Затихли и святые снова.  
За печкой, на кошме сырой,  
Затих и древний домовый.  
Затих и древний дух Белова.  
Затих и беспредельный мир,  
Прервав вселенский вечный пир.

61

«Ты на распутье оказался,—  
В мгновение это глас раздался.—  
Ты совершил великий грех,  
Оставив в трудный час Белово».  
«Ты судишь чересчур сурово,  
Нужны мне и часы утех»,—  
Сказал Кирилл с трудом, гадая,  
Как появилась мысль такая.  
С минуту вещей глас молчал,  
В безбрежье дух его томился.  
«Ты на распутье очутился,  
В скитаньях потеряв причал.  
Не выйдя из сетей порока,  
Уйдешь в безвременье до срока».

62

«Прости, ты все-таки жесток».  
«Землянин, я — вселенский рок.  
Уйми себя, уйми гордыню;  
Спасешься в этом мире ты,  
Спасутся и твои мечты,  
Спасешь и ты свою святыню!»  
«Ты где?»— «Землянин, я — везде.  
В душе твоей, в твоей избе.  
В частице, в атоме, в планете.  
Я и нигде!»— «Ты и нигде?  
Ты и нигде? Ты и везде?  
Ты здесь сейчас и в целом свете?»  
Неясный, беспредельный звук  
Исчез за далью мира вдруг.

63

Избу заполонили снова  
Земные вестники Белова.

Привычный свет углы залил  
Горячим солнечным потоком;  
Забилась мухи в створках окон;  
По крыше ветер заходил;  
Петух распелся за стеною;  
Готовясь к миру и разбою;  
Пес у Оришки забрехал;  
Кого-то обзвав чертовкой,  
Василий зазвенел литовкой;  
Над колком гром загрохотал;  
Должно быть, подле магазина  
Завыла, в грязь попав, машина.

64

Прошел над бором самолет,  
Тревожа вечный небосвод.  
Кирилл стряхнул оцепененье.  
Подлунный мир вернул его  
В свое земное волшебство.  
Он снова ощутил явление  
Сиюминутных грез и дел,  
Он снова зрел родной предел.  
Уже бывшие сны и дали  
Не возникали перед ним.  
Уже они огнем своим  
Алтарь его не освещали.  
Уже Кирилл считал, что он  
Пройдет и новый Рубикон.

65

Читатель-друг, ты утомился?  
Я чересчур разговорился?  
С годами, видно, человек  
Подвержен этому пороку?  
Возможно, так угодно року?  
Возможно, так устроен век?  
Ты тоже, думаю, порою  
Не против помахать клюкою?  
Чего таить — мы все рабы  
Своих неординарных мнений.  
Мы не приемлем возражений.  
В своем упрямстве мы слепы.  
Я верю: к твоему порогу  
Найду в урочный час дорогу.

66

Поймешь и ты меня в свой час —  
Одна страда навек у нас.  
Мое село, мое Белово,  
Надеюсь, что и ты в свой срок  
Оценишь важность этих строк,  
Найдя в них истинное слово.  
Мой отчий край, мой край родной,  
Будь справедлив и ты со мной.  
Мои друзья, мои родные,  
Я отдаю и вам на суд  
Неровный этот тяжкий труд.  
Изменчивы миры земные,  
Постигнув их, постигну я  
Бредь и реальность бытия.



Нуруллах  
Мухаммад Рауф

## ВЕЧЕРА В «БЕЛОМ ДОМИКЕ»

### РАССКАЗ

Дом, в котором жила Хафиза, стоял на стыке двух селений — Туюля и Джалаира, поэтому обитатели его равно считали себя жителями и того и другого кишлака. Свадьбы ли игрались, справлялись ли поминки, не чуждались родители Хафизы — ходили и к тем и другим. Впрочем, у кишлаков этих лишь названия были разные да школы отдельные, а вот кладбища, считай, слились воедино.

Четыре класса Хафиза проучилась в Джалаире, с пятого ее и братишку отец почему-то перевел в туюльскую школу. Поначалу ей никак не удавалось найти общий язык с одноклассниками, особенно девчонки долго не принимали ее в свой круг. Стоило ей только повздорить с ними из-за пустяка, как тут же принимались дразнить «джалаирской дурочкой». Со временем раздоры забылись, но не прошли без следа, оставили все же царапину на сердце. Вероятно, от этого и росла Хафиза чуть-чуть замкнутой. Сколько раз она жаловалась матери, даже у отца как-то с укоризной спросила: «Так из какого мы все-таки кишлака?», на что отец недовольно проворчал: «Оба кишлака наши, и тому и другому мы не чужие». Но такой ответ не устроил Хафизу.

Ничего более умного не сказала и мать, когда дочь чуть ли не со слезами на глазах объявила, что «не имеет даже подружки», лишь успокоила: «Не обращай внимания, доченька, девчонки поболтают да перестанут...»

«Да девчонки от зависти готовы друг в друга вцепиться, а раз они завидуют, значит, ты интересней их!» Но это сказала не мама, об этом она догадалась сама, кажется, в классе седьмом. Это окрылило ее, и впредь она больше не обращала внимания на их шушуканья.

Но спустя годы, будучи уже сама матерью, секретничая как-то с подругой, она все же призналась ей в самом сокровенном: «Во мне, видимо, с самого детства живут два человека, теперь, наверно, до самой смерти буду такой».

Подруга была той единственной, кому она доверялась, и ответ ее был для нее не нов:

— Ты красива Хафиза — все дело в этом.

— Так что же прикажешь делать? Изуродовать себя?

— Нет, конечно, да и вряд ли это помогло бы делу. Раскрой шире глаза, оглядись вокруг — у тебя же ребенок, вот что я хочу тебе сказать.

— Это я и сама знаю. Ты мне такое посоветуй, чтобы у меня действительно раскрылись глаза!

— Признайся честно, если бы все начать сначала, за кого бы ты вышла замуж?

— За своего Шарифа-ака! — сказала Хафиза не задумываясь.

— А как же в таком случае.. Аваз?

— Право, не знаю... — Хафиза задумалась. — Если по-честному, то наверняка произошло бы то же самое...

— В таком случае, мой совет не поможет тебе.

Об истинных причинах перевода ее из джалаирской школы в туюльскую Хафи-



за узнала после замужества, имея на руках ребенка. Мать рассказала, вдруг вспомнив те далекие события:

— В те времена директор джалаирской школы, бесстыжий, считавшийся другом твоего отца, обесчестил одну девчонку-десятиклассницу. Правда, об этом никто не знал, он сам похвастался отцу. А отец твой, сама знаешь, крут в подобных вопросах. «Уж пусть мои дети останутся неучами, чем будут получать знания в твоей грязной школе», — сказал он и после этого перевел вас в Тукуль.

Хафиза лишь чуть заметно улыбнулась этому.

Нелюдимкой Хафиза казалась лишь себе. Окружающим же представлялось, что это необыкновенно красивая, приятная во всех отношениях девушка. Такой красавицы не было ни в том, ни в другом кишлаке, жители двух селений не выдвигали подобной. Особенно явственно замечала это мужская половина кишлаков. Что скрывать, ни в Тукуле, ни в Джалаире не было джигита, который хотя бы раз не подумал о Хафизе, не мечтал о ней, не любил ее, не видел в ней своей жены.

В мыслях и мечтах почти всех неженатых парней представала Хафиза в самых невероятных видениях.

Да, она выросла действительно очень красивой и весьма обаятельной девушкой!

Порой даже отца охватывал испуг. В такие минуты он начинал покрикивать на мать: «Скажи своей дочке, чтоб не шаталась попусту, а занялась делом!» Мать приходила в растерянность, ей хотелось возразить, что с моей дочкой все в порядке, но она не произносила и слова. Однако, выбрав подходящую минуту, принималась увещать Хафизу: «Доченька, нрав отца тебе известен, занялась бы чем-нибудь, чтобы не мелькать перед его глазами!» Теперь в растерянности Хафиза. Упрек матери обижает ее, и она скрывается в своей комнате, чтобы тихо выплакаться.

А, говоря по существу, дело было вот в чем.

В тот год, когда окончила девушка школу, в один из летних дней, сразу из двух кишлаков, не ведая друг о друге, но решив каждый: «Эх, была не была...», пришли... сваты. Был ли это перст судьбы, но встретила их сама Хафиза. Постелила на айван курпачи, расстелила скатерть, подала чай, затем пошла в поле, позвала мать. Но сама не вернулась, она сразу догадалась, что женщины эти сваты, и от кого они — тоже было ясно.

Сначала... о Шарифджане.

Когда Хафиза заканчивала восьмой класс, произошел странный случай. Была свадьба, женился туюльский парень, учившийся в институте. Жених и невеста — студенты, народу собралось много, и разного. Шум-гам. Парни, студенты, лезли из кожи вон, показывая молодым всякие смешные сценки, так что народ от мала до велика падал со смеху. Да и студентки оказались бойкими, разжигая зависть местных девчонок, без устали танцевали с парнями. Народ сидел и за столами, и толпился вокруг столов. Хафиза оказалась среди стоящих в темной части двора, ближе к забору, за которым начиналось поле. Она с упоением смотрела на происходящее, готовая стоять здесь хоть до утра, если свадьба будет продолжаться. Веселье было в разгаре, но даже сквозь веселый шум Хафиза расслышала, как ее окликнули:

— Хафиза!

Спустя мгновение зов этот опять повторился.

Хафиза вдруг почувствовала слабость в ногах, безотчетно она прислонилась спиной к разрушенному в этой части двора забору.

— Кто это? — произнесла она со страхом.

— Хафиза, не бойся, это я, — из темноты показалась фигура парня.

Хафиза узнала его — это был Шарифджан, закончивший в прошлом году их школу и учившийся теперь в политехническом институте на вечернем отделении. Хафиза немного успокоилась, но ноги у нее по-прежнему дрожали.

— Мне нужно вручить тебе одну вещь, — сказал Шарифджан, остановившись в нескольких шагах. — Не выбросишь?

«Открытка! — подумала Хафиза. — Наверное, хочет поздравить с Первым мая».

Помнится, месяца два назад сестренка передала ей в школе какую-то книгу, сказав: «Вот, Шариф-ака, оказывается, брал у вас книгу, он прочитал ее и велел вам вернуть».

Хафиза никому ничего не давала, и, тем не менее, молча приняла книгу. Зайдя в класс, тайком полистала ее. В книгу была вложена открытка! Шарифджан «от всей души» поздравлял ее с Международным женским днем. Неизвестно почему, Хафиза несколько дней никак не могла расстаться с этой открыткой, все перечитывала ее и уже наизусть выучила текст. Наконец, в один из дней она решительно вышла со двора и, разорвав открытку на мелкие кусочки, выбросила в хауз... Хафиза подумала, что и на этот раз он наверняка приготовил поздравительную открытку.

— Я стою здесь с самого начала свадьбы, — сказал Шарифджан. — Хафиза,

через неделю я уезжаю в армию... Это тебе... я тут написал все, что хотел сказать, дома прочтешь.

Хафиза стояла в растерянности. Разум говорил: не бери, отвернись и уходи, но другой голос подсказывал: не бойся, бери, ведь ничего страшного не произойдет. И она протянула руку. От волнения дальнейшее помнит смутно. Шарифджан, вручая ей письмо, то ли сжал ее кисть, то ли дрожащим голосом прошептал: «Хафиза, я люблю тебя больше жизни!» Затем юноша шагнул к пролому в заборе и растворился в темноте.

Она так и не досмотрела свадьбу, тут же вернулась домой и первое, что сделала, прочитала письмо.

*«Хафиза, я люблю тебя! Знаю, ты еще недостаточно взрослая девушка и тебе пока рано говорить подобные вещи, но через неделю я уезжаю в армию. На два года! А если попаду на флот, то — на все три! Мне показалось, что если я тебе этого не скажу, то там мне будет очень тяжело. До моего возвращения ты закончишь школу. Так вот, не забывай моих слов, Хафиза! Возвратившись, я женюсь на тебе! Что мне тебе еще сказать? Хочешь, я заполню все четыре страницы словами: «Я тебя люблю!» Если заполню, поверишь моим словам? Да, кстати, я буду писать тебе оттуда, не домой, а в школу. Не бойся, на конверте я буду указывать какое-нибудь женское имя, чтобы никто не узнал. А ты будешь мне отвечать. Будешь? Я с нетерпением стану жгать твоих писем. Прощай! Любящий тебя.*

*Шарифджан».*

Перечитывая письмо, Хафиза всякий раз ощущала какое-то сладкое беспокойство и приятную слабость во всем теле.

Подруга, которой она открыла тайну, не стала вдаваться в долгие рассуждения, сказала, как отрезала:

«Шариф-ака влюблен в тебя! Нечего ломаться, полюби его и ты!»

И странно, эти слова прились Хафизе по душе.

В девятом классе она почувствовала, что уже с нетерпением ждет от него писем. И еще одно поразило ее, она вдруг испугалась, что он перестанет ей писать. Где-то в конце хлопкового сезона она получила одно письмо. Еще два письма — одно за другим — зимой, а к весне решила и написала сама. О чем она тогда ему написала — потом уже и вспомнить не могла. Да и что могла написать несмышленная девятиклассница джигиту-воину? Наверное, о том, что учится неплохо, что в кишлаке много новостей: учительница Адалят наконец-то вышла замуж, директора джалаирской школы посадили в тюрьму, учитель пения, по кличке «Соловей», все так же заливается соловьем? Наверное, это. Что еще она могла написать?!

Другая сваха была от джалаирского Авазбека, стало быть, речь теперь об Авазбеке.

Авазбек числится мирабом — хозяином воды в отделении. Летом и зимой ходит в тельняшке. Строен, крепок. У подножия адыров разветвляется сай, разбегаясь по полям. Это довольно далеко от кишлака. Поэтому совхоз построил здесь для мираба маленькую кибитку. В прошлом году Авазбек специально привез из кишлака известь и побелил ее стены, с того дня жители кишлака стали называть это строение «Белым домиком». Домик стоял на возвышенности и был виден из обоих кишлаков. «Белый домик» и был «кабинетом» Авазбека. В свободные минуты он любил неспешно обходить поля, похлестывая прутиком по голенищу сапог. Но чаще его видели «пролетающим» на собственной «Яве» по берегу сая — только легкая дымка пыли оставалась позади. Девчонки из Туюля и Джалаира с восхищением поглядывали ему вслед, связывая с ним свои самые заветные мечты.

Была осень. Вечерело. Хафиза, рвавшая траву вдоль ряда тутовых деревьев, неожиданно столкнулась с Авазбеком. В поле это обычное дело, но у Хафизы вдруг беспокойно забилося сердце.

— Хафиза, — сказал Авазбек осекшимся голосом, — мне нужно кое-что сказать, если ты не против.

Не зря встревожилась Хафиза — видно, Авазбек специально поджидал момент, когда Хафиза останется одна.

— Что вам надо? — произнесла она только потому, что надо было что-то сказать.

Авазбек не ожидал от нее такого прямого вопроса, поэтому немного смутился: — Понимаешь... откровенно говоря... я давно уже...

Странно, первое, что пришло на ум Хафизе, — это недоумение: «Почему он «тыкает», ведь раньше он обращался всегда на «вы»? Такая вольность несколько покорила ее. Помнится, и Шарифджан тогда ни с того ни с сего вдруг перешел на «ты»...

— Не «тыкайте», пожалуйста, — вдруг вырвалось у нее.

— Извините...

Авазбек ни слова больше не смог произнести. Хафиза быстренько собрала

в кучу нарванную траву, сложила в фартук, в который обычно собирают хлопок, и, не глядя на Авазбека, поспешила домой.

Авазбек еще раз подстерег ее. И вновь стал фамильярничать. На этот раз держался уверенней и говорил дольше. Он сказал, что если не откроется ей, то умрет. Что он любит ее давно, но прежде не решался сказать об этом. Что после того, как она окончит десятый класс, он пошлет к ней сватов. Выйдет ли она за него замуж? Сказал, что будет всю жизнь носить ее на руках, что она будет его повелительницей. И говорил, говорил, не давая Хафизе и рта раскрыть. То ли из-за этого, то ли по какой другой причине, но Хафиза не сказала ему ничего определенного, бочком обошла его и, не оглядываясь, зашагала прочь. Лишь услышала прозвучавшее сзади: «Все равно я люблю тебя, Хафиза!» С пылающим лицом она прошла шагов десять, затем припустилась бежать.

После этого Авазбек не раз ждал хотя бы случайной встречи с ней, но не получил от нее даже намека, способного успокоить его душу.

Хафиза чувствовала, что вступает в какой-то непонятный, новый, не похожий на прежний мир. До сего времени, читала ли она книгу, смотрела ли телевизор, как-то само собой начинала думать о Шарифджане. Теперь же временами перед глазами ее возникал и Авазбек. Да, она думала о нем, порой подолгу, но затем накрепко «запирала» свои мысли и старалась спрятаться от них, будто играла с ними в прятки. Такая игра в прятки бывает, оказывается, даже приятна человеку! Иногда мысли ее вырывались из-под контроля, и она начинала сравнивать Шарифджана с Авазбеком. Вроде бы оба неплохи, но кто же из них больше любит Хафизу?

— Шариф-ака любит сильнее! — говорила подруга убежденно. — Такие, как он, редкость. Думать о другом — только мучаться зря!

— Ты, наверное, хвалишь его потому, что он служит сейчас в армии? — возразила Хафиза подруге, тем самым желая проверить свои собственные чувства, но подруга не сдавалась.

— Нет, не потому, что он солдат. Я говорю, что есть. Шариф-ака действительно необыкновенный джигит.

Дни проходили за днями, Хафиза расцветала. Авазбек, припав грудью к сырой земле, не выходил из «белого домика», Шарифджан вернулся из армии.

Хафиза закончила десятый класс, наступило лето, и... в один из дней из обоих кишлаков, из двух семей, решивших: «Эх, была не была», не ведая друг о друге, одновременно вышли две свахи.

Свахи пришли еще раз. Будто наперегонки, сменяя одна другую, зачастили в дом. Наконец отец через посредника — родную тетку Хафизы, то есть свою сестру — обратился к дочери за ответом.

Хафиза долго ломала голову, советовалась не раз с подругой, наконец пришла к определенному решению и о выборе своем сообщила матери. Прошла осень, прошла зима, и вот в один из весенних дней она стала женой Шарифджана...

И теперь, облачившись в наряды невестки, став краше прежнего и украсив собой новый дом, радуя свекровь со свекром и, конечно же, Шарифджана, жила она, не зная забот. Город был рядом. Шарифджан стал приезжать каждую субботу и воскресенье — он учился на вечернем отделении и работал на заводе. Субботы-воскресенья стали самыми желанными днями для Хафизы. Оба они были счастливы, будто весь мир был подарен только им двоим. Однажды, лежа рядом при тусклом свете ночника, он тихо спросил ее:

— Хочешь, увезу тебя в город? Даже в институт можешь попробовать поступить. Ты ведь в школе, кажется, неплохо училась?

— Училась неплохо, но ... — сказала Хафиза и прошептала что-то мужу на ухо. То ли щекотно стало от ее дыхания, то ли действительно смешное сказала, Шарифджан расхохотался. Хафизе в этот миг муж показался таким милым, что она укусила его за мочку уха. — Я не буду учиться, муженек... И вообще, не собираюсь учиться... Учитесь вы, сколько душе вашей угодно, а я поработаю на поле, буду помогать вам.

Шарифджан притянул ее к себе:

— Ты единственная и неповторимая! — сказал он страстно.

Так они и жили — Шарифджан, учась в городе, Хафиза, по-прежнему работая в поле. Где-то в середине осени Хафиза услышала весть, изменившую впоследствии ее судьбу: Авазбек чуть ли не до смерти избил свою жену. В течение нескольких дней эта новость была притчей во языцех среди женщин, работавших вместе с Хафизой, а ей это событие занозой запало в душу. После свадьбы она не раз видела Авазбека и, просто поздоровавшись, проходила мимо. Авазбек при встречах тоже был сдержан, и она было решила, что тех давних разговоров вовсе и не происходило. Но почему же тогда эта новость так подействовала на нее?

И вот однажды молнией сверкнула в ней догадка: «Все оттого, что он любит меня!»

Позже ее осенила еще более странная мысль: «А если бы я стала его женой, он бы и меня вот так же бил? Нет, не бил бы...»

Думы подстегивали одна другую, и Хафиза уже не в силах была управлять ими. «Если бы я вышла замуж за Авазбека, смог бы Шариф-ака со зла жениться на другой? Если бы женился, стал бы ее бить?» И чем больше она думала об этом, тем беспокойней становилось на душе. «Не бил бы, никогда и ни за что! Шариф-ака благородный человек, любить бы, возможно, и не любил, но руку бы на нее никогда не поднял!»

У Хафизы стало как-то беспокойно на душе, хотя она и понимала, это плод ее фантазии. Ее даже не успокаивала мысль о том, что Шарифджан не ударил бы жену, такое благородство мужа ей уже было не по сердцу. Совсем в ином свете видела она теперь внезапную женитьбу Авазбека. И это не давало ей покоя. Раньше она его ни во что не ставила, а теперь... если подумать... Зачем он так поступил? Ведь говорил же совсем другое, клялся, что не может без нее жить? Или это были всего лишь слова? Уговоры?

Дело в том, что, когда Хафиза объявила о своем согласии выйти замуж за Шарифджана, Авазбек через своего племянника передал ей письмо. И письмом-то его не назовешь: на листе бумаги крупными буквами было написано всего несколько слов: «Все равно люблю тебя, Хафиза! Значит, ты все равно будешь моей!!!» Затем он нашел себе в каком-то далеком кишлаке девушку и настоял на том, чтобы мать срочно сосватала ее. Свадьба их состоялась ровно через три дня после свадьбы Хафизы. Именно это обстоятельство через столько времени и нарушило спокойствие Хафизы...

— Тебе завидно,— сказала подруга однажды.

— Нет, нет, что ты!— испугалась вдруг Хафиза.— Вначале и мне так показалось, но потом, гляжу — совсем другое... Мне-то виднее, зависть это или не зависть! Ты мне лучше скажи: все ли такие, как я, или одна я такая?

— Какая такая?

— Ну, разные мысли лезут в голову?

— Этого мы с тобой не знаем. Не можем знать...

— Вот видишь! Многие скрывают то, что у них на душе, а я говорю в открытую,— вдруг загорячилась Хафиза.— На деле никто не лучше меня, я уверена в этом, и это меня успокаивает.

— У тебя есть муж. Он чуть ли не на руках тебя носит, и ты это прекрасно знаешь. А раз так, Хафиза, к чему ненужные мысли?

Хафиза тяжело вздохнула.

— Тебе легко говорить,— приложила она ладонь ко лбу.— А если мысли сами лезут в голову... Разве от них отмахнешься?

— Это уже отговорки!— сказала подруга резко.— Хочешь оправдать свою слабость!

— Разве я виновата, если и Авазбек меня любит. Да и что в этом плохого? Ведь от того, что я перестану о нем думать, он не изменится?

— Тогда почему досадуешь? Ну, женился он. Ну, бьет жену. Тебе-то что?

— Не знаю. Не знаю...

Тем не менее, Хафиза никак не могла взять себя в руки, мучилась. В одну из желанных суббот произошло событие, взбудоражившее ее и выбившее ее жизнь из колеи.

Было это в день приезда Шарифджана. Закончив с домашними делами, она вошла в комнату, и тут стоявший за дверью Шарифджан упал перед ней на колени и обнял ее. Хафиза тоже соскучилась по мужу. Завороженные теплом друг друга, они на мгновение застыли в объятиях друг друга. Наконец Шарифджан схватил ее на руки, поднялся.

— Э-э, осторожней,— сказала Хафиза и повторила, улыбаясь: — Тише... Не забывайте о маленьком Шарифджане...

Шарифджан поверх платья поцеловал Хафизу в живот.

— Ах, до чего же ты сладкая, Хафиз! Откуда только ты взялась такая! — Затем он бережно положил ее на кровать и предался наслаждению.

И вот тут произошла неожиданность

Когда, разомлев от нежностей Шарифджана, она почувствовала в разгоряченном теле необыкновенную легкость и готова была отдаться власти любви, вдруг перед глазами ее.. возник Авазбек! Нет, глаза ее были закрыты, но она ясно увидела Авазбека! И вдруг вскрикнула. Шарифджан спросил испуганно:

— Что случилось, Хафиза?

— Не знаю,— сказала Хафиза, дрожа,— испугалась... Будто ребенок закричал...

— На тебе лица нет. Дать воды? — Шарифджан принес ей пиалу с водой. Хафиза тогда первый раз солгала мужу.

В конце осени, возвращаясь с поля, Хафиза столкнулась с Авазбеком. Погода стояла пасмурная, дул холодный ветер. Авазбек по-прежнему был в тельняшке, поверх которой была надета куртка. На Хафизе было плюшевое пальто, теплый платок. Это пальто и этот платок вдруг показались ей такими безобразными. Да еще живот торчит. Хафизе вдруг стало стыдно. Она невольно прикрыла живот руками.

— Хафиза, ты помнишь мои слова? — спросил Авазбек, глядя на нее беркутом. Хафиза потупилась. — Я тебя действительно любил, и сейчас люблю! Не избегай меня, прошу тебя. Мне бы только видеть тебя иногда, да слышать твой голос.

— Не надо, Аваз-ака, все это осталось в прошлом, — сказала Хафиза, как можно спокойней.

— Для тебя, может быть, и в прошлом, а для меня все это в настоящем! — У Авазбека задрожал голос. — Знай же, Хафиза, ты без ножа меня убила...

Хафиза, оглядываясь по сторонам, заговорила умоляюще:

— Не дурите, Аваз-ака, у меня есть муж, у вас — жена. И вообще, я вам ничего не обещала.

Авазбек краем глаза посмотрел на ее живот.

— Ну и что, что муж... к нему у меня претензий не имеется! — сказал он резковато. Ему однако ж, очень понравилось это ее «не дурите». — Я до сих пор люблю тебя, вот что я хочу сказать! И потом, ты здесь, муж в городе... мне почему-то жаль тебя, Хафиза!

Хафизу это задело.

— Я прошу вас впредь меня не останавливать, — сказала она, как отрезала. — Если уж я вышла замуж за Шарифа-ака, то вышла по любви. И нечего встревать меж нами.

— Врешь, — произнес холодно Авазбек. — Подумай хорошенько и тогда поймешь, любишь ли ты его? Просто Шариф оказался более везучим. Ладно, иди домой, я не собираюсь разрушать твою семью, не бойся!

Сказав это, Авазбек зашагал в сторону «белого домика». Перед тем, как уйти, пробурчал: «Если бы ты была моей женой, не на минутку бы не отпускал от себя».

Хафиза вдруг возненавидела себя. Ей следовало первой уйти от Авазбека, не дождавшись этого снисходительного «ладно, иди домой». Неужто ей хотелось подольше побыть с ним, разузнать о его чувствах, хотя в душе и уверяла себя, что остановилась только для того, чтобы возвести между ним и собой прочную стену отчуждения. Неужто ей не хотелось уходить? Мучаясь от стыда и обиды, она и не заметила, как дошла до дома...

На исходе зимы Хафиза разрешилась от бремени: на свет появился мальчик. Чтобы сын вырос богатырем и не знал горестей, «маленького Шарифджана» нарекли Рустамом. Шарифджан стал отцом, Хафиза — матерью, оба были безмерно счастливы. Хафиза шесть месяцев не выходила в поле. Чтобы порадовать внуком своих родителей, немного пожила у них. Дважды, по неделе, гостила у мужа в городе. Лишь где-то в августе вышла на работу в поле.

В один из дней к ней опять подошел Авазбек.

— Хафиза, у меня к тебе разговор.

— Мне не о чем с вами говорить!

— Скажи, что мне делать?

— Делайте что хотите! После той вашей выходки я поклялась себе больше не разговаривать с вами. Вы же... вы все еще ведете себя, как разбойник...

Авазбек пристально взглянул Хафизе в глаза, стараясь поймать ее взгляд. «Разбойник...», «Авазбек-разбойник»... Но как певуче это было произнесено! И тогда он схватил Хафизу за руки и, задыхаясь, стал говорить:

— Прощу тебя, Хафиза, идем куда-нибудь, поговорим, пожалуйста! Сердце мое переполнено, мне надо высказаться... Не бойся, я не трону тебя, клянусь!! Я люблю тебя, Хафиза! Ну, как это тебе доказать? Хочешь, повешусь, хочешь, прогоню жену — ну же! Если не хочешь, не буду приставать, но тогда считай, что меня больше нет на свете! Я уйду из этого мира без сожалений, если ты хоть раз поговоришь со мной по душам... Ты согласна, Хафиза?

Как бы ни был силен стыд, как бы крепко ни любила она мужа, как бы ни заслонял все собою образ маленького Рустама, она была бессильна перед чувствами Авазбека, рвущимися наружу, точно лава из вулкана. С другой стороны, любопытство.

Да признайся же себе, Хафиза, разве ты, после его женитьбы, после того, потрясшего твою душу дня, вольно или невольно, не задумывалась об Авазбеке? Разве сердце твое не сжималось, когда он случайно попадался тебе на глаза? А тогда, в постели, и потом, позже, не раз, не Авазбек ли виделся тебе в образе мужа?

А мысли твои о том, что стал бы делать Авазбек, будь он вместо твоего Шарифа-ака? Подобные мысли были для тебя неким таинственным миром, и эта таинственность была прекрасной. И вот теперь тебя обуревают еще более таинственные чувства, другой необыкновенный мир притягивает тебя, ну что ты на это скажешь!

Хафиза вырвала свою руку из горячих ладоней Авазбека и, перед тем как уйти, тихо произнесла: «Посмотрим». А что Авазбек? Авазбек, получивший почти что согласие, наверняка готов был от радости прыгать до небес. Хафиза еле сдержалась, чтобы не оглянуться.

Как прошел следующий день, как она работала — Хафизе и не вспомнить. Не оттого, что она с нетерпением ждала встречи в этот вечер — она была уверена, что ничего подобного не ждет, — просто она находилась в странном, необъяснимом состоянии. Но сходить в «белый домик» она решила обязательно. Вероятно от этого, она весь день старалась не думать об Авазбеке плохое, более того, прилагала все силы, чтобы уверить себя, что немного скучает по нем, да, да, скучает. А с наступлением вечера ее стало неотвратимо тянуть в «белый домик», тянуть уже как бы помимо ее воли.

Будто набирая траву в раскинувшемся у домика поле, она постепенно стала приближаться к нему. Когда до домика осталось шагов пятьдесят, она остановилась и бессильно опустилась в кусты хлопчатника. Неистово билось сердце. Она сидела, обняв колени, в голове проносились мучительные двойственные мысли — желание боролось в ней с раскаянием. Она уже было надумала, пока ее не увидел Авазбек, встать и уйти, но в это время дверь белого домика со скрипом открылась, и на пороге показался Авазбек. Видно, он давно следил за Хафизой и сейчас направился прямо к ней. Хафиза не шелохнулась. Казалось, ее бросили в кусты, связав по рукам и ногам. Она не шевельнулась даже тогда, когда Авазбек подошел совсем близко.

— Я так боялся, что ты обманешь меня, — шепотом проговорил он. — Если бы не пришла, я бросился бы с дамбы на дно канала, подвесив на шею камень.

Волнение, обуявшее Хафизу еще мгновение назад, вдруг куда-то исчезло.

— Меня никто не тащил сюда на веревке, сама пришла, поэтому не думайте о глупостях, — сказала она неожиданно для себя строго. — Выкладывайте все, что хотели сказать, и на этом поставим точку.

— Хорошо. Но сначала найдем в дом.

То, что все называли «белым домом», очень походило на амбар. Огромные ключи, регулирующие шлюзы, какие-то инструменты и металлические предметы переполняли его углы. У боковой стены — сложены один на другой ящики, а на них — керосиновая лампа. Под ногами валяются мешки, какое-то тряпье. В противоположной стороне — деревянный топчан, на котором лишь одно одеяло да подушка. Вот и вся обстановка «белого домика». Окна не было. Единственная дверь, да и та, видно, всегда заперта — какой-то затхлый, тошнотворный дух ударяет в нос, когдаходишь в помещение. Будто и стены пропитаны этим запахом.

— Ну и запах, даже голова закружилась, — сказала Хафиза.

— Масло тракторное. И солидол. Что, чувствуется?

— Еще бы!

Ведя разговор, Авазбек, меж тем, закрыл дверь на крючок и прибавил огня в лампе.

— Не закрывайте, а то я уйду, — сказала Хафиза, хотя в душе и одобряла действия Авазбека. — Фуф-ф, запах нехороший... Говорите же быстрее, что там вам нужно было сказать!

— Не торопись, Хафиза. Пройди, сядь вот на это место. Не бойся, вечером сюда никто не заглядывает.

— А я и не боюсь, — сказала Хафиза спокойно. — Если бы боялась, не пришла бы.

Оба присели на деревянный настил — в разных концах его. Глядя в сторону двери, оба почему-то замолчали.

— Хафиза, прошу тебя, выслушай меня, не перебивая, — сказал Авазбек, нарушив, наконец, молчание. — Я хочу высказать тебе то, что у меня камнем лежит на сердце и не дает покоя ни на минуту. Выслушай... а там решай сама... от этого будет зависеть моя судьба.

Авазбек придвинулся к ней совсем близко, и чем больше говорил, тем горячее становилось его дыхание, оно касалось ее лица, ласкало ей шею. Но она молчала, терпеливо молчала. Она и не заметила, как между разговором Авазбек вытащил откуда-то магнитофон и включил его. Зазвучал приятный голос известного певца и «поплыл» по «белому домику». Он пел о девушке, которая стала невестой, свадебный караван увозил ее в далекие края, разлучая с тем, кто безнадежно любил ее.

...Хафиза, ты отказалась выйти за Авазбека, отвергла его руку, но отвергать

его любовь ты не имеешь права! Тебе не дает покоя то, что выбила его из жизненной колеи. Потому что он любит тебя, только тебя! Возможно, он любил тебя больше, чем Шарифджан, но ты, увы, не распознала этого! Почему так? Что это, проделки судьбы? Да неужто судьба так безжалостна?.. Ты очень красива. Хафиза, ты родилась не для этих полей! Авазбек очень боялся, что после свадьбы муж увезет тебя в город, но, слава богу, ты осталась в кишлаке. Даже это для Авазбека большое счастье. Ему достаточно хотя бы изредка видеть тебя! Конечно, у него есть жена, у тебя — муж, и то, что вы сидите сейчас, уединившись, ни в какие рамки не лезет, ты должна знать об одном: Авазбек ненавидит жену. Она противна ему! С одной стороны, жена, конечно, ни в чем не виновата... Что там говорить, ей тоже хочется быть счастливой. Разве на это у нее нет права? Конечно, есть — это Авазбек хорошо знает, но что он может поделать. Безусловно, во всем этом есть доля вины Авазбека — он женился на ней сторяча. Второпях. Подумал, что после свадьбы все образуется. Но не получилось. В конце-концов он вынужден был сказать правду жене: что не любит ее. Больше того, прямо в лицо ей сказал, что не в силах ее выносить. Однажды, вернувшись домой пьяным, он обозвал ее уродиной. Эх, Хафиза, тебе ли это знать? Несчастливая жена долго плакала. Плакать-то поплакала, но не ушла... потому что ждала ребенка... Можешь считать Авазбека бесстыжим, можешь дать ему пощечину — дело твое, но ему необходимо сказать тебе еще одно, иначе ему не прожить, так как именно это заставило его начать этот разговор. А открыто и без стыда он говорит об этом потому, что он уже не юнец, да и ты не молоденькая девчонка, пойми его правильно, Хафиза! На следующий же день после свадьбы Авазбек убедился в том, что ему без тебя не жить. На супружеском ложе, в самый деликатный момент, перед глазами его являлась ты! Не жену он видел, а твое улыбающееся лицо, твой образ, и он вконец потерял покой. С тех пор, стоит ему лечь в постель, как видится ему не жена, а ты! Нет, подожди, не перебивай его...

Авазбек любит тебя, Хафиза! После свадьбы он почувствовал это с еще большей силой. Стоит только завидеть жену, в нем просыпается ненависть и ему хочется избить ее. И вот, он даже позволяет себе поднять на нее руку. Если так будет продолжаться, то ...неровен час — покалечит он ее или убьет. Возможно ли так жить, Хафиза? Жене тяжело, сыну тяжело, но и Авазбеку — не легко! Вот такие дела. Уже два года, как Авазбек не знает, куда приткнуть свою ошалелую голову. Странно... А ведь сегодня он хотел сказать тебе совсем другие слова, зачем он все это рассказывает? Эх, Хафиза, ты живьем заставляешь гореть на костре джигита!

...Известный певец все так же пел, заставляя изнывать сердце:

Куда бредет с тобою караван,  
С чем оставляешь ты меня, любимая?..

— Что теперь прикажете делать? Зачем вы меня сюда привели?! К чему мне теперь эти слова, Аваз-ака?! — вскрикнула неожиданно Хафиза.

Авазбека будто колом по голове стукнули.

— Хафиза, ведь...

Но Хафиза была уже вне себя и не дала ему вымолвить ни слова.

— Вы что же, семью мою хотите разрушить? Зачем вы меня так мучаете, Аваз-ака!

И Авазбек вдруг смутился.

— Я не говорил тебе, чтобы ты ушла от мужа. Я пересказал тебе все, как есть. А что будет завтра с мной — одному богу известно...

— Ну что, что мне теперь делать?! — она вскочила, точно уязвленная, вцепилась ему в плечи и стала что есть силы трясти его. Затем внезапно остановилась, притянула к себе и... расплакалась. — Да ведь я... я ведь тоже больше не могу без вас!

Авазбек крепко обхватил ее пониже пояса и прижал к себе.

Неприятный запах в «белом домике» куда-то отступил...

То, что должно было случиться, случилось: ни сожаленью, ни раскаянию, больше не оставалось места, да и что греха таить, теперь, отбросив в сторону стыд, можно было признаться: им было хорошо, и они были благодарны этому дню. Хафиза, лежа, еще долго гладила волосы Авазбека, затем ладонью прикрыла ему усы и рот и пристально вглядывалась в его красивые глаза, повторяя про себя: «Это неплохо, это вовсе не плохо, совсем не плохо». — И еще подумала: — Несчастный, наверное, вне себя от радости, что лежит с любимой женщиной. Сразу видно, до этого дня он не знал, что такое ласка...» Затем, передвинув ладонь, закрыла ему глаза и поцеловала в лоб...

После этого Хафиза целый месяц не приближалась к «белому домику». Но

спустя месяц ноги сами собой привели ее опять сюда, и она не удивилась, застав здесь Авазбека...

После шестого или седьмого посещения «белого домика» Авазбек спросил ее:

— Хафиза, ты все еще любишь Шарифа? — и приник к ее голой груди, словно хотел услышать у ее сердца правду, если она солжет.

— Давайте не будем о нем...

— Не обижайся, просто хотелось узнать.

— Не надо об этом!

Если бы Авазбек был в силах понять смысл ударов сердца Хафизы, то не задал бы следующий вопрос.

— Тогда, почему ты ходишь сюда? — спросил он с грубоватой бесцеремонностью. — Говори правду: оттого, что любишь меня, или...

Хафиза и сама, с тех пор, как переступила порог этого домика, находилась в водовороте подобных вопросов, однако определенного ответа так и не находила. Она не сомневалась в том, что любит Шарифджана, но тогда зачем она ходит сюда? Всякий раз она успокаивала себя тем, что не смогла противостоять себе, не смогла лицемерить сама с собой и совершила на деле то, что многие совершают мысленно, — вот и все. Так кто же тут прав или не прав — те многие или она? Если уж виноваты, то виноваты все, а если нет, то и правы тоже все, подбадривала она себя. Возможно, подобные вопросы мучили и Авазбека, и вопрос его был задан без всяких задних мыслей, совершенно искренне? Тем не менее, он сильно задел Хафизу.

— То, что хотели, берете сполна, остальное вас не касается, — выпалила она и стремительно поднялась...

— Вот тогда впервые во мне заговорила совесть, — сказала она позже подруге. — Я поняла, что живу, обманывая Шарифа-ака. Он и не догадывался о том, чем я занимаюсь. Уж лучше бы он избил меня или прогнал из дома. Уйти же самой... Но ведь я не проживу на свете без Шарифа-ака!

— Не плачь, Хафиза, слезами делу не поможешь. Даже не знаю, что и посоветовать. Хотя, ты ведь никогда меня и не слушаешься...

— Я все об одном не перестаю думать: то, что я делаю, грех или не грех?

— Не только грех, но и измена...

— Прошу тебя, не произноси это слово. Оно такое страшное. Лучше подбодри меня. Ведь ты хорошо знаешь, как сильно любит меня Авазбек.

— На каждом слове произносишь имя своего мужа: «Шариф-ака, Шариф-ака», а ходить к Авазбеку не перестаешь, — уколола ее подруга.

— Я вышла замуж по любви и без Шарифа-ака не представляю свою дальнейшую жизнь! Что это? Если это любовь, то что же тогда ...другое? Ведь оно тоже со мной, живет во мне!

— Что бы это ни было, хорошего в нем мало. Хорошее хорошо кончается, а как кончится это... не знаю.

— Это не ответ. Мне нужен другой ответ. Успокаивающий и одновременно разъясняющий, что есть «то самое»!

— В таком случае, Хафиза, не задавай мне таких трудных вопросов. Как я могу развязать узел, который не под силу даже тебе самой? Ведь в сущности мы находимся в одинаковом положении, не так ли?

— Ах, да... — вдруг опечалилась Хафиза.

В один из дней Авазбек заявил ей:

— Я выпровожу жену из дома!

Даже не выяснив причины, Хафиза начала отговаривать его:

— Чего вам еще не хватает, Аваз-ака? Не надо, не мучьте эту несчастную!

— Ведь я не люблю ее! Так и буду жить всю жизнь?

— Если не о жене, то хоть о ребенке подумайте.

— Разве ребенку легче, если отец ненавидит мать? Я не такой, как ты, Хафиза, не могу вместить двух в одно сердце.

— Не разводитесь, Аваз-ака! Умоляю, не разводитесь, — только и повторяла Хафиза.

— Но почему?

— Это может привести к плохому...

Именно так сказала Хафиза... «Это может привести к плохому». Но к чему именно, и вообще, почему к плохому, этого она и сама не знала. «Это может привести к плохому» — это была лишь пронесшаяся в голове мысль, ее-то и высказала Хафиза.

Тем не менее, Авазбек прогнал свою жену. Эту весть Хафиза услышала на поле. Целый день, а потом еще с неделю женщины перемалывали эту новость.



Хафиза старалась держаться подальше от этих разговоров, однако каждый раз, когда они начинались, ее передергивало.

«Это плохо...»

Хафиза перестала ходить в «белый домик». Пару раз Авазбек останавливал ее, подкараулив одну, но она под различными предлогами уходила от него. В бессонные ночи, лежа рядом с сыном в огромном полупустом доме, она раз за разом клялась себе больше не ходить к нему. И когда ей вспоминался Авазбек, она тут же повторяла про себя эту клятву. Бывали дни, когда она повторяла те слова десятки раз и даже больше. Теперь она как-то по-иному стала тосковать по мужу. Чуть с ума не сходила, если он не приезжал в какую-нибудь из суббот. Наконец ей осточертели и его работа, и его учеба. И вот однажды она ни с того ни с сего набросилась на него:

— Когда только наступит конец вашей проклятой учебе? Надоело!

В другой раз расплакалась:

— Либо в кишлаке живите, либо меня с собой заберите, до каких пор я буду жить цыганкой?

Изменения в поведении жены он принял за обычные женские капризы и не придал им особого значения. Обняв ее за плечи, как всегда, хотел поцеловать ее в кончик носа, но она вырвалась из его рук и, отвернувшись, заплакала пуще прежнего. Старания Шарифджана не увенчались успехом — вопросы остались без ответа. Хафиза плакала. Успокоилась, лишь уснув. Назавтра, когда Шарифджан, как всегда, собирался в город, она вдруг, усовестившись, мягко произнесла:

— Простите за вчерашнее, я, кажется, становлюсь капризной, больше никогда не буду плакать.

На этом муж и жена помирились, и опять у них все потекло по-старому.

Их Рустамджану вот-вот должно было исполниться два года, когда у них родилась дочь. Крохотная, сладкая, как халва, девочка, о которой так мечтали муж и жена! Оказывается, Шарифджан давно подобрал ей имя, Хафиза не стала возражать — девочку нарекли Мухаббат. Теперь Хафиза надеялась, что ее оставят в покое.

И вправду, после рождения Мухаббат, Авазбек не попадался ей на глаза, то ли оттого, что она восемь месяцев не выходила на поле, то ли сам решил поставить на том точку. Хафиза даже забыла о нем. Казалось, жизнь вернулась в прежнюю колею. Спокойно на душе, легко на сердце. Но оказалась, радоваться Хафизе было рано. В первую же неделю после выхода на работу Авазбек издали дал о себе знать. Назавтра, волоча за собой клуб пыли, несколько раз пронесся на своей «Яве» туда-сюда, мимо работающих женщин. Вечером, уходя с поля, Хафиза специально прикнула к женщинам. Но до каких пор она таким путем будет избегать его? А вдруг среди людей он выкинет какой-нибудь номер? Как она тогда будет выглядеть? Хафиза вдруг невзлюбила Авазбека, раньше он никогда не казался ей таким неприятным!

Однажды он подошел к ней, когда она сидела у арыка и мыла ноги. Не надев даже обувь, она встала и пустилась наутек. «Хафиза, Хафиза!» — кричал ей вслед Авазбек, но она не обернулась.

Вскоре такое вновь повторилось. И на этот раз она кое-как увернулась от него. Но потом...

Потом Авазбек пришел пьяным. Дыша на нее перегаром, он стал кричать:

— Из-за тебя бросил жену, чего ж ты теперь избегаешь меня!

— У меня двое детей, Аваз-ака, оставьте меня в покое, — сказала Хафиза дрожащим голосом.

— Из-за твоих детей я должен оставаться с «носом»!

— Не грубите!

— Тогда идем со мной!

Хафиза вдруг поняла, что впредь она не сможет резко говорить с Авазбеком. И как только она это поняла, силы оставили ее.

— Пожалейте меня, Аваз-ака, ведь вы же говорили, что любите меня!

— От слов своих не отрекаюсь, люблю, но только идем со мной.

Авазбек пытался увести Хафизу. Признание его в этот раз отнюдь не походило на прежние. «Должно быть, это и есть то самое «плохое», к чему я должна была прийти», — подумала Хафиза и сникла.

— Хорошо, Аваз-ака. Но только не сейчас. Встретимся как-нибудь потом, позже, — взмолилась она.

— Смотри, если попытаешься обвести меня вокруг пальца, пеняй на себя!

Правы оказались женщины. Авазбек менялся на глазах: принимал вид дервиша. С тех пор, как развелся с женой, начал пить. Охладел к работе. «Такой парень изводит себя», — сокрушались одни. «Так ему и надо, такую жену прогнал из дома», — осуждали его другие. И вправду, если так будет продолжаться, от него все

можно ожидать. Думая обо всем этом, она не могла ни работать, ни есть, ни пить, за неделю осунулась. Придя с работы, сразу уходила в свою комнату и подолгу не выходила.

— С сегодняшнего дня я не выйду больше на поле,— стала кричать она, когда приехал Шарифджан.

— Хорошо,— сказал муж, ничего не понимая.— Я, похоже, измучил тебя. Посиди дома...

— И дома не хочу сидеть! И вообще, мне надоел и ваш дом, и ваш кишлак. Если вам нужна жена, то сегодня же увезите меня с собой! И детей тоже! И если уж работать, то буду работать в городе. Все!

— Ого, ты что, встала сегодня с левой ноги? Что это с тобой?

— Сказала поеду, значит, поеду!

Шарифджан тоже стал горячиться:

— Когда тебе предлагал, ты не хотела, а теперь что за спешка? — Затем, несколько понизив голос, продолжил: — Потерпи немного, Хафиза, осталось совсем чуть-чуть, в этом году я закончу учебу, а там... до конца жизни будем вместе.

Но Хафиза была не в том состоянии, когда терпят.

— А я вам говорю, что если раньше не поехала, то сейчас поеду! Какая вам разница. Я там вашей учебе мешать не собираюсь.

После долгих препирательств и объяснений Шарифджан вынужден был уступить. «Ладно, пусть недельку отдохнет в городе»,— объяснил он родителям. Они согласились с этим.

Однако уже на пятый день Хафиза поняла, что поступила необдуманно. На нее нашла тоска. А еще хотела остаться в городе, устроиться на работу. Куда там! Авазбек и здесь незримо следовал за ней. Что там город, он находится буквально в двух шагах от Туюля, да уедь она хоть за тридевять земель, ей не избавиться от него, и Хафиза мучилась еще больше, больше, чем даже в кишлаке.

В субботу она вместе с мужем вернулась в Туюль...

В городе она клялась себе, что никогда больше не будет выходить в поле, но по приезде домой, на следующей же день, молча отправилась на работу. В городе она дала себе слово, что никогда больше не пойдет в «белый домик», даже если Авазбек попытается опозорить ее, растрезвонив об их отношениях на весь белый свет, но, выйдя на работу, поняла, что это ее слово неисполнимо. «Да неужто Аваз-ака не человек? Да нет, не дойдет он до подлости,— с надеждой подумала она.— Не буду пока играть на его нервах, но дальше обязательно все порву»,— решила она. Но в один из дней неожиданно подумала: «Пойду, если Аваз-ака будет там... то, стало быть, это судьба!»

Под вечер, выждав удобную минуту, направилась не в кишлак, а свернула в сторону «белого домика».

Авазбек сидел один. Горела керосиновая лампа.

— Хафиза-а! — покачиваясь, вскочил он с места.

Хафиза по возможности старалась держаться спокойно и весело.

— Вот пришла,— произнесла она, как прежде, словно бы делая ему одолжение.— Фуф, а у вас все так же воняет? Неужели днем нельзя проветрить помещение? Открыли бы настежь дверь...— Она задвинула щеколду. Обойдя нетвердо стоящего на ногах Авазбека, присела на тахту.— Прибавьте немного огня, темно, ничего не видно,— и сама же подкрутила лампу.

Стало светло. Только теперь Хафиза разглядела то, что творилось вокруг.

Рядом с топчаном стоял вверх дном ящик, на нем стояла бутылка, рядом с бутылкой — два кусочка черствой лепешки...

— Садись,— сказал Авазбек растерянно.

Хафиза вдруг сникла. Зря я пришла, искренне пожалела она. Да, не должна она была сюда приходиться, хоть умри, не должна была! Хафизу в секунду охватило отчаяние. Что теперь делать? Уйти? Да разве он теперь отпустит ее? Кричать? Только этого не хватало!

Авазбек двинулся с места, взял бутылку за горлышко, перешагнул через ящик, встал перед Хафизой и, пыхтя, вцепился ей в руку. Хафиза с напускным спокойствием не стала сопротивляться. Покачиваясь, Авазбек стал сбивчиво говорить:

— Дорогая, знаешь, что это такое? Это называется вино... Один его глоточек уносит прямо в рай... А это? Это не знаешь? Это — сигарета...

— Прекратите, Аваз-ака! — вскричала Хафиза.— О боже, неужели человек может так опуститься!

— Ах, мы для вас теперь плохие.— Авазбек икнул.— Ладно, посмотрим... Ладно, я низок, а ты — возвышенная... Садись, Хафиза, выпьем! Пиалушки нету, разбилась вчера... Из пиалы каждый дурак выпить сумеет... мы из горлышка, буль-бульк... вот так...

Хафиза одним движением выхватила из его рук бутылку и выбросила за сложенные в углу ящики.

— Хватит, не пейте, Аваз-ака! — сказала она зло и в то же время с оттенком заботливости.

Авазбек на это почему-то не обратил внимания.

— Кидай, дорогая, кидай, — произнес он, нагибаясь и вытаскивая из-под топчана другую бутылку. — Кидай... У нас этого добра целый ящик...

Хафиза резко поднялась с места и направилась к выходу. Только что еле державшийся на ногах, Авазбек одним махом настиг ее и обнял за плечи.

— Куда так спешите, дорогая? Разве сегодня не останетесь со мной, а?..

— Отпустите! Я думала, вы человек... — стала вырываться Хафиза.

Авазбек безобразно рассмеялся.

— Ладно, мы не люди... мы плохие, низкие, ладно... Но только не забудьте оставить свой должок, Хафизахон!

— Какой должок? Отпустите, вам говорят!

— Ие, никак уже забыли? Ха-ха-ха!.. Вы должны мне... законным образом! — Авазбек, как репей, вцепился в Хафизу и стал лапать ее по всему телу.

У Хафизы сделалось тошно на душе.

— Свой должок получите после моей смерти! Нет, даже после смерти не получите! — начала кричать она и, собрав все силы, оттолкнула Авазбека.

Перевернув ящик вместе с кусками лепешки, он упал навзничь на топчан.

— Ах, ты меня еще бить! Ты-ты? Я теперь для тебя не человек, да? То сама прибежала, как последняя... а теперь нос воротить! Ах, твою...

Хафизе и в помине не снилось, что придет день, когда Авазбек так начнет оскорблять ее. Ей хотелось бы закрыть руками уши, да надо открывать щеколду, но руки не слушаются — словно одеревенели. Всего лишь год назад все было по-другому! Неужели и тогда он думал так же! Где те его убажаривающие слова? Неужели их произносил этот же человек? Нет, Хафиза может выдержать любые обиды, но только не от человека, разделившего с ней самые счастливые мгновения. Это — измена, самая подлая измена!

Сердце ее сжалось. По телу пробежала дрожь. Она наконец ухватила бессильными руками щеколду.

— Эй, ну-ка остановись, — Авазбек вцепился сзади в подол ее платья. — Не останешься, говоришь?

— Отпустите!

— Чего ты так ломаешься! Ишь ты, святая невинность!

— Прекратите! Отпустите, говорю!

Хафиза, ухватившись за дверной косяк, рвалась наружу, он тащил ее внутрь.

— Зачем пришла и почему теперь уходишь? Никто тебя насильно не тащил, сама притопала... И раньше сама прибежала, не так ли? Чего теперь строишь из себя чистенькую? Хочешь просто так отделаться? Не выйдет... Давай, расплачивайся...

Хафиза резко обернулась и со всей силой пнула его в пах.

— Вот тебе! Вот тебе плата! — Авазбек не успел оправиться, как она еще раз поддала ему ногой. — На, бери свой должок, подлец!

Авазбек, держась за пах, скрючился от боли и неожиданно выпалил ей в лицо:

— Ах, шлюха! Шлюха ты и есть! Как последняя потаскуха, со мной обошлась!

Хафиза бросилась в дверь и без оглядки, не останавливаясь, побежала прочь. Она не знала, куда бежит. Казалось, она так и будет бежать, не останавливаясь, не зная при этом, то ли плакать, то ли смеяться. С головы ее слетел платок и где-то затерялся, но она и тут не остановилась. Ей казалось, что за ней гонится Авазбек. И она не останавливалась. Но чудо! Сколько бы она ни бежала, в конечном итоге вновь и вновь оказывалась у «белого домика». Или ей так казалось? Во всяком случае, ясно видела настежь раскрытые двери домика и ясно слышала оскорбления Авазбека... Так она и бежала, пока не выбилась из сил и не повалилась на землю...

А открыв глаза, увидела над собой родную мать. Глаза ее были красны от слез, лицо измученное.

— Что с вами, мамочка? — спросила она обеспокоенно.

И тогда мать бросилась ей на шею и разрыдалась во весь голос.

— Доченька, родная! Ты пришла в себя? Ты здорова? — повторяла она без конца.

— А что со мной? — произнесла Хафиза, еще не понимая, в чем дело. Потом вдруг изменилась в лице. — Как я оказалась здесь, мама? — спросила она, глядя с мольбой в глаза матери.

— Не знаю, доченька, не знаю. Увидев тебя вчера, мы с отцом чуть не умерли от страха... Что случилось, доченька? Тебе и вправду нечистая сила привиделась? Сколько раз говорила, чтобы ты не оставалась допоздна на этом проклятом поле.

Хафиза вдруг все вспомнила. Стала торопливо расспрашивать о детях.

— Дома они, дома, где же им быть. Наверное, скоро приведут. И свекровь твоя всю ночь просидела возле тебя. Обещала скоро прийти...

— Мама, я пойду! — засобиравлась Хафиза.

На уговоры матери позавтракать, дожидаться отца, который пошел за врачом, она и внимания не обратила.

— Мне не нужен врач, я совершенно здорова!

— Ах, доченька, дай бог, чтобы ты не болела, — с этими словами мать и осталась.

Дул сильный ветер. Хафиза надела поверх платья материн платок и отправилась домой.

Была пятница. Завтра — день приезда ее единственного, милого, ненаглядного мужа. Надо скорее пойти домой, подготовиться. С каким, бывало, трепетом она ждала раньше субботние и воскресные дни! Вот и сегодня такое же волнение и нетерпение торопили ее домой. Сейчас она придет, приведет в порядок двор и дом, подметет, уберет. Искупает детей, приоденет их. Не станет же она показывать их папочке в неприглядном виде. Заодно и сама искупается, смоет с себя пыль и запахи поля. Надушит тело ароматными духами...

Когда Хафиза подошла к дому, ветер уже задувал вовсю.

А перед сумерками обе семьи, сговорившись, взяли с собой одну из согбенных старух кишлаака и привели Хафизу в поле. Там, где соединялись пашни Туюля и Джалаира — в самом центре длинного ряда тутовых деревьев — развели костер, подожгли на нем старые тряпки и стали изгонять из «вспугнутой» Хафизы нечистую силу. Прокоптив на костре большой плоский камень, опустили в таз с водой и, пригнув Хафизу головой к тазу, укрыли сверху одеялом. Наконец дали испить три глотка этой водицы и, раскрыв ворот платья, побрызгали ей на грудь, на всякий случай и сами выпили той водицы. И вот щеки Хафизы вроде бы покрылись румянцем. Удовлетворенные этим, участники церемонии разошлись по домам.

А ветер все крепчал.

После ужина Хафиза переделала все намеченное: постирала, искупала детей, сама искупалась, напевая колыбельную, уложила спать своих сладких «козлятушек». Рустамджан, поспавшая, тут же заснул, Мухаббат же долго еще ворочалась, то и дело вяжно прозносая: «пап-па, пап-па». Наконец заснула и она. Настала пора, когда Хафиза могла полчаса уделить себе.

Время было уже позднее, во дворе все так же выл ветер.

Хафиза достала из шкафа маленькую шкатулку, в которой хранила свою богатую парфюмерию, и подошла к зеркалу...

Странно, из зеркала на нее глядела совсем чужая женщина!

Вздрогнув, она вспомнила вчерашние события. «Белый домик»... вино... затхлый дух... пьяная рожа Авазбека, оскорбительные слова...

У Хафизы зашумело в ушах. Голова словно вспухла, вот-вот лопнет. А из зеркала по-прежнему на нее глядела чужая женщина, а в глубине его, вон там, кто-то — Шарифджан? Авазбек? — не оборачиваясь, стремительно уходит. Хафизу словно током ударило — ее осенила странная мысль: «Шариф-ака теперь не имеет права прикоснуться ко мне. Я для него теперь чужая — таков закон шариата!» И она... с силой ударила шкатулкой о зеркало. Но зеркало не разбилось, цела осталась и шкатулка, лишь содержимое ее разлетелось во все стороны. Комнату наполнил запах косметики. Застывшая в изумлении Хафиза, расслабившись, опустилась на ковер.

В этом мире у нее была единственная подруга, которой она доверяла все, — это ее второе «я», «другая» Хафиза, обуреваемая думами и страстями. Но в данный момент даже эта подруга словно онемела, лишилась дара речи. Хафиза всеми силами попыталась разговорить ее. Ничего не вышло. С какой-то надеждой прислушалась. Но ни звука не дождалась. Сама хотела о чем-то спросить, язык не поворачивался. И тогда она поняла, что даже эта ее единственная подруга, знавшая все ее секреты, отвергла ее навсегда. И она во весь голос... то ли закричала, то ли расхохоталась. Во всяком случае, в комнате все задребезжало.

Ложавшая в люльку Мухаббат, встревоженная, начала кричать. Хафиза, замолчав, еще некоторое время глядела в зеркало. Затем тихо отвернулась и вышла в коридор. Оттуда прошла на айван.

Проснувшаяся Мухаббат начала плакать. Хафиза не вернулась. В ее опустошенной голове звучали лишь слова оскорбления, слышанные от Авазбека, и осевшая ее недавно мысль: «Шариф-ака не имеет теперь права прикасаться ко мне, я для него — чужая!..»

Без устали продолжал гудеть ветер, играючи гонял что-то по ночной тьме.

Платье Хафизы шумно трепетало на ветру, ее черные, как ночная тьма, волосы распустились. Лежавшая в люльке Мухаббат кричала уже вовсю.

Хафиза не вернулась. Отперев заднюю калитку двора, вышла в поле. Дверь с треском закрылась.

В поле порывы ветра были еще более мощными, с воем он подхватил хрупкую Хафизу и поволок неизвестно куда.

Дочка в люльке исходила плачем.

В кромешной тьме четыре стороны казались дорогами, простертыми в бесконечность. Хафиза, с взлохмаченными волосами, раздувающимся платьем, шла, куда ноги ведут.

Ветер не унимался, выл, свистел, плакал. Хафиза отдалась воле ветра. Теперь в ее опустошенной голове, вместе с оскорблениями Авазбека и ее открытием, крутился еще и надрывный плач дочери.

Ветер же все усиливался, заставляя качаться этот древний мир, завывая и рыдая, сам не зная зачем.

Дабы не роптал наш требовательный читатель, мы решили кратко осведомить его о некоторых событиях.

Закончив политехнический институт, махнув на все рукой, Шарифджан уехал работать в далекую Сибирь, сказав, якобы, бригадиру Суннатулле из соседнего кишлака, что уезжает навсегда.

Авазбек, подлечив место, которое «случайно ударила ручка трактора», бросил пить. Помирился и сошелся с женой. Сейчас они живут где-то в степи, в новоосвоенных землях. У них четверо детей, старший нынче пошел в школу.

Хафиза...

Разрешите о Хафизе промолчать. Ведь вон уже сколько о ней сказано, думаю, вы мне это позволите...

Перевод с узбекского Рано Азимовой.

Владимир Сотников

## ВЗЯТОК

РАССКАЗ

Таштемир Усманович Усманов — человек особой породы. Именно так: относящийся к определенной категории людей, кому с юности уготованы особые условия жизни в семейных кругах элиты, особое положение в обществе с последовательным продвижением по службе, — в его облике, в походке, в манере говорить (с кем, о чем) — во всем была видна порода.

Гладкое розовое лицо. Холеная прическа. Костюм, пошитый по индивидуальному заказу, из импортной ткани.

Говорит неспешно, негромко. Жесты скупые, плавные.

Начальник. Даже когда был председателем совета пионерской дружины. Еще когда был секретарем школьной комсомольской первички. И дальше, дальше...

Но кто бы видел его, каким жалким выглядел он, когда сидел на жестком стуле перед Самим в огромном, как зал, кабинете (шесть телефонов, кондиционер, выхолодивший помещение до того, что вода в графине того и гляди подернется ледком). Усманов в рубашке (август!) — Сам при галстукке, в пиджаке. Не спешит, ему можно, ему хорошо! А каково Усманову? Плохо Усманову...

И это всего через две недели после Великого Дня Назначения!

— Ты понимаешь, Таштемир Усманович, кто ты теперь? Сколько объектов со складами, прилавками и «подприлавками» — твои, как пятая комната в квартире: и все, кто там крутится, должны быть у тебя вот где!.. — Назаров растопырил пятерню и жестко сжал пальцы в кулак.

— Ты понимаешь, Таштемир Усманович, — продолжал Сам, — как обидел меня денежкой?.. Я тебя, можно сказать, вознес — а ты что?.. Или ты не знаешь правила игры и не ведом тебе наш преискурант?

Усманов сидел съезжившись, молчал. В голове мельтешили злые мысли.

«Знаю я правила... И кому сколько, тоже знаю. Да только не получится всем сразу. Вы, товарищ Назаров, «вознесли» меня росчерком пера под заготовленным приказом о Назначении, вот и все труды. А вы знаете, сколько людей вели меня к той минуте? И как долго. И сколько я их поил-кормил в самых шикарнейших ресторанах. И всем — подарки! Их женам — подарки! Я знаю «преискурант». У нас ничего не делается просто так. Рука руку моет... Рука ведет... Рука оберегает... И за все плати. Позолоти ручку. То есть волосатую лапу. Белую такую, мягкую, теплую. Железную...»

Когда Усманов получил Назначение, щедро отблагодарил всех, кто помог ему. Но это дорого ему обошлось! Все выжал: и что у него было, и родственников обобрал, в долг набрал, сколько смог («отдам, больше отдам, чем беру, и — скоро!..»), остался Сам, Назаров. С чем, как подступиться к нему, Усманов не знал. Нет у него такого опыта.

Помог случай.

Назаров, как обычно, в «бархатный сезон» собрался в отпуск. По давно сло-

жившейся традиции работники торговли собирали шефу «отпускные». Этаким ручейком — вскладчину — в конверт — и ему. Вот и решил тогда Таштемир Усманович прийти к Самому со своим тощим конвертом, поблагодарить за Назначение и ловко так: от своих отбил, к другим еще толком не прибил... это от меня лично...

Назаров выдвинул ящик стола и через секунду прихлопнул его. Конверт Усманова не шлепнулся — осенним листом опустился на другие конверты, на него, возможно, шлепнутся другие конверты, попробуй угадай потом, от кого какая «денежка». Нет — угадал! Угадал — и в рев: мало!

— ...Ты знаешь, Таштемир Усманович, я человек не бедный. Сколько мне надо — есть. Захочу больше, больше надо — бу-удет. Но чтобы я по мелочам собирал?! Запомни: каждому из нас есть своя цена. Ты меня в кусок оценил — а я про себя думаю, что для тебя стою вдесятеро больше. Это сегодня. А завтра ты сам поймешь, сколько мне от тебя надо. Не хочется — надо! Понял, нет? Надо. Ты иди, ладно. Хорошо подумай, как работать будешь. Не эти самые колесики-винтики, кадры, план — все это само собой получается. Ты о другом думай... Молодой еще, глупый...

Усманов думал.

Он сидел в полупустом зале ресторана, пил теплый коньяк и — д у м а л.

Везде Система, думал Усманов, рассеянно поглядывая на скучающего бармена, на каких-то заспанных официанток. То ли будет вечером, когда зал заполнится людьми, загремит оркестр, со стола на стол мы вам коньяк, а мы вам шампанское, разрешите пригласить на танец вашу даму, бармен, как автомат, официантки порхают, сияя улыбками... Так будет вечером, ночью. А что потом? Что в Системе-то?

Павел Никитич, швейцар, выгребет из карманов кучу трешек, пятерок, «чириков» — за оказанное внимание (снял волосок с воротника, прыснул одеколоном), за отзывчивость (очередь — а пропустил, мест нет — а «сделал» столик), официантки имеют свой «навар» (обсчет, чаевые — это обязательно), больше всех нагрел Мустафа, бармен: он и недоляет, и смешает коньяк со «Старкой», и рассчитывается без мелочи (протяни ты руку за двугривенным — он тебе полтинник швырнет и еще так зыркнет глазищами, что сам себе покажешься ничтожно маленьким, и больше к стойке не подходи), и сколько бутылок тихо-тихо пустит с черного хода, когда уже нигде ни у кого не достать, а надо позарез... Да, все с оч-чень хорошей деньгой. Но это отнюдь не означает, что тот же Мустафа полный хозяин своему «навару». И бывает, в плохой день официантка Люся, вон она, беленькая, не только не принесет в клюве своему малышу — своих добавит — чтобы... отдать со всем «наваром», то есть и с чаевыми, и с тем, что втридорога продала.

Жестоко, жестоко заявляет свои требования Система! Набирая по рублю, Павел Никитич постоянно помнит о том, сколько «чириков» должен отдать Зухре, завзалом. И все остальные, кто в зале, помнят о «стольниках», которые, еще не набрав, уже задолжали Зухре. Она все очень точно подсчитала. Не набрала — плохо работала. Не годишься, уходи, на твое место конкурс, как на королеву красоты, а остаешься — двигайся, улыбайся, придвисься бедром, смахнула лишнюю трешенку — хорошо, а вяпаешься по мелочи — «извините, переутомленная я», вяпаешься по-крупному, ну, на ревизоров нарвешься, — тут уж я... Выручу, не бойсь! Но это будет стоить... Да и сама Зухра помнит. Об экспедиторе и поварах. О бухгалтерии и директоре. И директор помнит! О милиции. Контролерах. Санэпидстанции.

Не остановить эту машину.

Кому-то не дать — сбой. Гибель.

Хозяин ресторана — человек большой, а принимает великих, но и у него наморщенный лоб: случись сбой — ему хана, он как все! Это у него как тик-так пульса. Ладно, здесь собрал, теперь дальше. Хозяин ресторана, крупняк, бог для этих, помнит о том ферзе, перед которым он всего-навсего офицерик. «Как ты, — невесело усмехнулся Усманов, — перед Назаровым. И очень может быть, что над Назаровым...» Да, свой ферзь. Система!..

Система!..

Застонал сквозь стиснутые зубы.

Для непосвященных смещение одного начальника, назначение другого теперь воспринимается как «процесс перестройки». Пешки, — да-да, именно так: пешки! — радуются: старый проворовался, новый — честный, наведет порядок, прекратит безобразия, оценит способных и продвинет их. Под такой шумок «новый» красиво выступает, много обещает. Ах, непосвященные!.. Вы же не знаете: на каждое место есть своя очередь. И если кто-то заждался, кого-то убирают. Чтобы этот сел. Другой не сядет!..

Ну вот — сел. И что? Не успел осмотреться, не поговорил тихо-тихо с нужными людьми — тебе уже: дай!..

Что делать, что делать?..

Почему Усманов решил начать с Назарова, старейшего завмага, или, как теперь говорят, директора универмага в старом городе?

Магазин у него хороший. Не из самых крупных, но этакий крепыш. Всегда есть что-то такое, чего в других нет. Оттого и покупатель сюда идет особый. Дамочки из служащих, те, что успевают за обеденный перерыв или отпросившись «на полчасика» обегать полгорода, это ладно. Немножко переплачивают, как знакомый знакомому, после — ах, мало, ах, жмет, какая жалость... А кому-то хоть и жмет — ничего, и цена поджимает — ничего... Это мелочи. Заходили сюда люди уважаемые. С планом всегда ажур. Молодежи много, перспективный коллектив.

Сам Каримов...

Он вернулся с войны с двумя орденами, однако после тяжелого ранения. И вот уже несколько лет минуло с той поры, всем, кто близко знает Гани Каримовича, кто часто видит его, кажется: он еще не оправился от контузии, будто прислушивается к себе. Тихий. Настороженный. Неразговорчивый.

Он должен понять все с полуслова.

Он поймет все как надо.

И сделает что надо.

Уж кто-кто, а он-то лучше других знает все «правила игры», все хитрости и тонкости механизма торговли. Оч-чень сложного механизма.

Ему ничего не надо объяснять.

Его не надо уговаривать.

Понятное дело, сам он мало на что способен: дом у него старый, ни машины, ни дачи, зимой и летом ходит в сером костюме и брезентовых сапогах... Вот что настораживает. Это у многих стариков так! Еще Пушкин... Да что Пушкин! Корейко знаменитый со своими миллионами так жался прилюдно. Ах, я бедный!.. А кто бы глянул, сколько у него в сундуке!.. Ну, в кубышке. Или на сберкнижке. Е-е-есть!.. А нет — допустим, нет. Ничего. Ладно. Зато у него есть авторитет! Слегка нажать — и те нажмут... Молодежь!..

И все-таки как-то не по себе. Боязно что-то.

Но должен же он и то понимать, вскинулся Усманов, что стоит мне, — мне! — пальцем шевельнуть — и эта старая калоша слетит! Одна хорошая ревизия — плохому. По-хорошему — на заслуженный отдых. Кругом хана. Он же не дурак, понимает: кругом хана для тебя, все, конец твоей жизни. А может, еще потелепаться?..

Все понятно. Все так. Все железно. И все-таки тревожно...

Встретил Каримова в дверях кабинета, пожал ему руку и, легко приобняв, провел к столу. Сели.

Усманов улыбался глазами, весь словно лучился доброжелательностью. Когда заговорил, голос звучал гладко, ровно, с такими нотками — не сразу определишь, то ли мурлычет, то ли воркует. Каримов всегда внутренне настораживался, когда с ним так. И теперь был заметно сдержан.

Сначала, как это принято у узбеков, вопросы о здоровье, о доме, о семье, скоро ли Пулат пригласит нас на той, пора ему, пора, и выбор его одобряю... Да знаю я, знаю, все знают!.. Рагно — красива. Из хорошей семьи. Хорошая девушка. Конфетка... А что о Пулате — слов нет!..

Да, слов нет. Серьезный парень. В армии отслужил — и крепко! Теперь хороший работник. Каримов гордился сыном. Одно угнетало его: не в глаза, так за глаза, не в лицо, так в спину уже сколько раз говорили: не дело, когда сын с отцом работают в одном магазине, семейственность получается.

Семейственность? Почему не говорят так, когда дочь, став учительницей, приходит в ту же школу, где учительницей ее мать? Почему никто не осудит отца и сына, работающих на одном заводе? Не семейственность — наследственность, династия — вот так это называют. И хорошо, что Пулат — продавец, он посмотрелся на отца, знает, какая нелегкая жизнь у него впереди. И что в одном магазине — хорошо: под присмотром отца не забалуешь, не окрутят его, не опутают, трудно, ой, как трудно удержаться молодым, когда так просто снять пенку с горячего варенья, а тут еще рожи отовсюду — над головой, за плечами, из подмышки — на тебе ложку, вот ту бери, побольше, и черпай, черпай, ешь, сладко же, ай, как сладко, губы слипаются!..

— Знали бы вы, уважаемый Гани Каримович, как нам нужен ваш опыт,—



ворковал Усманов.— Ведь когда вы пришли в торговлю, время какое было — а? После войны, ничего нет, а людей одеть и обувь надо и чтоб всем — поровну...

Это — так. Трудное было время. Все так: одевали и обували. И всем поровну. Получали брюки — все по школам. Ботинки. Куртки...

— А мы, кто помоложе, к чему пришли? Начался джинсовый бум, помните? Сколько есть мальчишек, молодежи в общем, а вот уже и все мужики, и весь прекрасный или там слабый пол, женщины, в общем,— всем-всем подавай джинсы! «Адидасы» и «Сони»! И что интересно, чему я никогда не перестану удивляться: проходят какие-то пустяки времени — и все в джинсах! И что интересно еще: никто у нас это не производит (в газетах было, пообещали через два года пустить аж два заводика), — а все в наилучших штанах! Ни разу не видел в магазинах — а в городе, на людях, тысячи и тысячи джинсовых брюк! Откуда — а?..

— Вам, должно быть, известны каналы. Это от интуристов. Контрабанда. Все — через базар. Все втридорога...

— Да ладно, ладно! Известно мне и другое. Сейчас мы получаем джинсы централизованно. В обмен. Мы им горючку — они нам тряпки. Мы им их дефицит — они нам наш. И вот мы,— Усманов нажал: мы,— распределяем: одному магазину столько-то, другому столько-то. Но картина остается прежней: магазин получает, а на полках, на прилавках нет. Это как понимать? Пример привести? Пожалуйста!

Усманов потянулся к листкам, разбросанным на столе, нашел нужный, пробежал глазами.

— Вот. Только за один последний месяц вашему магазину выделено двести пар туфель чешского производства, джинсы, варенки, рубашки летние из фезрге, французские духи... Но почему ничего этого не было в открытой продаже?

— А может быть, все-таки что-то было? — нахмурился Каримов.

— Допустим. Что-то. Кое-что. Какая-то малость для отвода глаз.

Каримов затосковал. Все верно. Товар поступает малыми партиями. Продавцу не запретишь что-то взять себе. А он берет еще и для кого-то. А те просят еще для кого-то. Что делать прикажете? Если я «выкину» двести пар чешских туфель — их буквально в драку расхватают за несколько минут, и с ними бегом-бегом на базар. Если я все триста пар брюк-варенок продам с прилавка, будет такая же давка и тот же итог: базар; но не достанется этих штанов кому-то из «уважаемых» — будут обиженные — а это значит, звонки, в чем-то нас прижмут. Ведь уважаемый Таштемир Усманович, вместе со списком распределенных товаров мы получаем от вас и другой список — пофамильный. Это нужные вам, уважаемые люди, а у них есть сынки, дочки, племянники, их родные, их близкие, им полезные (и у всех сынки, дочки, племянники! и у всех аппетит хлеще, чем у крокодила!), всем дай! Всякому штаны от нас как чек — тут взял, там дал, штаны за лекарство, балык, путевку, билет... — а кто-то за билет, путевку, балык, лекарство пробивается к нашим штанам...

«Все знают про эту круговерть. Но кто скажет, что делать, как выйти из положения?» — мысленно кричал Каримов.

— Что ж делать? — сказал Усманов. — Так сложилось. Это как железная цепь и вот наши голые руки. Пускай прогонят нас, меня — завтра придут другие. И будет то же. С той разницей, что новые начнут хватать с первого дня, торопясь побольше успеть, пока их не как нас... Вы знаете, сколько согласны заплатить за ваше место?..

— Какое там «место»...

— За ваше кресло.

— У меня стул, — усмехнулся Каримов.

— Да хоть табуретка! Он на другой день купит даже не кресло — трон!

— Чего вы хотите? — устало сгорбившись, спросил Каримов.

— Я хочу жить. Хорошо жить! Спокойно и не толкаясь, не давясь в автобусах и в очередях за чешскими туфлями. Чтоб не покупать на базаре втридорога, не унижаться перед кем-то, выклянчивая какую-то ерунду... Ерунда — а без нее мне никак! — истерически выкрикнул Усманов.

— Чего вы от меня хотите?

— Я думал, вы догадливый. Раньше поймете. Такие разговоры... сами понимаете...

— Понимаю. Сколько? — Гани Каримович жестко смотрел прямо в глаза Усманову.

Вот — хорошее слово. Конкретное. «Сколько?»

Тот выдержал взгляд.

— Десять.

Каримов откинулся на спинку кресла, задрал подбородок. Можно подумать, прикидывает, как сообразить «десять кусков».

Если бы тогда, в Праге, билось в висках, ты, Гани... Ты помнишь, как по узкой улице пробивались к центру... Сколько там осталось наших!.. Немцев выбивали из

домов гранатами. Ты помнишь, Гани: артиллеристы выкатили пушку на мостовую. Это славно! Мы — в атаку — вперед — броском, но с крыши ударил пулемет, ско-сил, как перечеркнул, весь расчет! Снайпер снял пулеметчика, тот, как большая грязная кукла, скатился с крыши, хряпнулся на мостовую. Все в секунды. Пулемет по крыше, как в пустое ведро. А из проулка выползает самоходка, всех же подавит! Ты помнишь, Гани, как бросился к пушке, тебе и наводить не надо, да и не умеешь, «фердинанд» прет в лоб, выстрелы, похоже, миг-в-миг. Это тебе после станет известно, из заметки в дивизионке: «фердинанд» задымил. А что ты?.. Сам ты не мог того видеть, как взрывом разворотило пушку и куда тебя откинуло, и ведь орденом тебя наградили посмертно... А нет, шиш вам, выжил! Когда лежал в госпитале, мог ли ты думать тогда, что немногие оставшиеся в живых вернутся домой, и ты с ними, и пройдут годы, и те, кто войну знает только по кино, станут «хозяевами жизни». Они — вот они! Они живут властью. Они учат нас, как надо жить. Тебе, гвардейцу, Гани Каримову, говорят: «Дай». Запросто — будто речь о трешке до полу-чки. «Дай», Гани Каримович, десять тысяч рубликов, иначе...» Что «иначе»?.. На пенсию. А на твое место другого. Помоложе, попонятливее, попокладистее. Умею-щего жить. Он — даст. Но зато и сам возьмет!..

— Не думал, что доживу до такого позорного дня, когда у меня, коммуниста, бывшего фронтовика, будут вымогать взятку. И так запросто, — с горечью загово-рил он.

— Зачем такие слова, Гани Каримович? — перебил Усманов со спокойной усмешкой. — Какая «взятка»? Может быть, точнее — «взятки»? Знаете, пыльца такая, ее собирают пчелы с цветов и несут в общий улей. А потом мед. Кому-то... Или, если хотите, дань. Вот: дань! Думаете, для себя прошу? Нет!.. Ладно, работай-те, как работали. Только вот что. Если план вам оставим прежний или к нему ма-лость добавим... а вы его не выполните... Если вам ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц не дадут ни черта кроме кокандских босоножек, ташкентских пиджа-ков, ферганских штанов... Если к вам зачестят ревизоры... Ну и тэ дэ. Есть люди, которые о вас заботятся. Они выше вас. Выше меня. Выше того, кто надо мной. Между прочим, тоже коммунисты. В этих эшелонах безбилетных не бывает. Так что не надо громких слов, уважаемый Гани Каримович. Да и что ж им: «большое спасибо»?.. Вы где в партию-то вступали? «Идя в бой, считаю себя коммунистом». И вот он политрук. И нате вам билет. Просто. А вы знаете, сколько стоит билет у нас?.. Ладно... Не то время, не та ситуация. Очень жаль, что не поняли меня. Для себя лично я прошу только в долг, нет у вас таких денег — ну и не надо, извините. Бедный вы, бедный. Оттого и не поняли меня... А может быть, все-таки...

— Нет! Не будет вам денег! Живите на трудовые! Ишь они!.. Мы — воруй — и делись с ними? Не-ет!..

Накричался.

Вышел от Усманова бледный, осунувшийся.

Едва добрался до дома, Каримов слег. С закрытыми глазами представлял себе все, как было. Что его поразило больше всего — спокойная уверенность Усманова в безнаказанности. Встретил с улыбкой, проводил с улыбкой. В глазах то колючие искорки злости (сорвался!), то этакая ленца сильного человека: не стукнешь на меня, а и настучишь — кто тебе поверит, старая калоша, контуженный, больной человек.

А Усманов, проводив Каримова, какое-то время сидел, потирал виски, потом откинулся, задумался.

Тут задумаешься, когда представишь себе: вдруг завтра Назаров напомнит о себе..

Что же делать? Что делать...

Что-то было в разговоре... Ах, да: в долг. Не надо про «взятки», «дань», надо — в долг. Дашь ты мне, сколько прошу, а после жди, надейся: отдам. Когда-нибудь. А я не отдам! Я научу тебя, как самому хватануть большую деньгу, помогу тебе в том, а после, когда ты втянешься в такие затеи, поймешь, какие это деньги. И дру-гим втолкуешь, с кого свою долю потянешь.

Однако к кому теперь?..

Есть в магазине Каримова один хороший кадр. Глаза с косиной. Когда здорова-ется, кланяется хорошо. Завсекцией одежды. Олымбек.

Он молод и хорош собой. Высок, лицо пышет здоровым румянцем, в глазах веселье, спокойная уверенность мужчины, знающего себе цену (которую назнача-ют женщины). Разве что малость полноват для этих лет (любит компании, застолья, и теперь что ни день в обеденный перерыв едет с приятелями, как он говорит, по-баловаться шашлычком, а вечером — на плов), однако полнота его скрадывается одеждой. На Олымбеке все — фирма, все — самое модное, импортное.

В магазине он на особом счету и на особом положении: единственный, кто закончил торговый техникум. И к кому еще с такой кошачьей нежностью обращаются покупатели (...ницы. Молодые женщины. Млеют!), как к нему. Сам Олымбек к прилавку подходит редко, ведет себя в секции как хозяин, любит принимать гостей, то есть знакомых, нужных, уважаемых и других разных — по звонку, по записке, по шепотку: Анна-Ванна сказала, у вас можно... Анна-Ванна — супруга Максуда Юнусовича... Ясенько... У нас все можно... Тут Олымбек, как купеческий приказчик, вертится волчком, раскланивается и расшаркивается и, вручив покупку в красивой упаковке, непременно проводит до двери...

Продавцы относились к Олымбеку по-разному. Одни завидовали ему, уж больно он шикарный, другие смотрели на него настороженно, видя в преуспевающем завсекцией хорошо замаскированного жулика. Естественно, с некоторыми из молодых продавщиц были у Олымбека интимные отношения, а значит, была и влюбленность, и обманутые надежды, обиды, ревность. Теперь Олымбек обхаживал Раъно, молодую красавицу, она совсем недавно пришла в секцию галантереи и парфюмерии. Что только он с ней ни пробовал: приобнять — отталкивает, потрогать — ему по рукам, зазывал в компании, вместе по туристической, в кафе, в ресторан — на все «нет». Раъно искала взглядом Пулата, Пулат полыхал румянцем и отводил глаза; а отвернись она — Пулат забывал о покупателях, смотрел только на девушку. И еще смотрел на нее, не скрывая чувств, Саид, молодой продавец из секции обуви. Треугольник? Нет! Между Саидом и Пулатом никакого соперничества и тем более вражды, они друзья, и оба понимали: не им делить — ей выбирать. Но сердцу-то не прикажешь... Бедный Саид... В чем еще, не сговариваясь, объединились: настороженно следили за Олымбеком, когда тот крутился возле Раъно. А так ничего, жили мирно. Сосуществовали. Однако было предчувствие — мир — до поры...

С первой же минуты появления в магазине было ясно: Таштемир Усманович зашел не как покупатель. В белоснежном костюме с желтым ремнем, в тон канадские летние туфли, походка неторопливая, взгляд не по прилавкам и полкам — нет, такие люди не покупают, им приносят. То, «чего нет» для всех, — домой или в кабинет, как ему удобнее, как он велит — по телефонному звонку.

Ни для кого нет, а ему надо — ну и будет.

Новый начальник обходил «свои» магазины, знакомился со «своими» людьми.

Его не встретили и вначале никто не сопровождал. Усманов сделал из этого точный вывод: Каримова нет, он скорее всего дома, может быть, даже приболел старичок-фронтвочок, ах, как жалко его. Да, он же каким серым ушел тогда. Лицом слинял.

Но вот к начальнику (шефу? Да!) метнулся Олымбек. Приветливо улыбнулся, склонился с поклоном, зарозовел, приняв для пожатия протянутую руку.

— Олымчик, — ласково проговорил Усманов. — Что ж это хозяйина я не вижу? Не приболел ли часом старичок? Та-ак... Это нехорошо, жалко его: старый он, израненный. По рубчику скинулись, фруктишек купили... Это хорошо. Проведали. А тут ничего. Вижу, и без него дела идут. Ты тут командуешь?.. Ну, проводи меня, как говорится, покажи товар лицом. Да нет, не что на полках. Ты что — тупой?..

Порасспросил, как с товарами, как с планом, порадовался, какой тут молодежный коллектив (сюда бы еще и главного помоложе), и, уводя с собой Олымбека, вышел из магазина.

— Честно скажу, — сказал он тихо, устало, — угнетают меня такие экскурсии. Этот запах пота... эти глаза, когда женщина рвется куда-то за какой-то ерундой... Да дай ты ей!.. Ла-адно. Обед у вас скоро. Так не пойти ли нам посидеть где-нибудь в теньке.

— Можно шашлык, я знаю где, — заспешил Олымбек, предчувствуя важный разговор. — Не шашлык — поэма. Клянусь!

— Шашлык — это хорошо, — милостиво согласился Усманов. — Деньги-то есть?

— Обижаете, Таштемир Усманович! — Зашарил по карманам. Там шуршало.

— Во-от, а у меня нет, — пошутил Усманов.

Такси.

Подошли.

Сели за столик в тени чинары. Чайханчик мигом сменил скатерть, принес салат и лепешки, по знаку Олымбека — чайничек. И пиалки. Со стороны можно подумать, с чая начали. Олымбек для вида сполоснул пиалки, плеснув по чуть-чуть из чайничка. Усманов знал правила игры здесь, усмехался — а Олымбеку ничего.

Начали с коньяка.

Усманов пальцами снимал с шампура скворчащие кусочки обжаренной баранины, концом шампура поддевал кольца лука, ел неспешно, со скучающим или даже брезгливым выражением лица и так же неспешно говорил, обволакивал словами молодого торговца, уже возмнившего себя бизнесменом.

— ...Я ведь не шутя сказал тебе, Олымчик: у меня нет денег. А ты знаешь, как мне нужны деньги? Ты слышал, да, кто я теперь?

Тогда скажи: могу я обойтись без машины? Мне это так же неприлично, как тебе ходить по городу босиком. У меня были деньги, много денег, я мог купить хоть две «Волги» — а мне, нет: «В вашем положении, товарищ Усманов... что люди подумают, что скажут...» Ха! Люди не подумают, они знают! А мне плевать на то, что они подумают! И что скажут! Мне машина нужна. Теперь можно. И есть машина. А денег нет. Откровенно скажу, как родному братишке: дорого заплатил за кресло в кабинете, все что было — ф-фук! Но зато, кто я теперь?..

Олымбек еще не понимал, к чему клонит начальник, но уже предчувствовал большую удачу для себя, быть может, поворот судьбы.

— ...Скажу так для сравнения, чтоб ты понял. Представь себе. Каримова Гани Каримовича, эту развалину, серого, — ну — старье, — я перевожу в лавку с уцененными товарами. А на его место... Кого на его место?.. Кто там у вас?.. другого Каримова. Пулата. А что? В армии отслужил. В институте заочно учится. Хорошо смотрится: одевается прилично, не стыдно показать людям. Толковый, вроде, как думаешь?.. Торговать будет хорошо. Для плана. А как он мне?.. Как ты думаешь, если я у него сейчас в долг попрошу — он даст?

— Сколько вам надо, Таштемир Усманович? — силло проговорил Олымбек.

— Десять. И — сразу.

— Где ж их... столько... и сразу... — Растерялся.

«И хочется, и колется, — усмехнулся Усманов. Опять не на того напал? Плохо начинаешь, Ташпулат! и все потому, что сам, один... Ничего, придет время — соберешь команду, сведешь в систему — шестерки такие, как этот, тебе и имя их знать не обязательно, будут обходить все точки, и отовсюду — все — тебе!..»

— Что заскулил, как бездомный щенок! — презрительно кривя губы, заговорил шеф. — Десять — много?! Станешь директором — с каждого продавца получишь больше! Если поймешь, как деньги делать надо. Чтоб и тебе много, и другим не в убыток. Создашь свою Систему... Войдешь в нашу. С такими людьми будешь знаться!.. И полный коммунизм у тебя! Изобилие! Для твоей жены, для детей, на сегодня и на будущее!..

— Легко сказать, «делать деньги». Я понимаю, ну, стюльник в день, ну, два...

— С таким «размахом», сто-двести на карманные расходы, тебе надо на табуретку перед автоматом «газ-вода». Пятнашки на алтыны менять. Хочешь, я тебе завтра подставлю дело на три куса? Быстро, чисто, никакого риска! Хотел другому отдать, да уж ладно. Только старик чтоб не знал. Слушай. — Усманов опустил голову и приблизился к Олымбеку. — Слушай, мальчик... Сегодня ты тихо-тихо договоришься с кем надо (есть у вас экспедитор и товаровед? Вот.), я тоже... тихо-тихо... И завтра ты получишь большую партию... чего-нибудь. Например, джинсовых штанов. Много. В чем фокус: ты продашь их так быстро — ну вот моргнул — и их нет. Никто не заметил! А накладные — вот они.

— По бестоварным? — догадался Олымбек.

— Именно. Тебе бумажки, а товар с базы... куда-то. Куда — нам неважно. Эти штаны на базар, кто-то (кто — нам пока неважно) на этом сделает деньги, а тебе за все — сразу. И ты сделал деньги. Просто? Во-от. А что дальше? Дальше будет партия дамских сапожек, пальто, плащи, костюмы, будет большая игра... как у тебя с нервешками — ничего?.. играешь?..

— Если товар не дойдет до магазина и его перехватят...

— Тогда ты влип. Будем тебя выручать.

— Но если брать у меня. Ну — хоть в одно касание!..

— А ты ничего... Башка...

— Я сделаю вам десять, — хрипло проговорил Олымбек. — И систему свою сделаю, вот увидите! — хвастливо заявил он.

— Ну-ну.

Нет, не сделает он «систему».

Олымбек считал себя богатым человеком. Что ж, купить не морщась за двойную и тройную цену самый немислимый модный импортный костюм, заплатить по счету за сумасшедший кутеж большой компании, щедро расплатиться за ночь, проведенную с «интердевочкой», — сорить деньгами — это он мог. А вот когда дома повывдвигал ящики, из одного что-то вынул, из другого вытянул, из карманов вытряс и сложил в стопку, поплевал на пальцы, пошуршал — застонал от досады: мало. Считай, нет у тебя денег, Олымбек!

Не продавать же ношеное. К чему привык. Без чего тебе никак нельзя. Без чего ты никто — как все!

Денег нет.

И друзей — как оказалось — тоже нет! К кому ни обращался — один скулеж. Сбеситься можно.

Только один, с кем поигрывал в «пру», тихо-тихо посоветовал:

— Сведу тебя с одним человечком, поручусь за тебя, ну и залог оставишь, какой, он скажет, даст он тебе на срок пять (больше в первый раз не даст, потом хоть «льен», а для начала — нет), отдашь восемь. Заметано?

— Куда денешься... Спасибо.

Сложил со своими, недостающее взял в кассе магазина.

Когда при встрече с Усмановым незаметно обменялись «кейсами», Олымбек удостоился похлопывания по плечу. Порозовел. И еще было ему сказано:

— Не грусти. Жди со дня на день. Начинай игру. Мне очень деньги нужны, понял?..

Что это с ним? — недоумевали сослуживцы, глядя на Олымбека. Менялся на глазах. Осунулся. Лоб наморщенный. То летает, то ползает вялой тенью. Днем — пьяный. Вечером, уже все закрыто, все расходится, он остался. Дергается, словно боится: вон кто-то спрятался за углом, поймают, избьют. И вдруг — веселый, важный, похожий на нового (какого еще не видели) начальника.

В час перерыва Саид проходил мимо склада, услышал за дверью какую-то возню. Толкнулся в дверь — закрыта изнутри на крючок. Пошатал, сунул в щель сложенную вдвое бумажку — дверь открылась.

Не сразу распознал в полумраке, кто те двое.

Олымбек ловил Раъно в углу, где свалены тюки ткани. Девушка тяжело дышала, увертывалась, ускользала, — нет, все-таки прижал, стал тискать, комкать на ней платье. И все-таки Раъно удалось высвободиться. Собравшись с силами, в отчаянии, девушка отшвырнула негодяя, Олымбек отлетел в сторону, обо что-то споткнулся и тяжело грохнулся на ящики с парфюмерией. Верхний накренился и сполз, потом обрушился вниз, едва не задев Олымбека. Зазвенело стекло. Олымбек скосил глаза и со страхом подумал: чуть в сторону — и по башке! и меня нет!..

Не успел он подняться — налетел Саид, вцепился ему в рубашку, что-то злое кричал в лицо, смотрел бешено. Ну, ты не ящик, пьяно ухмыльнулся Олымбек и, сдавив, точно клещами, тонкие мальчишечьи запястья, оторвал от себя, отшвырнул Саида, тот пролетел до угла, ткнулся в ткани.

А в дверях Раъно удерживала кого-то, — кого — не видно, свет в спину, — уговаривала:

— Не надо! Я тебя прошу, я тебя умоляю: не надо! Ты же какой... Ты же убьешь его!..

«Пулат! — догадался Олымбек. — Этот — убьет. Десантник...»

За тюками, за ящиками, где бочком, где на четвереньках приблизился к двери и, заорав как ненормальный, шибанулся вперед.

Спасся...

Раъно и Пулат помогли Саиду выбраться на свет. У того был разбит нос, кровью перемарано лицо и ладони. Раъно платком оттирала кровь, успокаивала паренька: «Это ничего, это пройдет...» Пулат, еще раскаленный, стоял в позе борца, готового к рукопашной, с резким поворотом головы смотрел на дверь.

— Ничего, — согласился Саид. — Это хорошо даже. Зато я нашел. Скажу — не поверите. Там, — он ткнул пальцем в тот угол, куда забил его Олымбек, как шар в лузу, — там... Такая заначка — обалдеть да и только! И когда успели? Это ж надо! Столько тюков — и все импорт, дефицит страшный. Я пощупал — вроде как джинсы. Костюмы. Шик модерн.

— Что делать будем, мальчики? — спросила Раъно. — Дело тут нечистое. Надо что-то делать.

— Таштемир Усманович, это я. — Олымбек почти шептал в трубку, хотя стоял в закрытой кабине, и перед кабинами — никого. — Тут такое дело: боюсь, как бы не накнокали ваш товар. Люди на складе. Пулат Каримов и еще. Вывозить надо. Быстро. Или я сам продам, а? Тихо-тихо, с наценочкой, разумеется... Свои верну и то ладно... Да я же за каждую штучку своих двадцать!.. Это не деньги? Мне на те двенадцать сорок? Да! Тихо-тихо. А?..

— На переучет закрыться можешь?

— Не надо переучета! Я же взял! И народу много. Что продавцам скажу?

— Не можешь. Ничего ты не можешь... До восьми работаете?

— До восьми.

— В четверть девятого будет машина. Надо все вывезти. Иначе... Сам понимаешь...

— Понимаю.

— У, паразит, какой понятливый. Ты помнишь о том, на сколько там?..

— На всё.

— Нет, миленький. На малую малость. Но если это сорвется...

— Умру, но не...

Как обычно, минут за пятнадцать прекратили торговлю. Ах, эти пятнадцать минут! Когда говорят: закрываем, женщины покупают (нет, не покупают — хватают, выхватывают — все. Что им не нужно. Платят без сдачи. Самый прибыточный час!), да, женщины покупают все. Что можно ухватить.

Закрыли магазин, Разошлись, разбежались.

Олымбек последжался, сам проверил сигнализацию.

Уходил последним. Если кто-то отстал, могли посчитать: он уходит сво всеми...

Вернулся минут через пять по теневой стороне и — кошмар! — на углу — Саид и Раъно. Сразу понял: засекали. Хана.

— Таштемир Усманович! Таштемир Усманович!.. — Нет, глухо.  
Что делать?

— Что будем делать, отец? — спросил Пулат. — За шмотками приедут. Увезут. Утром никому ничего не докажешь. Может быть, сообщить в милицию? Пусть засада...

— Дурачок... Ты веришь милиции? Уверен, что милиция будет поднята по тревоге... Глупый!.. Нет, мальчик. Те, кто занимается аферами, кто спекулирует по крупному, имеет крепкую подстраховку. Да — и там! Сообщи в милицию (они только того и ждут) — тебе скажут спасибо, большое спасибо, куп рахмат, минг рахмат — и тут же начнут волыннить: нужна санкция, то да сё...

Горестно покачал головой.

— Две грязных руки сошлись на горле честных людей: несуну и спекулянты. Строители растаскивают дома и целые кварталы, ничего не построив. Заводские — по винтику, по кирпичику... — Несут сигареты и чай, конфеты и спирт, воспитательницы и повара прут из детского садика гречку (а детишек кормят горохом), несут — да еще и посмеиваются: ужас какое богатое государство наше, всем миром растаскиваем — а ему хоть бы что!

— Но, отец, мы же с тобой на тащим?

— Вот давай и покричим на них. Мы. И что услышим? Как не утащить, когда этого нет в магазине. Не-ет. А на базаре есть! За две или три цены. И на одну зарплату нынче не проживешь... Нет, и ты не проживешь. Ну никак это невозможно.

— Будь прокляты эти деньги!

— А как без них!.. Хватит время тратить на болтовню. Там — серьезно.

Гани Каримович покрутил диск.

— Ахмад Гафурович? Ты уже дома, вот как хорошо. Здравствуй, давно не виделись. Что скажу — смеяться будешь, с ума я сошел, скажешь, ничего. Завмаг просит ревизию. Анекдот, да? Ничего... Раньше предупреждаю: сердитую бумагу напишешь. Ничего-о. Очень прошу: собери группу. Завтра к открытию. Да, поспеши. Буду ждать тебя. До встречи.

Положил трубку.

— Вот так, сын. Тебе не спать. Ничего, днем выспишься. Иди, погуляй...

Не за растрату, не за хищения денег из кассы — за недостачу будет наказан Олымбек. Внесет в кассу, сколько брал, — и все дела. Долги — точно камни за пазухой, — тяжело, душно. И злость душит. А ничего! Пока за прилавком, пока дефицит, нет безнадеги. Все уладится, надо только шустрей торговать...

Ту партию джинсовых костюмов растолкали по госцене по предприятиям, кому сколько, список из райисполкома. Больше пока никаких игр, предостерег Усманов. Терпи, Олымбек, будь паинькой, хорошим мальчиком будь...

Прошло две недели. И вот сидит перед Усмановым Султанов Джура, он только вчера из Бухары прилетел, и говорит ему Усманов такие слова:

— ...Есть для тебя магазин, Джурабай, хороший магазин, его Каримов Гани Каримович, ты слышал про него, холил. Люди ничего. Молодые все, им много чего надо. С товаром — как дело поставишь. Красиво можешь зажить. Про правила игры тебе говорить не надо, а? Про все такое тебя предупреждали, да?

Жестким взглядом он подержал Султанова словно на прицеле, слегка выдвинул ящик стола и, поднявшись, отошел к окну. Смотрел на город. Ах, как красиво там после дождя! Зеленые деревья... А небо уже...

Ящик щелкнул.



А. Булис

## ПОЭТИКА «МАСТЕРА»

КНИГА О КНИГЕ

### ПОИСКИ ЖАНРА

Теория литературы демонстрирует здесь свои постулаты с редкостной наглядностью. Экспозиция: двое разговаривают. Завязка: к ним подходит третий. Пробуждается интрига: спор о фатуме, предопределении и т. п. демонстрирует странную осведомленность третьего. Кульминация: незнакомец предъясняет литераторам свои аргументы. По существу это — шестое доказательство существования бога, взамен Кантова. А развязка наступает в главе третьей — «Седьмое доказательство»... Мы только что наблюдали ее трагические картины... Столь завершенное произведение может выступать зачином другого, более сложного, лишь в одном случае: если его завершенность мнимая, обманчивая (или, как в нашем случае, обманная). И незнакомец сатанинского облика на Патриарших прудах, и его причастность к мировой истории, к биографии Христа и судьбам человечества, и отрезанная голова Берлиоза — все это никоим образом не годится в разгадки, поскольку является их полярной противоположностью, то есть загадкой.

Кабы рассказчику были дозволены личные эмоции, у него из груди после третьей главы вырвался бы вздох облегчения. Настолько сложные и многоаспектные задачи решал он в завязке. Едва все эти трудности оказались позади, рассказчик расслабился, оставив Ивана без присмотра. И начал Иван творить детектив, авантурный роман — с погоней, криками, чуть ли не с загнанными лошадьми: будучи под рукой, проклятые злоумышленники в руки не давались.

Перед нами несомненная пародия, идентифицируя которую, вспоминаешь наивный вестерн. Но суть эпизода серьезней. Передразнивая крики уличных паникеров, Коровьев дословно вос-

производит кликушескую фразеологию тогдашних газет, так они и клеймили инакомыслящих: «враг народа», «вредитель», «иностранный шпион». А авантурно-детективная литература той поры (буде допустить, что она существовала) не отставала от прессы, лихо беллетризуя мифы сталинщины. Вот почему столь эффектно смотрится в конце эпизода «черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усиками» кот. Портрет в духе времени — и жанра... Повторяю: тайна булгаковского зачина сопоставима с классическими детективными тайнами. Наличествоует неизвестный. Появляется труп. Мелькают невинные намеки. На заднем плане маячат подозрительные фигуры, не гнушающиеся, впрочем, и передним планом. Типичная прелюдия к детективу. А велик ли процент читателей, зачисляющих «Мастера» в детективы по «показаниям» начала? Ничтожен! Заполучив протокольную запись коллоквиума на Патриарших, сыщик заскучал бы: ему подавай улики, недокуренные сигареты, помаду на стаканах, а тут сплошные воспарения духа... И все равно «Мастер» держит нас с первых же страниц в предчувствии чудес за поворотом. Столь славные минуты может подарить читателю разве что роман тайн, детектив. С единственным отступлением от правил: детективщик уже в начале знает конец, мысленно разыгрывает партию в обратном порядке, чтобы на бумаге подать ее в прямом. А творец «Мастера» — импровизатор. Он плывет по воле волн, сам от себя ждет сюрпризов, каковые, кстати, и получает. Неожиданности для нас — они неожиданности и для него. Что ж, прекрасна способность (и решимость!) писателя воспринимать собственный замысел как первичную информацию, как нечто именно им, именно здесь, именно сейчас впервые наблюдаемое. Детская непосредственность — жреческий ритуал, разводящий искусство с инженерией. Добавлю, что детскость не исключает расчета — и очень часто (как, вероятно, и в «Мастере») является его результатом.

Окончание. Начало в № 10.

Самый сильный компонент детской реакции на мир — удивление. Инструмент, провоцирующий удивление, — сенсация. Когда сенсация негативна и берет читателя количеством — перед нами роман ужасов. Когда сенсация позитивна и берет читателя качеством (к примеру, изысканным театральным реализмом) — перед нами «Три мушкетера», «Золотой жук» или «Остров сокровищ». Когда сенсация экстраординарна, сверхъестественна — перед нами сюрреализм. Сюрреализм — те же «Три мушкетера», только упор здесь не на брильянтовые подвески, а на машинерию человеческих судеб, не на саму авантюру, а на ее философию и механику. Сей сюрреалистический скачок от мирного (хотя и такого воинственного) Дюма к воинственному (хотя и стопроцентно мирному) Дали — алогизм, основанный на логике булгаковского романа... Не уверен, что Булгаков был знаком хотя бы с именем Дали, не говоря уже о творчестве. Скорее уверен в обратном. Но есть нечто, объединяющее двух этих мастеров: прежде всего, прием «натуральной сенсации».

Сенсация — двойственная, субъективно-объективная субстанция. С одной стороны, она происходит «в действительности», ее можно, фигурально выражаясь, сфотографировать, записать на видеопленку. Будучи явлением, сенсация претендует на крупные масштабы, будучи действием — на энергичные глаголы. С другой стороны, сенсация принадлежит области восприятия, она — разновидность стресса. Можно было бы сказать: «Это информационный стресс!» чем и ограничиться, кабы не ее крен в дезинформацию. Но возможно ли искусство без вымысла, каковой и есть дезинформация?

Так устанавливается в романе суверенное существование двух противоположных онтологических концепций. Согласно одной, все есть как есть, и нет ничего сверх того; согласно другой, то, что есть, есть лишь постольку и в той мере, как это предопределено сверх того. Согласно одной, видимое и является реальным. Согласно другой, реально как раз невидимое, «закулисное». В борьбе этих альтернатив и течет действие «Мастера», порождая зловещую иронию невыясненного и, главное, неразрешимого конфликта — в конечном счете, между богом (или дьяволом) и человеком.

Комические (иронические) мотивы легко объявить лейтмотивами «Мастера», они ведь образуют здесь непрерывную линию. Однако у Булгакова комическое существует в синтезе с житейским, драматическим, готическим, всяческим — как одна из сторон бесконечного разнообразия, имя коему — жизнь.

В смеховой атмосфере производится нравственная подтасовка, обращающая нас в сторонников того, что издревле записан нам в противники. А нашими противниками объявляются вдруг люди небезгрешные, но в общем недурные. Инкриминируется им разве что инакомыслие. Самое удивительное: мы как бы соглашаемся с Воландом, что всякий, кто перечит его теории, — отпетый негодяй, заслуживающий смерти, и притом без всякого отпевания, что единственная допустимая трактовка истории — его трактовка, что будущее безальтернативно, поскольку детерминировано его волей, и что вообще нет повествователя, кроме повествователя, а он, Воланд, — пророк его.

В конечном счете мы приходим к выводу: большая сенсация романа состоит из двух половинок, двух разноцветных сенсаций, двух удивлений (одно — Воланда, другое — Бездомного

да Берлиоза). Для литературы о противоестественном такая постановка — вопроса и спектакля — вполне естественна, о чем свидетельствуют дуэты Фауста и Мефистофеля, Каина и Люцифера, любых других партнеров по дуэли человеческого со сверхчеловеческим.

## ИНФЕРНАЛЬНОЕ В БАНАЛЬНОМ

«Мастер» настоятельно заявляет о своей принадлежности к мировой традиции. И — одновременно — о своей нетрадиционности. Нужны беспредельные познания, чтобы раскрыть литературные связи романа, который — умышленно и неумышленно — порождает множество ассоциаций. В значительной мере эта работа уже проделана.

В любом случае — при индуктивном ли подходе к «Мастеру» (с набором фактов) или при дедуктивном («от» абстрактных моделей) — начинать приходится с «Фауста». Эпиграф к «Мастеру» — достаточное к тому основание, не говоря уже о совпадающей ситуации диалога между человеком и сатаной, а также о повторенном у Булгакова имени главной героини.

В спектре булгаковского отношения к фаустовской теме есть и пиетет, поклоны и полупоклоны, расточаемые перед августейшими персонами скромным дворянином. Но есть и усталость от сознания: сколько раз уже разыгрывалась эта мизансцена на подмостках мировой литературы; прикидываться, будто не знаешь этого, — смешотворно; повторять старые фабулы с незатейливыми вариациями — скучно. Что же делать?! А делать то, что само собой делается...

С самого начала видно: «Фауст» — трагедия (если принять за аксиому гетевское определение). «Фауст» — эпическая поэма (если исходить из инерционных представлений о жанре «Одиссеи»). «Фауст» — роман в стихах (если идти от просветительской — и готической прозы; ведь байроновский «Дон Жуан» или пушкинский «Евгений Онегин» тоже ведут отсчет своей специфики от прозаического романа, характерного для «их» эпохи).

Вообще проблема жанрового самоопределения для inferнальной литературы наиважнейшая (сатана привередлив при выборе сцены). Данте ошеломляет нас уже на титульном листе своей лебединой песни (тоже, между прочим, жанр!) парадоксальной комбинацией понятий: «Божественная комедия». А Байрон в «Каине» придает жанру значение обязательства перед героями, которое подкреплено конкретной программой: «В старину драмы на подобные сюжеты носили название «мистерии»...»

Помнил ли Булгаков «Каина», когда работал над «Мастером и Маргаритой», или не помнил? В любом случае у него перед глазами маячил все тот же сценарий средневекового диспута о боге, дьяволе и человеке — праформа, которая, как генетический код, заложена в структуру inferнальных жанров и которой следуют не для проформы. А по эстетической необходимости...

Булгаковский текст для меня — процесс. С ускорениями, замедлениями, непрокрученными глыбами породы, дымящимися ручейками пламени, откуда, подмигивая, выглядывают маленькие бойкие саламандры... И Байрон выглядывает, и Гете. Ничуть некетничая своей неповторимостью. Они, как и другие предшественники «Мастера», заявляют о себе опосредованно,



через жанр, через булгаковский специфический принцип: инфернальное — в банальном!

## ГЕРОЙ-СКИТАЛЕЦ

На ассоциации с готическим романом наталкивают многие черты «Мастера». Что есть готический роман? Какова его природа — и его «имидж»? Даже самые беглые характеристики жанра инкриминируют ему комплекс ужасов и тайн, интерес к сверхъестественному, смакование мрачных (и необъяснимых) криминальных мотивов, запутанные фабулы, а также героев, отмеченных печатью рока. Приложима эта аттестация к булгаковскому произведению? Помоему, да!

Стоит мысленно продлить булгаковскую квартиру № 50 в пространстве, и нас, конечно же, примет под свои готические своды и огромный зал, и укромная комната, набитая антиквариатом, — пристанище хозяина: вот он при свечах в обществе подобострастной челяди. Замок как замок.

Знакомясь с готической прозой, ощущаешь подчас разочарование: искомого ужаса, стресса, а стало быть, и катариса здесь куда меньше, чем было обещано восхвалителем жанра Скоттом. Или вкус наш стал изощренней, и теперь элементарные страхи на него не действуют? Дело, пожалуй, в другом. Современную аудиторию развратил реализм. Ей подавай документальную правду, суровый, аргументированный факт, чтоб было все достоверно, как на телевизионном экране, синхронизирующем зрелище с реальными событиями: где-то там негодий Руби убивает Освальда — убийцу президента Кеннеди, а потретьяк искусства в этот самый момент дегустирует информацию «а-натурель».

Разумеется, я утрирую. Не до такой степени приучено современное общество к реализму. Но и сказку мы сегодня принимаем как условность, как притчу, метафору, параболу. Не более того. А фантазии готического романа по меркам двадцатого века всего только сказка. Нечто вроде Кэнтервиллского привидения в одноименном рассказе Оскара Уайльда: несчастный призрак таскает ищет сочувствия у трезво мыслящих американских мальчишек. Для них он — фикция, с которой можно бороться при помощи рогатки и химических препаратов.

Между готическим романом хрестоматийного типа и «Мастером» есть промежуточное звено — литература, приумножившая гипнотическое (или магнетическое, или, лучше, магическое) звучание инфернальных сюжетов за счет точного рисунка, меткой детали, художественного жизнеподобия, которые романтизм вынашивал в подарок назревавшему реализму.

Прежде всего в этом контексте должен быть упомянут Гофман. Колорит, настроение, внутренний подтекст романа — и нервные, болевые точки читательского восприятия, на кои нацелен авторский замысел, — вся эта закулисная механика работает по тем же заоблачным программам и земным либретто, что и «Эликсиры сатаны». И в этом плане симптоматичным кажутся слова Медарда в «Эликсирах сатаны»: «Я тот, кем я кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто я на деле, и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся «я»!»

Меня не оставляет чувство, будто русский писатель до боли в глазах вглядывается в алхимические шифры Метьюрин, вычитывая из них

рецепт драматически-напряженной неопределенности, которую подтекстованы решающие сцены «Мастера». Метьюрин в «Мельмоте Скиitale» испытал феномен отсутствующего сатаны, закулисного дьявола, который действует через невидимых агентов, таинственными способами дергая за ниточки — то ли существующие, то ли пригрезившиеся нам в сновидении.

Среди произнесенных речей Воланда могли бы обнаружиться и некоторые монологи из «Мельмота» — а, впрочем, есть ли у нас гарантия, что Метьюрин воспроизводит другого деятеля инфернального ведомства? И что, говоря об Инквизиции, не прогнозирует булгаковское «следствие»?

«Мельмотическая» эманация давно вошла в плоть и кровь великой мировой литературы — той, которую Булгаков не мог не знать. Одно только имя — Бальзак — должно пояснить мою мысль. Выделяя в составе «Человеческой комедии» раздел «Философских этюдов», Бальзак словно бы учреждал готический храм во славу Метьюрин — прибежище, где рационализм венчается с суверием. Искусение вечностью — обозначил бы я термину «Философских этюдов». Но именно такова в конечном счете безальтернативная перспектива булгаковских героев.

Одна из подразумеваемых повестей — «Прощенный Мельмот», — получает в «Мастере» внятный отзвук, почти членораздельный. Там есть демонический иностранец, новость откуда появляющийся на пути у главного героя, и главный герой, коему не прозреть без нечистой силы. Кульминационные события в «Прощенном Мельмоте» вынесены на сцену театра Жимназ — не эскиз ли будущих разоблачений в театре Варьете? Париж представлен бульварами, которые озвучены так: «Продавцы «кокосового напитка» кричали: «А вот освежающий! А вот прохладительный!» Но аналогичное «абрикосовая, только теплая» является у Булгакова главным «торговым» штрихом в зарисовке Патриарших. Предсказание ближайшего будущего — основная сюжетная функция Мельмота, он решает эту задачу при посредстве подручного материала, показывая театральную версию того, что случится через несколько часов — при его, героя, участии. Нечто похожее происходит в театре Варьете с Семплеяровым.

Воланд пользуется той же прогностической техникой, что и Мельмот. Картины происшествия, которое его погубит, проносятся в мозгу Берлиоза. Такие же намекающие видения посещают Пилата — вселенского, на всю мировую историю, замаха.

Бальзаковский Мельмот преподает Воланду свою речевую манеру: «...Ты собрался посмотреть спектакль, он от тебя не уйдет, ты увидишь два спектакля», — говорит он своей жертве, главному герою. Но ведь эта языковая конструкция: повторение слова с подменной смысловой подоплеки — используется и Булгаковым («Я — историк... Будет интересная история!»).

Наконец, финальные страницы «Прощенного Мельмота» посвящены «немецкому демонологу, явившемуся исследовать... событие». Раз от разу акцентируется (как позже у Булгакова) это «ученая», «книжная», «фаустовская» национальность — немец. И разглагольствует новоявленный демонолог с эрудицией Воланда: «Да, милостивый государь, подобное мнение находится в полном согласии с подлинными словами Якова Беме, содержащимися в сорок восьмой пропозиции «Тройственной жизни человека». Воланд называет себя не демонологом, а специалистом

по черной магии. Но подготовительные записи к «Мастеру» упоминают и слово «демонология».

И, наконец, «Человеческая комедия!» Не «Божественная комедия», о которой куда охотнее вспоминают булгаковеды, не Данте, а Бальзак. Универсализм бальзаковского замысла подразумевает системный подход к миру; сверхъестественное при такой постановке вопроса получает место рядом с человеческим (в «Человеческой комедии!»). Двуединство мира обрисовывается во взаимодействии возвышенного и земного, каббалистического и повседневного. Концепция, подхваченная «Мастером».

Не без сатанинского лукавства Бальзак заимствует из «Тристрама Шенди» в эпиграфы «Шагреневой кожи» змеистую линию, которая на фоне букв выглядит как каббалистический знак. А дальше намеченный контраст развивается: в быт вторгается магия, в французскую действительность — санскрит.

Есть у стерновской синусоиды еще одна — чисто изобразительная — ипостась. Не вдаваясь в иероглифику, всякий прозак — вольтеровский или рядовой — без раздумий заявил бы, что на страницах «Тристрама Шенди» нарисована змея. А змея — или змеей — это ведь фигура библейская, многозначительная. Стерновская синусоида воспринимается — полагаю, сей эффект и учитывал Бальзак — как автограф (или автопортрет) сатаны на его персональном перстне.

Повторяемость фигуры, олицетворяющей нечистую силу, — свидетельство тенденции: так утверждается жанр реалистической чертовщины. Если понимать под чертовщиной готический роман, модифицируемый усилиями романтизма (Гофман!) и неоромантизма (Эдгар По!), то к реалистическим коррективам надо будет отнести портреты гоголевской кисти, психологические экскурсы Достоевского, парадоксы Уайльда. У Булгакова реалистичность чертовщины достигается за счет иронии, а та — за счет пародийных мотивов.

## НЕПЛУТУЮЩИЕ ПЛУТЫ

Исходные планы «Мастера» сперва предполагали такую фабулу: странствует новоявленный Одиссей под личиной черта по белу света да набирается наблюдений — и они слагают выставку комедийных фигур. В остаточном виде эта композиционная идея присуща и «нашему» варианту романа. Жулики-хамы-начальники — ее наследие.

«Мастер» исходного замысла обладает, как видим, признаками плутовского романа, которые придавали «готическому» элементу условный, бутафорский оттенок. Низкий «штиль» плутовского романа позже вступит в противоречие с высоким «штилем» христианской притчи — да и притчи вообще. Поскольку «штиль» — это человек, «высокая словесность» преобразит мелкого беса, плута в импозантного сатану, который, впрочем, не станет гнущаться своим старым амплуа. Роль плута шутовского профиля куда как мила Коровьеву, в том же ключе выступает и кот, подражающий гофмановскому Мурру.

О причастности Ивана Бездомного к плутовскому роману свидетельствует его псевдоним. Сей жанр отразил в свое время развитие бродяжничества, «бездомности», возведенной в степень социального явления. В своем герое Булгаков усматривает бездомность иного рода — духовную.

Свою эстафету наблюдателя Иван передает другому — эта «танственная фигура, прячущаяся от лунного света» носит вместо имени профессиональную кличку «мастер». Сделаем акцент на образовательной графе его анкеты: «историк». «Мастер» — это степень, качество, нечто вроде диплома, выданного вселенской аттестационной комиссией. «Историк» — это специализация, отсылка к факультету. «Мастер» — это ответ на вопрос «как»: хорошо ли выполняет свое дело человек? В данном случае ответ гласит: блестяще, виртуозно. «Историк» — это эхо другого разговора: «Чем занимаетесь?»

Оснований называться «историком» у мастера не больше, чем у пифии Гомера или евангелиста. Но, пожалуй, не меньше, ибо сюжеты основываются не только на чувстве, но и на факте, не только на подсознании, но и на знании.

У самозванческой аттестации «историк» имеет второй аспект. Как мы помним, историком представился Берлиозу и Бездомному еще и Воланд. И тотчас же принялся играть словами. Точно так же поступает и мастер: «Извольте-с. История моя, действительно, не совсем обыкновенная...» И строчкой ниже: «...Историк по образованию, он...» Вот здесь и возникает параллель между функциями мастера и Воланда как историков. Оба они, а не один лишь Воланд, «работают» обозревателями, и эпитет «политическими» я опускаю разве что во имя историзма: в тридцатые годы телевидение еще не успело распропагандировать столь популярную ныне журналистскую, а шире говоря — «историческую» (с ударением на «о», от слова «историк») профессию. Если же по сути, то обозревательский взор каждого ориентирован (во многом) на политику с ее актуальными моментами, вплоть до такой злобы дня, как расправа с инакомыслящими или борьба за власть. И оба подходят к этой проблематике «по-журналистски», «по-наблюдательски». А в историко-литературных категориях — «по-плутовски».

## О КОМПОЗИЦИИ И НЕ ТОЛЬКО

Роман Булгакова состоит из двух частей, и если бы кто-нибудь потребовал озаглавить каждую, исходя из словесной «наличности», не было бы задачи, разрешаемой с большей легкостью. Первая часть — «Мастер», вторая — «Маргарита».

Даже не будучи в тех или иных случаях прямой проекцией его образа (мыслей, поступков, грез), первая часть романа все равно исчисляет по мастеру свои маршруты, словно бы выворачивая наизнанку творческую личность в инсценированных ее проявлениях.

Вторая часть булгаковского романа вводит в действие Маргариту, та сразу же берет сюжетную инициативу в свои руки. И произведение обновляется. Первая часть сотрясалась от сутолоки, переполненная второстепенными персонажами, она гудела от голосов, от праздной толпы Ершалаима и «Грибоедова». Менялись ведущие — и менялась система читательских ожиданий. Воланд тащил нас в одну сторону, Иван — в другую, мастер — еще куда-то. В общем, мозаика или калейдоскоп — любое сравнение здесь подойдет, и любое отразит нарочитую пестроту этой событийной структуры, которая в свою очередь воспроизведет живой, хаотичный, «броуновский» характер человеческой психики (напомним, перед нами развертывается

иносказательный вернисаж из внутренней жизни мастера).

Появилась Маргарита, прекрасная женщина во плоти. Одухотворила беглый силуэт, полуконтур-полунамеком, мелькнувший в разговоре мастера с Иваном, когда тот нашел-таки себе пристанище (конечно же, не дом). Появилась, отрицая саму идею дома. С приходом Маргариты роман, до толе напоминавший корабль в пучине шторма, подставил паруса набевашшему ветру и понесся вперед, к цели — благо она открылась — словно звезда в разрыве туч.

Если первой части была присуща авантюрная неопределенность, сопряженная с эффектами тайны, то вторая сделала ставку на определенность (тоже, впрочем, авантюрную). Постановка вопроса, известная со времен Дафниса и Хлои. Пока — поиск. Пока — приключения. Пока — фантазмагория.

Чем дальше, тем больше выявляется своеобразная этическая симметрия двух частей романа, взаимное созвучие причин и следствий, оформленных по разным ведомствам.

Берлиоз, самоуверенный до глупости, ошибается в трактовках мировой истории. Не соблюдает правила уличного движения... На сих полупародийных инвективах позволю себе оборвать свою прокурорскую вылазку, чтобы переспросить читателей: как вы полагаете? Справедлива ли идеологическая казнь Берлиоза, супротив которой его физическая гибель на Патриарших — бытовая мелочь? Эквивалентны ли проступки уничтожающей — в буквальном смысле слова — критике, которая обрушивается на его брентную голову? «Все сбылось, не правда ли?.. Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факты — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается... Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие...»

Позиция, что и говорить, сатрапская, причем жизненный ее источник, хотя и не названный, как бы доподлинно назван. Вряд ли кто-либо, знающий фразеологию тридцатых-сороковых годов, откажется опознать эту крылатую фразу — обязательный компонент лозунговой системы того времени, белой краской по алому кумачу. «Факты — упрямая вещь». Авторитет формулы скрепляла подпись: «И. Сталин». Полное отождествление булгаковского персонажа с этой фигурой предельно ограничило бы нравственную программу «Мастера». Конечно же, Булгаков поднимается над прототипическими деталями: он следует той же безошибочной логике, какую исповедуют короли шекспировских драм, сдирающих с себя «шкуру» реальных монархов. Литература сама только на этом пути достижения: через саморазвитие, отбрасывающее, как ненужную лесенку, всю конкретику подсказок «натурь».

В какой же мере Воланд — Сталин? И в какой он — самостоятельный герой?

Автор берет у реальной личности черту характера, поступок или даже контуры образа как бы ради этой реальной личности: чтоб запечатлеть ее вдохновенной словесной кистью. Ан на самом деле не столь уж любопытны ему жизненные достоинства (равно как и недостатки)

прототипа. Прототип привлечен на сценическую площадку ради роли чисто посреднической. Он помогает автору распахнуть душу свою, выместить на виновниках неких бытовых, психологических, деловых неурядиц — самых что ни на есть личных — свои обиды.

Воланд — обвиняющий и казнящий — меньше всего продукция придворного фотографа, обязанного сохранять для потомства черты Его Величества. Не персонально Сталин, а неотвратимая угроза, жестокий (но мотивированный!) гнев небес — вот что такое Воланд — карающая десница, как выражаются летописцы, остается, правда, невыясненным — чья. Не того ли, кто покровительствует мастеру — и полемизирует с Пилатом?

В подтексте булгаковской лирики — реальные ситуации, сводимые к отчетливой простоте медицинского диагноза: Булгакова травил критики, присяжные ораторы, и он болезненно реагировал на эти гонения. Не имея возможности должным образом противостоять хулителям на публичных (и печатных) форумах, писатель искал сатисфакции через посредство искусства, взяв себе в секунданты муз (в том числе и покровительницу истории Клио). Таким образом, сценическая площадка «Мастера» стала дуэльным ристалищем.

Многоактная драматургия первой части оперирует преимущественно обвинительным материалом: такой-то и такой-то совершил при таких-то свидетелях то-то и то-то. Во второй же части такого-то и такого-то кличут на суд. Оглядывая «проделанную работу», Воланд роняет в финале романа: «Ну что ж... все счета оплачены...» И немного погодя: «...Сегодня такая ночь, когда сводятся счеты...» Вряд ли у сатаны на уме композиционные особенности «Мастера». Но, говоря о сути произведения, он характеризует и его форму. Сама метафора, опирающаяся на понятие «счет», двупланова. «Счет» содержит две графы, первая из которых требует с кого-то что-то, а вторая показывает реакцию другой стороны в математическом выражении. В сфере взаимоотношений между людьми распространено клише «свести счеты», которому обычно придается негативный оттенок. «Сводят счеты» люди неблагоприятные. Благородные же, следуя христианской морали, подставляют левую щеку, коли их ударили по правой. При всей своей приверженности к христианству повествователь «Мастера» отвергает эту доктрину. Пилат, посылающий Аффрания на расправу с Иудой, предлагает свои усовершенствования к догме. За зло он воздаст злом. В точности по такой же схеме действует и Воланд, совмещающий (по конкретно-историческим рецептам) следствие, обвинение, суд (и любые другие функции уголовного процессуальной процедуры) в одном органе, каковым является он сам. Приплюсвав к Воланду еще двоих: Коровьева и ката, мы получим изображение «тройки», знаменитой инстанции, вершившей во время оно своей «третейский» промысел.

Упомянем еще Воландов «последний великий выход на балу». «Он шел в окружении Абадонны, Азazelло и еще нескольких похожих на Абадонну, черных и молодых». Групповой портрет этот переключается с классическим стереотипом: группа «вождей» перед первомайским (или ноябрьским) парадом. К той же дворцовой системе ассоциаций принадлежит еще одна реплика Коровьева на Великом балу: «Да, это кто-то новенький... Как-то раз Азazelло... нащептал ему совет, как избавиться от одного человека,

разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому... обрызгать стены кабинета ядом». Современники сталинских репрессий подтвердят — приблизительно такая акция приписывалась Ягоде: будто бы он пытался отравить своего преемника — Ежова.

Но вернемся от репрессий к симметриям... Итак, сводятся счесть. И обидчики мастера, Иешуа, Булгакова, упомянутые (или даже обоименные упоминанием) в первой части, отвечают за свои прегрешения во второй. В этой художественной расправе есть нечто ритуально-первобытное: так индейцы или папуасы сжигают чучело, протыкают копьем портрет. В оправдание Булгакову скажу: лирика — это всегда расплата с живыми «на материале чучел».

Обе половины романа связывает такой очевидный (а потому упускаемый из виду) признак, как естественная последовательность. То есть первая половина — именно первая. А вторая — именно вторая. И хронология действия развивается в том же направлении: от начала к концу. Причины, таким образом, — это номенклатура первой половины, а следствия — второй, толчки — это первая половина, а сдвиги — вторая, счета выписываются в первой половине, а к оплате предъявляются во второй. Разве эта круговая трансформация первого во второе, а второго в первое не предопределена условием композиционной посылки? Шкатулка в шкатулке. Да, конечно, шкатулка в шкатулке, но так: эта — в той, и та все-таки в этой. То есть, когда мы говорим «роман в романе», сие значит: «евангельский в современном». Но значит еще и другое: «современный в евангельском». Между евангелием от Воланда и Патриаршими прудами нет прямых повествовательных связей (общих героев, например). Но есть зато контакты притчевые, есть аллюзии, и они обращают мнимо независимые компоненты художественного мира в целостный монолит.

Каково было первым читателям «Мастера и Маргариты» (звучит, как «первые христиане», — и, может быть, в этом совпадении больше внутренней логики, чем кажется)? Было и проще, и трудней, чем нынешним. Тогда мало правды говорилось напрямую, и эзопов язык считался у интеллигентных людей принадлежностью умной беседы — чем-то вроде французского у русской публики восемнадцатого века. И выискивали они дословные переводы — по эзоповско-русскому разговорнику. И являлся на свет знак равенства: Иешуа — это архайзирванная проекция мастера, а мастер — автобиографический двойник Булгакова. И, стало быть, Иешуа — Булгаков.

Но нынешний просвещенный читатель стопроцентно отождествлений между образом и реальностью чурается, тем более что со временем прототипические зависимости тускнеют. Поэтому в наши дни соотношение двух героев, Иешуа и мастера, воспринимается как философская иерархия: два пояснения к одному тексту или две грани одной проблемы. И не вызывают альбомной реакции: ага, вот они, фотографии одной персоны на разных биографических этапах. Хотя психологическое дело обстоит именно так.

Симметрия — вот ключевое понятие в разговоре о романе, архитектоника которого имеет самостоятельный вес — и этический, и эстетический — чуть ли не внетекстового происхождения — и управляет у Булгакова философией возмездия: как аукнется, так и откликнется; что заслужил, то и получил. Две чаши весов в ожидании равновесия. На данных (или подобных) кон-

трастах как раз и держится булгаковская этика. Ибо в ее основе — двойственная конструкция: человек — и общество, «я» — и «они», духовное и материальное.

Двум частям «Мастера» соответствуют две кульминации, находящиеся во взаимной эмоциональной перекличке: сеанс черной магии в Варьете и Великий бал у сатаны.

Исчисление равнодействующей — так, пожалуй, можно определить функцию рифмующихся (впрочем, приблизительно, на авангардистский лад) эпизодов «Мастера». При условии, что исчисляет ее тот, кому нужен не рай, но покой. Разве Сталин — и разве сатана? Нет, идеальный монарх, какого так хотелось бы найти в реальном правителе (куда от него денешься?) — вот он, художественный итог экзамена, сдаваемого (а не только односторонне принимаемого) Воландом Варьете и Воландом Великого бала...

В «Мастере» царит безраздельное господство сквозного времени. Не под крышей дома, а под небом вселенной пребывает здесь человек. И коли надобно ему взглянуть на часы, то к услугам его разве что циферблат зодиака — и вечности. А потому все эволюции персонажей во времени представляются, с такой точки зрения, наименее естественным способом существования и (прошу прощения за каламбур) времяпрепровождения. Ибо что же такое путешествие во времени, если не времяпрепровождение?

Воланд намекает — и не однажды, — что сам наблюдал события библейской старины. Каким уж он там был свидетелем происходящего: секретным или явным, ряженым или открытым — сие остается для нас тайной за семью печатями. Равно как и тогдашний фасон его костюма (адский? эдемский?). Но вся система романа зиждется на предпосылке: Воланд в качестве соглядатая состоял при администрации Пилата, незримо присутствовал на его переговорах с ищим праведником и т. д. Сей факт оказывается существенным в Москве. Заявившись туда в плаще резонера, этаким фланирующим оценщиком нравов, Воланд постепенно смещается с должности вольноопределяющегося моралиста на позицию судьи, активно формирующего сюжет. Он трудится за целый департамент (о чем уже говорилось): ведет следствие, снимает допросы, участвует в прениях сторон, заслушивает показания истцов, очевидцев, обвиняемых, выносит приговоры, импровизирует по программам противозаконной законности. На первый взгляд, свободен и независим Воланд, как подобает истинному судье. Не верьте этому впечатлению. Оно ошибочно! Ибо вся его юридическая практика заранее расписана сценарием евангельского суда, и выступает он послушным исполнителем чужой воли — Пилата (а, быть может, чужой веры — Иешуа).

Жестокий пятый прокуратор Иудеи показан нам в противоборстве двух своих ипостасей — должностной и человеческой: оно наиболее ярко проявляется по ходу бесед Пилата с Афранием. На предыдущих страницах сатанинского евангелия Пилат оставался, как ныне выражаются, функционером, делал то, что расходится с его человеческой совестью, хотя и соответствовал идее государственности. Теперь, в кульминации, он предпринимает попытку повернуть колесо фортуны вспять. Конечно же, это «вспять» — условное, поскольку воскрешать людей Пилат не властен. Обратимость человеческих поступков и решений, в понимании прокуратора, осуществляется через возмездие, и эпитет «жестокий» приобретает в этом контексте новый оттенок,

приблизительно такой: «суровый, но справедливый» (почти пародийное «кустальное, но довольно»). Вся фактическая подоплека совещаний между Пилатом и Афранием работает на эту характеристику. Правитель, организовывающий расправу над доносителем, которого к доносительству не принуждали, заслуживает, чтобы его именовали «справедливым». С учетом проливаемой крови — еще и «суровым».

«Суровым, но справедливым» заявил себя Понтий Пилат, и в главном эпизоде своего правления, и, как выяснится впоследствии, всей своей жизни: когда оглашал приговор преступникам, среди которых значился безвинный Иешуа. Суровость его очевидна. Что же до справедливости, то он олицетворял ее тогда в полной мере — если только принять за аксиому, будто справедлив закон. Если же встать на противоположную позицию... Но на нее и встал Пилат, дострадавшись до убеждения: справедлива одна лишь совесть (ничего похожего он, разумеется, не говорит, — это я пытаюсь придать окончательную форму мыслям, чувствам и действиям, кои приводят его после казни Иешуа к решению казнить Иуду).

Таков образец, принятый к руководству Воландом. Вознесенный традицией на высокий пьедестал и вынесенный за скобки сегодняшних дискуссий. Но практическая деятельность Воланда-судьи как бы на протесты и рассчитана, на сдавленные, со слезой, возгласы потерпевших: «За что?!» Не будь реальных прототипов у сатирической паствы романа, разве стоило бы бормотать эти адвокатские речи! Но беда-то в том, что бароны Майгели, конферанسه Бенгальские и критики Латунские — все они являют собой для рассказчика (а точнее, для самого автора) ненавистную толпу оскорбителей. Отсюда — дисбаланс причин и следствий, преступлений и приговоров, начал и концов, нарушающих по высшему счету симметрии романа, рассчитанного на вечность.

Е. С. Булгакова принимала в наших с ней беседах, когда речь заходила о прототипическом материале, двойственную позицию. С одной стороны, ее обуревало желание довести булгаковскую месью до закономерного финиша: ибо, конечно же, неопознанный и неназванный объект критики вправе ощущать себя вне критики; он может даже и не подозревать, что его где-то там, в каком-то полубредовом романе, осмеяли, — а с ним вместе останутся в неведении и все прочие, кому была отведена миссия зрительного зала. С другой стороны, та же Е. С. Булгакова прочно отстаивала концепцию «Булгаков — Шекспир». Не в смысле буквального равенства талантов или сходства изобразительных манер. А так: персонажи великого произведения рассчитаны на вечность.

Чувство симметрии одухотворяло булгаковскую музу на каждой ступени ее восхождения к апофеозу романного замысла. Кто возьмется утверждать, что писатель сознательно исчислял геометрические соответствия завязочных мотивов развязочным, тех персонажей — этим, этих эпизодов — тем? Что он задавал целью сделать изобразительную зеркальность нормой романной поэтики? Никто! Но осуществляется романная гармония именно через симметрию.

Доставлю себе удовольствие еще раз воспроизвести первую фразу евангельского романа: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями

дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». А вот заключительная фраза того же романа: «Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Конец перекликается с началом, замыкая круговым новеллистическим движением притчевый сюжет. В унисон этим двум фразам звучит и завершающий аккорд «Мастера»: «...Иван Николаевич... просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат».

Итак, не просто плоскостное кольцо созвучий выстраивают аугающиеся слова, но пространственную спираль высокомурых, сокровенных значений, на которую приходится лезть, словно на Эйфелеву башню, то и дело теряя представление: где верх, а где низ. И все же первая очевидность посещает нас сразу: Понтий Пилат в разных случаях разный. Даже ему, заранее зачисленному судьбой в театральную труппу всемирной исторической драмы, не дано войти в одну и ту же реку дважды. Воинской лихостью, легкостью веет от фигуры Пилата в крытой колоннаде дворца. К этому впечатлению ассоциативно подверстывается росчерк шрамов на лице, моложавая сутулость усталого поджарого человека — словом, зримый образ римлянина, каким его представила современной цивилизации античная проза от Тацита до Светония.

Печатью значительности и значимости отмечена «неформальная» эмблема государственной власти — мантия прокуратора. Свободно ниспадающие складки сигнализируют о ее родстве с боевым плащом. Белый цвет — чистая доска, открытая для любых решений и символов. Белый цвет, в конечном счете, и сам — символ — незапятнанной совести, например. И вдруг, резким контрастом ко всему этому благолепию — кровавый подбой, такой неожиданный и такой неизбежный в создавшемся контексте. Развертывающийся в картины цвет сражений, где противники сходятся в поисках воинского счастья, как равные. И одновременно — кивок в другую сторону: там правит бал неравенство, и господин вразумляет непокорного раба, летят отрубленные головы, и льются слезы (если бы только слезы!) невинного.

Из первой «евангельской» фразы, как из тайников фокусника (или ящика Пандоры?), можно, применяя элементарную фантазию, извлечь тему сюжетных неожиданностей (включая даже ту тему, что позже «накрыла ненавидимый прокуратором город»). Но прежде всего застревает в читательском восприятии портрет: воитель в судейской мантии, словно сошедший с веласкесовских полотен. Дальше, в других местах романа, багет преобразуется в дверной проем, а посередине картины все та же фигура. И так, проем за проемом, убывающая в глубину перспективы анфилада пространств с неизменяемым смысловым центром: Понтий Пилат в ореоле власти — или, что почти синонимично, в терновом венце.

Концовка евангелия от Воланда отличается простым рисунком. Лаконизм ее на многокрасочном пиришестве романа сперва поражает: с чего бы гравюре затесаться в толчею ярких холстов. Но немногословная графика на сей раз живет подспудными ресурсами: у нее в подтексте весь роман Пилата — Иешуа — Иуды. И ее внешний бессобытийный покой по сути своей является событием, чем-то средним между «почивать на лаврах» и «после драки кулака-

ми не машут», между «заслуженный отдых» и «со щитом». Причем сквозь этот умиротворяющий мираж «со щитом» просвечивает неотменяемое «на щите».

Не менее, а то и более красноречива последняя фраза романа — теперь уже «большого». Перенося Понтия Пилата из объективной сферы в субъективную, она становится ключом к реалистической трактовке «Мастера». Вернее, одним из ключей. В том смысле, что поверивший всему, что там происходит, и уверовавший во все, чему там наставляют, может дышать полной грудью на всех этапах романа — и признавать происходящее за наиболее вероятнейшую (хотя и удивительную) явь. Ведь «каждому будет дано по его вере». Ну а скептикам, коим всякий раз подавая рационалистическое и рациональное объяснение, и чтоб все понятно было, и чтоб концы с концами сходились, — им-то и предназначена последняя фраза: она смекает событийные невероятности, как, впрочем, и натуралистические банальности, в область психологии (или психиатрии): коли вас тревожит вопрос: «Как могло подобное произойти?!» — пожалуйста, получите материалистическое объяснение — и успокойтесь: «фантазмагория» романа, вся, от завязки до развязки, — патологический бред, галлюцинация Ивана Бездомного. Чтоб получить столь разительный эффект, мало повторить фразу. Надо переакцентировать ее и перестроить, что делается незамедлительно. Возникают новые реалии, такие, например, как исколотая память профессора, да и сам профессор, каковым успел стать к эпизолу бывший поэт. Но фигура Пилата предстает нам неизменной. Едва заметны дополнительные штрихи: эпитет «жестокый» и словосочетание «Понтийский Пилат».

С «жестоким» дело обстоит попроще. Повествователь прибегает для прокуратора к характеристике, которая наделена весом постоянных фольклорных эпитетов. Остается добавить, что «жестокый» на последней странице романа отмечено долей иронии. Ибо главные эпизоды булгаковского евангелия описывают победы Пилата над своей жестокостью.

Обкатанная традицией форма «Понтий Пилат» столь органично вошла в повествование, что «Понтийский Пилат» вызывает у многих подсознательный протест. Читатели знают наизусть заключительные слова романа, но вряд ли кто воспроизводит их в авторском варианте (память сопротивляется!). Говорят по-старому, по-привычному, как написано в других местах «Мастера». И как значится в русских изданиях Евангелия. Быть может, авторская поправка к общепринятому сочетанию и не заслуживала бы специального интереса: подумаешь, великая новация — обратить существительное в прилагательное — при переводе, скажем, на английский язык разница вообще пропадает (кстати, и пропала в существующих изданиях, что вполне закономерно: таковы грамматические нормы этого языка). Да уж очень преднамеренной она выглядит: Понтий Пилат, Понтий Пилат — и вдруг Понтийский Пилат! Моя трактовка происшедшего такова. Понтий Пилат последней фразы — составная часть романа и вместе с тем компонент индивидуальной психики — он фигурирует в галлюцинациях профессора Ивана Николаевича Поньрева, бывшего поэта Ивана Бездомного. Историк по кругу занятий, Поньрев несомненно способен (или должен быть способен) разглядеть этимологию слова «Понтий», содержащего географическую информацию о герое: откуда он родом или в каких землях

прославился. По такому принципу конструировались аппендиксы к знаменитым русским фамилиям: Суворов — и в придачу Рымникский, Семёнов — а в дополнение Тянь-Шаньский. «Понтийский» сообщает тексту оттенок научности, подчеркивает, что Булгаков в данный момент смотрит на изображаемое глазами своего персонажа. Немаловажен, помимо прочего, еще и декоративно-литературный аспект проблемы. Булгаков присоединяет своего героя при помощи такой малости, как четырехбуквенный суффикс, к когорте персонажей, претендующих на вечные места в памяти человеческой, следом за Амадисом Галльским и Дон Кихотом Ламанчским, на самой границе между историей и легендой.

Способы, коими утверждается в булгаковском романе симметрия, меняются от случая к случаю, приравливаются к условиям художественного времени и места. Вот две зарисовки, намекающие друг на друга. «...Профессор... убедился, что этот воробей — не совсем простой воробей». Очередной номер по мотивам черной магии, какой мог бы пройти незамеченным в ряду других, если бы не его дубликат в евангельских главах: «Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль...» Опять занимательная орнитология! Не то знание, ниспосланное свыше, не то прорицательская акция преисподней.

Назначение повторяющихся анималистических вивьеток связано с композиционной задачей: скреплять разнородные элементы повествования. А также наращивать событийную прогрессию, по ступенькам которой малые метаморфозы восходили бы к содержательным превращениям последней главы: «Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрвав их с плеч, разоблачала обманы...»

Но это еще не завершающая цель подъема, не смотровая площадка, откуда весь мир виден. Это пока ступени, ступени. И вот уже луна открывает Маргарите и ее любовнику фигуры евангельских персонажей, доигрывающих перепутанное мобиле своего сюжета — и не могущих его доиграть, потому что сюжет этот бесконечен, как жизнь. Обе комедии, божественная и человеческая, соединяются в лирическом апофеозе, где мастеру на миг (на вечно повторяющийся миг литературного существования) предоставляется безграничная возможность повелевать теми, кто сам претендует на мантию повелителя, — впрочем, предоставляется она рескриптом сверху, со ссылкой на еще более высокие верха. Сведенные воедино представители всех повествовательных плоскостей оглашают прилюдно свою субординацию — насколько кто кому подчиняется, как кто с кем соотносится, и нищий в этой иерархии — мастер — оказывается по творческому исчислению высшим, ибо нет в конечном счете ничего в человеческом племени, что не было бы результатом творчества, иначе говоря, не начиналось бы работой мастера. И так без всяких изъятий — вплоть до лежащего перед нами романа со всеми его героями, даже теми, в преданности кому мастер верно-подданнически расписывается: они тоже порождены мастером, хотя и тщатся им командовать (извечное противоречие жизни, так и не распутанное романом): «...Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:

— ...Вам не надо просить за него, Маргарита,

потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать, — тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: — Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!..»

Цель метаморфоз выходит к перекрестку, на котором встречаются все времена и пространства романа: все герои и загадки, все обстоятельства и декорации. К которому стянута вся философская проблематика. И тут выясняется, что существуют доминанты универсальные — они функционируют во всех координатных системах вещи, хотя право обнародовать их предоставляется лирической паре: Мастеру и Маргарите. Помните возглас: «Невидима и свободна! Этот внутренний монолог летящей Маргариты становится крылатой фразой — мы ее только что услышали вновь из уст мастера. Повторение ли это? Симметрия ли это? Скорее — ни на миг не затухающий духовный подтекст романа, то выбегающий, подобно горному потоку, на открытый воздух, то прячущийся под складки базальта, но всегда живой.

И еще один повтор останавливает на себе внимание в этой, предшествующей эпилогу, главе. Подписываются безапелляционные приговоры и последние решения, от тумана болотного и вечной тьмы очищаются судьбы героев, и вновь возникает перед нами пергамент легенды: «Память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпустил на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».

Наступил эпилог, и на смену мастеру придет профессор Понырев, теперь уже он, а не мастер, отдаст свое служение и подзнание скитающемуся Пилату, и появятся новые поправки к хитросплетениям вельможного титула, и только опорная смысловая единица останется нетронутой — слово «свобода». Еще раз произнесу то, что автор произносил, явно и неявно, великое множество раз: «Кто-то отпустил на свободу мастера, как сам он... отпустил им созданного героя». Отпустим же пока его на свободу и мы.

## ПОД ЗНАКОМ СИММЕТРИИ

Зеркальный принцип внедрился в самую кровь булгаковского изобразительного мышления. Делая этот тезис, мне уже доводилось говорить о таинственной, но вполне реальной связи романа с полотном великого Веласкеса «Менины»: и тут и там мастер и Маргарита, и тут и там зеркало в зеркале (сюжет в сюжете, роман в романе), и тут и там тема власти, соперничающей с творчеством, и тут и там творчество — в содействии со своим результатом. На мой вкус и взгляд, эффектно! Но мои собеседники сразу же спросили: «А есть свидетельство того, что Булгаков знал картину Веласкеса?» «Побойтесь бога, — отвечивал я. — Ну мог ли человек такой эрудитички, как Булгаков, не знать картину Веласкеса?!» Увы, мои доводы на серьезных литературоведах впечатления не производили, ни-

кто не высказывался ни за, ни против. Завуалированным возражением против «зеркальной» гипотезы мне показалось разве что одно место в «Жизнеописании Михаила Булгакова», то, где М. Чудакова вдруг цитирует вне всякой сюжетной необходимости Н. А. Ушакову, приятельницу писателя: «Как художница, она свидетельствует, — пишет Чудакова, — Булгаков художниками абсолютно не интересовался — ни живописью, ничем. Вот как есть люди без слуха. Я уж не говорю, что он не интересовался, скажем, той мебелью Людовика XVI, которая у нас стояла. Когда он к нам часто приходил днем — стол стоял перед диваном, а над диваном висел Сапунов, занавес к «Мещанину во дворянстве». А он сидел обычно напротив — казалось бы, с его интересом к Мольеру, это должно было его заинтересовать. Но он только поддразнивал меня: «Какая у тебя ужасная картина!» Его могло интересовать разве что, кто изображен на картине» («Москва», 1988, № 11, с. 48, 49)

Добавлю, в ответ на мои вопросы: знал ли Булгаков Веласкеса? Любил ли? — Н. А. Ушакова в разговорах октября-ноября 1985 года говорила точно то же самое. Чувство такое, будто М. Чудакова застенографировала именно эти интервью. И картина Сапунова в наших разговорах фигурировала, висевшая, кстати, тут же, на стене большущей комнаты в коммунальной квартире одного из остоженских переулков. И сравнение Булгакова как ценителя живописи с людьми, лишенными слуха. Более того, почти в таких же выражениях, почти то же самое говорила мне и Л. Е. Белозерская, вторая жена Булгакова, причастная к первым шагам писателя по лунным дорогам «Мастера». И я зафиксировал эти разговоры и предал их гласности со страниц «Вопросов литературы» (1987, № 1), и позволил себе тогда только одну бестактность (если несогласие можно считать бестактностью). А именно: описал картину, висевшую над столом в квартире Любови Евгеньевны, — ваза с овощами, скудный натюрморт времен гражданской войны. Несколько предметов на фоне зеркала, которые мне показались попыткой передать при посредстве картофелина ситуацию веласкесовского полотна: так показывают шахматную партию, передвигая спички по черно-белым клеткам или хлебные шарики.

А теперь мне бы хотелось, пожав плечами, сказать М. О. Чудаковой: «Неужто вы всерьез отказываете в «живописном видении» Булгакову? Он ведь категоричней всех своих коллег — и красками, и компоновкой персонажей, и светотенью, и рисунком, и штрихом (конечно же, словесными, всего только словесными) — бросает вызов самым изощренным корифеям кисти. Право же, из «Мастера» ясно, что всю внутреннюю работу художника, все то, что называется «увидеть умозрительным оком» или «осталось перенести замысел на холст», — Булгаков проделал с восхитительной легкостью и вдобавок с очевидным успехом. И кабы свершилось некое волшебство в духе «Мастера» и поэзия, внезапно овеществившись, стала бы изобразительным искусством, и слова заполучили реальную плотность, то человечество обогатилось бы галереей ослепительных шедевров, под стать Веласкесу.

Поскольку, однако, эти мои аргументы лежат в условной плоскости сослагательного наклонения, приведу еще один довод в пользу «зеркальной» концепции «Мастера». Роман обставлен таким количеством зеркал, что пройти мимо них — значит спастись перед очевидностью.

Эта система координат сигнализирует о себе на протяжении всего романа — ну, хотя бы звонком разбиваемых стекол. Напомним, к слову, что под конец первой части озорной воровушек «клянул в стекло фотографии... разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно...» Любопытно звучит авторское «и затем уже». Как будто битье стекол было важнейшей задачей каббалистической птицы — чем-то вроде финального гонга. Или, как мы можем сказать сегодня, угасающего экрана.

Битье стекол продолжается и во второй части, знаменуя дебют «потусторонней» Маргариты. Случайно ли за полторы страницы до завершения последней главы этот образ повторяется: «— Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер...

— Нет, — ответил Воланд...

— Так, значит, туда? — спросил мастер... и указал назад, туда, где остался в тылу недавно покинутый город... с разбитым вдребезги солнцем в стекле?»

Думается, что вполне закономерно.

И тут самое время вернуться к Веласкесу, чьи полотна, будь то «Менины» или «Венера с зеркалом», устремлены к такой же цели: при помощи буквальных, «цитатных» отражений постичь сокровенные смыслы бытия. Так что не такая уж это ересь — утверждение, будто «Мастер» вышел из Веласкеса. Даже, черт побери, если Булгаков не видел ни «Менин», ни «Венеры с зеркалом» ни наяву, ни в репродукциях. И даже если он не любил живопись — или был к ней равнодушен, или, такое ведь тоже вероятно, не рекламировал свои к ней чувства.

## КОРОЛЕВСТВО ПРОТОТИПИЯ

Обращаясь к прототипам булгаковского романа, нельзя не убедиться вновь, что и эта, столь, казалось бы, объективная сторона писательской деятельности принадлежит к кругу сугубо субъективных интересов. По сему поводу можно наговорить много банальностей: каков поп, таков и приход, с кем поведешься, от того и наберешься, и даже: баба с возу — кобыле легче, и даже: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Ну, насчет киевского дядьки никаких вариантов не предвидится: ясно, что речь идет о родственнике Берлиоза, гражданине Поплавском. Что же касается попа и прихода, здесь есть над чем призадуматься: значит ли это — каков автор, таков и контингент прототипов? А может, наоборот, каковы окружающие лица и обстоятельства, таков в конечном счете и автор?

Взаимодействие объективного и субъективного в «Мастере» — очередной двуликий Янус, демонстрирующий лиризм булгаковского эпоса. Природа этого лиризма — осознанное (или неосознанное) стремление писателя переписать свою жизнь, прожить ее заново на страницах романа, переиначив в метафорическом ключе. Но сохранить ее суть и пафос, и страдальческую струну, и боготворчество, и богоискательство, и веру, и надежду, и любовь.

Естественно, что такой замысел сопряжен с риском привнести в повествование много частного, сиюминутного: бурь в стакане воды и бокалов, поднятых во здравие ничтожеств. Объясняя булгаковский лиризм, напомним: литература испокон веков носила титул «поэзия», или лучше «Поэзия» — с большой буквы (каждому известно: Белинский разделял на роды и виды

именно поэзию, а не литературу). Но возможна ли поэзия без поэта? И возможен ли поэт без лиризма? И возможен ли лиризм (даже широко понятый) без личного, авторского, с элементами самой бесцеремонной персональной причастности к изображаемому? Ясно, что подразумевается ответное «нет!» по всей цепочке. Невозможна поэзия без поэта — и невозможен поэт, отлучающий свое творчество от радостей и печалей своего сердца. Любая поэзия — сам поэт. Любой роман — сам романист.

Прототипический тыл и пыл булгаковского романа вычитываются из булгаковской биографии. Первой уяснила себе эту истину первая читательница «Мастера» Е. С. Булгакова. Ей-то, вообще говоря, ничего и уяснять не надо было. То, что писал Булгаков, было продолжением жизни — и ее отражением. И некоторые эпизоды романа она позволяла себе толковать напрямую, хотя в принципе стояла на позиции канонического литературоведения, в том смысле, что ставить знак равенства между образом и его прототипом — эстетическая безграмотность. Сию теорию, скорее всего услышанную от умных советчиков, она в минуты вдохновенных своих исповедей забывала и тогда рассказывала по булгаковской феерии, как по родному дому. Главными фигурами под его крышей были, конечно, мастер и Маргарита, и реакция отождествления прототипа настолько быстро и полно, что мемуаристка, забывшись, могла сказать о Маргарите «я», а о мастере «Миша».

Прошу не воспринимать мои слова как цитату. Я пытаюсь лишь воспроизвести дух тех воспоминаний, причудливое переплетение фамильярного контакта между рассказом (устным и живым) и романом (написанным, но пока не опубликованным), чувство, будто ОН вон-вот выйдет оттуда — или ОНА, напротив, войдет (уйдет?) туда...

Специфическая булгаковская ирония: о близких (и далеко не всегда добрых) знакомых романист рассказывает «по знакомству» подробнее и охотнее, нежели о вымышленных и посторонних лицах, о персонажах «из головы». Категория знакомых отчетливо распадается в романе на две группы: условно говоря, на «коллег» и на «соседей». Со слов Елены Сергеевны известны многие имена писателей и драматургов, театральных деятелей и критиков, упоминавшихся в «Мастере» под псевдонимами. Есть, впрочем, имена, произнесенные автором почти в открытую — например, псевдоним критика Латунского Елена Сергеевна и не должна была переводить с злогового на русский, потому что фамилия главреперткомовского функционера Литовского мелькала тогда, в начале шестидесятых, на страницах печати, вышли в свет его собственные мемуары, где он неслетно, на проработочный лад отзывался о Булгакове. А связать два имени — реальное и вымышленное — не слишком тяжкий труд.

Вполне реальных предшественников имели перечисленные в соответствующей главе поименно посетители Дома Грибоедова, да и у самого этого заведения был достаточно известный «оригинал», Дом Герцена на Тверском бульваре, 25, где протекала едва ли не вся социальная жизнь тогдашней литературы, причем зачастую именно в тех формах, какие запечатлел Булгаков. Аналогичное положение с театром Варьете, и не вызывает сомнений фотографичность Римского, Варенухи, Степы Лиходеева и т. д.

Некоторые фигуры разоблачала Елена Сергеевна с особенным наслаждением. На Великом



балу среди прочих негодяев появляется некий барон Майгель, квалифицируемый Воландом весьма нелестно — да еще если учесть контекст тридцатых годов. О прототипе барона она говорила презрительно и гневно.

Ягоду в разговорах со мною она упоминала неоднократно — как самую для Булгакова ненавистную фигуру, символ тогдашних несправедливостей. Следом за именем Ягоды возникала тема «Салон Ягоды», кою Булгаковская вдова не детализировала — как в Священном писании не детализируют контингент сатанинского воинства. Парадоксально, но факт: преемников Ягоды по репрессивному департаменту Елена Сергеевна почти не упоминала и «почти» не кляла.

Гофманиада Великого бала представляет собой сознательное или бессознательное воссоздание — в красочном, театрализованном, «фламандском» гротеске — тех жутких лет, когда гильотина сталинского террора, запущенная на полный ход, уничтожала лучших людей страны. Увы, принимая эту аналогию, надо отметить специфичность булгаковского суда над эпохой, эстетизацию казней и кар, происходящих в романе: «Кровь давно ушла в землю... Там, где она пролилась, давно растут виноградные гроздья...» Иными словами, все к лучшему в нашем лучшем из миров, в том числе и казни по политическим мотивам, и ликвидация инакомыслящих.

Все к лучшему в нашем лучшем из миров?! И даже тени вольтеровской усмешки нет в уголках рта? Ни на секунду не усомнюсь в гуманизме Булгакова как его последней позиции, той, откуда отступить некуда — дальше смерть, небытие. Но с прискорбием отмечу, что, оказываясь на позициях, условно говоря, предпоследних, повествователь совершает этические компромиссы, напоминающие пьесе «Батум» с небезызвестным, хотя еще вполне юным положительным героем Сосо в главной роли.

Парадоксальная ситуация, но и в библейском романе поборником Добра и его юридической оппортуности — Справедливости выступает распорядитель карательных сил. Подобно Воланду — в земном. И, подобно Воланду, он ополчается на предательство. Предательство — самый страшный грех, и предатель — самый гнусный преступник. Аксиома, которую Иуда олицетворяет, доказательств не требует. Теоремой в «Мастере» оказывается проблема наказания: какова его разумная мера и кому надлежит это определить. Таким образом, Иуда живет дважды: сам по себе и в оценках Пилата. Дважды встречается Пилат с Иудой: сперва как слепая, холодная власть, позже — как трепетная Совесть. И в обоих случаях как Судья.

Но вот вопрос: если он Судья, то почему вступает в унизительную для столь высокой инстанции перебранку с Левиим Матвеем? Почему заискивает перед тенью нищего проповедника? Почему, наконец, «ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу...»? Судья евангельских времен оказывается подсудным, если не подсудимым. Его коллега, почтивший своим визитом Москву, в аналогичном положении: напрашивается на прием к закуливному распорядителю событий, получает какие-то его указания, а после цитирует с подобострастием, в третьем лице множественного числа, в неопределенно-личных предложениях: «Ваш роман прочитали...» Все-

лен Воланд, но и над ним есть некто, еще более могущественный...

Постепенно выкристаллизовывается до полной, расцветной отчетливости фигура мастера: создатель романа о Христе занимает первый план прежде всего своим творением. И теперь из тумана возникает олицетворенный символ Истины, Творчества, Добра — страдалец Иешуа.

Да, фигура воплощенного Добра автобиографична, как и сам мастер. Да, ее оппоненты — действующие лица той же пьесы. По законам аналогии следует подозревать в Воланде пришельца из настоящей жизни. Под Воландом, думаю, Булгаков подразумевает весьма реальную фигуру (о чем я говорил выше). А уж позже она обретает самостоятельность, становясь для автора как бы реальнее жизненного прототипа, с которым писателю так и не довелось свидеться. К смутному личному впечатлению о Сталине, вынесенному из телефонного разговора в 1930 году, Булгаков прибавляет циркулирующие по Москве легенды, смесь ужаса и пьетета, приплюсовывает свою мечту — надежды автора, зажатого в тиски придирок. И получается результат, который может служить рабочим черновиком новой религии — или даже работающим вариантом. Монарх, вышедший у Булгакова из головы, властен распоряжаться людскими судьбами в соответствии с нравственным кодексом (и сценарием) Булгакова. И теперь Булгаков верит именно в такого монарха, отождествляя его со Сталиным, и именно в такого Сталина, отождествляя его с этим вымышленным монархом.

Если организовать Булгакову разговор со Сталиным в открытую, то приблизительная схема возможного (но, как выяснилось, невозможного) диалога примет такой вид: мастер, опираясь на образный материал «Мастера», признается, что когда-то наблюдал своего собеседника с ужасом, но позже понял, что прямую линию от догмы к поступку, от нормы к факту прочерчивает не мягкий грифель, нет, остро заточенное стальное лезвие. А потом попросит покоя для себя, тишины и одиночества, разделенного, впрочем, с любимой. Выразит пожелание, чтоб его печатали, а критикуя, ограничивались бы парламентскими выражениями.

Словом, позитивная программа просителя носила бы тихий либерально-демократический характер с элементами акварельных элегий. А негативная предусматривала бы грозные кары для обидчиков Булгакова — по законодательству, опубликованному в «Мастере».

Разговор, который я называю несостоявшимся, в конечном-то счете состоялся. В том смысле, что субъективно, для себя, Булгаков сказал ЕМУ все, что намеревался сказать. И ОН выслушал своего партнера внимательно, внял его советам, просьбам, намекам, вознаграждал, кого следовало вознаградить, наказал, кого надлежало наказать. На ролях сотоварища по миражу ОН оказался покладистым малым.

Моя теория: Сталин как прототип Воланда, Сталин как прототип Пилата — документально недоказуема; Елена Сергеевна всяческие гипотезы этого ряда встречала дипломатическими недомолвками, расставляя намеки при помощи интонаций, которые ведь в архив не сдать и к делу не подошьешь. Аргументом в пользу

того, что несостоявшийся разговор все-таки происходил — в писательском уме, — казался мне монолог писателя над завершенной рукописью «Мастера»: «Представь себе, что в один прекрасный день ОН получит ЭТО и прочтет, и наша жизнь сразу же тогда изменится до неузнаваемости...» Возможно, цитируя мастера, Елена Сергеевна употребляла другие слова. Я их помню не так хорошо, чтобы предлагать свои мемуары на сей счет в качестве авторизованного текста. Тем более что и сама она, цитируя Булгакова, тоже вольничала, предлагая слушателю то одну версию сказанного, то другую, с новыми смысловыми ударениями. Но из раза в раз повторялась ситуация: ОН читает ЭТО, и тотчас писательская судьба разительно меняется... К счастью или несчастью для Булгакова, ОН не прочитал ЭТО — насколько мы можем судить по имеющимся (то есть отсутствующим) фактам. Во всяком случае, сведений о знакомстве вождя народов с «Мастером» история не сохранила. Зато, во многом благодаря сему обстоятельству, сохранила «Мастера».

Шаловливые реплики кота после бала Елена Сергеевна связывала со словечками своего сына Сергея. «Сережке» она приписывала, например, классическое изречение: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...» Пожалуй, ни к одному прототипическому персонажу не обращалась она с такой охотой, как к Сергею. И была в этом не только материнская предвзятость, но и хитрый расчет: отвлечь интервьюера от других объектов, не стolve игровых и игровых. Елену Сергеевну настораживали три сюжетных поворота. Первый — в сторону политики. Например, не следует ли воспринимать квартиру № 50, или психиатрическую лечебницу, или водопроводчиков на крыше дома как иносказательные изображения 37-го года? Чуралась она вопросов о Сталине: как объяснить, что Воланду отдана его фраза о фактах, которые упрямая вещь, и не ассоциировал ли Булгаков рубище Воланда («все та же грязная заплатанная сорочка») с шинелью Сталина. Догадкам такого рода Булгакова противопоставляла шутку или молчание. И, наконец, третья табу Елены Сергеевны: паническое неприятие каких бы то ни было попыток связывать роман с книжными текстами, будь то трактаты по эстетике (вроде работ М. Бахтина), познавательная литература по теологии, черной магии, оккультизму или — даже художественная проза (например, Ю. Слезкина). Она как бы противостояла покушениям на суверенитет и приоритет Булгакова в библейском и каббалистическом знании и готова была провозгласить евангелие от Воланда — а вернее, от мастера — единственным истинным евангелием.

Но книжные прототипы романа нельзя замалчивать, потому что он вырастает из них, даже если их отрицает... Евангелие от мастера дерзновенно учитывает беллетристическую традицию Ренана, Франса, Сенкевича. Но не следует ей. На вопрос «Камо грядеши?» она вправе простовато ответить: «А в обратную сторону!» Опыт своих предшественников Булгаков использует, как используются в современной науке результаты тупиковых работ, а в альпинизме — ненадежные камни: отбрасывает.

Какова художественная цель Булгакова? Создать пятое евангелие, примыслить к четырем

существующим версиям еще одну, которая досказала бы недосказанное и таким образом составила вместе с каноническим текстом некую общность? Данная версия не станет ни комментарием, ни полемикой, ни пародией, хотя выкажет признаки и того, и другого, и третьего.

Не будучи утопистом, Булгаков, понятное дело, считается с реальностью «Мастера», облекая свое евангелие в романную форму. Но узловые проблемы, все значащее, смысловое перенимает у Матфея (Луки и т. д.) — и только корректирует те моменты, которые, как ему кажется, получили в евангелических текстах ложную трактовку. Например, взаимоотношения между Иудой и Сатаной. Евангелисты по сему поводу сообщают что «сатана вошел в Иуду».

Тщетно мы будем искать в «Мастере» хоть намек на присутствие сатаны в непосредственной близости к Иуде или к Иисусу. Единственный аргумент, на котором может держаться теория: «Он там был» (пускай на ролях свидетеля), — показания самого сатаны: «Все просто: в белом плаще...» А в дальнейшем ни отпечатка своей ноги на дорогах сей путешественник по векам нам не покажет, ни кончика плаща, ни взметнувшейся за ним следом пыли... Впрочем, нет: пыль-то мы увидим, и барахтающуюся в ней птицу, но что бы это могло значить, повествователь от нас скроет. И центральные эпизоды главы «Погребение» выстроятся в классический детектив, первым сюжетом которого станет убийство Иуды, а вторым — двойное сальто: убитый сам окажется убийцей, и проблема следствия сведется к тому, чтобы определить мотивы.

В булгаковском евангелии традиционный собеседник Иуда у Иешуа отобран. Правда, подследственный вынужден по ходу допроса назвать это имя, но намеренно простодушный его рассказ субъективен, а реалии носят чисто юридический характер: на суд читателя выносятся улики, кои может истолковывать Аффранию.

«— Дело было так... позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком...»

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах...»

Здесь я позволю себе оборвать цитату и вторгнуться в булгаковский текст со своим вопросом по стилистике: что понимать под эпитетом «дьявольский огонь» — лазейку для нечистой силы, штрих, обозначающий ее наличие прямо на сцене, под шкурой прокуратора — в смысле «бес вселился в этого человека»?! Сомневаюсь, чтобы виртуозный мастер слова, каким был Булгаков, мог обронить определение «дьявольский» — да еще в таком контексте — по чистой небрежности!

Но вернемся к роману:

«— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям...» (Не чудится ли вам, что не столько автор вкупе с Пилатом иронизирует в этом месте над Иешуа, сколько Иешуа над ними и над нами?! — А. В.)

Вся импровизационная энергия пятого евангелиста сосредоточивается на Пилате, и уж он-то в новой трактовке интересен до крайности. Если принять гипотезу о дьяволе, вселившемся в Пилата, сразу же реформируется вся система романых связей. Воланд получает наименее

шее прибежище в Ершалаиме (подобно уголовнику, скрывающемуся от полиции в апартаментах ее префекта), утверждается на троне главной романной идеи гетевская аттестация нечистой силы: «Зло во имя добра». Наконец, между пятым евангелием и «остальным» романом появляется прочный мостик, открывающий двустороннее движение — отсюда сюда, но и отсюда, из Москвы, туда.

Во время допроса раскрывается парадоксальный факт — не из биографии героев — из психологической жизни самого Булгакова. Он склонен отделить правителя от государства. Государство — насилие, государство — зло, подкуп согладатаев, издевательство над человеком. А правитель (коли он личность) — сочувствие добру, помысл к благодетельности, почти жертвенность.

Диалоги Иисуса с другими участниками евангелий даны крупным планом — настоятельная потребность литературы, о чем свидетельствует классика. Например, Мильтон. В этом смысле любопытнейший материал предоставляет внимательному читателю Булгакова (и, разумеется, великого англичанина) «Возвращенный рай», поэма, которая от начала до конца посвящена диалогу между Иисусом и сатаной. И в анонимном прозаическом переводе, опубликованном Сытиным в 1891 году, созвучна некоторым булгаковским пассажам. Сказать, что она предопределяет их, было бы преувеличением, но, с другой стороны, вычлени этот текст из булгаковского душевного опыта также, полагаю, было бы фальсификацией истины. Сатана, этот, по выражению Булгакова, старый софист, предстает со страниц Мильтона во всем блеске своего хваленного красноречия.

Вновь и вновь литература открывает великий парадокс: искуситель становится зеркальным отражением искомое, стрелы, выпущенные в кого-то, поражают самого стрелка. Общение с человеком, как утверждает поэзия, очеловечивает сатану.

Поражает, что представитель Иешуа, средне-статистический дипломат, вступает с Воландом в дуэт (или дуэль), адекватный объяснению самого Иисуса с сатаной у Мильтона. И в одном эпизоде, и в другом сталкиваются не столько полярно противоположные силы, сколько контрастирующие индивидуальности. Здесь — олицетворенная чопорность, там — «старый софист» во всем многообразии своей традиционной и бунтующей против традиций натуры. От «Возвращенного рая» эта конфронтация или от «Нового завета»?

«Наукоёмкость» романного замысла, его интенсивная поглощающая способность были огромны. И, соответственно, был огромен интерес Булгакова к «материалу вопроса». Но не будем изображать Булгакова персонажем академического склада в протертых нарукавниках чернильного цвета. Остроумный и наблюдательный собеседник, он был перемчив, как и всякий любитель анекдотов, принадлежа, впрочем, к той интеллектуальной элите, которая анекдоты забывает, поскольку всегда способна: 1) их реконструировать; 2) сочинить самостоятельно нечто столь же лихое, если не стократ лучше; 3) не сводить весь мир к анекдотам; 4) дышать контекстом услышанного автоматически, как дышат воздухом.

При том, что Булгаков и на самом деле был великолепным ценителем остроумия, в нашем рассуждении анекдоты фигурируют как условный знак, который в любой момент может быть подменен другим. Булгаков усваивал окружающий мир (и литературу) без дифференциации на комическое и трагическое, возвышенное и земное, общезначимое и альбомное, для себя и для дела, для текста или просто так. В книжную среду он был погружен, она была его средой, и воспринимал он ее не цитатно, а, так сказать, к о л о р и т н о, то есть, воспроизводя, брал дух, а не букву, смысл, а не параграф, замысел, а не строку. И вообще «брал» — слово дезинформирующее. Точнее было бы — «ощущал», «опирался». Плывя по течению романа, полагался на закон Архимеда, а не на спасательные круги, тем более не на соломинки.

Великое многообразие булгаковских литературных ассоциаций преобразуется в процессе творчества до полной ассимиляции и неузнаваемости: где сперва фигурировало одно, возникает другое, где громоздились камни, уже растут виноградные гроздья. «Мастер» с такой точки зрения — некая «мифология наоборот». И эта мифология уже не мечта, она живая, осязаемая реальность, которую можно пощупать, и осмотреть, и принять.

«Общие места» евангелической тематики автор «Мастера» использует почти бессознательно, как детективщик слово «убийство!». За исключением тех случаев, когда идет на сознательную ломку повествовательного клише, например, в вопросе о смерти Иуды. Ибо в евангелиях канонических на сей счет сказано совсем не так, как в пятом евангелии. В других случаях «общие места» получают трактовку, которую Ю. Тынянов назвал бы пародической: это параллели на любителя. Цель авторских мимолетных подмигиваний — не комизм узнавания, не смех совпадения, а комфорт взаимопонимания, которое так скрашивает диалоги писателя с читателем.

Вернусь к Мильтону. Основные противоречия «Потерянного рая» разветвляются в треугольнике «сатана — Адам — Ева», который кладет начало триумвирату «Воланд — мастер — Маргарита». В обоих случаях посланец ада выступает в роли благодетеля-советчика, в обоих случаях налаживает контакт с мужчиной через женщину, в обоих случаях определяет дальнейшую судьбу влюбленных. Правда, Воланд — совсем не тот сатана, что у Мильтона: куда более рафинированный, словно школу Версаля прошел. Но сатана — все равно сатана, с маленькой ли буквы или с большой, при шляпе с плюмажем или без шляпы.

А не с Мильтоном ли соотнесена композиция «Мастера» с ее характерной (и нами уже отмеченной) двойственностью? Рай потерянный — и возвращенный — именно таков контраст первой и второй частей булгаковского романа.

Некоторые другие мотивы «Мастера и Маргариты» получают неожиданную поддержку у Мильтона. Кому не запомнилось, например, восклицание повествователя в главе пятой: «Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете... И плавится лед в вазочке... и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!...»? В этой фразе — эхо переживаний

Понтия Пилата: «И тут прокуратор подумал: «О, боги мои!.. Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду!»

Ощущение разнородных слхстнувшихся стихий наплывает из обоих отрывков, и усиливается эта внутренняя сшибка чего-то несовместимого, несоизмерного возгласом: «О боги, боги мои...» Но вдруг включается рационализм: в наш-то монотеистический век, тысяча девятьсот такой-то от Рождества Христова,— и пожалуста: «О боги мои...» В устах Пилата — естественно! А в устах анонимного повествователя, знающего историю Христа и с ее колокольни взирающего на мир,— парадоксально! Языческие боги рядовому верующему и столь же рядовому неверующему представляются дремучей архаикой, вынесенной за рамки христианства еще до того, как евангелисты принесли к пергаменту. Между тем обитателям Олимпа Мильтон (видимо, в согласии с религиозной догмой) отводит место среди воинства Сатаны, и, стало быть, Пилат, с точки зрения Левия Матвея, апеллирует к адским силам. Подробные анкеты этого контингента, приводимые Мильтоном, позволяют взглянуть на булгаковские замыслы «из» классики. Первым после Сатаны Мильтон называет Вельзевула. Имя, которое не могло не остановить булгаковский взгляд при подборе кандидата в герои. Но не остановило. Может быть потому, что слишком сильные литературные реминисценции возбуждало. Начатый Вельзевулом, список «полковников» ада завершается Велиалом. Уж его-то Булгаков заметил. В тетради с первыми черновиками романа под названием «Черный маг» на полях стоят такие имена: Антессер, Азазелло, Велиар (так!). Из Мильтона можно понять, почему Булгаков отвел это последнее: «После всех пришел Велиал, самый пошлый из всех падших духов». «Самый пошлый» — такое Булгакова не устраивало даже на самом первом этапе, когда высшие сферы бытия не фигурировали в проектах начинавшегося «Мастера». Было, конечно, в мильтоновской аттестации и кое-что для современного романа: любовь к «порочу для порока», туманное вторжение в храм, «когда даже жрецы делают безбожниками» (здесь, согласитесь, есть диалектика, созвучная булгаковскому замыслу и дарованию). Но Булгаков предпочел остановиться на другой фигуре, без сложившейся литературной репутации. Такой «табула раз» представился ему персонаж, числящийся в немецком Брокгаузе, в статье о черте, как Валанд.

Из знакомых нам по Булгакову демонов у Мильтона зарегистрирован еще один. Почти сразу после замыкающего процессию Велиала упоминается — с пиететом, как доверенное лицо Сатаны, «Азазел, гордый керувим». Не Мильтон открыл сего легионера inferнальной армии и функционера сатанинской службы, циркулировала молва о нем и в других репортажах «оттуда», преимущественно документальных (т. е. от «очевидцев», от «специалистов по нечистой силе» и т. п.). Но именно у Мильтона он стоит практически рядом с Велиалом, как и в набросках Булгакова.

Даже беглый просмотр просветительской литературы по вопросам оккультизма, суеверий, фольклорной мистики убеждает в том, что за

булгаковскими демонами волочится длинный, точно хвост какого-нибудь ихтиозавра, послужной список. Прочувствованный свод информации о нечистой силе содержится в трактате двух инквизиторов: Г. Инститориса и Я. Шпренгера — «Молот ведьм». Там челяди для inferнального сюжета — что безработных на бирже труда. В том числе три имени, тревоживших воображение Булгакова: Беллиал (в форме Велиар), Сатана и Бегемот. Правда, по портрету того Бегемота («т. е. зверь, так как он дает людям звериные наклонности») даже опытный криминалист затруднился бы опознать саркастического кота.

Еще в данной связи надо назвать книгу М. Орлова «История сношений человека с дьяволом». Ее упоминала, как одно из пособий Булгакова в изучении нечистой силы, Елена Сергеевна. Однажды она вынула черный (даром что без застежек) томик из высокого глухого шкафа, какими мог бы меблировать свою алхимическую лабораторию доктор Фауст, и предъявила мне — ну впрямь заграничный паспорт мастера для поездок «туда». Когда, однако, я решил написать о знакомстве Михаила Афанасьевича с работой М. Орлова, она восстала: «Незачем об этом!» Разыгралась неистовая вдовья ревность, не ведающая ограничений ни в пространстве, ни даже во времени...

Массовые сцены с участием высокопоставленных демонов (шашаб или Великий бал) выполняются Орловым в такой манере, словно бы ему было предложено заготовить эскизы мизансцен для романа. С юмором (как позже у Булгакова) подается Бегемот: отсутствие портретных совпадений компенсируется свободой штриха. «Этот бес изображался в виде чудовища со слоновьей головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени...» Вот другая история о том же персонаже: «Благочестивому Сюрену удалось выяснить личные черты и специальности нескольких демонов. Так, Бегемот оказался демоном страшно упорным. ... Бегемот — демон сквернословия, побуждающий людей ругаться и божиться. Он сам рассказывал Сюрену, что, возвращаясь к себе домой, т. е. в ад, он обычно еще издали начинает трубить, и что когда злополучные грешники слышат его трубу, они приходят в трепет, потому что во всем аду нет более жестокого палача».

Велики внешние различия между двумя Бегемотами. Но, глядяваясь в портрет злого сквернослова, мы осознаем вдруг, что это ведь а в т о р т р е т. Не от того ли Бегемот унаследовал «наш» Бегемот свою разговорчивость?

В атмосферу «Мастера» — или в атмосферу творческой кухни Булгакова — вводит и другая книга начала века, брошюра В. Фишера «История дьявола». При небольшом объеме она отличается большим уважением к первоисточникам.

В новом повороте мы видим у Фишера генеалогию Бегемота. Повествуя о сатанинских обеднях еретиков, брошюра сообщает: «Из глубины таинственной статуи задом выходит большой черный кот, которому все присутствовавшие целовали брюхо... И опять перечни, перечни, и опять знакомые имена: «По словам доктора Иоганна Фауста («Книга чудес, или Черный ворон, или Трижды в неволе в аду»), в состав цар-

ства преисподней входят: король Люцифер, вице-король Белиал; правители Сатана, Вельзевул... великие князья Азиель, Мефистофель... великие министры, тайные адские советники: Аббадона, Хам...»

Приковывать Булгакова к одному какому-нибудь источнику сведений о нечистой силе — пустое занятие. Эти источники, как сообщающиеся сосуды, поддерживают связь между собой. И они, как конкурирующие информационные агентства современности или сплетники «Декамерона», пребывают в неостановимом разладе. Общие места писатель принимает в роман безоговорочно: они давно уже обгладаны как бы в часть действительности. Например, шабаш ведьм (т. е., по Фишеру, «полет их после смазывания тела мазью»). Уравновешивая Фишера, можно предложить шабаш в трактовке «Истории суеверий и волшебства» А. Леманна: «Натершись мазью,.. ведьмы могут носиться по воздуху на разного рода... щетках, кочергах и сенных вилах...»

Что представляет собой тот или иной персонаж inferнальной епархии — вот вопрос, зачастую получающий в новом источнике новое решение, и оно может столь сильно отличаться от другого, как Азазель, которые получает у Фишера кличку «палач Бога и дьявол смерти», а у Леманна выступает покровителем ремесел.

Пестрота представлений о легендарной фигуре, с одной стороны, препятствует кристаллизации отчетливого художественного образа. С другой же, как бы и облегчает: когда так много противоречивых слухов, нейтральный наблюдатель чувствует себя вправе сотворить о герое собственное мнение. Так и поступает Булгаков, подкрепляя свою волю откорректированным именем. Азazelло — в этом фонетическом рисунке появляется нечто «декамеронистое», с заломленным беретом. Подданный нескольких епархий, он и в романе служит нескольким ведомствам — двум по меньшей мере: адскому, по линии которого вещает патетическим тоном, и сатирическому, когда на первый план выдвигается клоуновское, «рыжее» начало: весьма прозрачная синонимика позволяет автору лишний раз ударить по цирковой струне.

## КНИЖНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

Булгаков-художник мыслил ассоциативно (что в порядке вещей), и его ассоциации завлекали на свою орбиту не только предметный мир, не только увиденное, но и прочитанное. Работа над произведением начиналась у Булгакова с первотолчка — и отталкивался он от литературы.

Еще одна мотивация булгаковской «цитатности» связана с эффектом узнавания. Не в каком-нибудь высокопарно-античном смысле слова — нет, в самом простом, от глагола «узнавать», из уличного возгласа «Ой, простите, я вас сразу не узнала!» Со времен своей фельетонной молодости Булгаков тяготел к самой сенсационной из всех литературных сенсаций: он любил показать вдруг читателю, настроившемуся на экзотику, нечто сверхобычное, примелькавшееся до анестезии, до бесчувствия — и до неузнаваемости. Этот эстетический феномен еще не изучен

или, по меньшей мере, не назван — уют кулуаров, где все друг друга знают.

Случайно ли нарек писатель своего героя Берлиозом, как бы подготавливая для себя возможность напомнить аудитории, что этот Берлиоз не имеет ничего общего с тем, прославленным, просто однофамилец?

Композитор Берлиоз... Мог ли Булгаков равнодушно созерцать эту ярчайшую звезду на музыкальном небосклоне новейшего времени? Что-то тут чувствуется мистическое, как если бы Булгаков учуял под личиной маэстро своего близнеца. Больно уж много рифмующихся мотивов обнаруживают их жизни. Две артистические натуры — и обе бесстрастной судьбой проданы (или преданы) медицине на роль жрецов. И оба возвращаются на предначертанную им свыше стезю. Но сходство, почти тождество биографических фактов может восприниматься Булгаковым как покушение на право человека жить своей личной жизнью, как парадоксальный плагиат названного, когда прошлое похищает сюжет у настоящего.

Претендентов на престол Берлиоза в статьях оказывается такая уйма, что они — по мне — взаимно уничтожаются. Слишком много — это ничего. Прототипом Берлиоза как оратора является, по моему убеждению, критика — и «ученая», и проработочная, вульгарно-социологическая, и вкусовая, салонная. Создавая образ Критики (а не критика), писатель держит перед мысленным взором конкретные образцы тогдашних писаний, один из которых Л. Филалова увидела в рецензии Сергея Городецкого на пьесу С. М. Чевкина «Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины».

А почему Берлиоз — Берлиоз? Ведь в художественной литературе ничто не совершается бесцельно. Может быть, Берлиоз-редактор имеет однофамильца-композитора или Берлиоз-композитор — однофамильца-редактора во имя неких высших сатирических или философских интересов? Ничтожество и величие под одной маской — вот ситуация, в которой сатирическое и философское неотделимы одно от другого, и, кажется, именно она привлекает в данном случае Булгакова. Человек выступает под формальным прикрытием другого лица — в его одежде, с его документами или в ореоле его славы, его репутации. Если он не разведчик, то, значит, самозванец. В аналогичном положении — представитель знатного рода: он в ответе за весь свой род. И в таком же положении случайный (по совпадению) носитель великого имени. Представьте себе удел сценариста или актера, которому достанется от рождения семь букв: для первой графы в служебной анкете: Шекспир! Или другие семь букв: Толстой. То-то ему будет хорошо, то-то будет весело! Думается, прототип Берлиоза следует искать среди таких невольных (или сознательных) претендентов на чужие лавры.

Псевдоним Ивана Бездомного прозрачен и незамысловат, как творчество тех литераторов, с которых списан образ — вместе с псевдонимом. Вот два значащих литературных имени, кои должны были, по замыслу своих носителей, характеризоваться направленностью, и пафос, и, возможно, тематику их литературной деятельности. Демьян Бедный и Михаил Голодный. Жизнь по-

эта в XX веке — не классицистическая комедия XVIII, не просветительская драма, не сентиментализм, и, естественно, Булгакова должна была раздражать эта диковинная смесь Пролеткульта со Стародумом...

Творческая программа Ивана Бездомного достаточно близко стыкуется с публикациями Демьяна Бедного, поспевшего почти к началу булгаковской работы над «Мастером и Маргаритой» со своим воинственно-атеистическим «Новым заветом без изъяна от евангелиста Демьяна».

## ОСКАЛ И УЛЫБКА

Всем, наверное, известна притча о теории вероятностей, о творческом потенциале шимпанзе или гориллы, которые запросто состряпают однажды монолог Гамлета, ежели проведут за пишущей машинкой вечность-другую. Не берусь оспаривать эту точку зрения, равно как и приветствовать ее. Выдвину, однако же, такой тезис: ежели ожидать от обезьяны острот, состряпанных по тому же рецепту, тем более сатирических произведений солидного размаха и точного прицела, она обманет ваш оптимизм. При механической стыковке слов можно получить только мертвое соседство значений вместо карнавального веселья.

Разговор этот — отнюдь не празднотеоретический. Смеховой облик «Мастера» во многом, и даже в главном, определяется образом повествователя.

Не принято рассуждать о лице повествователя как о визуальной реальности. Но бывает иной раз такая нужда. И если признать ее, о физиономии нашего уличного зеваки будут сказаны не слишком лестные фразы. Она надменна, отмечена гримасой превосходства над простыми смертными. Правильной всего было бы обозначить ее булгаковским словом «оскал», но «оскал» уже отдан Пилату. Именно так характеризуется его насмешка над окружающими.

Подобрать эстетические и смысловые эквиваленты булгаковскому «оскалу» не составляет труда. Вновь перед нами феномен неумирающей, протейстической, переменчивой иронии, чей главный критерий на сей раз вознесен на небывалую высоту, и наши микроскопические проблемки едва различимы оттуда. И впрямь, что представляет собою телеграмма (а шире говоря, элементарный всплеск человеческих эмоций) на фоне смерти? И что такое смерть примитивного литературного вождя в сравнении с самими идеями смерти и бессмертия?!

Не все остроты, фигурирующие в «Мастере», сдали бы экзамен, изощренным ювелирам каламбурного промысла. «Историк» — «сегодня... будет интересная история...» Выдающаяся находка? Да нет же! Скорее упражнение юмориста-новичка на благотворительных курсах при журнале «Сатирикон». Но Воланд, которому поручена эта реплика-рокировка, реализует ее с небрежной рассеянностью, показывая, что подобные звуковые переключки, возможно, интересны людям, но по серьезному, потустороннему счету никакой ценности не составляют. Про-

виденциальная ирония эта окрашивает весь роман от начала до конца.

Когда Степа Лиходеев просыпается после вчерашней попойки, нас посещает самокритичный и симпатичный юмор узнавания. На сцену выходит Воланд. И возникает смеховой дисбаланс между двумя действующими лицами. Где уж ничтожной личности противостоять мировому злу во всей его колоссальной мощи! Есть здесь и некий беззаботный экспериментальный оттенок: все-таки встречу Степы с Воландом даже убежденный «сатанист»-повествователь воспринимает в сослагательном наклонении: вот, дескать, какой конфуз получился бы с моим приятелем, кабы к нему пожаловал сатана.

Иногда, преимущественно при появлении мастера, ирония незаметно переходит в юмор, осаживает свой «оскал» до улыбки, которую, впрочем, веселой тоже не назовешь: она отягощена горечью воспоминаний и пророчеств о бедах, подтекстовывающих жизнь героев. Мировая ирония идет далеко не на всякие альянсы. Философский, провиденциальный юмор — один из тех редких союзников, которых она приемлет.

Но «Мастер» — далеко не торжественные поминки, не отпевание и не похороны, чья бы смерть ни подразумевалась в качестве их повода. «Мастер» — сатирический роман, в котором сколько угодно самого обыкновенного, «человеческого» смеха — на фельетонных участках сюжета, «учрежденческих», «квартирных» и т. п.

С неподдельной веселостью рассказано, например, об обитателях «нехорошей квартиры» и их исчезновениях. Не мешает нам мрачноватая проекция этой иносказательной истории на плоскость истории. Отбросим на время мудрствования, мы соглашаемся принять трагедию за анекдот.

Смех Булгакова исторически конкретен. Выходцам из прошлого, из двадцатых-тридцатых годов, тем, кто знал, сколь опасно проигнорировать праздничную демонстрацию или уклониться от подписки на заем, булгаковский рассказ о хоровом пении возвращает ощущение подлинной реальности. Предвижу, что в самом близком будущем комический запал эпизода придет в негодность — ничто не вечно под луной, особенно же переходящие искусственные формы общественных отношений. И толпа служащих со «священным Байкалом» на устах станет для читателя архаической реликвией такого-то и такого-то периода, кою долго и скучно будут дешифровать для своих современников осведомленные комментаторы.

Процесс этот неостановим: реалии стареют прямо на глазах. Еще вчера Остап Бендер, оттачивая на людях остроту, взятую из записных книжек Ильфа или искрометных речей Петрова, самоуверенно рассчитывал на бессмертие. А спустя полвека с небольшим она вызывает у иных слушателей недоумение. «Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно». Что такое вечная игла для примуса? И что такое примус?

Читатель Ильфа и Петрова вынужден будет спустя немногие годы выуживать из старых справочников сведения о том, что примус — «керосиновый нагревательный прибор с насосом, подающим керосин в горелку». Но кто воспримет остроту как остроту, как толчок к смеху, кого

она развеселит, если понять ее без словаря способны только ветераны коммунальной кухни да специалисты-филологи? Воистину, ничто не вечно под луной. Даже вечная игла для примуса!

Но есть в булгаковской смеховой гамме еще одна краска — и ей-то именно суждено, как мне представляется, долголетие. А присутствие этой краски на страницах «Мастера» поможет мне установить все тот же скомпromетированный примус. Мы вновь возвращаемся в квартиру № 50, к ее закатым мгновеньям, когда Воландова свита окончательно рассчитывается с булгаковской Москвой: «По всем комнатам мгновенно рассыпались люди, и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака, а в гостиной на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус...»

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус,— недружелюбно насупившись, проговорил кот,— и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа,— шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо:

— Ну-с, неприкосновенный чревоущительский кот, пожалуйте сюда...»

Смягчается суровый лик inferнального юмора, о котором говорилось: оскал — и только оскал. Смешит уже сама расстановка акцентов и действующих лиц в начале эпизода. Вот-вот столкнутся два всемогущества, каждое из них считает себя единственно правым и победительным. Люди, представляющие здесь от имени власти, многократно убеждались в собственном величии на практике. Как говорится, апостериори. Что касается кота, то его самоуверенность не нуждается в чувственном или сверхчувственном обосновании. Конфликт двух «абсолютных» — абсолюта абсолютного и абсолюта относительного — сейчас полыхнет вовсю!

Булгаковского Бегемота тянет соотносить с гофмановским Мурром. Между тем он развивает чисто русскую традицию. Процитированный эпизод, например, напрямую ассоциируется с Пушкиным. С Лукоморьем, с ученым котом.

В пользу этой генеалогии говорит еще и психология. Взглянем на кота глазами его преследователей. Знакомы ли они с немецким романтизмом? Держали в руках Гофмана? Склонны ли взирать на мир сквозь призму чужих, иноземных образов? Вряд ли. То ли дело Пушкин! Он даже как литература не воспринимается. Он — сама жизнь. И не какая-нибудь элитарная, нет, всеобщая, земная, настоящая, которую можно потрогать (и в которую нетрудно выстрелить из браунинга!).

Литературные раздумья над фрагментом побихтински скандальной, карнавално-беспокойной главы «Конец квартиры № 50» вовсе не такая уж случайность, как может показаться с первого взгляда. Целиком «задействованная» в сюжете, она одновременно выполняет и внесюжетную функцию, конструируя модель классического боевика со стрельбой, попаданиями, промахами, побегами и преследованиями. К inferнальному и плутовскому комизму эпизода присовокупляется еще один комизм — пародийный.

Возможно, Булгаков пародирует дореволюционные выпуски сыщицких романов, то, что именуется в старой энциклопедии «пинкертоновщиной». Или упражнения «красных конан-дойлов». Или заграничные кинофильмы, повествующие о похождениях бесстрашных авантюристов и отчаянных простаков, таких, как Зорро или Тарзан. А правильное всего будет сказать по-иному: ни того, ни этого, ни чего-нибудь третьего автор не пародирует. Или наоборот: он пародирует и то, и другое, и третье. Он пародирует жанр в целом.

Пародия стремится воскресить в нашей памяти лейтмотивы повествования, зеркальные в частности. «На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине». И еще: «Кот спружинился, мяукнул, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом».

Зеркало смотрит на описываемый мир. Чтобы его запомнить? Чтобы потом воспроизвести? Чтобы подчеркнуть самое главное? Может быть! И среди этого самого главного оказывается переходящая — и вечная — бытовая подробность: примус... Источник огня, сжигающего устаревший мир.



## КОНЦЕРТ С ДИССОНАНСАМИ

Джамал Камал. «Площадь спасения».  
Москва, «Советский писатель», 1989 г.

Имя поэта Джамала Камала хорошо известно узбекскому читателю. Однако лишь совсем недавно вышел сборник его стихов на русском языке, изданный в Москве «Советским писателем».

Книжку небольшого формата «Площадь спасения» приятно взять в руки. Оформлена, она с изяществом. Восточные мотивы выражены ярко и одновременно сдержанно. Работа художника Максима Светланова заслуживает всяческой похвалы.

Но, как известно, встречая по одежке, провозжают по уму — то есть, в данном случае, по таланту, глубине поэтической мысли, неординарности художественного замысла и его воплощения.

Для творчества Джамала Камала характерно внимание к человеку, к философскому осмыслению мира. Нет сомнений, что поэзия для автора — смысл и способ постижения мира и себя самого.

Свое поэтическое кредо Джамал Камал выразил наиболее точно в следующих строках:

И белым днем, и под луной двурогой  
Стихи мои — сердечная родня,  
Любовью, и слезами, и тревогой  
Всегда вы остаетесь для меня.

Внимательный читатель увидит, что эта мысль в разных вариантах не раз будет встречаться на страницах книги поэта.

Тематика стихов разнообразна: это и философские размышления, и стихи о природе родного края, и думы о прошлом и настоящем. Качество стихов в сборнике неровно. Вызывает, например, некоторое недоумение стихотворение, которым автор начинает свою книгу. Он размышляет о том, из чего состоит его счастье.

Само по себе такое размышление интересно. Но вот, например, первая строфа:

Из чего состоит мое счастье?  
Может быть, из железа и дыма?

Согласитесь, довольно странный вопрос. Ответ, естественно, отрицательный:

Нет, оно словно после ненастья  
Чистым воздухом зреет незримо.(?)

По-моему, автор ломится в открытую дверь. И вряд ли стоило еще вторую строфу строить по принципу первой. Далее поэт переходит к чистой риторике, что, как известно, поэзии противопоказано:

Берегите же воздух и землю,  
Сохраняйте же чистыми реки.  
А иначе — погибель приемлю  
Вместе с ними, друзья-человеки!

Ну, «друзей-человеков» оставим на совести переводчика Марата Акчурина. Однако надо сказать автору, что для начала сборника он выбрал не лучшие стихи.

Обращаясь к философскому осмыслению бытия, автор не всегда достигает философских глубин, но стремление к познанию сущности жизни и смерти, добра и зла, места человека в мире у него несомненно присутствует. Надо ли говорить о том, насколько эта линия значительна и важна? Остановлюсь на стихотворении «Улугбек». Задумано оно явно как произведение философское. Речь идет о противостоянии таланта, который персонифицирован в образе Улугбека, и завистников, которых олицетворяет Абду Латиф. Но стихотворение ослабляет какая-то наивная концовка:

А ты, читатель, за кого?  
Чем завершится битва эта?

Может быть, я не права, но, по-моему, более силен автор в стихах лирического направления, в изображении мира природы. Хорошее впечатление производят стихотворения «Рассвет в саду шумит листвою», «Как на душе сегодня беспокойно». Интересно задумано стихотворение «Крик души», мысль его своеобразна.

Природа и человек, их противостояние и неразрывная связь — одна из главных тем поэзии



Джамала Камала. Вот несколько строк из стихотворения «Полумесяц»:

Молчаливы холмы и поля,  
Глубока азиатская ночь.  
И хранит свои тайны земля,  
Словно времени старшая дочь.

Одно из лучших стихотворений сборника — «Концерт». Довольно большое, оно тем не менее не оставляет впечатления растянутости. Безукоризненное строение фразы, точность каждого слова. Работа переводчика Владимира Нежданова безукоризненна. Закончился прекрасный концерт. Замолкла музыка. Наступила тишина, подобная смерти. Но нет — жизнь продолжается с продолжением музыки:

О нет, не вынести немой полночной муки —  
верните душу мне, живительные звуки!

Помимо стихотворений, в сборник включена поэма «Лунный двор», построенная на воспоминаниях военного времени. Чувствуется, что эта вещь выстрадана автором. Следует отметить работу переводчика В. Трофименко, сумевшего передать колорит времени, живые образы персонажей.

Значительный раздел книги занимают восьмистишия. Это, как известно, традиционный жанр восточной поэзии. Именно в этом разделе, как мне показалось, больше всего удач. Прочитую хотя бы одно:

Хочу, чтобы вечерняя заря  
Меня околдовала, словно пери,  
С которой я, плененный, до утра  
Забыл бы дома отческого двери.  
Хочу, чтоб небо в утреннем огне,  
Как мать по сыну чувствуя тревогу,  
Зажгло светильник в отческом окне,  
Чтоб я легко домой нашел дорогу.

Одним словом, несмотря на то, что в сборнике много проходных стихотворений, все же спокойно можно рекомендовать сборник читателю.

Можно бы закончить на этом месте, но необходимо сказать еще об одном. Когда пишешь о переводных произведениях, всегда сложно определить, где работа автора, а где — талантливого или, напротив, бездарного переводчика. И в данном случае я не решаюсь обвинять или расхваливать кого-то из них. Однако в сборнике немало страниц, о которых я имею право сказать свое слово. Если я читаю следующее: «и ветер свищет соловьем разбойно», могу смело утверждать, что разбойничал переводчик. Переводческих ляпов разного уровня в книге весьма и весьма много. Вот какой шедевр переводческого искусства создал, например, М. Акчурун:

Сколько людских несчастий  
Кровавой слезой утирались.

А как вам понравится такое:

Моя дума,— змеей воздушный,  
Стал снижаться на лету.(?)

А каково этакое:

Мальчишкою в наследственной сторонке  
Мечтал я проскакать на жеребенке.(?)

Как вам «наследственная сторонка»?

Цитировать все переводческие грехи можно

бы на нескольких страницах. Но первенство, на мой взгляд, принадлежит следующему. В переводе с узбекского мы черным по белому читаем: «Ой, душа моя, от роду получила ты свободу». На этих залихватских переводных частушках я завершу цитирование: умри — лучше не скажешь. А сказать надо. Надо сказать, что переводчики отнеслись к собственному труду и к автору с позвольительным легкомыслием: если стихи не нравились, не надо братья. Упрек можно адресовать и самому Д. Камалу: нельзя так равнодушно относиться к тому, в каком обличье предстаешь перед всеосозным читателем. Нет ничего дурного в обращении к москвичам переводчикам, но, увы! — опыт показывает, что их подход к оригиналу бывает легковесен. Может быть, автору имело смысл обратиться и к узбекским мастерам перевода — Н. Стрижкому, А. Файнбергу, Р. Фархади и др., которые всегда подходят к узбекской поэтической стихии вдумчиво и ответственно. Надо сказать и о том, что, если уж столь известная фирма, как «Советский писатель», взялась за дело, она обязана быть добросовестной.

Л. ЛЕВИНА.

## ПРОФЕССИЯ — ВЛАСТЬ

Рауль Мир-Хайдаров.  
«Двойник китайского императора».  
Москва, «Молодая гвардия», 1989.

В размышлениях о книге авантюрно-яркой, романе раскрытых тайн и преступных возможностей позволю себе «ход конем», подход к теме с затененной «производственной» стороны. В самом деле, чем не профессия — руководитель? Свой образ жизни, своя специфика, даже своя спецодежда — белая рубашка, серый костюм, галстук. С другой стороны, Р. Мир-Хайдаров, о книге которого пойдет речь, торил путь в литературу именно как автор «производственных» произведений, романов о рабочем классе.

Производственный роман? «Фи, какая гадость! — воскликнет ныне та же самая критика, что недавно пела тому же жанру аллилуйю. — Серо, скучно... Стыдно даже говорить об этом... Издержки вульгарного соцреализма...» И т. д., и т. п. Но между тем, пренебрежение к жанру опрокидывается относящимся еще к «застойным» временам взрывом читательского интереса к роману Артура Хейли «Аэропорт», типично «производственному» по сути и структуре. Феномен объясняется отнюдь не художественными достоинствами «Аэропорта», ведь Хейли по западным меркам лишь прозаик средней руки. Дело в том, что автор выступает как первооткрыватель, Колумб своеобразной атмосферы неведомых большинству человеческих отношений, складывающихся вокруг определенной профессии. Причем описание он ведет отстраненно, не заинтересован в «воспевании радостей свободного труда», и потому-то в его романе нет

ущербности, свойственной творениям многих наших писателей-«производственников».

Среди произведений А. Хейли есть и роман «На вершинах», книга о быте и бытие, о делах и буднях правящей «элиты», о том, как добывается власть и вершится «большая политика». Жаль, что книга эта до сих пор у нас в стране не переведена, нашей «широкой читательской общественности» было бы любопытно с нею познакомиться. Впрочем, покров над жизнью отечественных власть имущих сейчас активно приподнимают публицисты, а вслед за ними и прозаики. В Узбекистане одним из первых в открывающийся просвет к «закрытым темам» ринулся Рауль Мир-Хайдаров.

Этот путь узбекистанский прозаик начал с «Пеших прогулок», производственного романа о сфере деятельности не афишируемой, но, как выясняется, достаточно распространенной — «теневой экономике». Вольно или невольно автор здесь сошел с чистого «производственного» жанра на почву сенсации, полудетектива, полубоевика. Речь шла о профессии, но о профессии преступной.

Шествую по следам собственных «Пеших прогулок», Р. Мир-Хайдаров оказался в лабиринтах «Двойника китайского императора». Есть старый афоризм: «Политика — дело грязное». Правда ли это? И насколько может быть грязна политика? В романе власть обладает темной энергией засасывающего болота. Она — преступна, она — уголовна. Не случайно где-то на задворках нового романа Р. Мир-Хайдарова мелькает фамилия корифея мафии Шубарина из «Пеших прогулок».

«Двойник китайского императора» столь же захватывающе-остросюжетен, как и роман-предшественник. Однако, если автор желал добиться такого эффекта с первых же страниц книги, он допустил просчет. Для вящей занимательности следовало начинать с чудовищной фигуры Тилляходжаева. Но, «проигрывая в темпе», завязка явно выигрывает в психологизме, представляя читателю противоречивую личность Пулата Муминовича Махмудова, Купыр-Пулата. Линия же Купыр-Пулата выводит на драматическую ситуацию: честный человек в бесчестном окружении. Впрочем, так ли уж честен этот «идеальный» руководитель, строитель мостов, печальник о благе вверенного ему района? Достаточно ли просто не брать взятку, чтобы соответствовать определению — честный?

Идиллическая семейная «сценка с самоваром» в начале книги рисует быт обеспеченный, но без излишеств. Нет рядом с секретарем райкома «холуев да топтунов как по струночке», о которых певал А. Галич, не шелестят поблизости крупные купюры, не поблескивает золото. Благосклонно глядя на не по-восточному самостоятельную и романтическую супругу, Пулат Муминович размышляет о делах государственных. Все хорошо у Махмудова, все прекрасно. Район образцовый, хозяйственник он, что называется, крепкий. Скоро его могут сделать даже секретарем обкома... Он любим народом, получил почетное прозвище Купыр-Пулат, Пулат-Мост, потому как построил нужной людям красавец-мост над бурной речкой. И нет за ним крупных грехов, не по его душу наведываются в область следователи по особо важным делам. Так почему же неспокоен Пулат Муминович, почему так мучительны его воспоминания?

Трагедия Купыр-Пулата — позднее пробуждение совести. С точки зрения не уголовного, а человеческого кодекса далеко не стерилен оказывается путь секретаря райкома. Начиналось па-

дение с предательства пылкой юношеской любви. Выгодный брак (новомодный брак по расчету «в условиях развитого социализма»), и вот — вельможный тесть проталкивает зятяка в пресловутую номенклатуру. Пятно на душе уже есть, вдобавок — пятнышко на биографии: скрыл в свое время социальное происхождение. В итоге Купыр-Пулат, как созревший плод, падает в волосатые лапы Тилляходжаева. Нет, он по-прежнему личного участия в темных махинациях не принимает. Однако, испугавшись за семью, детей, благополучие, он позволяет некоей шайке-лейке «выкупить» себя — и, тем самым, купить. И вынужден милейший Купыр-Пулат закрыть глаза на то, как вверенный его попечению район становится благодатной ареной для мафиозных делишек той же шайки-лейки, возглавляемой коррумпированным «стражем порядка» Халтаевым.

Обуреваемый поздним раскаянием, чувствуя — жизнь не удалась, Купыр-Пулат не находит ничего лучшего, чем обратиться к все тому же Халтаеву с задушевым призывом — дескать, пойдём, братец, покаемся! Последствия этого поступка так же предсказуемы, как результат прикосновения к оголенному проводу ЛЭП. Труп Пулата Муминовича, погибшего в «автокатастрофе», находят где-то на обочине дороги. Виновных — нет. И остается лишь с грустью прислушиваться к крику жены покойного: «Он был Купыр-Пулат... Купыр-Пулат... коммунист...»

Пулат Муминович был в номенклатуре человеком до известной степени случайным. «Работа в райкоме пугала неопределенностью, — говорит о нем. — Ему казалось, что там какие-то особые люди, наделенные высоким призыванием свыше, по-иному мыслящие. Он искренне думал, что не подходит в их компанию...» Зато у хозяина области Тилляходжаева сомнений в своем «высоком призывании свыше» нет никаких. Признаться, до недавнего времени и пишущий эти строки при виде некоторых лиц из «верхнего эшелона» мучился вопросом: действительно ли эти люди знают нечто, простым смертным недоступное? Или же, подобно Кисе Воробьянинову из Ильф-Петровского романа, только с важностью «надувают щеки», изображая из себя «гигантов мысли» и «отцов демократии»?

Тилляходжаев, персонаж книги Р. Мир-Хайдарова, очень усердо «надувает щеки». Не зря автор усмотрел в нем сходство с китайским богдыханом, откуда и название книги — «Двойник китайского императора». С лицевой стороны этого деятеля — «претворение в явь» показушных абсурдно-гигантских проектов за счет народа. Со стороны оборотной — «сладкая жизнь», как в западном кино. Здесь и «холуи да топтуны», и изыски кулинарии, и особняки, и порнофильмы, и спецкабинетик в обкоме для приема женщин. В характеристике Тилляходжаева автор дает два пикантно-омерзительных штриха: «двойник императора» сожительствует с сестрой собственной жены и прячет награбленное золото в могиле собственного отца. Несмотря на столь резкие детали, портрет вышел психологически убедительным. Писатель словно рассматривает под лупой «личность» ядовитого тарантула, существо бесчеловечное и античеловеческое.

Тилляходжаев — крупный преступник, «бандит в законе». С другой стороны, он представляет собой государственную власть в пределах вверенной ему области. Полномочия его здесь практически ничем не ограничены, он — сам себе и всем вокруг закон и порядок. А ведь основная функция государства — хотите по Карлу

Марксу, хотите по Джону Гоббсу — защита граждан от произвола. Что сулит гражданам слияние произвола с государственной властью? Каково людям жить под «бандократией»? Задумываешься над этим, и становишься жутковато.

Но, может быть, Р. Мир-Хайдаров просто рассказал читателю страшную сказку на сон грядущий? Увы, послесловие к книге, подписанное старшим следователем по особо важным делам, удостоверяет истинность воссозданной писателем атмосферы. Так бывало, подобное может существовать и сегодня. Писатель, верный правде жизни, заканчивает роман вовсе не фанфарами в честь перестройки. Приемник Тилляходжаева оказывается подобен предшественнику, ну а место честного Купыри-Пулата у руля райкома занимает его убийца, мафиози Халтаев. Борьба только начинается...

Единственное, что в многочисленных построениях автора романа вызывает резкое отторжение, — это его нападки на ислам. Пора бы уже нашим писателям избавляться от ультрарно-атеистических рудиментов в духе недоброй памяти журнала «Безбожник», пора наконец осознать, что верно понятая мусульманская религия несет в себе огромный заряд духовности и гуманизма, является ключом к философии и культуре Востока.

Книги Р. Мир-Хайдарова не случайно выходят в свет в центре. В наше драматическое до трагедийности время проблема «человек у власти» не только для Узбекистана, но и для всей страны — одна из основополагающих. Недавно в московском «Советском писателе» издан роман «Периферия» другого узбекистанца, С. Татура, — книга посвящена той же теме. Думается, вскоре найдет дорогу в центральные издательства и крепко сделанная проза Исфандияра. Ну а Рауль Мир-Хайдаров, как мне кажется, продолжит в своих новых книгах осмысление затронутых им жгучих проблем.

**Х. НУРИДДИНОВ.**

## «КОГДА НЕТ В ЗЕРКАЛЕ ЛИЦА...»

«Встреча». Сборник стихов. Ташкент, Издательство «Ёш гвардия», 1989.

Еще один сборник стихов из серии «Встреча» выпустило молодежное издательство республики. Предыдущая коллективная книжка, познакомившая читателей с победителями конкурса на лучшую рукопись молодого автора, представляла имена новые, малоизвестные. На этот раз молодыми авторов назвать трудно. Пожалуй, лишь Юлия Гольдберг не выпадает из нашего понятия о литературной молодежи, но и у нее это уже вторая «Встреча». Мужчинам — за сорок.

В новом сборнике знакомые имена. Но суть в том, что у каждого из пяти авторов имелось время для поэтической эволюции. Использовали они это время по-разному, да и шли разными путями.

Если принять, что каждый поэт, как и каждый человек — неповторимая галактика, то в нашем сборнике мы обнаружим «разбегающиеся галактики».

Евгений Субботин так и начинает «Слово о разбегающихся галактиках»:

Бегут от нас галактики. Спешат.  
И жалко мне — хоть что о них я знаю!  
Они моей душе принадлежат,  
А мнится: я теряю их. Теряю...

Поэт прав. Трудно найти что-то объединяющее их в этом творческом «разбегании». Грустно, что сопоставление авторов — сознательное ли, случайное (неизбежно!) — будет неправомерным. И волны представить и я, и читатели, что все пятеро вписываются и существуют в одном поэтическом мироздании.

Легче говорить отдельно о каждом.  
Поверим еще раз Е. Субботину:

Но пусть и бесконечно далеки  
И недоступны нам миры иные,  
Всем силам отчужденны вопреки  
Нас озаряют их лучи живые.

Вновь перелистаем сборник, не особенно надеясь на высокие «озаренья», но с правом ожидая немалого чуда — «живых лучей» поэзии.

Поэтическая эволюция Владимира Васильева течет медленно, как земные материки. Но она есть. Как есть движение души, а значит, и ее живое свечение, в таких стихотворениях, как морозный и искренний «Лесок», сумрачное и печальное «Древо ночи», прозрачный и туманный «Птичий остров», бледные и отчаянные «Тени»...

Стихам Владимира Васильева присуще трагическое мироощущение:

На рейде сейнера  
забыли про гудки,  
и молча ждут от волн  
пощечин поплавки.  
Лишь рыбы в глубине,  
застраившие в сетях,  
взлетая в ультразвук,  
выкрикивают страх.  
(«Птичий остров»)

Впрочем, по меткому замечанию Юджина О'Нила, «есть оптимизм более высокого порядка, который обычно и путают с пессимизмом».

Но там, где В. Васильев пытается выглядеть таким бодрячком, его постигает неудача. Открывающее сборник стихотворение «Я закрою глаза и к тебе улечу...» расцветивается романсовым придыханием: «О, как прозрачны крылья взлетающих чувств...» Стихотворение «Выход есть!» с сомнительным утверждением: «Счастье — старая привычка» резко диссонировует со стоящим рядом «Птицы-тени...» Становится непонятным: зачем в «Старой сказке» слова о «сути лебединого духа», констатация «Лебедь есть лебедь, Он в утки не годен», если всю выпренную словесность напрочь отметаю две последние очень хорошие строчки:

Мы летаем, мой гадкий утенок,  
Если на птичьем дворе не утонем.

Вот где — сказка-то!..

У Васильева мир разомкнут. Поэзия Юлии Гольдберг обращена к личному миру — галактике! — и находит в нем повод, чтобы обратиться к нам с достойными, хотя и мучительными для поэта, вопросами:

Кого мы врачуем, кого мы от муки спасаем  
Горячечным светом, нестойким,  
как отблеск кометы?

Вот оно — лицо в зеркале!

Более строгое отношение к себе, к поэзии — это и ответ многим критикам, которым стихи Гольдберг представлялись лишь стихами «книжной» девочки.

Нет, от книжности Ю. Гольдберг еще не освободилась. Насквозь литературны, от посвящений до суждений о слове, о поэзии, стихи «Поэт», «А может быть как раз на дыбу...», «Но смерти нет, покуда голос жив...» Но не было бы «книжности» — не появилась бы и высокая культура стиха, которой отмечены цикл «Судьба», «Ноябрь-Листопад», «Поэзия не терпит пустоты...», да почти все ее стихи, представленные в сборнике!

Откровенность в названии цикла стихов Александра Исаева «Мелодии Чурлениса» уже говорит о том, что зеркало самаркандского поэта ловит отраженный свет звезд из других галактик. Не будем упрекать автора в подобной установке. Она достойна уважения.

Внимательно вчитываясь в баллады и сонаты Исаева, убеждаешься, что они созвучны палитре Мастера, именем которого названы, и несут в себе боли и радости автора, с надеждой на душевный отклик современного читателя. Особенно сильны в этом цикле «Бег», «Полуболь», «Прошрое», «соната Ужа».

Трудный поиск — поиск своего лица. Поэтому возникает желание:

Отмахнуться от невидимых чудес,  
намекнуть, что в душу, мол, коварно влез  
и с размаху в краску черную макнуть...  
(«Соната Ужа»)

Нет, не этот путь выбирает интересный поэт А. Исаев. Хотя стихотворение «Дружба» явно подсвечено манерой А. Вознесенского, а «Зачем все знать?» — откровенный слепок с хрестоматийных строк Франсуа Вийона.

Эволюция Исаева в отказе от декларации и поэзы, холодной отстраненности, сердечной невыразительности, что было присуще его многим совсем недавним стихам.

Сложнее дело с Александром Нагелем. Его «галактика» кажется и не движется вовсе. Слаб был творческий импульс? Но средний уровень

начинающих поэтов середины шестидесятых был примерно одинаков.

Низкая мотивация творчества?.. Удушливая атмосфера времен застоя?.. Беда, короче.

Вот стихотворение «Девчонка»:

Свист над крышей с переливом звонким  
Ввысь подкинул стаю голубей —  
Озорная челка у девчонки  
Не скрывает шалости бровей.  
Резким взмахом в синеву послала  
Голубей мечты... А ты — лови!  
И стоит девчонка у начала  
Юности и трепетной любви.

Сколько таких «девчонок» промелькнуло на страницах поэтических сборников за тридцать последних лет!

В стихах Нагеля много заемного. Взять хотя бы петье-перепетье «журавлиные мотивы»: грусть, клин журавлей, осень, тающая стая, прощание с родной стороной, надежда на возвращение...

Цитатой из Евгения Субботина я начал эти заметки. С удовольствием возвращаюсь к творчеству поэта, которое год от года крепнет, обретает новую глубину, становится все более самобытным.

Мала его подборка во «Встрече», но она наиболее цельная. Она полна спокойной и грустной доброты, которую только высвечивают вспышки боли за несовершенство нашей жизни и нашего мира.

В его стихах — ощущение полета, но не только как радости жизни, но и как потерь ее:

Миг — и все иное: ветра рвение,  
И прохожих лица, и пейзаж.  
Я — иной, ведь каждое мгновение  
Изменяет честно возраст наш...  
(«Слово о постоянстве»)

Есть несбыточная жажда постоянства — «постоянства верить и любить» — но есть и осознание честности перемен с обостренным сочувствием ко всему живому.

Даже некоторая чрезмерная восторженность в «Полете» не снижает общего впечатления от стихов Евгения Субботина.

Поэтому и закрываешь книжку с душевной просветленностью от «живых лучей».

Не пусты зеркала поэзии.

К. АКСЕНОВ.

## К 80-летию Камиля Яшена



### ДОЛГАЯ ДОРОГА

Камиль Яшен. Кому в республике не известно это имя? Он вписал яркую страницу в историю узбекской советской литературы, узбекского искусства. Талант крупный, многогранный, он проявил себя как поэт-новатор, оригинальный драматург и прозаик.

В годы боевые — отважный солдат, в мирное время — народный депутат. В течение долгого времени — глава Союза писателей Узбекистана, организатор литературной жизни. Его заслуги отмечены многочисленными наградами. Ордена и медали, Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, почетные звания...

Известность Яшена давно перешагнула границы республики и Союза ССР. Его пьесы с успехом шли на театральных сценах. Двадцать лет назад юбилей К. Яшена торжественно отмечался в Делийском Государственном университете. Это — лишь один из примеров его известности...

К 80-летию народного писателя УзССР Камиля Яшена наш журнал приурочил публикацию его беседы с писателем Мухиддином Джаббаром.

**Мухиддин Джаббар:** Вы один из свидетелей тех дней, которые стали началом борьбы за торжество социалистической революции. Что осталось у Вас в памяти от этих дней?

**Камиль Яшен:** Трудно ответить сразу, потребуется небольшое предисловие.

Наша семья — коренные ташкентцы. Мой дед Джумабай, погонщик верблюдов, зарабатывал на жизнь, доставляя караваном грузы из города в город. Его большая семья жила в ташкентской махалле Сакичмон, отец мой, Нугман Джумабаев, родился и жил там же, впоследствии превратности судьбы привели его в Андижан, где он и обосновался. Детей у него было девятеро, я — восьмой.

В год Октября мне исполнилось восемь лет. Учился в старой, духовной школе. Отец был человек грамотный и тянулся к просвещению, в доме были книги, газеты, журналы. Сюда часто приходили люди прогрессивных, демократических воззрений. О чем шли разговоры? Я еще не понимал, только улавливал наиболее повторяющиеся слова: «свобода», «революция», «воля».

И вот она пришла — революция, подняла знамя свободы. В Андижане открывалась советская школа, названная «Ватан» — «Родина». В ней я и начал учиться, потом перешел в русскую школу. В 1925 году по путевке комсомола поехал в Ленинград на подготовительные курсы института лесного хозяйства.

Но больше всех других наук и искусств, еще с детских лет, меня интересовала литература. В Ленинграде, городе, названном «колыбель революции», эта страсть вспыхнула с новой силой. Я познакомился с произведениями мировой литературы. Жадно читал русскую классику, советских авторов. Бывал в театрах. Видел драматические произведения А. Чехова, М. Горького, В. Маяковского в исполнении лучших артистов. Все это оставило неизгладимый след в душе...

Появилась глубокая внутренняя потребность — писать самому. Великие перемены, происходившие в жизни, властно затрагивали душу, потрясали. Это находило отражение в строках стихов. Мои ранние произведения и были моим делом — служением

революции. Читатели приняли их. В 1930—31 годах были написаны стихотворения «Солнце», «Борьба», «Комсомол» и другие, вошедшие впоследствии в сборник.

**Мухиддин Джаббар:** Когда Вы решили обратиться к драматургии?

**Камиль Яшен:** И это целая история. Была в моей жизни незабываемая встреча...

В 1919 году в школе, где я учился, русский язык преподавал Мухтарджан Алимов. Он жив и ныне, проживает в Андижане, председатель совета ветеранов. Вот он-то и познакомил меня тогда с Хамзой Хакимзаде Ниязи.

Помню, остановились мы у двора с резной калиткой. Нас встретил стройный черноглазый человек, хорошо одетый. Поздоровались.

Хозяина дома звали Хамза. Он поинтересовался, как мы учимся. Потом прочел свои стихи — «Эй, сестра моя», «Старик-рабочий». Пел, аккомпанируя себе на пианино. Наступил и наш черед, мы тоже читали стихи, пели вместе с Хамзой.

В этих занятиях прошло часа два, видимо, Хамза хотел проверить наши способности.

В то время Хамза часто приезжал в Андижан, проводил «Восточные вечера», организовывал спектакли, концерты.

После встречи с Хамзой мы тоже стали участвовать в таких концертах. «Восточные вечера» имели огромное агитационное значение, в их программах беспощадно разоблачались пороки старого мира. Именно тогда мы увидели в исполнении учеников Хамзы пьесы «Бай и батрак» и «Наказание клеветников». Сам Хамза перед началом спектаклей выступал с пламенными речами. А мы с товарищем тоже выступали — в концертах, декламировали стихи Хамзы.

Эта первая встреча с Хамзой оставила в моей жизни незабываемый, негаснущий след.

Вторая встреча с Хамзой состоялась в 1924 году. Композитор Тохтасин Джалилов создал тогда в Андижане кружок, объединивший молодых певцов и музыкантов.

В 1924 году в Бухаре намечались торжества в честь образования Узбекской ССР. Хамза приехал в Андижан, чтобы познакомиться с программой молодых деятелей искусств, убедиться в их исполнительском мастерстве. Я, как комсомольский активист, сопровождал его. Хамзу я считаю своим духовным отцом. Именно со знакомства с ним начался новый этап в моей жизни и творчестве.

С 1926 года я начал писать для театра — одноактные пьесы «Глухой», «Равный с равным», «Лолахон», «Солнце». Они были поставлены на сцене.

Я решил все, что напишу, прежде всего показывать своему учителю, выслушать его мнение, советы.

В 1927 году я написал стихотворение в прозе «Цветам из ичкари», на тему освобождения женщин, и направил его учителю. Видимо, стихи понравились. Хамза передал их в редакцию газеты «Новая Фергана», где они были опубликованы 8-го марта 1938 года. Я гордился этим событием неимоверно.

В 1929 году я начал работать над пьесой «Два коммуниста». Она нравилась тем, кто ее читал. Но прежде всего мне хотелось, чтобы ее увидел на сцене мой учитель... И как было горько, что это не сбылось — фанатики, мракобесы зверски убили Хамзу в Шахимардане...

**Мухиддин Джаббар:** Известно, что пьеса «Два коммуниста» в те годы имела большой успех. В главных ролях выступали будущие знаменитости — такие актеры и актрисы, как Лютфижанум Сарымсакова, Халима Насырова, Мухамеджан Таджизаде. Пьесу ставили во многих театрах. Как вы восприняли этот первый творческий успех?

**Камиль Яшен:** Он не вскружил мне голову. Я прислушивался и к критическим замечаниям, продолжил работу. Изучал жизнь, старался понять процесс ее развития глубже, полнее. Новый вариант пьесы был закончен в 1934 году, теперь она называлась «Разгром».

Я продолжал писать пьесы — «Сожжем», «Товарищи», «Честь и любовь», «Гульсара» появились в тридцатые годы. Это были музыкальные драмы.

На олимпиаде искусства народов СССР в 1930 году мои произведения были представлены жителям столицы Союза. Это был серьезный творческий экзамен для меня.

Всем известна многосторонность дарования Хамзы: писатель, режиссер, прожекторщик, организатор. Уже в те годы во мне зародилось стремление рассказать людям об этом необыкновенном таланте, о его кипучей деятельности. Вместе с поэтом Амином Умари мы написали драму в стихах «Хамза».

**Мухиддин Джаббар:** Как ее встретили читатели и зрители?

**Камиль Яшен:** Она получила одобрение — первая постановка осуществлена в 1940 году. Но для меня это было только начало. Я снова и снова обращался к образу учителя. Переработанная пьеса стала основой либретто для оперы. И опять не было полного творческого удовлетворения. Не давало покоя желание создать произведение о Хамзе широкого, эпического размаха. Я начал собирать материал для романа, работе над которым отдал многие годы жизни.

Роман пришел к читателям в 1982 году. В то же время была начата работа над

многосерийным фильмом «Пламенные годы» — совместно с большим творческим коллективом.

**Мухиддин Джаббар:** Мы знаем, что Вы—автор сценария первого узбекского звукового фильма «Асаль» и либретто первой узбекской оперы «Буран». Каково быть начинателем новых жанров, первым вступать в область неизведанного?

**Камиль Яшен:** Мне уже восемьдесят лет. Шестьдесят пять лет не выпускаю из рук пера. Наш долг — создавать произведения любых жанров, но поднимающие судьбоносные проблемы эпохи. Мы стоим на пороге двадцать первого века. Мы живем в век космоса. Мы думаем о судьбах всей планеты, пролагая пути к окончательному уничтожению ядерной угрозы, к торжеству мира на просторах земли...

**Мухиддин Джаббар:** В своей жизни вы встречали немало замечательных людей, беседовали с ними, вступали в творческое содружество, спорили... Поделитесь с нами впечатлениями от этих встреч.

**Камиль Яшен:** Да, мне выпало в жизни счастье — познакомиться с подлинно великими, заслужившими глубокое уважение современников людьми. На первом Всесоюзном съезде советских писателей я встречался с М. Горьким, М. Шолоховым, А. Фадеевым, С. Тургунном, Н. Тихоновым, М. Ауэзовым и другими. Со многими из них дружеские отношения продолжались всю жизнь. В годы войны в Ташкент эвакуировались такие выдающиеся деятели литературы, как А. Толстой, А. Ахматова, В. Луговской, Я. Колас, М. Бажан — были встречи, беседы с ними. Незабываемое знакомство с всемирно известными писателями зарубежных стран — Н. Хикметом, П. Нерудой, Ф. Ахмадом...

**Мухиддин Джаббар:** Говорят, художественный перевод — мост между литературами разных народов. Вы немало потрудились и в этой области...

**Камиль Яшен:** Да, я перевел на узбекский язык многие сценические произведения. Среди них «Огонь» М. Гусейна, «Махтумкули» Б. Кербабаева, «Хозяин» Л. Соболева, «Светоч» М. Ибрагимова, «Антоний и Клеопатра» В. Шекспира.

**Мухиддин Джаббар:** Всем известна ваша великая любовь к устному народному творчеству. Ваша музыкальная драма «Равшан и Зулхумор», созданная на основе народного дастана «Героглы», в течение многих лет не сходит со сцены. Расскажите о своей работе в области фольклора.

**Камиль Яшен:** Начало искусства слова — в фольклоре, так сказал великий Горький. В своем творчестве я часто обращался к фольклорным мотивам. Не менее часто — к образам и темам нашего бесценного наследия, классической поэзии древности. Прекрасная поэма Алишера Навои «Фархад и Ширин» легла в основу пьесы, которую я написал. Использование классических мотивов позволило создать и либретто оперы «Дилярам».

**Мухиддин Джаббар:** Вашу супругу, народную артистку СССР, лауреата Государственной премии, любимую певицу народа Халиму Насырову называют «узбекский соловей». Можно позавидовать, глядя на вашу дружную семью. Если бы вы рассказали о своей семейной жизни...

**Камиль Яшен:** Халимахон — любимая подруга, спутница моей жизни, любящая мать моих детей, а также — требовательный критик моих произведений, соратница в делах. С той поры, как мы познакомились и вступили в брак, прошло шестьдесят лет.

Халимахон пришла в большое искусство из художественной самодеятельности. Окончила театральный техникум в Баку. Велик ее личный вклад в развитие узбекского оперного искусства. Она прекрасно знает классическое музыкальное наследие. Песня на музыку Хамзы «Оставь свою добычу, ловец» была впервые исполнена Халимой.

Мы с супругой часто обсуждаем различные творческие проблемы. Она исполнительница главных ролей в моих произведениях: Дильбар в «Двух коммунистах», Гульсара в одноименной драме, Норгуль в опере «Буран», Асаль — в фильме... За «Гульсару» мы оба в 1952 году были удостоены Государственной премии...

Наше главное общее богатство — дети, внуки. Два сына, две дочери — Кахрамон, Баходыр, Дильбар, Нодира. Отец Кахрамона и Дильбар героически погиб на войне. Мы с Халимахон воспитали их, как своих детей.

Кахрамон занимается проблемами развития общества. Дильбар — врач. Баходыр — кандидат технических наук, работает в институте энергетики Академии наук УзССР. Нодира — востоковед, специалист по арабским странам, работает в Москве.

Внуков и внучек тоже немало. Одна из них, Гули Нугманова — режиссер мультипликационных фильмов.

В годы войны мы взяли на воспитание нескольких осиротевших детей. Дали им образование. Они уже взрослые, разъехались по стране. В любом городе, куда я поеду, могу ожидать сыновнего привета...

Было бы здоровье, был бы мир во всем мире... Все мы еще потрудимся ради этого. На этот раз закончим беседу. Но впереди — еще встречи...



А. Фитрат

## СТРАШНЫЙ СУД

Свое прозвище «Почомир»<sup>1</sup> мой друг получил в кукнархане — курильне опиума. Человек он был здравомыслящий, остроумный и за словом в карман не лез, чем и полюбился публике в курильне, и они удостоили его этим прозвищем.

Собственно, зовут его Рузикул. Наш Рузикул был слугой одного из самых скаредных баев Бухары — Ахмадбая. При всей трезвости и расчетливости бай был глубоко верующим.

Рузикул хорошо знал, что его хозяин скряга и мошенник. Однако Рузикулу нравилось, что бай не нарушает пятикратной молитвы, часто читает Коран, охотно ведет беседы о конце света и загробной жизни.

Ахмадбай, часто встав лицом в сторону Каабы, воздевал руки и творил молитву за спасение души «всех рабов господ» и в их числе за спасение души Рузикула и желал своему слуге благодати в загробном мире.

Вот это и нравилось Рузикулу, и он говорил: «Не платит, ладно, молитва тоже дорога». Но при всем том из-за своего остроумия и любви к экспромтам он мог иногда так сильно обидеть хозяина...

К примеру, принес однажды бай откуда-то дешевую баранью голову, и из нее сварили суп. Хозяин суп поел, а голову припас на завтра. Рузикулу не то что мяса, глотка супа не досталось. Ночью, когда бай заснул, Рузикул достал голову, выковырял мозги, полакомился ими и положил ее на место.

Бай утром взял с полки голову, нарезал мясо, а когда очередь дошла до мозгов, поднял крик:

— Рузикул, эй, Рузикул!

— Да, слушаюсь!

— Послушай, кто трогал эту голову?

— Какую голову?

— Вот эту... баранью.

— Вчера вы сами ведь ее трогали!

— Дурак, не заговаривай мне зубы! Ты съел мозги?

— Нет!

— Кто съел?

— Мне откуда знать? Не было, наверное, мозгов у барана...

— Что за глупость? Разве бывает голова без мозгов?

— Если бы у этой головы были мозги, она бы вообще в этот дом не попала.

От этого ответа не по себе стало Ахмадбаю, кровь ударила в голову, перехватило дыхание, и ни слова не смог он сказать слуге.

Набожный Рузикул только так, острым словом, мстил своему богомольному хозяину и этим удовлетворялся...

Большую часть своей жизни Рузикул прожил, выполняя черную работу у Ах-

<sup>1</sup> Почомир — дядюшка-весельчак.



мадбая, здесь и состарился. Однажды в особенно суровую зиму Рузикул поднялся на крышу сгребать снег. Упал с крыши, сломал ногу. Кое-кто из байских слуг, живших по соседству, ухаживали за ним, давали лекарства. Рузикул выздоровел, поднялся. Но нога осталась покалеченной.

Рузикул, старый да еще и хромой, Ахмадбаю стал не нужен. Ахмадбай, частенько нараспев, прочувствованно читавший Коран и истово творивший молитву, тем самым получивший репутацию милосердного и сердобольного, так вот этот самый Ахмадбай показал на этот раз свое истинное лицо. Бесстыдно глядя прямо в глаза своему слуге, верой и правдой прослужившему ему двадцать пять лет, заявил:

— Уходи с моего двора!

Рузикул по безжалостному тону, которым были произнесены эти жестокие слова, понял — дело плохо. Не сжалится над ним черное нутро Ахмадбая. Ничего не ответил старый слуга, набросил чапан на плечи и, полный гнева и обиды, вышел. А куда идти? Жить негде, родных у него нет. Что делать? Попрошайничать? Не хочется. Наняться в услужение к какому-нибудь баю? Не возьмут — стар уже.

Рузикул долго обмозговывал такое свое положение и волей-неволей попал в одну из известных в Бухаре курилен опиума. В те времена для человека в положении Рузикула это было единственным прибежищем. Рузикул, стыдясь, нерешительно дотронулся до двери, приоткрыл ее и, склонив голову, осмотрел все стороны этого приюта живых мертвецов: клубился пар самовара, вился дым непрерывно раскуриваемого чилима<sup>1</sup>, стоял горький запах кукнара<sup>2</sup>, который ленивыми движениями давили бескровные руки в керамических черепках. Все это создавало в этих четырех стенах ядовитую атмосферу.

Как только Рузикул приоткрыл дверь, послышалось несколько сонных голосов:

— Заходи, приятель, заходи. Эй, дядюшка Джума, заварите-ка для гостя крепкого чая.

После такого радушного приглашения ничего не оставалось, как зайти. Рузикул сел. Подали чай. Преподнесли немного кукнара.

Эта обстановка беззаботности и беззлостности Рузикулу, который был в обиде на весь мир, очень пришлась по душе, и он скоро сдружился с обитателями кукнархоны. Да и сам он, будучи разговорчивым и остроумным, привлек к себе обитателей кукнархоны.

Прозвище «Почомир» было дано ему после этих событий.

Почомир день сидел в кукнархоне и в ядовитом дурмане кукнара выстрегивал зубочистки, затем продавал их на базаре, и деньги эти небольшие шли на ежедневные хлеб, чай и кукнар.

Среди обитателей кукнархоны был и чтец. Каждый день, как только выпивалась настойка кукнара, начиналось чтение. Иногда читали повести о боях Рустама и Абу-Муслима, иногда читали легенды «Мероджнамэ».<sup>3</sup> Особенно удивительные места сказаний о боях, например, сказание о том, как выходили на бой Рустам и Абу-Муслим с пятисотпудовыми палицами, как они в прах превращали врагов, приводили в трепет всю кукнархану. Все кукнарщики, конечно и Почомир среди них, в один голос кричали: «Так его, дай ему!» Но «Мероджнамэ» больше была поводом для насмешливых вопросов и ответов и шуток-прибауток. Почомир сначала со страхом прислушивался к этим вопросам и ответам, но мало-помалу страх прошел, и он смелее стал участвовать в этих разговорах. Да и после того жестокого удара, который он получил от набожного, богомольного Ахмадбая, вера Почомира сильно пошатнулась.

Однажды в кукнархоне сготовили плов, выпили настойку, заварили чай. Каждый расстелил свой грязный до черноты платок и стал строгать палочки. Чтец раскрыл книгу «Мероджнамэ». Речь шла о рае: «Каждому человеку полагается семьдесят пять тысяч девушек-гурий... ручьи меда, вина и молока... Русло каждого такого ручья не глина и галька, а золото и драгоценные камни...»

Дядюшка Джума, который это слушал, стоя у самовара, сказал:

— Вот это да... Столько богатства! Чем пропадать ему на дне ручьев, лучше бы нам прислали!

— Наверное, дорога далековата...— сказал один.

— Будь спокоен, даже если бы дорога и была близкой, нам бы не прислали, прислали бы ахмадбаям,— заметил другой.

— А чем мы провинились?

— Бог, оказывается, тоже на одежду смотрит.

<sup>1</sup> Кальян.

<sup>2</sup> Опийный мак.

<sup>3</sup> Мусульманское предание о вознесении Мухаммада.

После этого иронического ответа Почомира бросили на обсуждение еще один вопрос.

— Жаль, в раю только нет ручья нашей «живой воды»!

— Вместо молочного ручья лучше бы ручей нашей «живой воды» создали.

— Бог, который для каждого из нас приготовил семьдесят пять тысяч гурий, семьдесят пять тысяч мальчиков, неужто забыл о кукнаре?!

— Эй, послушайте, эти семьдесят пять тысяч дев и мальчиков для мужчин предназначены, а что для женщин? Для них тоже семьдесят пять тысяч мужей наготове?

На этот грубоватый вопрос чтец ответил:

— Нет. Жена каждого человека будет среди этих семидесяти пяти тысяч гурий, которые будут жить с ее мужем.

Почомир, который, прилегли на своем халате, совсем было закрыл глаза, вдруг засмеялся.

— Вот проклятье! — сказал он. — Семьдесят пять тысяч жен! Какой богатырь выдержит их скандалы?..

\* \* \*

Почомир лежит у стены в тесной и темной комнате. Занемог. Рядом с ним сидят некоторые из «знающих» друзей из кукнархоны. Все озабочены, огорчены. Один подносит больному воды, другой мажет ему лоб кислым молоком, третий повязывает голову Почомиру платком, четвертый растирает ему ноги. Чтец читает обрывки арабских фраз, которые помнит. Однако тщетность всех этих средств очень удручала друзей. Почомир скончался.

Друзья, плача, омыли его. На саван денег не нашлось. Собрали мешки из-под кукнара, залатали и сшили саван. Тело, как положено, отнесли на кладбище. Раскопали одну старую могилу и уложили в нее Почомира. Могилу зарыли, и друзья, сказав последнее «прощай», ушли.

Прошло немного времени — и могила разверзлась. Вошли в нее два странных существа: огромного роста, с жирными животами, налитыми кровью глазами величиной с блюда, с грудью, на пять вершков покрытой шерстью, с дубинками в руках наподобие палицы Рустама.

Один из них вынул из-за пазухи склянку и поднес к лицу мертвеца. Почомир встал. Огляделся по сторонам. Взгляд упал на лица гостей. И понял он, где находится, и убедился, что гости не кто иные, как Мункар-Накир.<sup>1</sup>

Задумался, как отвечать на их вопросы. Те слова, которые он знал на белом свете, от страха забылись. Страх и страдания все усиливались. Своим поведением он едва не внушил подозрения Мункару и Накиру. В это время его взгляд упал на саван. Почомир вспомнил свой гнилой и рваный саван. Он собрался с мыслями, справился со страхом. Мункар и Накир, действуя по своему обыкновению, занесли над головой Почомира дубинки:

— Кто твой бог? — воскликнул один из них.

Почомир не смутился, глядя им прямо в глаза, сам спросил:

— А в чем дело, дядя?

Мункар и Накир, никогда прежде не встречавшие такого приема, удивились и ответили:

— Мы Мункар и Накир. Мы пришли узнать, веруешь ты или нет.

— А кто вас послал?

— Бог послал, не таяни!

Почомир с видом человека, который встретился с чем-то очень странным, удивленно произнес:

— Мункар и Накир, которых послал бог, приходили три месяца назад. Вы-то еще зачем явились?

— Ты когда умер?

— Уже три месяца!

— Три месяца?!

— Да, три месяца!

— Врешь!

Почомир взял в руки свой саван и показал им:

<sup>1</sup> Ангелы. В мусульманской эсхатологии они допросом выясняют крепость веры усопшего мусульманина.

— Смотрите, что в этом саване от свежего мертвеца? Пожелтел, сгнил и разорвался. Вот, смотрите, все сыплется!

Почомир заметил, что последний его натиск возымел действие на Мункара и Накира, и чтобы еще больше их поколебать, без передышки продолжил наступление.

— Братцы, — сказал Почомир, — подумайте сами, ведь нигде не записано, когда я умер и когда меня похоронили. Да и у вас самих нет никакой бумаги, подтверждающей, кто вы и зачем пожаловали. Каждый день приходите, кому из вас захочется, и беспокоите человека. Это нехорошо, господа, неужели в вашем загробном мире такой непорядок?

Мункар и Накир, которые натолкнулись на такую встречу, опешили и не знали, что делать. Даже собрались было уходить. Вдруг Накир, старший из них, вскричал:

— Эй ты, человек! Бог сейчас дал мне знать, что ты обманщик. Хочешь ввести нас в заблуждение? Можно сбить нас с толку, но бога обмануть нельзя.

— Так в чем дело? — сказал Почомир.

— Ты умер вчера, в кукнархоне. У тебя не было денег, поэтому друзья сшили тебе саван из старых мешков из-под кукнара и похоронили тебя сегодня. Скорее отвечай, кто твой бог?

Накир занес дубинку.

Почомир, не выдавая страха, ответил:

— Подождите, Накир-ака! Бог-то, оказывается, знает, когда я умер, где я умер и когда меня похоронили, даже знает, каков мой саван. Почему же он не знает, верую я или нет?! Напрасно беспокоит и вас, и меня. Чего он хочет?!

Это был трудный вопрос, он удивил Мункара и Накира. Они ожидали от бога еще подказки, но бог ничего нового им не дал знать. Волей-неволей бросили они свое дело, чтобы вернуться сюда с новыми инструкциями. Но больше не вернулись...

После ухода Мункара и Накира Почомир уснул. Как он спал и что происходило, никто не знает. Но однажды он проснулся, услышав громовой голос карная. Подумал, что опять пришли Мункар-Накир, испугался. Протер глаза и огляделся — о, боже!.. кладбища и могил нет и в помине.

Мир — огромная степь, гладкая, как ладонь! Как колючие кусты, что редко раскиданы по безводной пустыне, из земли восстают человеческие головы. Пробуждаются мертвецы и удивленно оглядывают друг друга.

Почомир о божьем трубаче по имени Исрофил и о его трубе, называемой «Сур», знал из сказаний о Мерадже. Он вспомнил слышанное и понял, что происходит. В это время опять раздались устрашающие раскаты карная, и все вокруг задрожало. Как только во второй раз загрел карная, все люди, словно новобранцы, беспорядочно и вразнобой повскакивали с мест. Мужчины и женщины вперемежку, без савана, без одежды, даже без набедренной повязки.

Почомиру от такой картины стало стыдно. Он подумал про себя: «Ведь в светлом мире Он сам запретил так ходить?»

И опять про себя:

«Ладно, наверное, при конце света другие законы».

Масса людей, все голые, и все, точно сумасшедшие, бегут то в одну, то в другую сторону. И Почомир бегаёт вместе с ними. Никто не знает, что делать и куда идти.

Сколько Почомир ни спрашивал, никто не мог ответить. В это время появились детки с крылышками. В руках и за пазухами этих деток были тетрадки, тетрадки они раздавали людям. Почомиру тоже вручили одну. В тетрадке что-то было записано, но Почомир не смог прочесть. Неграмотный он был. Он стоял и недоуменно разглядывал, когда до его слуха донесся знакомый голос:

— Здравствуй, Почомир!

Почомир поднял голову.

— Э, да это вы, дядюшка Джума?!

Два друга из кукнархоны, невзирая на толкотню и спешку, раскрыли объятия, разговорились. Расцеловались друг с другом. Дядюшка Джума даже всплакнул от радости.

— Бедняга, дядюшка Джума, значит, и вы умерли?

Он произнес эти слова с чувством жалости и сожаления, но дядюшке Джуме они очень пришлось по душе. Он сразу оживился.

— Я умер через три месяца после вас... — начал было рассказывать историю своей смерти дядюшка Джума, но Почомир прервал его:

— Подождите, дядюшка Джума, кажется, вы были грамотным?

— Да, был. Там, на свете, в кукнархоне однажды я ведь читал Машраба, вы помните или нет?

— Да, да, помню. Вот такую тетрадку вам тоже дали, дядюшка?!

— Дали, Почомир. Только в этой тетради много несправедливого написано...

— Подождите, дядюшка, сперва прочитайте мне, что в моей тетрадке написано.

Дядюшка Джума взял из рук Почомира тетрадку. Сначала взглянул на обложку. На обложке было написано: «Это список деяний Рузикула ибн Атабая».

— Ну-ка, раскройте, прочитайте, что там написали,— сказал Почомир.

Дядюшка Джума, развернув тетрадку, начал читать: все, что ни делал Почомир с четырнадцати лет до самой смерти, было там записано. Ел плов левой рукой, с правой ноги ступал в сортир, присаживался для справления нужды, не произнеся соответствующих слов,— все это было записано в списке прегрешений.

Почомир, выслушав это, сказал:

— Дядюшка, до чего же они мелочные!

Они продолжили изучение тетрадки.

Было время, когда Почомир служил у Ахмадбая, несколько удивительных страниц этой тетрадки были посвящены тем годам. Сколько палок он получил от Ахмадбая, сколько выслушал ругани, какую тяжелую работу и как хорошо выполнял — все это было записано в числе богоугодных дел. Если же работа бывала не сделана или сделана не полностью, или же когда, получая побои и выслушивая брань, он перечил Ахмадбаю, все это было вписано в грехи. А тот самый случай с бараньей головой, когда он резко ответил Ахмадбаю, был засчитан как один из больших грехов.

Выслушав это, Почомир рассердился.

— И здесь ценят Ахмадбаев! — сказал он.

— Да, да, посмотрите, вот и обо мне очень несправедливо написано...

Не успел дядюшка Джума сказать это, как появились сторожа с железными дубинками и погнали всех людей неизвестно куда. Почомир и дядюшка Джума волей-неволей пошли вместе со всеми. Дядюшка Джума с испугу уронил на землю свою тетрадку и приотстал, чтобы поднять ее.

— Почомир, дружок, не оставляй меня! — попросил он.

Они шли и шли. Шли очень долго. Наконец приблизились к огромной площади, похожей на базарную. С четырех сторон ее высились холмы грехов и богоугодных дел. Посередине площади стояли большие весы с чашами. При весах находился верзила весовщик с лицом, наводящим ужас. Народ столпился вокруг площади. Весовщик своим леденящим душу голосом громко воззвал:

— Эй, род людской! Не говорите, что не слышали, не говорите, что не знаете! Настал день страшного суда... Вот это весы меры... Я взвешу ваши деяния... Каждый, чьи богоугодные дела перевесят, пойдет в рай... Каждый, у которого больше грехов, попадет в преисподнюю... Все приготовьтесь...

Этот крик весовщика был совершенно лишним. Потому что не только Почомир, но все, кто находился там, уже уразумели наступление страшного суда, узнали и «весы меры» и «весовщика деяний». И этот крик весовщика никого не устроил. И никто не ответил, только наш Почомир проворчал:

— Хорошо, поняли, давайте скорее принимайтесь за работу!

Дядюшка Джума хотел было возразить, но не набрался храбрости. О своих соображениях он сказал Почомиру.

— Ведь в этих тетрадках записаны все наши дела, и Они по своим меркам разделили грехи и богоугодные дела. Неужто нельзя это подсчитать и подытожить?! Зачем же весы?

— Они считать не умеют! — сказал Почомир.

После объявления принялись за дело. Дело шло так:

Миллионы мужчин и женщин со всех сторон наступают на весовщика и разом кричат:

— Вот моя тетрадка, возьми мою тетрадку. Я раньше. Не бей меня. Чего дерешься?! Эй, это я дал...

Шум стоит такой, что не разобрать, кто что кричит. Весовщик берет чью-нибудь тетрадку, например, «тетрадь Мулло Олима», зычно произносит имя, выходит Мулло Олим из толпы и он ставит его позади себя. Тетрадку вручает пятидесяти женщинам в летах — ангелицам. Эти пожилые ангелицы сидят вокруг холмов грехов и богоугодных дел. Они принимают ворошить холмы — отыскивать грехи и богоугодные дела Мулло Олима. Грехи кладут на одну чашу, богоугодные дела — на другую.

Весовщик взвешивает. Определив вес, он записывает его в тетрадь, ставит подпись и отдает тетрадку владельцу. Освобождает чаши и, взяв другую тетрадку, начинает дело сызнова. И опять шум, брань, драка, снова возгласы: «Пропусти меня, этот без очереди!»

Почомир и дядюшка Джума два с половиной года прождали, но даже на шаг не смогли приблизиться к весам. Сделают они шаг вперед, а их оттесняют на двадцать шагов назад. Если дело будет так идти, вряд ли подойдут они к весам еще через два года. Вдруг возле весов началась свара. Толпа, взвинченная от долгого ожидания, напала на весовщика. Послышались крики: «Бей, бей! Бей этого дурака, выбей ему

зубы!» Шум — до небес. Все вокруг смешалось. Слышны удары железных дубин, причитания побитых. Но, видно, натиск взбунтовавшихся стал так силен, что сторожа запросили у господ подмоги.

Издали раздались крики: «Посторонись, расступись!» Десяток-другой сторожей бежали, прокладывая ударами железных дубинок путь сквозь толпу.

Почомир смекнул, что эти сторожа пойдут прямо к весам, туда, где свара:

— Эй, дядюшка Джума, быстрее, не отставайте от меня! — с этим призывом Почомир ринулся в гущу сторожей, дядюшка Джума вцепился в Почомира, и они были буквально вытолкнуты к весам. Свара поутихла, видно, весовщик продолжил свое дело. Начальник прибывших сторожей спросил о причине беспорядка. Люди снова закричали, стали возмущаться. Кто говорит и что именно, ничего нельзя было разобрать. Почомир подошел к начальнику стражников.

— Господин, разрешите мне сказать, — начал он.

Но начальник поднял крик.

— Чего ты хочешь? В честь чего вы устроили эту свару? Сейчас отправлю всех в ад!

Почомир рассмеялся и продолжал:

— Хорошо, господин. Послать разом, может, и пошлете... Но эти бедняги, которые провели годы около весов... у них желание есть, я сказать вам хочу о нем.

— Говори! — смилостивился начальник.

— Чтобы взвесить деяния стольких людей, разве достаточно одних весов?! Не могли поставить штук десять-пятнадцать!

— А где мне взять столько весов?

— Ну и ну, — удивился Почомир, — что, во владениях господ только одни весы?! Раз вы затевали такое большое дело, надо было заранее подготовиться, следовало хотя бы разобрать и сложить толком эти скопления грехов и богоугодных дел. Если нет весов, сейчас же прикажите, пусть изготовят. Пусть люди быстрее пройдут.

Начальник немного смягчился. Он отправил несколько стражников передать прошение рабов божьих и испросить у господ бога несколько весов. Очередь дошла до Почомира. Весовщик взял его тетрадку и передал почтенным ангелицам, Почомира же поставил у себя за спиной. Ангелицы уселись отбирать грехи и богоугодные дела. Дело двигалось медленно, мольбы Почомира: «Тетушки, да благословит вас бог, нельзя ли быстрее?» — не возымели действия. Но вот, наконец, закончили они свою работу.

Грехи и богоугодные дела взвесили. Сделали запись в тетрадку Почомира и подпись поставили. Получив тетрадку, Почомир стал ждать завершения дела дядюшки Джумы. Вот и с дядюшкой Джумой закончили. И оба, наконец, выбрались из толпы.

Выбраться-то выбрались, но совершенно растерялись, неприкаянно блуждая в этой пустыне светопреставления. Почомир вдруг разозлился: «Да что же это за несчастье!» — воскликнул он. В это время они увидели кучку куда-то спешащих людей.

— Куда вы? — спросил Почомир.

— К пруду, — был ответ.

Почомир понял, что это пруд «инноатайно», то есть чистилище.

— Пойдемте, дядюшка, попьем воды, — сказал он.

Они присоединились к той кучке людей. Шли долго. Но вот вдали показался большой пруд. По окружности его стояли четыре человека с черпаком в руках каждый. Они наливали каждому воды. Но разве измученные жаждой люди могли соблюсти порядок?! Со всех сторон лезли они в пруд. Одни стояли по горло в воде, другие — по колено, третьи у самого берега пригоршнями зачерпывали святую влагу и пили, пили. Некоторые, упав в пруд, тонули. Люди так замутили и замусорили воду в пруду, что и смотреть было жутко, там, на свете белом, никто бы такую воду пить не стал. На ангелов с дубинками никто и внимания не обращал!

Почомир и дядюшка Джума приблизились к пруду. Испили и они по глотку этой мутной воды, а затем стали смотреть на драку и скандалы, которые устраивали те, кому еще не удалось пробиться к водоему.

Но зрелище это им скоро надоело.

И снова они, присоединившись к одной из групп, пошли. Наконец добрались до моста Сират. Почомир внимательно огляделся вокруг.

Пропасть, а со дна ее пышет пламя, поднимаясь высь. Языки его освещают окрестности. Через эту пропасть перекинут узкий мост — тоньше волоса и острее меча. Но это не волос и не меч! Был бы волос — давно бы сторел, был бы меч — под тяжестью такого числа людей давно бы обломался. Мост очень длинный, другого конца не видать. С этой стороны столпились люди. Ангелы с железными ду-

бинками в руках наводят порядок. Но порядка никакого — от крика, стенаний, плача, рева глохнут уши.

Несколько человек, усевшись на баранов, один за другим двинулись по мосту Сират, который тоньше волоса. Кто с барана, кто вместе с бараном, потеряв равновесие, падают в огонь. А ангелы силой усаживают ждущих своей очереди людей на баранов и отправляют по мосту. Эта картина особенно испугала дядюшку Джуму. Он хотел спросить Почомира о чем-то, но от страха потерял голос. Почомир и сам испугался. Он тихонько потянул дядюшку Джуму за руку.

— Дядюшка, пойдете, не надо оставаться здесь.

Оба захотели незаметно выбраться из толпы и удалиться. Но в это время крепкая рука схватила Почомира за плечо.

— Иди, Рузикул, твой черед!

Оглянувшись, Почомир увидел одного из стражников с железной дубинкой.

— Что вы говорите? — переспросил Почомир дрожащим голосом

— Иди, пройдешь по мосту Сират!

— А если я не пойду, а останусь здесь?..

— Нельзя! — отрубил грубо стражник.

— Хорошо. Только отпустите, я схожу немного воды выпить.

— Нельзя, — отрезал стражник и потянул его за собой. Почомир, падая и вновь поднимаясь, добрался до моста Сират. Два ангела пригнали двух баранов.

— Садись вот на этого барана и отправляйся, — сказали они.

Почомир признал этого тощего барана. В 1215 году хиджры он сам принес его в жертву. Почомир посмотрел на ангела, который придерживал барана.

— Дядя, в чем дело, у вас начальство есть или нет?

Высокого роста ангел спросил:

— Чего ты хочешь? Вот я их начальник.

— Они хотят посадить меня вот на этого барана, — сказал Почомир.

— Ну и что, почему ты не хочешь на него сесть?

— Именно на этого барана я должен сесть?! — недовольно переспросил Почомир.

— Именно на этого... — был ответ.

Почомир разозлился.

— Да ведь этого барана я принес в жертву в 1215 году хиджры, — сказал он, повысив голос. — Нас было трое, за три часа с трудом мы довели этого барана от базара до дома. Он нам все кишки по дороге вымотал. Ох, проклятый, и упрям же! Он и по широкой-то дороге ровно идти не мог. Как же по мосту Сират пойдет — и меня в огонь сбросит, и сам свалится.

— Мне-то что! — сказал ангел. — Это твой жертвенный баран. А тут каждый именно на своем жертвенном баране переезжает.

— Ну, хорошо, хорошо, господин, — сказал Почомир. — Но на белом свете я приносил в жертву еще одного барана, белого. Тот баран был поспокойнее. Приведите того, на том я и перееду по мосту Сират.

— Нет, нельзя! — покачал головой ангел.

— Да почему же нельзя?! — не унимался Почомир.

— Видно, бог принял от тебя этого барана.

— Почему принял этого? Ведь тот-то лучше был!

— Богу нет никакого дела до того, какой баран лучше! — воскликнул потерявший терпение ангел.

— Тогда до чего ему есть дело?!

— Этого барана ты купил на честные деньги, а за того, белого, платил нечестными, — не совсем уверенно произнес ангел.

— Братец, — сказал Почомир, — что значит «нечестные деньги»? Не ведаю я про такие дела. За всю мою жизнь принес я в жертву лишь двух баранов. Обоих купил на деньги с поденной работы, на деньги, добытые трудом. Собирал монету к монете.

— Перестань спорить, садись на этого барана! — вышел из себя начальник ангелов.

— Ты что говоришь! Ты выслушаешь меня или нет?! — разгневался Почомир. — Раз каждый человек должен ехать верхом на своем баране, а у меня два барана, приведи и того, белого, я выберу лучшего и поеду верхом на нем. Или вы хороших баранов себе приберегаете?!

Ангел немного смягчился, задумался, а затем, негромко сказал:

— Рузикул-ака, садись на этого барана, если бог тебя простил, и на нем переедешь.

— Подожди, братец! — не согласился, однако же, Почомир. — Этот ваш порядок какой-то дурацкий! Скольким людям вы задали хлопот, взвесили на весах их грехи и богоугодные дела, каждому в руки дали по «паспорту», вымотали душу,

устроив допрос в могиле! А какой теперь смысл сажать людей на баранов и заставлять их выплывать на мосту Сират, что тоньше волоска?! Загляните в «паспорта», вот и подпись заведующего есть, и разберитесь, кто хорош, а кто плох. Соберите грешников в одну сторону, хватайте за ноги и бросайте в ад. А нет грехов, так по хорошей дороге в рай пропустите. И вам легче, и нам хорошо!.. А если так не хотите сделать, тогда все-таки приведите двух моих баранов, и я выберу одного, на нем поеду, а другой вам останется.

Ангелы поняли, что словами трудно одолеть этого человека. Пришлось одному из них пойти и привести одного белого барана и показать Почомиру.

— Этот твой баран?

Пчомир узнал барана.

— Да, да! Мой это баран,— обрадовался он и сел на барана верхом, обхватив двумя руками его шею. Указывая стражам на дядюшку Джуму, сказал:

— Приведите и его барана тоже.

— Ты отправляйся, он тоже поедет в свой черед.

— Нет, нет. Мы поклялись войти в рай вместе.

Один из стражей привел барана и для дядюшки Джумы. Джума, как и Почомир, уселся верхом на барана, и с именем Аллаха погнали они баранов на Сират. Бараны, видно, были адресованы, они быстро засеменяли по мосту-волоску. Почомир зажмурился. Открой он глаза, наверняка закружилась бы у него голова и он рухнул бы в огненную пропасть.

На душе его было тревожно. После стольких усилий, когда он избавился от Мункара и Накира, весов и черного барана, он оказался на мосту из волоска и знал, что здесь хитрость уже не поможет.

«Ох, жаль! Вот беда!.. Все теперь зависит от этого барана. Если даже одна нога его соскользнет — конец...» — говорил себе Почомир.

— Ну, животное, как-нибудь вынеси,— умолял Почомир животное. Он удивлялся, что баран довольно быстро двигался, тот самый белый баран.

Помнит Почомир, что на белом свете был белый баран довольно спокойным. Он и помыслить не мог, что по волоску животное победит так резко. Однажды, на белом свете, он много трудов потратил, чтобы перевести этого барана через небольшой арык. Этот случай всплыл у него в памяти.

— Дядюшка, вы здесь?! — позвал он друга.

Дядюшка Джума от страха был словно мертвый. Где там голос подать, он и дышать боялся. Едва-едва смог он произнести:

— Я здесь.

— Слушайте, они здорово выдрессировали этого барана,— Почомир почувствовал благодарность к ангелам.

Дядюшка Джума не ответил. А Почомир пришел в хорошее расположение духа и принялся обдумывать причины и следствия вещей. Так, например, не мог он никак понять, для чего нужно так мучить одного человека, чтобы допустить его в рай! Ведь вездесущий бог, конечно же, должен знать — верует человек или нет. А раз знает, зачем нагонять страха, посылая Мункара и Накира, зачем томить людей на площади с весами, сажать на барана, забавляясь, переправляя его по волоску?! Сердце у Почомира обливалось кровью оттого, что не мог понять он этих вещей. Так закручинился, что не заметил даже, сколько проехал. Внезапно баран остановился.

— Ой-ей,— сказал Почомир,— если этот господин остановился на середине пути, то — конец!

Пчомир так испугался, что от страха не смог разомкнуть глаза. Но сколько же можно так вот в неведении стоять?

— Дядюшка, вы здесь? — позвал Почомир.

— Здесь. Почему мы остановились?

— А вы открыли глаза? — с надеждой спросил Почомир.

— Да разве здесь можно открывать глаза? — ответил тот еле слышно.

— Дядюшка, милый, откройте глаза! Посмотрите, может, мы уже прибыли?

— Не могу я открыть глаза... у меня голова закружится,— пролепетал Джума.

В это время послышались голоса:

— Слезайте! Прибыли!

Оба друга враз открыли глаза. Увидели, что находятся на широком зеленом лугу. Люди слезали с баранов и радостно бежали вперед. Вдали виднелись прекрасные здания, роскошные кущи — это был рай. Почомир с дядюшкой Джумой направились туда. После недолгого пути они вступили в большой город, город, похожий на сад.

Цветы, деревья, птицы, дворцы... Стволы деревьев — золото и серебро, листья — изумруды. Каждый двор — из цельного рубина, журчание воды в божественных ручьях. Друзья блуждали по городу, бродили по великолепным ули-

цам. На воротах домов были таблички с именами их владельцев. По этим табличкам счастливицы, попавшие в рай, находят свои дома. Почомир был неграмотный, поэтому он обратился с просьбой к другу.

— Дядюшка Джума, давайте сначала найдем мой дом, зайдем, попьем чаю, отдохнем, а потом и ваш отыщем.

После полутора лет скитаний остановились они перед одним уютным двориком.

Табличка на воротах его гласила: «Рузикул ибн Атабай»

— Вот это наш двор, — остановившись, сказали они.

Со двора выбежала стайка миловидных девушек и мальчиков.

— Добро пожаловать, господин, добро пожаловать! — с этими словами они стали обнимать и целовать Рузикула. Почомир понял — это гурии и райские мальчики. Они торжественно препроводили его во двор. Почомир оглянулся на дядюшку Джуму, который остался в сторонке, и сказал:

— Добро пожаловать, дядюшка Джума, добро пожаловать ко мне в дом.

Райские гурии и мальчики разом засмеялись.

— Нет, господин, этот человек не может сюда войти! — сказали они.

— Почему это не может? — удивился Рузикул ибн Атабай.

— Мы не пустим, — весело ответили они.

— Но почему? — не понимал Почомир.

— В этот дом, господин, кроме вас, никто войти не может.

— А почему же вы вошли? — нашелся тут Рузикул.

Гурии и мальчики вновь разом рассмеялись.

— Господин, мы принадлежим этому дому.

— Отвечайте без вашего веселого хихиканья! — вдруг рассердился Почомир. —

Это чей двор?

— Ваш, господин.

— А вы здесь кто?

— Ваши слуги, ваши жены, ваши мальчики.

— Раз так, нечего много разговаривать! — сказал Почомир и повел дядюшку Джуму во двор.

Но их опять с улыбками, но уже более твердо остановили.

— Нельзя, господин. Это — воля господа.

Дядюшка Джума и сам почувствовал неловкость от такого гостеприимства.

— Ладно, Почомир, не утруждайте себя. Заходите в свой дом, отдыхайте, а я пойду разыщу свой двор. А уж потом приду в гости.

На этом два друга и расстались.

Гурии провели Почомира в роскошно убранную комнату, посредине которой возвышался престол. Почомира возвели на престол, и девы и мальчики выстроились перед ним, ожидая его распоряжений. Почомир, все еще не остывший от гнева, переспросил:

— Так вы принадлежите мне?

— Да, господин, мы ваши, — почтительно улыбаясь, отвечали божественные существа.

— Вот проклятье, все вы принадлежите мне, и никто не сообразил встретить меня у моста Сират. Неужели бы сдохли от такой малой услуги? Что, мозгов у вас нет? Неужели человек, у которого столько слуг, должен полтора года мотаться в поисках своего дома?!

Почомир был очень утомлен. Ноги болели, хотелось спать. Он положил голову на подушку, закрыл глаза...

Сколько времени проспал, он не знал, но, проснувшись, почувствовал сильный голод. И вдруг появились лепешки, сливки, халва. Слуги не приносили этих яств. Блюда приплыли по воздуху. После того как Почомир насытился, кушанья опять по воздуху исчезли.

Почомир до вечера еще дважды поел. Когда стемнело, лег спать. Назавтра было то же самое. Днем — трижды прием пищи, ночь — с одной-двумя девами...

Так прошло семь дней... всего семь дней, а ему вдруг опротивело такое житье. Захотелось чем-нибудь заняться. Взял он одну деву и одного мальчика и, сказав: «Идите, покажете мне окрестности», — вышел за ворота. Куда ни глянь — сады. Под деревьями струились четыре ручья. Почомир пригляделся: в одном из ручьев текло молоко, в другом журчала кристально чистая вода, в третьем тек мед, а в четвертом струилось вино.

Почомир, увидев вино, сказал:

— Возьмем с собой побольше этого вина.

Гурия кивнула.

— Хорошо, господин, возьмем.

— Сегодня вечером повеселимся, — сказал Почомир.

— Господин, это вино не пьянит, — объяснила гурия.



— Что оно, испортилось? — удивился Почомир.

— Нет, оно не испортилось, но и не пьянит.

— Если вино не пьянит, это не вино,— отрезал Почомир.

Мальчик сказал:

— Господин, вино здесь вот такое.

Почомир больше ничего не сказал и пошел дальше, а мальчик уточнил:

— Господин, так мы не будем брать вино?

— Да пропади оно пропадом,— разозлился Рузикул.— На что оно нужно, вино, которое не пьянит!

Почомир повернул домой. Он был не в духе. Вернуться в этот дом, снова бездельничать... это его злило. Шагая, он думал, какое бы занятие себе найти. Он даже не смотрел по сторонам. Вдруг недалеко он заметил стебелек мака. От радости Почомир чуть было не пустился в пляс. Не мешкая, он побежал в ту сторону, где рос мак, но не заметил коряги и, оступившись, упал в яму.

— Караул, вытащите меня,— закричал он, что есть силы.— Я задыхаюсь.

— Почомир, Почомир, эй, Почомир! Что случилось? Весь кайф разогнали, вставайте, вставайте!

Почомир, весь покрытый холодным потом, открыл глаза...

Кукнарщики, слушавшие сказание о Мерадже, протрезвев, повскакав со своих мест, с удивлением и испугом взирали на Почомира.

— Небось, плохой сон приснился, Почомир? Очень страшно вы кричали. Перепугали всех!

Почомир, приложив руки к груди, вздохнул облегченно.

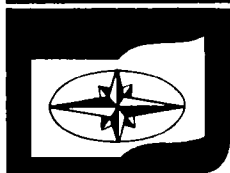
— Уф, слава богу, это все мне приснилось, а то я и сам перепугался до смерти...

Чтец продолжил было сказание о Мерадже, повествуя о рае: «Одна комната из рубинов, одна комната из жемчугов»,— но Почомир прервал чтение.

— Бросьте, не больно хвалите! Я побывал там. Ничего хорошего!

Этим своим заявлением он вверг присутствующих в глубокое изумление.

Перевод с таджикского Ш. Муталова.



Иван Лобода

## КИТАЙСКИЕ СЮЖЕТЫ

### ВОРОТА НЕБЕСНОГО СПОКОЙСТВИЯ

В самом центре государственного герба Китайской Народной Республики изображено старинное сооружение — Ворота небесного спокойствия — Тяньаньмэнь. Это — символ не только древности Китая, гордости народа своей принадлежностью к одной из старейших мировых цивилизаций. Это — символ вечности и нерушимости страны, единства всех жителей Среднего государства, как они его сами называют.

Ворота Тяньаньмэнь и площадь того же названия — святое место для каждого китайца. Здесь, как и на Красной площади Москвы, отмечаются самые знаменательные события в жизни народа. В центре ворот большой государственный герб, а недалеко от них, на самом видном месте площади, — тридцатиметровый флагшток, на котором развевается государственный флаг КНР — красное полотнище с пятью золотыми звездами.

У ворот и у площади долгое и бурное прошлое. Их история связана как с жестоким попранием прав своими деспотами, так и с вторжением иноземцев — степных кочевников, а позже — империалистов, превращавших китайцев в невольников и слуг (страна до сих сохраняет не только на теле, но и в душе рубцы и шрамы от ран, нанесенных пришельцами). Площадь знала как горечь поражений, так и радость побед. В 1949 году долгая борьба народа завершилась его триумфом на этой площади.

На месте ворот Тяньаньмэнь когда-то находились другие ворота, называвшиеся Чэнтяньмэнь. Они служили входом в передний двор перед Запретным городом. Но в середине XVII столетия при императоре Шунь Чжи были перестроены и получили нынешнее название. С тех пор сохраняются без переделок до наших дней. Открытая галерея под их двухскатной крышей, украшенная девятью шаровидными фонарями диаметром два с половиной метра каждый, стала правительственной трибуной.

Чтобы яснее представить место и значение ворот Тяньаньмэнь, надо сказать несколько слов о дворцах, в которые вели эти главные ворота с тяжелыми, обитыми листами ковеной меди створками, помпезно распахивавшимися перед данниками, проползавшими на животах в зал Тайхэдянь, чтобы попасть к тугле Сына Неба, восседавшего на золоченом кресле, поддерживаемом драконами.

Весь комплекс дворцовых строений окружен двумя рядами стен: внешние оберегали самые высшие государственные учреждения, внутренние — Запретный город, где жил император со своей семьей. Параллельно внешней стене был прорыт канал, через который у ворот Тяньаньмэнь переброшен прекрасный мраморный мост, названный Мостом золотой воды.

Дворцы строили на широкую ногу, не считаясь с затратами. При монгольской династии Юань (1280—1368 годы) в завоеванных странах Европы и Азии собирались архитекторы, ремесленники, мастера по камню. Они направлялись в Пекин, называвшийся тогда Даду, для строительства дворцов. Редкая древесина, мрамор, глыбы камня, краски, парча, меха (монгольская знать обивала стены и колонны дворцовых зал собольими шкурками, полы устилала коврами, приближая интерьеры к убранству богатых юрт) — все ввозилось в Пекин с гор и степей, со всех частей великой империи. Строениям давались утонченные названия: Зал высшей гармонии, Ворота чистой прозрачности, Беседка цветов безмолвного мира, Уединенные сады и т. д. Грозные пары каменных львов, безжалостно попиравших детенышей, охраняли входы у ворот и дверей дворцов, нагоняли страх, возвеличивали властителей.

При въезде на площадь Тяньаньмэнь стояли столбы с парой иероглифов на каждом: сячэ, сяма. Это означало — сойди с коляски, сойди с лошади. Чиновники могли передвигаться по пло-

щади только пешком, а простые люди туда вообще не допускались. Только в 1912 году после свержения монархии всем было разрешено проходить через площадь.

Перед воротами Тяньаньмэнь исполнялись сакраментальные церемонии вступления на трон императоров, как бы получения ими разрешения Неба на верховную власть. Последняя такая церемония прошла в 1909 году при возведении на трон малолетнего Пу И. Здесь же проходили ритуалы обнародования указов, подписанных императорами. В таких случаях на балконе ворот Тяньаньмэнь устанавливался раскрашенный деревянный феникс. Через его рот на тонкой шелковой бечевке медленно опускался свиток с указом. В это время высшие сановники империи, облаченные в парадные одежды, стояли на коленях. Они принимали свиток для того, чтобы распространить указ по стране.

Как только предписание Сына Неба оказывалось в руках сановников, начинала играть музыка. Она издавна считалась в Китае самым сильным по воздействию на человека искусством. Еще Конфуций называл ее вторым из шести предметов, обязательных при обучении, ибо музыка помогает «понять жизнь без слов».

В новейшую историю Тяньаньмэнь вошла в 1919 году во время антиимпериалистического «Движения четвертого мая», поводом для которого стало решение Парижской мирной конференции отдать Японии бывшие германские концессии в Китае. А начали это движение бурными манифестациями студенты. С тех пор прошло более семидесяти лет. Молодые люди всегда приходили на эту площадь, когда огненное дыхание свободы воспламеняло их сердца...

В годы милитаристских междоусобиц и антияпонской войны Тяньаньмэнь пришла в запустение. Часть ее была застроена лавками и жилыми хибарками. Поэтому за три недели до провозглашения республики пять тысяч молодых энтузиастов стали расчищать и приводить в порядок площадь. Они отремонтировали и окрасили выходящие на нее стены Императорского города, сами ворота, очистили каналы. Молодежь предложила назвать ее Красной площадью. Мао Цзэдун отверг эту идею, сославшись на решение пленума ЦК КПК (состоялся в марте 1949 года), запретившее проведение юбилеев руководителей, писание приветствий и рапортов им, переименование местностей, городов, улиц, предприятий, учебных заведений, присвоение им имен вождей.

Первое октября 1949 года было обычным днем пекинской осени. Воздух прозрачен, напоен мягким теплом, деревья готовятся надеть свой красный и желтый наряд. Как разительно отличалось это время от весны, когда мельчайшая пыль, приносимая из монгольских и синьцзянских равнин, окутывает столицу будто туманом, небо кажется серым, и солнце, похожее на тусклый красный диск, пробивается сквозь мглу. Тогда люди надевают на лица повязки из марли, закрывая рот и нос. А в этот осенний день небо было чистое, лишь утром проморосил дождик, и вскоре за воротами Цяньмэнь встала радуга, которую китайцы издревле считают сладострастным соединением Неба с Землей и воспринимают как благовещее знамение.

В десять часов утра над площадью был поднят пятизвездный красный флаг. Еще с ночи собравшиеся здесь горожане, жители предместий, провинций и национальных районов — эта живая, говорливая и звенящая смехом огромная толпа вдруг замерла, прислушиваясь к словам Мао Цзэдуна, провозглашавшего создание Китайской Народной Республики. Поразительной была эта тишина, будто полмиллиона людей затаили дыхание. Еще слова оратора отражались долгим эхом от дворцовых стен, как площадь взорвалась громом радостных возгласов.

Вскоре правительство организовало конкурс на проект реконструкции площади. В нем приняли участие более тысячи человек. После утверждения лучшего проекта началась капитальная перестройка, завершившаяся только к десятой годовщине республики.

Площадь приобрела новый облик. Ее размеры увеличивались до четырехсот тысяч квадратных метров. На ней могли разместиться полмиллиона человек. Если же учесть два выходящих на площадь проспекта шириной более ста метров каждый, по которым проходят колонны по сто пятьдесят человек в ряд, а также две трибуны, на которых свободно размещается по десять тысяч гостей, то можно сказать, что Тяньаньмэньская площадь способна ныне вместить около миллиона человек.

С востока и запада площадь обрамляют два величественных здания, вытянувшиеся более чем на триста метров по фасаду. Это — музей Исторической и Китайской революции — с одной стороны и Дом Всекитайского собрания народных представителей — с другой. Оба музея размещены в отличном здании, а дом ВСНП — уникальная дворцовая постройка и вместе с тем самое большое здание китайской столицы. У главного входа двенадцать колонн из светло-серого мрамора высотой по двадцать пять метров каждая (всего колонн более ста тридцати). Большой зал заседаний вмещает десять тысяч человек, а банкетный зал — пять тысяч.

Большие, до пятисот квадратных метров, залы названы именами провинций. Они украшены лучшими произведениями народного творчества соответствующих провинций. Все тут — самое лучшее, самое дорогое из того, что производится в регионах с населением, иногда превышающим сто миллионов жителей, как, например, в провинции Сычуань. Это — изделия из обычных и полудрагоценных камней, дерева, шелка, лака, национальная живопись и вышивка. И каждое — произведение искусства, поражающее мастерством, виртуозной тонкостью отделки. Меня же там пленила еще и мебель великолепного рисунка, настоящие кружева, в которых извиваются драконы.

С самого юга площадь как бы закрывают ворота Цяньмэнь и башня Цяньлоу, оставленные после разрушения стены, которая некогда гигантской каменной твердыней прикрывала город.

В центре таким образом замкнутого пространства находится памятник героям, павшим в борьбе за освобождение народа. Его обелиск — самый высокий из всех воздвигавшихся когда-либо в Китае. Он на четыре метра выше ворот Тяньаньмэнь. На пьедестале памятника прекрасные барельефы, отображающие подвиги народных героев за сто лет до освобождения страны и создания Китайской Народной Республики. Памятник героям — это место, где собирается молодежь, размышляя о делах своих предков, осмысливая историю своей страны...

Южнее памятника — Мавзолей, где в хрустальном гробу находятся забальзамированные останки Мао Цзэдуна.

Площадь и ворота Небесного спокойствия в самом своем названии отразили стремление китайского народа к миру. Но, увы, им часто приходилось знать бурные, а не спокойные времена.

## МИЛОСЕРДНЫЙ БАМБУК

Немногим довелось увидеть цветы бамбука, похожие на метелки ояса: он расцветает раз в четверть столетия. Но его красота не в цветах, а в стройности, изяществе ярко-зеленых или густо-желтых стеблей, колышущихся листьев, таких нежных в оттенках, что кажется, будто через них просвечивает роса. При легком ветре они издают звуки, похожие на аккорды арфы, а в бурю их шум полон силы и страсти.

Китайцы души не чают в этом грациозном растении. О нем говорят с большой теплотой, а то и возвышенно. В Кантоне, в саду при богатой вилле, где не повторялось ни одно дерево, кроме бамбука, садовник рассказывал о нем, будто о любимом человеке. «Бамбук, — говорил он — полный внутри, но не бесстрастен сердцем. Он спокоен и красив в своем убранстве, прямой и чистый, честен душой и умеет себя сберечь».

Много особенностей у бамбука, но одна более всего примечательна — его интенсивный рост. Тут ни одно древовидное растение не в состоянии сравниться с ним. Известны случаи, когда в течение суток он вырастал на один метр, и только вывес, в одном направлении. И так до двадцати и более метров. Именно поэтому у китайцев есть поговорка: «как бамбук после дождя».

Бамбук распространен повсюду в южных и центральных районах Китая. Он доходит до Пекина, выдерживая случающиеся там десятиградусные морозы. Нисколько не преувеличивая, скажу, что это одно из самых ценных произведений китайской природы.

В Среднем государстве видов бамбука — несколько десятков, а разновидностей — сотни. Но у всех испокон веков есть общее — прямой ствол, разделяющийся прочными перегородками, и гладкая поверхность. Упомяну мелкий бамбук с непропорционально длинными листьями. Его употребляют для создания невысоких, но почти непроходимых изгородей. Есть еще совсем крохотный, очень ценный цветоведами. По окраске стволов различают ярко-красный, пятнистый, полосатый, черный с золотистыми прожилками и самый распространенный — зеленый. Такие цвета делают бамбук незаменимым в декоративном садоводстве, при оформлении парков и в разных поделках кустарей.

Китайцы ценят все прекрасное в природе. Поэтому бамбук давно привлек их внимание эстетически. В китайском искусстве, очень богатом символикой, он манил и соблазнял прозаиков, поэтов, художников национальной живописи. Для всех бамбук — символ красоты, несгибаемости, моральной чистоты. Его широко используют в декоративных орнаментах на тканях (от ситцев до парчи), фарфоровых изделиях, различных шкатулках.

Поэты Среднего государства извечно стремились писать и читать стихи в бамбуковых рощах, отрешаясь от мелочной зависти и злобы. Но это не был покой в отдалении от людей и отсутствии желаний, это не была поэзия отшельничества, презрения к властям и богатству. Бамбуковые рощи создавали высшую душевную настроенность, все образы обострялись, оживало вещное предчувствие. Бамбук облагораживал поэтов. Он был знаком чистого искусства (чистого от всего низменного и непристойного), он вдохновлял на высокие дерзания и смелые цели. Вместе с тем, поэты знали, что простота и прямота бамбука не оправдывают небрежности, что хотя бамбук мягок внутри, но снаружи прочен, решительно сопротивляется всякой скверне. За все это они любили его редкой, чистой любовью.

Но больше, чем за красоту, народ почитает бамбук за его полезность, всегдашнюю потребность людям. «Лучше питаться без мяса, чем жить без бамбука», — горвают китайцы. И это — святая правда. Бамбук вошел в их быт благодаря быстрому росту, прочности, легкости в обработке и тому, что его древесина решительно сопротивляется гниению.

В повседневной жизни мало предметов делается не из бамбука. Английский синолог Д. Бэлл писал об этом так: «Вопрос не в том, для чего бамбук употребляется, а в том, для чего он не употребляется. После продолжительного пребывания в Китае, когда открываешь все новые и новые бамбуковые предметы, можно только с незначительными оговорками ответить, что бамбук употребляется не на все». При этом надо отдать должное тому мастерству, которого достигают мастера в обработке бамбука.

Не буду составлять полный перечень вещей, которые делают китайцы из этого растения. Назову лишь то, что приходилось видеть своими глазами.

Из бамбука строят дома (а некогда сооружали и дворцы), водопроводы, мосты (на реке Миньцзян в провинции Сычуань целиком из бамбука был построен мост длиной 320 метров), паромы, склады, сараи, изгороди, изготавливают грабли, вилы, коромысла, лестницы, удилица. Ручные коляски и крестьянские телеги, эти колымаги, со скрипом ползущие по китайским дорогам, наполовину сделаны из бамбука. В дождливую погоду крестьяне пользуются накидками а ля Робинзон Крузо, связанными из листьев бамбука. Портные и плотники из него делают свои метры, строители — леса, хозяйки сушат на бамбуковых шестах белье. Все жители государства каждый день имеют дело с бамбуковыми палочками для еды, с зонтиками, ручки, ребра и пружины которых талантливо сделаны из этого прочного растения.

А мебель? Кажется, что ее вообще не существовало бы у простого люда, не будь бамбука. Помню легкие и изящные бамбуковые шторы, переносные ширмы, клетки для птиц, запоры для дверей, рамы для картин, корзины для овощей и для мусора. Все эти изделия особенно хороши в жаркие дни. Все убеждены, что от них будто веет прохладой, они безразличны и к влажности, и к сухости воздуха.

Китайские мастера, среди которых много людей одаренных, производят полезные или красивые декоративные вещи из бамбука. Глядя на коробки для чая или конфет, на портсигары с гладкой, как полированный бук, поверхностью, не подумаешь, что они сделаны из бамбука. А весь

секрет в производстве. Расколотые звенья бамбука очищают и долго вываривают. Потом их выправляют под прессом в пластинки и пускают в дело.

Коричневые, мохнатые побеги бамбука — большой деликатес китайской кухни. Их нарезают тонкими пластинками и жарят с мясом или добавляют во многие другие блюда. Из таких побегов делают вкусные маринады. Некоторые виды бамбука содержат сладкий сок, из которого производят сахар. Семена же этого растения высушивают, размалывают, получают муку, пригодную для приготовления пампушек и даже хлеба.

Завершая рассказ о бамбуке, очень хочу еще раз напомнить о его живописности. Он красив во все времена года. Ничто на свете не может сравниться с бамбуковой рощей во время редкого в районах южнее Янцзы снегопада. Припушенные стволы пригибаются к земле, и как прекрасна и непривычна среди снега яркая зелень листьев!

Китайцы к слову «бамбук» часто прибавляют другое — «милосердный». Так велика добрая отдача этого чудесного растения.

## ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

В гимне Китайской Народной Республики есть такие слова: «Из нашей плоти и крови построим Великую стену».

Стена строилась и перестраивалась в течение столетий. Все это время на ней находились многотысячные гарнизоны войск. Неисчислимы беды принесла стена народным массам, занятым на ее возведении, ремонте, поддержании такого циклопического сооружения в должном порядке. «Сыновья продолжали труд своих отцов, сгибались под тем же бременем, что и они», — писал китайский историк.

Как совершенный по меркам своего времени военно-инженерный объект, стена ограждала китайские провинции от набегов кочевников. Их орды из районов нынешней Маньчжурии, Монголии, Забайкалья постоянно угрожали оседлому народу.

Великая стена повлияла на сохранение и развитие китайской культуры. У этого сооружения были еще второстепенные функции. Например, как преграда на пути песков из гобийских пустынь, сохранение от заносов полей непосредственно за стеной и далее в глубь страны.

Вне Китая Великая стена представляется как символ замкнутости, стремление обособиться от мира. «Отгородиться китайской стеной» — такое выражение существует не только в русском языке. Это — правда, хотя и не полная. Исследования китайских и иностранных ученых показали, что западная часть стены, особенно Западный вал, продолживший стену от Цзяюйгуаня, имела и другое значение. Она не служила изоляцией Китая, а, напротив, обеспечивала его связи по Великому шелковому пути с внешним миром. Под ее прикрытием находились трассы торгового общения жителей Среднего государства с другими народами.

По традиции китайцы называют Великую стену Ваньличэн (Стена длиной в десять тысяч ли). Если учесть, что она, проходя по горным хребтам, делает петли, извивается, как чудовищная змея, приспособившаяся к рельефу местности, то фактическая длина достигает действительно десяти тысяч ли, или пяти тысяч километров.

Сооружение грандиозно по размерам, количеству затраченного труда и массе использованного материала.<sup>1</sup> Высота стены около семи, ширина по основанию — шесть с половиной, а по верху — пять с половиной метров. По верху с лицевой и тыльной стороны стены — парапеты. Внешний парапет весь в зубцах, в нем амбразуры для лучников. Между этими невысокими стенами — мощенная каменными плитами дорога, по которой могут проходить боевые колесницы и повозки.

В некоторых местах, особенно в проходах через стену, построены крепости, военные городки с жилыми помещениями для гарнизонов войск. Они окружены каменными заборами. Массивные ворота с высокими сторожевыми башнями над крепостями-проходами придавали стене величественный и грозный вид.

Строилась стена из двух параллельных кладок. Лицевая — из плотных пород, часто гранитов и базальтов, внутренняя — из больших обожженных кирпичей, плит известняка или песчаника. Между кладками утрамбовывался песок, заливаемый известковым раствором. По расчетам китайских ученых, для постройки такого корпуса стены, не считая фундамента, потребовалось сто пятьдесят миллионов кубометров земли и около пятидесяти миллионов кубометров камня и кирпича.

Подсчитано, что для подобных работ необходимо было не менее шестисот миллионов человеко-дней. Однако не поддается даже примерному подсчету, сколько человеческого труда потребовалось для добычи и перевозки камня и кирпича. Надо иметь в виду, что кирпич доставлялся за сотни километров от места работ, даже из провинции Шаньдун. Трудность состояла также в подъеме этого материала на высокие горы.

Великая китайская стена — самое выдающееся из всех сооружений китайской древности. Может быть, только Великий канал — вторая исполинская составная китайской цивилизации, способен сравниться со стеной по количеству затраченных сил на его создание и по значению для Среднего государства в течение почти двух тысяч лет. В эти два сооружения вложен труд многих поколений. Время несло холмики забытых могил их создателей...

Великую стену строили сто с лишним лет. Главная заслуга в создании этого сооружения принадлежит князю Чжэну, сумевшему в 221 году до нашей эры объединить Китай в одно центра-

<sup>1</sup> Не везде стена создавалась в таком виде, как она проходит у Пекина на участке от Шаньхайгуаня до Калгана. Далее на запад впечатление не столь внушительное. Не считая башен, там стена нередко представлена земляным валом, облицованным оказавшимися под руками материалами, а то и вообще без облицовки.

лизованное государство и принявшему титул Цинь шихуанди — Первого императора династии Цинь.

За долгие, неторопливые столетия у стены были как хорошие, так и скверные времена. Когда Китай был завоеван кочевыми народами под водительством монгольских ханов, стена перестала играть роль оборонительного сооружения, пришла в запустение, почти четыреста лет не ремонтировалась. С началом династии Мин (1368 год) была предпринята коренная перестройка стены, особенно на ее восточном участке от Желтого моря до Калгана. В том виде, какой ей был придан четыреста-пятьсот лет назад, она дошла до наших дней.

Не один раз я бывал на Великой китайской стене то у Бадалина, то у Губэйкоу. И каждый раз она представляла как завораживающее видение. Нет, не убаюкивала своей красотой, величием, хотя она действительно очень хороша. В любом месте на Земле такое зрелище восхищало бы людей!

Стена заставляла почувствовать, что пронеслись здесь века и тысячелетия. Она была не только свидетельством силы, работоспособности, организованности и мудрости китайцев, но также напоминанием о высоком уровне инженерного искусства тех далеких времен и, если хотите, о вкусе предков.

Великая китайская стена — это и памятник тем миллионам людей, которых обрекли на неволю, рабский труд и в конечном счете — на гибель.

В отличие от знакомых пекинских интеллигентов, меня одолевало не чувство гордости за исполинское сооружение, а тем более не возвеличивание того, с чьим именем связано создание Великой китайской стены, а горечь, усиливавшаяся от сознания, что произошедшее здесь большое злодейство<sup>2</sup> было не редкостью за минувшие столетия, что народные страдания, принудительный, рабский труд на «великих стройках» (такими стройками во все времена увлекались деспоты, начиная с эпохи Вавилонской башни и египетских пирамид до Северо-морского канала), тюрьмы, бесправие — одинаковы при всех тиранических режимах, какими бы красивыми словами они ни назывались.

Конечно, история повторяется.

Однажды пришлось говорить о Великой китайской стене с поэтом Сяо Санем, ныне покойным. Он был старше меня, серьезней, все тщательно обдумывал, в общем, считался человеком семи пядей во лбу (а таких, кстати, тогда в Китае не ценили). Я часто отвергал его мудрость, потому что не понимал ее. Как-то раз он сказал, что китайцы сгибаются, как бамбук в бурю, мужественно, без жалоб встречают неизбежное. Но из таких испытаний судьбы они выходят более сильными и бесстрашными.

Может быть, злополучная стена — это испытание судьбы, которое выдержали китайцы. В их усилиях и жертвах, связанных с этим чудовищным сооружением, предстают черты великого народа.

## В ДНИ ОБЩЕГО ВЕСЕЛЬЯ

Праздники. В Китае они, как и повсюду, радуют сердце. Каждый, кто хоть раз провел праздник среди китайцев, будет долго его помнить. В это время, свободное от повседневного труда, — лучшая, чем в будни, пища, лучшая одежда, веселые развлечения. Это — общение людей, у которых есть возможность обменяться новостями, поговорить обо всем на свете, отдохнуть от однообразных будней. Это, наконец, способствующее хорошему настроению обилие повсюду красного цвета, который в Китае считается цветом радости и счастья.

Иначе говоря, в волнующей радости таких дней китайцы хоть на время забывают о бедах и неприятностях, которых у них тоже предостаточно. В праздники у людей повышается жизненная активность; увлеченные торжествами, они становятся более независимыми, чем обычно. Разумеется, в этом нет ничего плохого; только тот, кто самостоятелен, сам себе голова, больше ценится другими. Кто нравится самому себе, легче может понравиться другим. Ведь еще в старину китайские мудрецы призывали поклоняться не духам, а совершенным людям, высоко ценящим собственное достоинство, дорожащим самоуважением.

Так сложилось, что в Китае праздники официальные и международные отмечаются менее красочно и интересно, чем народные, в которых больше непосредственности, веселости, занимательности. В них видно, как крепки и непрерывны традиции.

Официальные праздники очень похожи на наши. Это — доклады, речи, прохождение колонн трудящихся мимо трибун, гуляния в парках (оформление их всегда политизировано), а вечерами — фейерверки, в устройстве которых китайцы не знают себе равных. Об этом написано много. Я же расскажу о праздниках народных, менее известных. Тем более, что в них ярче проявляются характер, национальные особенности китайцев, живущих в бесчисленных деревнях, поселках и мелких городах.

Самый популярный праздник у этих людей Новый год, или праздник Весны. Он был установлен в 140 году до нашей эры, хотя китайцы убеждены, что это произошло намного раньше.

Новогодний праздник отмечается по лунному календарю. Обыкновенно он приходится на

<sup>2</sup> Тяжелые мучения народа, создававшего Великую стену, богато отражены в китайском фольклоре. С незапамятных времен известна песня «Плач Мын Цзянной у Великой стены». В ней говорится о том, как крестьянка, прождав десять лет своего мужа, угнанного на строительство стены, сама отправилась на поиски его. К тому времени участок стены уже был построен. Люди сказали Мын Цзянной, что муж ее умер и похоронен под стеной, но они не могли сказать в каком месте. Крестьянка села у стены и долго плакала горькими слезами. Искренняя, безмерная ее любовь к мужу разстрогала Небо. Участок стены разрушился, и она увидела труп своего любимого.

конец января или начало февраля. А празднование Нового года по общепринятому календарю прививается с трудом, особенно среди сельского населения.

У этого, как и у других народных праздников, глубокий смысл: стремление отметить окончание зимы, начало пробуждения природы. Сельское население, а оно составляет в стране три четверти всех жителей, связывает с праздником свои помыслы о новом урожае.

Подготовка к новогоднему празднику, который обыкновенно длится три дня, начинается задолго до его наступления. Прежде всего производится генеральная уборка помещения, двора, хозяйственных построек. Готовится пища на несколько дней: «няньгао» (новогодние лепешки из муки и клейкого риса), «няньбин» (новогоднее круглое печенье), «няньчай» (разные новогодние блюда). Дело в том, что издревле существуют правила поведения в праздничные дни и запреты. Это усложняется тем, что на три дня прекращается торговля. В праздник нельзя не только готовить пищу, но даже пользоваться ножами, ножницами, топорами, в общем, острыми предметами. Нельзя подметать помещение, говорить неблагозвучные слова и т. д. Все члены семьи, находящиеся вне дома: на учебе, в командировках, на заработках, — возвращаются к своим родным.

В предназначенные дни в государственной торговле и на частных рынках появляется много продовольствия, одежды, обуви, игрушек, украшений, новогодних картинок — няньхуа. В эти дни устанавливается пятипроцентная скидка на все товары.

На самом старшем в семье лежит важная обязанность в ходе подготовки к празднику. Он организует оклейку ворот, всех дверей, окон и стен новогодними картинками. Это — китайские лубки, глубоко проникшие в обиход, ставшие несменяемой модой, особенно среди сельского населения. Кроме картинок, вывешиваются тексты изречений мудрецов, популярных выражений и поговорок. Их пишут черной, иногда желтой тушью непременно на красной бумаге.

На картинках изображаются богатыри, повелители демонов, а то и самые страшные животные, вроде однорогого чудовища — сечжай, способного отличать праведника от злодея. Последнего сечжай убивает своим ужасным рогом. Все это вывешивается для охраны семьи от злых духов. Крестьяне также охотно приобретают картинки с изображением всяких богатств, например, телеги, запряженной мулами и нагруженной горой мешков с рисом. Многие верят, что одна из картинок в новогоднюю ночь оживает. Любима картинка с изображением двух братьев-близнецов — хэ-хэ, румяных, крепких. Один с неистово красным персиком — символом долголетия. Другой с коробкой, из которой вылетают летучие мыши — символ счастья (летучая мышь произносится так же, как и счастье — фу).

Конечно, после победы народной революции появилось много картинок на современные темы. Хотя здесь дело не обошлось без конфузов. У меня хранятся две оригинальные новогодние картинки, отпечатанные в частной литографии в Тяньцзине. На одной довольно похоже изображены К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин. Они сидят за столиком и играют в популярную в Китае игру — маджан. На другой картинке — тележка рикши, в которой развалился Мао Цзэдун. Тянут тележку трое: Г. Трумен в центре, а по бокам — Дж. Неру и Г. Маленков. Полагаю, что эти «няньхуа» не нуждаются в комментариях.

Что касается текстов, то тут — море фантазии. Но главное все-таки — пожелания счастья, исполнения планов, нравоучительные поговорки. Например: толстый учащийся — преступление против всех правил (он должен быть тощим от занятий науками): вино не может превратить порядочного человека в подонка; тот, кто много говорит, часто терпит неудачу (соблюдайте меру); сын почтителен, отец любвеобилен, правитель справедлив.

В некоторых районах Китая распространено наклеивание вырезок из бумаги, которое справедливо можно назвать массовым народным искусством. Оно известно столетия и достигло больших высот. Темы вырезок весьма разнообразны, но больше всего это животные, птицы, рыбы, цветы, простейшие пейзажи, сцены из народных сказок и популярных опер.

И вот приходит новогодний вечер, начинается самое главное — проводы бога очага Цзао-вана, который находится в каждом доме и следит за поведением его жильцов. В новогоднюю ночь он отправляется на Небо к верховному владыке — Юй хуанди — с докладом о делах семьи. Поэтому к нему относятся особенно учтиво: зажигают перед его лубочным изображением свечу, ставят пищу. Некоторые смазывают Цзао-вану губы медом, чтобы его речи там, наверху, были сладкими. Сильно нагрешившие семью даже заклеивают полоской бумаги рот Цзао-вану, чтобы он не мог сказать и слово на Небе.

Вообще-то очень различно отношение верующих китайцев к своим божествам. Однажды в полупустынной провинции Суйюань я стал свидетелем такого события. Долго не было дождей, стоял зной, от которого задохались не только люди и домашний скот, но и сама земля, усталая, тысячи лет паханная и перепаханная. Многие толком не знали, что лучше — жить или умереть. Моления не давали ни малейших результатов. Тогда жители, негодуя, вытащили каменных и деревянных истуканов из кумирни и стали избивать кнутами, головы их измазали экскрементами и оставили под открытым небом до первого дождя. Крестьян возмущала бездеятельность богов. Отношения с ними они строили на чисто деловой основе: мы даем вам то-то и то-то (например, мажем бараньим жиром губы и ступни ног), а вы должны делать то-то и то-то. У каждого свои обязанности. Поэтому хитрости с богом очага Цзао-ваном были делом обычным и никого не удивляли.

С наступлением темноты, когда Цзао-ван оставляет дом, начинается светопреставление. Воздух потрясают разрывы хлопушек<sup>3</sup>, вспыхивают бенгальские огни, в небе взрываются фей-

<sup>3</sup> Этот обычай имеет двухтысячелетнюю давность, идет со времен Ханьской династии. Собственно хлопушек тогда еще не было. В костры клали бамбуковые палки, которые лопались, издавая треск. Таким способом изгонялась нечистая сила. При Сунской династии, то есть около тысячи лет назад, появились хлопушки из картонных трубок, начиненных порохом. С небольшими усовершенствованиями они существуют и теперь. По всей стране для удовлетворения огромного спроса на эти нехитрые изделия работает множество предприятий.

ерверки. И все это под оглушительный грохот барабанов и гонгов, под гул самых невероятных форме труб. И так до утра. Никто не спит — ни взрослые, ни дети. Злые духи в отсутствие очага напуганы грохотом. Они не осмелятся проникнуть в дома.

На рассвете Цзао-ван возвращается. Его приветствуют оглушительной музыкой ударных инструментов. (Как проводы, так и встреча Цзао-вана больше похожи на веселое развлечение, чем на религиозный ритуал. Кажется, что так они воспринимаются и самими китайцами.) Затем молодые члены семьи поздравляют родителей словами: «гун-си, гун-си» (в переводе означает — желаю вам счастья), совершая при этом поклоны. В домах вокруг стариков, похожих на библейских патриархов, рассаживается вся семья. На новогоднем столе яства, некоторым придает символическое значение. У северян в такую трапезу включаются пельмени, в одном из них скрыта маленькая монета. Кому она достанется, тот будет богатым и счастливым весь год. У южан принято есть юаньцзы — круглые пирожки из рисовой муки с разной начинкой. Они символизируют благополучие и единство семьи.

В первый день Нового года посещают родных, близких, друзей с поздравлениями, пожеланиями всего доброго. Затем — гуляния, все виды художественной самодеятельности: от шестий ряженных на ходулях, до чего китайцы большие охотники, до танца «игра дракона с жемчужиной». Десять и более человек несут извивающегося дракона. Люди скрыты в теле чудовища, сделанного из бамбукового остова, оклеенного тканями и бумагой, видны только их ноги. Особенно искусно действует тот, кто управляет головой монстра, стремящегося проглотить вращаемый перед ним перл. Это привлекает к себе внимание уличных толп, готовых сопровождать дракона хоть на край света.

Не менее интересен «танец льва». Царь зверей, повинувшись воле таких же, как и в игре дракона, носильщиков, то ложится в типичной для льва позе, то делает прыжки с подлинно кошачьей грацией. В некоторых провинциях кроме такого танца еще устраиваются различные потешные представления. Вот одно из них, организуемое в Гуандуне. Посреди площади прочно укрепляется бамбуковый столб. На его вершину привязывают мешочек с металлическими монетами. У столба парни из своих тел устраивают пирамиду, по ступеням которой лев должен подняться, взять приз и опуститься на землю. Эта часть праздника самая шумная, ведь, кроме грохота гонгов, барабанов, разрывов хлопушек, продвижение льва по пирамиде сопровождается подбадриванием со стороны многотысячной толпы.

Еще не забыты шумные развлечения, радости новогоднего праздника, как подходит (через две недели) праздник фонарей. Целую ночь внутри и снаружи домов светятся фонари из разноцветной бумаги и стекла со свечой внутри. Поражает разнообразие форм фонарей, с которыми толпы гуляют по улицам. Это и рыбы, и птицы, и звери: все сделано искусно и горят разными цветами. На больших фонарях, вывешиваемых на площадях, написаны загадки. Тот, кто отгадает, получает приз.

Праздник фонарей любим в народе не только за непосредственность и веселье. В течение ночи люди могут показать свое мастерство в создании самых различных фонарей. О самых лучших мастерах, о наиболее изобретательных на выдумки пишут местные газеты. Очень подробно праздник фонарей описан в переведенных на русский язык китайских классических романах «Речные заводи» и «Сон в красном тереме».

Неизвестно, как возник праздник фонарей. Остаток ли это архаичных ритуалов и религиозных обрядов, или он более нового происхождения, связанного с каким-то событием, например, с ночными поисками кого-то или чего-то. Во всяком случае, в нем не чувствуется ностальгии по прошлому, желания жить в неторопливом ритме прошлых времен.

Помню еще два распространенных народных праздника. Первый — Дуаньянцзе — праздник Лета. Он приходится на июнь. Каждая семья готовит к этому дню обернутые бамбуковыми листьями треугольные пирожки из клейкого риса — чжунцзы. Обычно в этот день устраиваются гонки на лодках с драконовой головой на носу и хвостом чудовища на корме. В водоемы бросают чжунцзы.

Такой обычай установился в память о поэте Цюй Юане, который жил в небольшом княжестве Чу и после захвата его могущественным императором Цинь шихуанди покончил с собой, бросившись в реку Мило в провинции Хунань. Его труп жители долго искали, объезжая реку на лодках. Чжунцзы бросали в воду, чтобы умиловать дракона, и он не трогал тело поэта. В настоящее время Дуаньянцзе называют еще и Днем поэта.

Другой праздник — Чжунцю — отмечают в середине осени. А осень очень хороша в Китае, особенно в Маньчжурии, когда зеленый наряд садов и леса уже пестрит всеми цветами радуги, листья горят самоцветами на зеленом фоне сосен и елей.

В семьях готовят «лунные» лепешки, потому что праздник приходится на полнолуние. Такими лепешками переполнены кондитерские. С Чжунцю связано много легенд, в центре которых находится Луна. Так, рассказывают, что на Луне растет коричное дерево, под которым живет старик У Ган. Он весь день рубит дерево, а за ночь оно снова отрастает. Темное пятно на Луне — это коричное дерево. Праздник Чжунцю установлен будто в честь неутомимого дровосека, который спасает мир от полного затмения Луны.

Отмечается также праздник Цинмин, когда люди идут на могилы родственников, высаживают цветы, ухаживают за кладбищенскими деревьями. После освобождения страны к этому празднику приурочена массовая посадка деревьев.

Естественно, что у китайцев есть и семейные праздники — дни рождения ребенка, свадьбы и другие. Так, после рождения ребенка устраивается праздничный стол, чтобы ответить на внимание родных и знакомых, пришедших разделить радость. Гостей угощают вареными яйцами, окрашенными в красный цвет. Позтому можно услышать, как друзья спрашивают ждущих ребенка: когда угостите красными яйцами?

Кстати, китайцы очень чувствительны к проявлению вежливости и невежливости. Прием гостей обставляется «китайскими церемониями», разработанными до мельчайших деталей. Много внимания уделяется встрече и проводом гостя: выходит ли хозяин до ворот, до двери дома или



ждет в самом доме — все имеет свое значение. Еще у порога хозяин и гость успевают наговорить друг другу много комплиментов, аргументирующих право войти вторым. Несоблюдение сложившегося этикета бывает причиной неприятностей.

Ныне старые обычаи и ритуалы постепенно исчезают, появляются новые: посещение в праздничные дни родителей солдат, передовиков труда и прочие. Но перемены не происходят быстро. Хотя некоторые нравственные правила со времен Конфуция утрачены, лучшее из них сохраняется в народе. Так, основой воспитания детей является почитание старших. Сын, в каком бы возрасте ни был, обязан стоять перед отцом, а садиться только с его разрешения. Такая строгость не обходится без издержек. Иногда обязанности по отношению к родителям, родственникам подавляют личную свободу и независимость.

Не раз в дружеских беседах с китайцами я откровенно говорил о том, как медленно меняются сложившиеся нравственные нормы, вековечные обычаи, давние традиции в их стране. Сейчас мне ясно, что только задиристость, представление, что советские люди приехали в Китай советовать, указывать, учить (а ведь надо было учиться у китайцев!), заставляло отвергать доводы собеседников, что перемены настоящие, а не кажущиеся или те, после которых все снова возвращается на круги своя, происходят не часто и не быстро. Чаше спешат не потому, что действительно надо спешить, а чтобы не отстать от других, стремящихся к переменам, — говорили мне китайские товарищи.

Чего только не пережил китайский народ, но не допустил эрозии своего многовекового опыта. Даже в эпохи социальных катаклизмов в Китае не было падения нравственного уровня общества!

Народные праздники позволяют увидеть некоторые черты своеобразной природы китайцев. Это — жизнерадостность, непринужденность, простота, нежелание выпячивать свои беды, безграничное чувство юмора. Всюду, где собираются люди, звучит заразительный смех. Мне рассказывали, как шуткой удавалось изменить настроение враждебно настроенной толпы. А кто не знает, как увлекают китайцев театральные представления и вообще зрелища!

Кто долго живет среди этого народа, не может не обратить внимание на настойчивость в достижении цели, проявляющуюся не только у рядовых китайцев, но и в деятельности правительства. Поражаешься самодисциплине, самоограничению, обязательности, доброте, честности. Эти высокие нравственные свойства сложились на основе ответственности одного человека перед другим и каждого перед обществом. Даже в самые тяжелые дни люди не становились грабителями с большой дороги, а трудились, истощая себя до последних сил. Бывало, что, спасаясь от голода, питаясь только акридами, толпы крестьян приходили в города. Но это не были озлобленные люди, которыми двигали месть и зависть...

Где бы мне ни приходилось бывать в огромном Китае, везде люди доброжелательно указывали дорогу, охотно сопровождали, не ленясь отклониться от собственного пути. Как-то я оказался в глуши в бедной семье. Ничто не могло остановить хозяина лачуги, чтобы не зарезать единственную в хозяйстве курицу для гостя.

Меня могут упрекнуть в чрезмерном расхваливании китайцев. У каждого человека есть недостатки, независимо от его национальности. У кого их нет? Но я решительно утверждаю, что китайцам несвойственна, например, неблагодарность. Для них, больше, чем для других наций, характерна нерушимость привычки, им ненавистна торопливость; живут так, будто у каждого в запасе целая жизнь.

Конечно, тонкостей китайского быта, традиций я не знаю досконально. Рассказывая о праздниках, только попытался сфокусировать внимание на чертах, свойственных этому народу. Кое-что может быть и неточным, ведь пишу не ученый труд, а свои впечатления, которые остались в моих блокнотах и в моей душе.



Тереза Лим

СИНГАПУР

## М О Р Е

### РАССКАЗ

Он прижался носом к стеклу и глядел, как зачарованный, на бесконечное пространство песка и воды, а сердце бешено колотилось. Так вот оно какое — море! Он никогда не видел его прежде и не подозревал, что оно так прекрасно. Ему нетерпелось выйти, почувствовать, как ступни утопают в песке, потрогать волны.

— Эй, ты чего там увидел, Йинг Мун? — неседельный Рама плюхнулся рядом с ним на сиденье и тоже расплющил нос, прижавшись к стеклу.

Вместо ответа Йинг Мун втянул голову в плечи и крепко зажмурился. Толстяк с заднего сиденья тут же вцепился ему в волосы и заорал в самое ухо:

— Ты что, не можешь ответить?

Автобус медленно затормозил, учительница наспех давала последние наставления. У передней двери толкалась шумная ватага. Сидевшим в конце салона было велено спокойно ждать своего черед. Дети от скуки тем временем принялись потешаться над Йинг Муном, дружно скандируя: «Йинг Мун — дурак! Йинг Мун — дурак!»

Йинг Мун зажал ладонями уши, ему стоило больших усилий сдержать слезы.

Наконец, они отстали от него. Он остался в автобусе один, сидел, забившись в угол и позабыв свой недавний восторг. Из-под опущенных ресниц выкатилась слезинка и, соскользнув по щеке, шлепнулась на колено. Он смахнул ее, слегка скривившись. Рана все еще саднила. Он открыл глаза и посмотрел на глубокий красный рубец на ноге. Безотчетный страх снова обуял его. Перед ним возникло разъяренное лицо матери, в ее руке была зажата плетка. С криком: «Ты что, ответить не можешь? Отвечай, кому говорят!» — она хлестнула его по спине. Слезы хлынули ручьем по бескровному лицу, ребенок инстинктивно заслонился руками:

— Не надо! Не бей меня!

Звук собственного голоса заставил его встрепенуться — крик матери смолк.

Он долго сидел неподвижно, словно боялся нечаянным движением навлечь материнский гнев. Потом, уняв дрожь, вытер слезы и прильнул к окну. Мальчики резвились на песке. Полуденное солнце играло бликами на беззаботных смеющихся лицах. Йинг Мун вздохнул. Это был вздох, совершенно не вязавшийся с восьмилетним человечком, вздох, без которого мир был бы куда как счастливее. Он устало поднялся и побрел вдоль прохода. Шаги отдавались глухим всхлипывающим звуком. Он спустился по ступенькам и встал поодаль от оживленной гурьбы: одна часть его существа жаждала быть с ними, другая, замкнувшись в себе, страшилась их.

Учительница, расположившись в стороне на пригорке, что-то увлеченно обсуждала с приятельницей; ее взгляд случайно упал на ребенка. Она встала и созвала остальных детей. Дождавшись, пока они уgomонятся, потащила к ним Йинг Муна. Он стоял, свесив голову, точно боялся оторвать взор от ботинок.

— Все меня слышат? Вы должны принять Йинг Муна в игру, понятно? Иначе я вообще запрещаю играть. — Насладившись эффектом отповеди, вернулся к прерванной беседе.

Мальчики с молчаливой озлобленностью обступили виновника ультиматума, испортившего всю игру. Неожиданно один из них набрал горсть песка и швырнул в Йинг Муна. Все тут же подхватили новую забаву, мигом смекнув, как она проста. Они были слишком малы и не понимали, какую боль причиняют одинокому мальчику, который стоит как вкопанный и даже не пытается защищаться. Возможно, когда-нибудь, оглянувшись назад, они пожалеют о содеянном. Но это будет потом.

Учительница снова поднялась, рассерженная, что ей никак не удастся поговорить. Она отругала детей и потянула Йинг Муна за собой на пригорок.

— Глупый мальчишка! Почему ты позволяешь издеваться над собой? Сиди здесь!

Он сидел в стороне. Учительница покачала головой и улыбнулась подруге.

— Что это с ним? — поинтересовалась та чуть громче, чем следовало.

Учительница зашептала ей что-то на ухо, и они обе оглянулись на него. Йинг Мун поморщился от еще одного непрошеного знака внимания, но продолжал сидеть. Приятельница громко вздохнула: «Бедняжка!» — и направилась к нему, твердо решив сотворить чудо.

Она уселась рядом и, несмотря на сопротивление ребенка, усадила его к себе на колени. Дети, прибежавшие за бутылками с лимонадом, стояли, наблюдая за происходящим.

— Как тебя зовут?

Йинг Мун отвернулся, стиснутые страхом губы отказывались отвечать. Женщина явно обиделась, но не отступала. Она с усилием повернула его лицо к себе и повторила вопрос.

Говорила она как-то возбужденно и, видно, потому брызжа слюной.

— Ну же, скажи мне, как тебя зовут! Не может быть, чтобы ты не знал собственного имени. Любой двухлетний ребенок без запинки ответит на этот вопрос. Вон и мальчики на тебя смотрят. Покажи им, какой ты смысленный. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя посчитали глупеньким?

Йинг Мун не мог подавить страха. Голос женщины напоминал материнский. Перед глазами снова встала мать: ее гости ждут, чтобы он исполнил по их просьбе песенку, прочитал басню... Он молчит. И тогда они начинают качать головами и перешептываться; досада матери сменяется яростью, и она истерично кричит...

И еще он помнит... отец опять напился в компании каких-то женщин и не пришел ночевать... мать бьется в припадке... швыряет вазой в отца... его рука в крови... он кидается к жене, пунцовый от вина и злобы... теперь уже мать приближается к сыну с толстой длинной дубиной...

Йинг Мун попытался разомкнуть сковавшие его руки. Бежать, прочь ото всех! Руки не отпускали. Рядом послышался смех, крики. Руки держались цепко... а мать уже совсем близко. Бежать, скорее бежать! Разорвать эту мертвую хватку! Охваченный паникой, ничего не соображая, он впился зубами что было сил в сцепленные руки. Раздался вопль, крики со всех сторон — но ему удалось вырваться. Совершенно обезумев, кубарем скатился он на песок. Смуглые руки рванулись к нему — схватить, удержать, но он брыкался, отбивался, кусался, как звереныш, только бы спастись.

Он не представлял, как долго бежал и как далеко позади оставил своих преследователей. Главное, что теперь он один, на свободе. Худенькие ножки подкосились, он, обессиленный, рухнул на песок, не в силах отдышаться. Солнце грело распластанное тщедушное тельце. Страх не отпускал, он заплакал навзрыд, но тут же подавил рыдания — чего доброго, мать услышит и вцепит увесистую оплеуху.

Йинг Мун встряхнулся, гоня прочь наваждение. Ее здесь нет. Здесь никого нет, он в безопасности. До слуха донесся тихий плеск. Нет, он не один. Тут море, птицы, небо. Но они — его друзья. Они не сделают ему ничего дурного. Он неторопливо поднялся и принялся разглядывать море. Потом сделал несколько робких шагов к самой кромке воды. По морю шла легкая рябь, выплескивалась на берег, закручиваясь у ног ласковыми барашками. Он стянул ботинки с носками и вошел в воду.

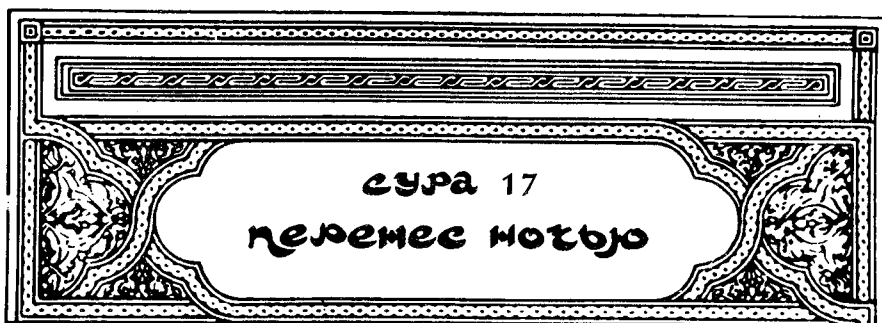
Ветер ласково трепал волосы, Йинг Мун поднял руку, пытаясь поймать его. И тут вдруг почувствовал себя счастливым. Он опустил пальцы в воду, — она оказалась нежной. Он попробовал ее на вкус, пряный рассол зашипал язык. Как хорошо — у моря! Он брел вдоль берега, выискивал крохотные белые ракушки, шлепал по мокрому песку, любясь отпечатками своих ступней. Он прикрыл глаза, потянулся вверх — ему хотелось коснуться неба. Он в жизни не видел такого голубого неба! По всему телу разливалось восхитительное ощущение тепла. Осторожно, словно пробуя слова на вкус, Йинг Мун произнес:

— Волны, звуки, небо и... я. И я.

А потом, вдоволь найгравшись, лег на песок, закрыл глаза и так лежал, ни о чем не думая. Оказывается, как хорошо — ни о чем не думать. Только ощущать. Море, звуки, блаженство. Он почти задремал, когда слух вдруг уловилстораживающие всплески. Он нехотя поднялся, боясь спугнуть щедро разлившееся по телу тепло. И тут увидел, как море уходит. Стало страшно. Лучший друг бросает его! Он глядел на море, оцепенев от безысходной тоски и одиночества. Но что это — море, кажется, зовет его. Туда, за собой. А как он пойдет? Он не умеет плавать. Если бы можно было поплыть, как эти серебристые рыбки. Он с грустью оглянулся, и увидел недалеко небольшой сампан. Лодка! Он снова испытал безмерную радость и бросился стремглав к заброшенной лодке. В ней не было весел, но это не смутило мальчика — море само понесет его. Он с трудом выволок лодку, столкнул на воду, забрался в нее. Волны деловито работали — теперь они толкали, а он плыл! Он ликовал. Дух захватывало от восторга. Торопись, торопись, море! Скорее, пока нас не настигли! Лодку относил все дальше, и вот уже от берега осталась едва различимая полоска. И тут он услышал бульканье под ногами — сквозь щелястое дно лодки сочилась вода, быстро прибывая. Страх сдавил сердце. Но вот вода поднялась до колен и принялась заливать саднящую рану. И тогда он окончательно понял — море его друг, оно не причинит вреда. Лодка плавно погружалась. Вода была ему уже по грудь, но он продолжал спокойно сидеть — одинокая фигурка в бескрайней сини. Еще немного, и больше никогда не будет больно.

Перевод с английского Н. Степановой.

# Коран



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую<sup>2</sup>, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений. Поистине, Он — всеслышащий, всевидящий!

2 (2). И Мы даровали Мусе писание и сделали его руководством для сынов Исра'ила: «Не берите себе покровителя, кроме Меня,

3 (3). о потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом; поистине, он был рабом благодарным!

4 (4). И установили Мы для сынов Исра'ила в писании: «Совершите вы беззаконие на земле дважды<sup>3</sup> и вознесетесь великим превознесением».

5 (5). И когда пришло обещание о первом из них, Мы воздвигли на вас рабов наших, обладающих сильной мощью<sup>4</sup>, и они проникли между их жилищ, и было обещание исполненным.

6 (6). Потом Мы вернули вам поворот успеха против них и помогли вам богатством и сынами и сделали вас более обильными в пособниках.

7 (7). Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же. А когда пришло обещание о последнем, ...чтобы они причинили зло вашим ликам и чтобы вошли они в место поклонения, как вошли первый раз, и уничтожили б все, над чем возвысились.

8 (8). Может быть, Господь ваш помилует вас, а если вы вернетесь, то и Мы вернемся и для неверных сделаем геенну тюрьмой.

9 (9). Поистине, этот Коран ведет к тому, что прямее, и возвещает весть верующим,

10. которые творят благие дела, что для них — великая награда

11 (10). и что тем, которые не веруют в жизнь будущую, Мы уготовили мучительное наказание.

12 (11). А человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру; ведь человек тороплив.

13 (12). И сделали Мы ночь и день двумя знамениями; и стираем Мы знамение ночи и делаем знамение дня дающим видеть, чтобы вы искали милости от вашего Господа и чтобы знали число годов и счета, и всякую вещь Мы распределили в порядке.

14 (13). И всякому человеку Мы прикрепили птицу<sup>5</sup> к его шее и выведем для него в день воскресения книгу, которую он встретит разверстой:

15 (14). «Прочти твою книгу!<sup>6</sup> Довольно для тебя в самом себе счетчика!»

16 (15). Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, а кто заблуждается, то

заблуждается во вред самому себе; не понесет носящая ношу другой, и Мы не наказывали, пока не посылали посланца.

17 (16). А когда Мы желали погубить селение, Мы отдавали приказ одаренным благами в нем, и они творили нечестие там; тогда оправдывалось над ним слово, и уничижали Мы его совершенно.

18 (17). И сколько Мы погубили поколений после Нуха! И довольно в твоём Господе знающего и видящего прегрешения Его рабов.

19 (18). Кто желал скоропреходящей,<sup>7</sup> ускорили Мы для него в ней то, что желаем для тех, кому хотим; потом сделали Мы для него геенну, чтобы он горел в ней порицаемым, униженным.

20 (19). А кто желает последней<sup>8</sup> и стремится к ней всем должным стремлением, а сам верует, — это те, стремление которых будет отблагодарено.

21 (20). Всех Мы поддерживаем — и этих, и тех — из даров твоего Господа, и не бывают дары твоего Господа ограниченными.

22 (21). Взгляни, как Мы одним дали преимущества над другими, а ведь последняя жизнь — больше по степеням и больше по преимуществам.

23 (22). Не делай с Аллахом другого божества, чтобы не оказаться тебе порицаемым, оставленным.<sup>9</sup>

24 (23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям — благодеение. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им — тыфу! и не кричи на них, а говори им слово благородное.

25 (24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким».

26 (25). Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеющи.

27. И поистине, Он к обращающимся прощающ!

28 (26). И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику, и не расточай безрассудно, —

29 (27). ведь расточители — братья сатан, а сатана своему Господу не благодарен.

30 (28). А если ты отворишься от них, ища милости от твоего Господа, на которую надеешься, то скажи им слово легкое.

31 (29). И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким.

32 (30). Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он желает, и распределяет. Поистине, Он о Своих рабах знающ и видящ!

33 (31). И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их — великий грех!

34 (32). И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это — мерзость и плохая дорога!

35 (33). И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе, как по праву. А если кто был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убиении. Поистине, ему оказана помощь.

36 (34). И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спорят.

37 (35). И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это — это лучше и прекраснее по результатам.

38 (36). И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце — все они будут об этом спрошены.

39 (37). И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой!

40 (38). Зло всего этого у Господа твоего отвратительно.

41 (39). Это — то, что внушил тебе Господь из мудрости, и не сотворяй вместе с Аллахом другого божества, а то будешь ввергнут в геенну порицаемым, презренным!

42 (40). Неужели ваш Господь исключительно вам предоставил сыновей, а себе взял из ангелов женщин?<sup>10</sup> Поистине, вы говорите слово великое!

43 (41). Мы изложили в этом Коране, чтобы они припомнили, но увеличивает это только отвращение у вас.

44 (42). Скажи: «Если бы были вместе с Ним боги, как они говорят, тогда бы они пожелали пути к обладателю трона».

45 (43). Хвала Ему, и превыше Он того, что (о Нем) говорят, на великую высоту!

46 (44). Прославляют Его семь небес,<sup>11</sup> и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. Поистине, Он — краткий, прощающий!

47 (45). И когда ты читаешь Коран, Мы делаем между тобой и теми, которые не веруют в последнюю жизнь, завесу сокровенную.

48 (46). И Мы положили на сердца их покровы, чтобы они не понимали его, а в уши их — глухоту.

49. И когда ты поминаешь своего Господа в Коране единым, они поворачиваются вспять из отвращения.

50 (47). Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя, и когда они — тайная беседа, вот говорят неправедные: «Вы следуете только за человеком очарованным!»

51 (48). Посмотри, как они приводят тебе притчи и заблудились и не могут найти дорогу!

52 (49). И сказали они: «Разве, когда мы стали костями и обломками, разве же мы будем воскрешены как новое создание?»

53 (50). Скажи: «Будьте камнями, или железом, (51). или тварью, которая велика в ваших грудях!..» И скажут они: «Кто же вернет нас?» Скажи: «Тот, который создал вас в первый раз». И они качнут своими головами к тебе и скажут: «Когда это?» Скажи: «Может быть, будет это близко».

54 (52). В тот день, когда Он призовет вас, и ответите вы хвалой Ему и подумаете, что пробыли вы только очень мало.

55 (53) И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше: поистине, сатана вносит между ними раздор, поистине, сатана для человека — явный враг!

56 (54). Ваш Господь лучше вас знает. Если Он пожелает, Он вас помилует, а если пожелает, Он вас накажет. Мы не посылали тебя наблюдателем над ними.

57 (55). И твой Господь лучше знает тех, кто в небесах и на земле; Мы уже дали преимущество одним пророкам над другими и дали Да'уду Псалтырь.<sup>12</sup>

58 (56). Скажи: «Взывайте к тем, кого вы утвердили помимо Него: они не в состоянии отвлечь от вас зло или переменить!»

59 (57). Те, к которым они зывают, сами ищут пути приближения к их Господу, кто из них ближе, и надеются на Его милость и боятся Его наказания. Поистине, наказания твоего Господа надо остерегаться!

60 (58). Нет никакого селения, которое Мы бы не погубили до дня воскресения или не подвергли бы его жестокому наказанию. Это было начертано в книге!

61 (59). Нас удержало от того, чтобы отправить со знаменами, только то, что их сочли ложью первые. Мы вывели к самудянам верблюдицу, чтобы она дала (им) увидеть, а они поступили несправедливо с ней. Поистине, Мы посылаем с Нашими знаменами только для устрашения!

62 (60). И вот Мы сказали тебе: «Поистине, Господь твой объемлет людей!» И Мы сделали то видение, которое показали тебе, только искушением для людей и дерево, проклятое в Коране,<sup>13</sup> и Мы устрашаем их, но это увеличивает в них только великую непокорность.

63 (61). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» — и они поклонились, кроме Иблиса. Сказал он: «Неужели я поклонюсь тому, кого Ты создал глиной?»

64 (62). Сказал он: «Видишь ли Ты: это — тот, кого Ты почтил предо мною? Если Ты отсрочишь мне до дня воскресения, я погублю его потомство, кроме немногих».

65 (63). Сказал Он: «Уходи! А кто последует за тобой из них, то, поистине, геенна — ваше наказание, наказание полное!

66 (64). Соблазней, кого ты можешь из них, твоим голосом и собирай против них твою конницу и пехоту, участвуй с ними в их богатствах и детях и обещай им, — поистине, обещает сатана только для обмана!

67 (65). Нет, поистине, у тебя власти над Моими рабами, — и довольно в твоём Господе блюстителя!»

68 (66). Ваш Господь — тот, который гонит вас корабль по морю, чтобы вы снискали Его милость; поистине, Он к вам — милосерд!

69 (67). А когда вас коснется на море зло, сбиваются те, к кому вы зывали помимо Него; когда же Он спасет вас на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен!

70 (68). Избавлены ли вы от того, что Он поглотит с вами часть суши или пошлет на вас вихрь с камнями, — а потом не найдете вы для себя заступника.

71 (69). Или вы избавлены от того, что Он вас вернет туда же другой раз и пошлет на вас сокрушающий вихрь и погубит вас за то, что вы неверны, — потом вы не найдете себе против Нас за это никакого преследователя.

72 (70). Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, которых создали.

73 (71). В тот день, когда Мы призовем всех людей с их предстоятелем<sup>14</sup>, и тот, кому будет дана его книга в десницу, — те будут читать свою книгу и не будут обижены и на финиковую плеву.

74 (72). А кто был слеп в этой (жизни), тот и в будущей — слеп и еще больше сбившийся с пути.

75 (73). И близки они были к тому, чтобы соблазнить тебя<sup>15</sup> от того, что Мы внушили тебе, чтобы ты измыслил на Нас другое. А тогда они взяли бы тебя своим другом.

76 (74). И если бы Мы тебя не подкрепили,— ты был близок склониться к ним хотя бы немного.<sup>16</sup>

77 (75). Тогда Мы дали бы тебе вкусить вдвойне и в жизни и в смерти. Потом ты не найдешь против Нас помощника!

78 (76). И они готовы были поднять тебя с земли, чтобы вывести из нее; и тогда пробыли бы они после тебя лишь немного.

79 (77). По обычаю тех, кого Мы посылали до тебя из наших пророков; и не найдешь ты для нашего обычая перемены.

80 (78). Выполняя молитву при склонении солнца к мраку ночи,<sup>17</sup> а Коран — на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей!

81 (79). И ночью усердствуй в нем добровольно для себя, — может быть, пошлет тебе твой Господь место достохвальное!<sup>18</sup>

82 (80). И скажи: «Господи! Введи меня входом истины и выведи выходом истины, и дай мне от Тебя власть в помощь».<sup>19</sup>

83 (81). И скажи: «Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающая!»

84 (82). И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих. А для неправедных только увеличивает потерю.

85 (83). И когда Мы оказали милость человеку, он отворачивается и удаляется; а когда коснется его зло, он отчаивается.

86 (84). Скажи: «Всякий поступает по своему подобию, и Господь ваш лучше знает тех, кто прямее дорогой».

87 (85). Они спрашивают тебя о духе. Скажи: «Дух от поведения Господа моего. Даровано вам знания только немного».

88 (86). Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе, а потом ты бы не нашел для себя в этом против Нас покровителя,

89 (87). кроме милости от твоего Господа, Благоедеяния Его для тебя велики!

90 (88). Скажи: «Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из их были другим помощниками».

91 (89). Мы распределили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей упорствует в том, чтобы быть неверными.

92 (90). И сказали они: «Не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника,

93 (91). или будет у тебя сад с пальмами и виноградом, и ты проведешь между ними каналы,

94 (92). или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками, или придешь с Аллахом и ангелами пред нами,

95 (93). или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимешься на небо. Но не уверуем мы и в твое поднятие<sup>20</sup>, пока ты не спустишь нам книгу, которую мы прочитаем». Скажи: «Хвала Господу моему! Разве я только не человек — посланник?»

96 (94). Удерживает людей уверовать, когда пришло к ним водительство, только то, что они говорят: «Неужели же послал Аллах человека посланником?»

97 (95). Скажи: «Если бы были на земле ангелы, которые ходят спокойно, тогда бы Мы низвели к ним с неба ангела посланником».

98 (96). Скажи: «Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами: ведь Он о Своих рабах сведущ и видящ!»

99 (97). И кого ведет Аллах, тот идет прямо, а кого вводит в заблуждение, тому не найдешь ты покровителей помимо Него. Мы соберем их в день воскресения на их лицах<sup>21</sup> слепыми, немыми, глухими. Пристанище их — геенна: как только она потухает, Мы прибавляем огня.

100 (98). Таково воздаяние им за то, что они не веровали в Наши знамения и говорили: «Разве ж тогда, когда мы будем костями и прахом, разве ж мы будем воскрешены в новом создании?»

101 (99). Разве они не видели, что Аллах, который создал небеса и землю, в состоянии создать подобных им, и установил Он им срок, в котором нет сомнения? Но неправедные отвергают все, кроме неверия.

102 (100). Скажи: «Если бы вы обладали сокровищами милости Господа моего, и тогда бы вы удерживались из боязни беднеть. Поистине, человек — скуп!»

103 (101). Мы даровали Мусе девять знамений ясных.<sup>22</sup> Спроси сынов Исра'ила, когда он пришел к ним и сказал ему Фир'аун: «Я думаю, что ты, Муса, очарован».

104 (102). Он сказал: «Ты знаешь, что низвел эти только Господь неба и земли, как наглядные знамения, и я думаю, что ты, Фир'аун, погибший».

105 (103). И пожелал он сдвинуть их с земли, и потопили Мы его и тех, кто с ним, всех.

106 (104). И после него сказали сынам Исра'ила: «Живите в стране, и когда придет обещание последней, Мы со всеми вами придем вместе». (105). И в истине Мы его ниспослали, и в истине он нисшел. И послали Мы тебя только вестником и увещателем.

107 (106). И Коран Мы разделили, чтобы читал ты его людям с выдержкой, и ниспослали Мы его ниспосланием.

108 (107). Скажи: «Веруйте в него или не веруйте, — те, кому даровано было знание до него, когда он читается им, падают на бороды, поклоняясь, (108). и говорят: «Хвала Господу нашему! Поистине, обещание Господа нашего исполняется».

109 (109). И падают на бороды, плача, и увеличивает он в них смирение».

110 (110). Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного;<sup>23</sup> как бы вы ни звали, у Него самые лучшие имена». Не произноси громко своей молитвы, но и не шепчи ее, а иди по пути между этим.

111 (111). И скажи: «Хвала Аллаху, который не брал Себе детей, и не было у Него сотоварища в царстве, и не было у Него защитника от унижения!» И величай Его величием!



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Хвала Аллаху, который ниспослал Своему рабу книгу и не сделал в ней кризисы!<sup>2</sup>—

2 (2). прямую, чтобы напоминать о великой мощи у Нас и радовать верующих, которые творят благое, тем, что для них — хорошая награда, (3)— и будут они пребывать там вечно;—

3 (4). и чтобы устроить тех, которые сказали: «Взял Аллах для Себя ребенка».<sup>3</sup>

4 (5). Нет у них об этом знания и у их отцов. Велико это, как слово, выходящее из их уст! Они говорят только ложь!

5 (6). Как будто бы ты готов погубить себя по их следам, от горя, если они не поверят этой истории.<sup>4</sup>

6 (7). Мы сделали то, что на земле, украшением для нее, чтобы испытать их, кто из них лучше поступками.

7 (8). И Мы сделаем то, что на ней, возвышением, лишенным растительности.

8 (9). Или ты полагаешь, что обитатели пещеры и ар-Ракима были чудом среди Наших знамений?<sup>5</sup>

9 (10). Вот юноши спрятались в пещеру и сказали: «Господи наш, даруй нам от Тебя милосердие и устрой для нас в нашем деле прямоту».

10 (11). И Мы закрыли их уши в пещере на многие годы.

11 (12). Потом Мы воскресили их, чтобы узнать, какая из партий лучше сочтет предел того, что они пробыли.

12 (13). Мы расскажем вам весть о них по истине; ведь они — юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их прямой путь.

13 (14). И Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: «Господь наш — Господь небес и земли, мы не будем призывать вместе с Ним никакого божества. Мы сказали бы тогда выходящее за предел».

14 (15). Это — Наш народ, они взяли помимо Него других божеств. Если бы они пришли с явной властью относительно них! Кто же более несправедлив, чем тот, кто выдумал на Аллаха ложь?

15 (16). И раз вы отделились от них и того, чему они поклоняются, кроме Аллаха, то скройтесь в пещеру, Господь ваш прострет вам Свою милость и уготовит вам поддержку для вашего дела.

16 (17). И ты видишь, как солнце, когда оно восходило, уклонялось от пещеры их направо, а когда заходило, миновало их налево, а они были в свободном месте. Это — из знамений Аллаха; кого ведет Аллах, тот идет прямым путем, а кого Он сбивает,— для того не найдешь защитника, руководителя.

17 (18). Ты думаешь, что они бодрствуют, а они спят, и Мы ворочаем их направо и налево, и собака их растянула лапы на порог; если бы ты усмотрел их, то обратился бы от них бегом и переполнился бы от них страхом.

18 (19). И так Мы воскресили их, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал: «Сколько вы пробыли?» Они сказали: «Пробыли мы день или часть дня». Они сказали: «Господь ваш лучше знает, сколько вы пробыли; пошлите одного из вас с эти-



и своими деньгами в город: пусть он посмотрит, у кого чище пища, и придет к вам с поздравлением от него, но пусть действует осторожно и не дает знать о вас никому.

19 (20). Ведь они, если обнаружат вас, побыют вас камнями или обратят вас в их веру, и не будете вы тогда никак счастливы».

20 (21). И так дали Мы знать о них, чтобы они узнали, что обещание Аллаха — истина и что час — нет сомнения в нем! Вот они разошлись между собой в их деле и сказали: «Постройте над ними сооружение. Их Господь лучше знает про них». Скажи же те, которые одержали верх в их деле: «Устроим мы над ними мечеть!»

21 (22). Скажут они: «Трое, а четвертый у них — пес», — и скажут: «Пять, а шестой — пес», — гадая о скрытом; и скажут: «Семь, а восьмой — пес». Скажи: «Господь мой лучше знает число их. Знают его только немногие».

22. Не спорь же с ними иначе, как в явном споре, и не спрашивай о них никого из них.

23 (23). Не говори ни о чем: «Я это сделаю завтра» (24). без того, что пожелает Аллах, и вспомни твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи: «Может быть, выведет меня мой Господь к более близкому, чем это, по прямоте».

24 (25). И оставались они в пещере своей триста лет и прибавили еще девять.

25 (26). Скажи: «Аллах лучше знает, сколько они пробыли. У него сокровенное небес и земли. Как Он видит и слышит! Нет у них помимо Него пособника, и никого Он не делает соучастником Своего решения».

26 (27). И прочитай то из книги Господа твоего, что открыто тебе; нет меняющего Его слова, и никогда ты не найдешь помимо Него защиты.

27 (28). Терпи душой с теми, которые призывают к их Господу утром и вечером, стремясь к Его лику, и пусть твои глаза не отвращаются от них со стремлением к красоте здешней жизни, и не повинуйся тем, сердце которых Мы сделали небрежным к поминанию о Нас и кто последовал за своей страстью, и дело его оказалось чрезмерным.

28 (29). И скажи: «Истина — от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует». Мы приготовили несправедливым огонь, навес которого окружит их; а если они воззовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая опаляет лица. Скверно питье, и плохо убежище!

29 (30). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, — Мы не погубим награды тех, кто хорошо творил.

30 (31). Эти — для них сады вечности, где внизу текут реки; они украсятся там в браслеты из золота и облекутся в одеяния зеленые из атласа и парчи, возлежа там на сидениях. Прекрасна награда, и хорошо убежище!

31 (32). Приведи им притчей двух человек: одному Мы устроили два сада из виноградников, окружили их пальмами и устроили между ними посевы; (33). оба сада принесли свои плоды и ничего из них не погубили.<sup>6</sup>

32. А между ними Мы провели реку. (34). У него были плоды, и он сказал своему товарищу, который с ним беседовал: «Я богаче тебя имуществом и славнее помощниками».

33 (35). И вошел он в свой сад, обидев самого себя, и сказал: «Не думаю я, что исчезнет это когда-нибудь».

34 (36). Не думаю я, что час настанет. А если я буду возвращен к Господу моему, то я найду лучшее, чем это, для возвращения».

35 (37). Сказал ему его товарищ, говоря с ним: «Разве ты не веруешь в того, кто создал тебя из праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя человеком?»

36 (38). Но мы... Он — Аллах, Господь мой, и я никого не придаю Господу моему в сотоварищи!

37 (39). И если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал: «Что угодно Аллаху, нет мощи, кроме как с Аллахом». Если ты видишь меня беднее, чем ты, и деньгами и детьми,

38 (40). то, может быть, Господь мой даст мне лучший, чем твой, сад и пошлет на него расчет с неба и окажется он холмом гладким,

39 (41). или вода уйдет в пропасть, и ты не в состоянии будешь ее разыскать».

40 (42). И погублены были его плоды, и стал он выворачивать свои руки за то, что растратил на него, а теперь он разорен в своих основаниях, и говорит: «О, если бы я не присоединял к Господу моему никого!»

41 (43). И не было у него компании, которая помогла ему помимо Аллаха, и не было помощи.

42 (44). Там — защита у одного Аллаха истинного; Он — лучше в награде и лучше в исходе.

43 (45). Приведи им притчу о жизни здешней, — она точно вода, которую низвели Мы с неба: смешались с нею растения земли, и стала она сухим сором, который развеивают ветры. Аллах над всякой вещью мощен!<sup>7</sup>

44 (46). Богатство и сыновья — украшение здешней жизни, а пребывающее благое — лучше у твоего Господа по награде и лучше по надеждам.

45 (47). В тот день, когда Мы двинем горы и ты увидишь землю выступившей, и соберем Мы их и не оставим из них никого.

46 (48). И представлены они будут твоему Господу рядами. Пришли вы к Нам, как Мы вас сотворили в начале. Вы же утверждали, что мы не назначим вам определенного времени.

47 (49). И положена книга, и ты видишь грешников в страхе от того, что в ней. Говорят они: «Горе нам, что с этой книгой, она не оставляет ни малого, ни великого, не зачисти!» И они нашли налицо все, что совершили. Твой Господь никого не обижает!

48 (50). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме Иблиса. Был он из джиннов и совратился с пути Господа своего. Неужели вы возьмете его и его потомство защитниками вместо Меня. Они для вас — враги. Плоха для несправедливых замена!

49 (51). Я не брал их в свидетели творения небес и земли или творения их самих. И не стану Я брать сбивающих с пути помощниками.

50 (52). В тот день скажет Он: «Призовите Моих сотоварищей, о которых утверждали». Они позвали их, но те не отвечали им, и Мы устроили между ними гибель.

51 (53). И увидели грешники огонь и подумали, что они туда попадут. И не нашли от этого избавления.

52 (54). Мы привели в этом Коране для людей всякие притчи,— человек более всего препирается!

53 (55). Ничто не мешало людям уверовать, когда пришло к ним руководство, и просить прощения у их Господа, кроме того, что с ними произойдет по обычаю первых или постигнет их наказание прямо.

54 (56). И Мы не посылаем посланцев, иначе как вестниками и увещателями. И препираются те, которые не уверовали, ложью, чтобы сокрушить ею истину. И принимают они Наши знамения и то, чем их увещали, с насмешкой.

55 (57). Кто же несправеднее, чем тот, кому напомнили знамения его Господа, и он отвратился от них и забыл то, что уготовали раньше его руки. Мы ведь положили на сердца их покровы, чтобы они не поняли его, а в уши их — глухоту.

56. И если ты их призовешь к прямому пути, то тогда они никогда не найдут дороги.

57 (58). А Господь твой — прощающий, обладатель милосердия,— если бы Он схватил их за то, что они приобрели, то ускорил бы Он для них наказание. Но у них есть определенный срок, и никогда они не найдут помимо Него убежища.

58 (59). И эти селения погубили Мы, когда они стали несправедливыми, и сделали для их гибели определенный срок.

59 (60). И вот сказал Муса своему юноше: «Не остановлюсь я, пока не дойду до слияния двух морей, хотя бы прошли годы».<sup>8</sup>

60 (61). А когда они дошли до соединения между ними, то забыли свою рыбу, и она направила свой путь, устремившись в море.

61 (62). Когда же они прошли, он сказал своему юноше: «Принеси нам наш обед, мы испытали от этого нашего пути тяготу».

62 (63). Он сказал: «Видишь ли, когда мы укрылись у скалы, то я забыл рыбу. Заставил меня забыть только сатана, чтобы я не вспомнил, и она направила свой путь в море дивным образом».

63 (64). Он сказал: «Этого-то мы и желали». И оба вернулись по своим следам обратно.

64 (65). И нашли они раба из наших рабов, которому Мы даровали милосердие от Нас и научили его Нашему знанию.

65 (66). Сказал ему Муса: «Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пути?»

66 (67). Он сказал: «Ты не в состоянии будешь со мной утерпеть».

67 (68). И как ты вытерпишь то, о чем не имеешь знания?»

68 (69). Он сказал: «Ты найдешь меня, если угодно Аллаху, терпеливым, и я не ослушаюсь ни одного твоего приказанья».

69 (70). Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем, пока я не возобновлю об этом напоминания».

70 (71). И пошли они; и когда они были в судне, тот его продырявил. Сказал ему: «Ты его продырявил, чтобы потопить находящихся на нем? Ты совершил дело удивительное!»

71 (72). Сказал он: «Разве я тебе не говорил, что ты не в состоянии будешь со мной утерпеть?»

72 (73). Он сказал: «Не укоряй меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня в моем деле тяготы».

73 (74). И пошли они; а когда встретили мальчика и тот его убил, то он сказал: «Неужели ты убил чистую душу без отмщения за душу? Ты сделал вещь непохвальную!»

74 (75). Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не в состоянии будешь со мной утерпеть?»

75 (76). Он сказал: «Если я спрошу у тебя о чем-нибудь после этого, то не сопровождай меня: ты получил от меня извинение».

76 (77). И пошли они; и когда пришли к жителям селения, то попросили пищи, но те отказались принять их в гости. И нашли они там стену, которая хотела развалиться, и он ее поправил. Сказал он: «Если бы ты хотел, то взял бы за это плату».

77 (78). Он сказал: «Это — разлука между мной и тобой. Я сообщу тебе толкование того, чего ты не мог утерпеть».

78 (79). Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работали в море. Я хотел его испортить, ибо за ними был царь, отбиравший все суда насильно.

79 (80). Что касается мальчика, то родители его были верующими, и мы боялись, что он обречет их переносить непокорность и неверие.

80 (81). И мы хотели, чтобы Господь дал им взамен лучшего, чем он, по чистоте и более близкого по милосердию.

81 (82). А стена — она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе, и был под нею для них клад, а отец их был праведен, и пожелал Господь твой, чтобы они достигли зрелости и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Не делал я этого по своему решению. Вот объяснение того, чего ты не мог утерпеть».

82 (83). Они спрашивают о Зу-л-карнайне. Скажи: «Я прочитаю вам о нем воспоминание».<sup>9</sup>

83 (84). Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь, (85). и пошел он по одному пути.

84 (86). А когда он дошел до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник зловонный, и нашел около него людей.

85. Мы сказали: «О Зу-л-карнайн, либо ты накажешь, либо устроишь для них милость».

86 (87). Он сказал: «Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращен к своему Господу, и накажет Он его наказанием тяжелым».

87 (88). А кто уверовал и творил благое, для него в награду — милость, и скажем мы ему из нашего повеления легкое».

88 (89). Потом он следовал по пути.

89 (90). А когда дошел он до восхода солнца, то нашел, что оно восходит над людьми, для которых Мы не сделали от него никакой завесы.

90 (91). Так! Мы объяли знанием все, что у него.

91 (92). Потом он следовал по пути.

92 (93). А когда достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва мог понимать речь».

93 (94). Они сказали: «О Зу-л-карнайн, ведь Йаджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле; не установи ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между нами и ними плотину?»<sup>10</sup>

94 (95). Он сказал: «То, в чем укрепил меня мой Господь, лучше; помогите же мне силой, я устрою между вами и ними преграду».

95 (96). Принесите мне кусков железа». А когда он сравнял между двумя склонами, сказал: «Раздувайте!» А когда он превратил его в огонь, сказал: «Принесите мне, я вылью на это расплавленный металл».<sup>11</sup>

96 (97). И не могли они взобраться на это и не могли там продырявить».

97 (98). Он сказал: «Это — по милости от моего Господа».

98. А когда придет обещание Господа моего, Он сделает это порошком; обещание Господа моего бывает истиной».

99 (99). И оставим Мы их тогда препираться друг с другом, и подуют в трубу, и соберем Мы их воедино».

100 (100). И представим геенну в тот день перед неверными прямо,—

101 (101). тем, глаза которых были закрыты от Моего напоминания и которые не могли слышать».

102 (102). Неужели думали те, которые не веровали, взять рабов Моих вместо Меня защитниками? Мы приготовили геенну для неверных пребыванием».

103 (103). Скажи: «Не сообщить ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в делах».

104 (104).— тех, усердие которых заблудилось в жизни ближней, и они думают, что они хорошо делают?»

105 (105). Те, которые не веровали в знамения их Господа и встречу с Ним,— дела их оказались тщетными, и не восстановим Мы для них в день воскресения веса».

106 (106). Это — награда их, геенна, за то, что они не веровали и принимали Мои знамения и посланников с насмешкой».

107 (107). Поистине, те, которые уверовали и творили благое, для них будут сады рая пребыванием,—

108 (108). вечно пребывая там,— не желая за них замены».

109 (109). Скажи: «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то

иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы Мы добавили еще подобное этому».

110 (110). Скажи: «Я ведь — человек, подобный вам; ниспослано мне откровение о том, что бог ваш — Бог единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого».

## КОММЕНТАРИИ

### СУРА 17

1. Хронологически сура относится к концу II мекканского периода (конец 619 года), когда мусульмане, основная часть которых переселилась в Эфиопию еще в конце 615 года, собирались на пророческое паломничество в безлюдных окрестностях Мекки.

«Перенес ночью» (араб. Исра') — в традиции ислама это принято толковать как ночное путешествие Мухаммада из Мекки в Иерусалим на мифическом коне Бурак, а оттуда он совершил путешествие на Седьмое небо, что в традиции названо «ми'радж». По легендам, путешествие это было недолгим, о чем упоминается в хадисах, переданных самыми близкими сподвижниками пророка Мухаммада.

2. «Неприкосновенная мечеть» — Кааба, «отдаленная мечеть» — немусульманский храм в Иерусалиме. Собственно мусульманский храм — «отдаленная мечеть» (мечеть «Акса») — построена в Иерусалиме позже, после завоевания города арабами.

3. Нет точных сведений, о каких именно беззакониях, совершенных иудеями, здесь идет речь. Только в ранних источниках имеются намеки на то, что за некие беззакония Иерусалим был дважды разрушен, при этом имеются в виду разрушения сначала вавилонянами (VI в. до н. э.), затем римлянами (I в. до н. э.).

4. Под «сильной мощью» подразумевается вавилонский царь Навуходоносор II, который в 586 году, совершив последнее нападение на Иудею, полностью разрушил храм Соломона и увел в Вавилон около тридцати тысяч пленных евреев («Вавилонское пленение»).

5. Древнее арабское представление о птице как судьбе человека.

6. Здесь речь идет о книге «Записей деяний каждого» (нама ал-амал).

7. Термин «скоропреходящий» (араб. ал-аджила) употреблен здесь в смысле временности, краткости благ земной жизни.

8. «Последний» (араб. ал-ахира) — в смысле то, что получает человек в потустороннем мире.

9. В аятах 23—39 обстоятельно изложены заповеди ислама. Исследователи не пришли к единому мнению насчет числа заповедей, одни считают, что их двенадцать, другие склонны полагать, что их больше. Аят 23 — запрет ширка предписывает не признавать сотоварищей Аллаха; аят 24 — о благодеянии родителям; аят 25 — о смирении перед обоими родителями; аят 28 — о том, чтобы отдавать должное родственнику, бедняку и путнику; аяты 28—29 направлены против безрассудной расточительности. В аяте 31 по существу повторяется наставление о вреде скупости («рука, привязанная к шее») и излишней расточительности («расширять руку всем расширением»). В аяте 33 — запрет убийства новорожденных девочек; аят 34 — запрет прелюбодеяния; аят 35 — запрет убийства без права; аят 36 — предписание сохранять имущество сироты; аят 37 — о соблюдении честности при взвешивании на весах; аят 38 — предписание не соблюдать то, о чем у человека нет точного знания, что относится к культам и обрядам, которые складывались еще на фоне доисламских культов арабов; аят 39 — осуждение горделивости. Как видим, здесь действительно получается двенадцать заповедей.

10. Это ответ тем арабам, которые пытались соединить веру в Аллаха с поклонением прежним племенным богиням, представляя их дочерьми Аллаха.

«Вы говорите слово великое» — в смысле великое греховное слово.

11. Древнее представление о семи сферах небес. Такое же представление было и в древнегреческой географии. Учение о девяти небесах складывается позднее у философов Востока.

12. В тексте Корана «Псалтырь» назван — «Забур».

13. Под «деревом, проклятым в Коране» имеется в виду дерево в аду; в других сурах оно встречается под названием «заккум».

14. Фраза «мы призовем всех людей с их предстоятелем» в традиции толкуется так — в судный день люди предстанут пред Аллахом, причем каждая группа со своим пророком впереди. «Финиковая плева» — перепонка финикового плода, как образ мизерного.

15. Фраза «Они были близки к тому, чтобы соблазнить тебя» в традиции толкуется следующим образом: мекканцы предложили Мухаммаду, чтобы он смягчил те места в Коране, где осуждаются племенные боги, за что обещали ему власть и богатство.

16. Судя по содержанию аята 76, были моменты, когда Мухаммад готов был хотя бы немного уступить мекканцам.

17. Здесь упоминается молитва, совершаемая при наступлении вечерних сумерек. Арабское название — «салат-ал-магриб», а у мусульман Ирана, Афганистана и СССР она называется «намази шам».

18. Аят 81 трактуется как предписание ночного бдения и чтения Корана.

19. В толкованиях этот не совсем понятный аят объясняется как обращение Мухаммада к Аллаху, чтобы он вывел его добром из Мекки и ввел добром в Медину. Но в этом случае окажется, что сура прочитана значительно позже, после переговоров с мединцами, т. е. в 621 году, и дол-

— 35 — отнесена к III мекканскому периоду. Однако конкретного основания для такого толкования аята нет. По содержанию, это скорее мольба к Аллаху об истине и спасении.

20. «Но не уверуюм мы в твоё поднятие» (более точным был бы перевод «в твоё вознесение») — толкования объясняют это в том смысле, что некоторые не уверовали в путешествие Мухаммада на мифическом коне Бурак и его вознесение на Седьмое небо (аят I — «перенес ночью») и потребовали, чтобы пророк поднялся на небо на глазах людей.

21. Фраза «Мы соберем их в день воскресения на их лицах» не была удовлетворительно объяснена ни толкователями, ни специалистами. Если слово «ала вуджухихим» перевести как «по их лицам», а далее «будь они слепыми, немыми, глухими», тогда содержание фразы становится более понятным.

22. Как известно по Торе, Моисей получил на горе Синай десять заповедей. Но девять заповедей в толкованиях трактуются как девять чудес, которые творил Моисей с ведома бога (чудо с его посохом, наводнение, в котором погибло войско фараона, белый свет, идущий от его руки, и др.).

23. Здесь «ар-Рахман» переведен как «милосердный», но это неточно. «Ар-Рахман» — милостивый, а «ар-Рахим» — милосердный. Разница здесь серьезная, ибо «ар-Рахим» как эпитет Аллаха употребляется только в Коране, а «ар-Рахман» как эпитет единого бога известен за несколько веков до ислама. У иудеев термин «рхминн» означал эпитет бога Яхве, а у неджранских христиан этот термин означал эпитет Бога Отца. Об этом свидетельствуют тексты каменных надписей IV—VI веков, найденные в различных районах южной Аравии. Причем иудаистские и христианские надписи IV—V веков не различаются между собой. Различие между ними отчетливо прослеживается только в надписях конца V и VI веков, когда в текстах иудеев появляется имя «Йхв» (Яхве), а у христиан — слово «Крстс» (Христос) или «Мсх» (Масих, т. е. Мессия). В связи с этим надписи с термином «рхминн» в науке разделены на три группы: неопределенно-монотеистические, иудаистские и христианские.

## СУРА 18

1. Самая последняя сура II мекканского периода прочитана в конце 619 года.

2. «Не сделал в ней кривизны» — в смысле «указал в книге прямой путь».

3. Упоминание в аяте 3 об отсутствии у Аллаха ребенка является одним из оснований для определения времени чтения этой суры, ибо полемика с мекканцами на эту тему происходила в конце II и начале III мекканского периода, когда у пророка Мухаммада еще не было идеи переезда в Медину, а в Мекке мусульмане находились в сложных условиях.

4. Аят 5 свидетельствует о том, что Мухаммад иногда приходил в отчаяние.

5. В аятах 8—25 изложена легенда о «Семи спящих отроках», которая, видимо, была популярна среди семитских народов и которая многократно исследована исламоведами. По толкованиям, мекканцы во время полемики перед Мухаммадом поставили три вопроса: что такое дух святой, знает ли он историю о жителях пещеры, знает ли он сказание о Зу-л-Карнайне (т. е. Александре Македонском). На два последних вопроса и дан ответ в этой суре.

Короткое содержание легенды таково. Один из императоров Рима, предположительно Дийянус (Диаклетиан), проводил жестокую политику исповедования многобожия. Опасаясь смертной казни, все римляне стали притворяться многобожиями, но семь молодых людей (отроков) не захотели подчиниться приказу императора и открыто исповедовали единобожие. Император приговорил отроков к смерти. Но они успели скрыться в пещере. Один из них ходил в город, узнавал обстановку и возвращался с продуктами. Когда император стал оказывать давление на родственников молодых людей, чтобы они выдали непослушных, бог наслал на отроков долгий сон, а имена их «запечатлел» на медной пластине, что и называется в Коране «ар-рахим» (буквально — послание, письмо, запись). Отроки проснулись через 309 лет, в совершенно другую эпоху.

6. В аятах 31—41 изложена притча о двух владельцах сада и гибели урожая у одного из них за неблагодарность Аллаху. Эта и подобные ей притчи и наставления воспринимали у мусульман психологию, диктующую полагаться во всем на Аллаха, отсюда и упоминание при каждом деле или пожелании слов «инша Аллах» — «если пожелает Аллах».

7. В аятах 43—45 изложена притча о скоротечности и бренности земной жизни.

8. Аяты 59—81 — история Мусы. Поскольку полемика с евреями началась только в Медине, ученые предполагают, что эта часть относится к мединскому периоду, была вставлена позже.

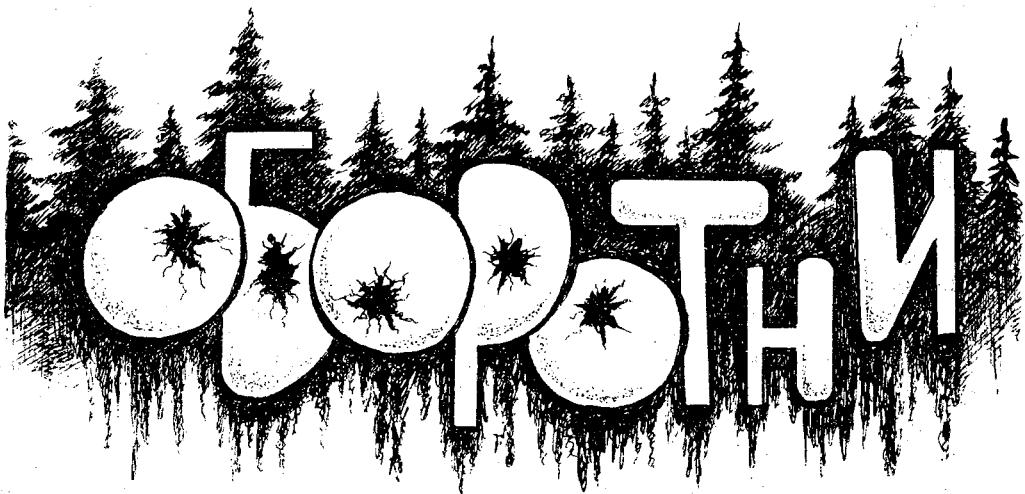
9. Аяты 82—98 — подробное повествование о Зу-л-Карнайне (Двурогом). Такое название Александра Македонского связывается с тем, что бог Аммон у греков обычно изображался с двумя рогами, и древнегреческие полководцы и воины также надевали в боях шлемы с двумя рогами. По содержанию повествования чувствуется, что арабам не были известны реальные исторические события, связанные с походами Македонского, о нем сложилась легенда мифического характера, источник которой, по мнению исследователей, связан с сиро-христианской легендой.

10. Йаджудж и Маджудж — мифический народ. Легенда о нем имела широкое распространение. В Европе этот народ известен как Гог и Магог.

11. В аятах 95—96 речь идет о том, что Зу-л-Карнайн установил ограду из металла, чтобы народ Йаджудж и Маджудж оставался за ней до конца мира.



Геннадий Головин



ПОВЕСТЬ<sup>1</sup>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Политзанятия проводил лейтенант Слуцкий. Бурый рассеянно-посматривал в окно на очищенный от снега строевой плац. Внимание его вдруг привлекли Тамара и Ирина Васильевна. Они шли через плац к медпункту.

«Интересно, о чем они говорят?— подумал он, залюбовавшись фигуркой Тамары.— Надо всерьез заняться Томкой, влекущая девка. Скоро год, как знаем друг друга, а все мимо ходим». Он перевел взгляд на Гашиша, сидящего рядом, подтолкнул его локтем.

— Твоя «таблетка» на ходу?— спросил тихо.

— Обижает, шеф!— с деланной обидой прошептал тот в ответ.

— К тетке Марухе смотаешься?— снова ему Бурый, чуть выждав.

— Можно... Медичка девок везет к зубнику, после политики,— ответил Гашиш.— Пока они в поликлинике будут, смотаюсь.

Бурый приблизился к дружку.

— Возьмешь вещмешок, передашь лично в руки хозяйке... Скажешь, для Лешака. Она знает... уловил?

Гашиш подмигнул.

— Заметано!.. В лучшем виде доставлю,— заверил он Бурого.

— Флягу не забудь захватить,— напомнил Бурый.

— Будет сделано!

<sup>1</sup> Окончание. Начало в № 10.

Слуцкий посмотрел в их сторону. Бурый нагнулся к тетради. За окнами весело стучала капель. Дальневосточная весна набирала силу. С голубого апрельского неба светило солнце.

— Вот уж и май... Смотришь, и служба к концу подойдет!— выкрикнул «студент», подтолкнув угрястого.

— Да-а! Май самый быстрый месяц из всех, которые я знаю,— улыбнулся угрястый и предложил:— Пойдем в спортгородок, там наши с пограничниками в футбол рубятся...

На футбольном поле роты бушевали болельщики. Игра была принципиальная, играли постоянные соперники: солдаты роты и ближайшей погранзаставы.

— На этот раз твои продуют,— засмеялся Вольнов, обращаясь к Шустову, начальнику заставы.

— А это мы еще посмотрим!

В это время из-за вертушек сосен вынырнул вертолет. Сделав круг, он сел близ спортивного городка. Из вертолета вышли молодые солдаты весеннего призыва.

Кто-то выкрикнул:

— Молодняк прибыл! Пополнение!

И любопытные побежали к посадочной площадке, где теснились новобранцы.

— Дождались!— возликовал Арба.— Теперь в «черпаки» перейдем, братва!

Кавказец обошел молодых солдат, поздоровался с каждым за руку.

— Ай-ай! Земляков нету,— с огорчением сообщил он друзьям.— Далеко отсюда до Кавказа!.. Жалко.

— Не жалея, кацо,— успокоил его Сыч,— и с этими нам будет неплохо!.. Теперь повольним!— мечтательно протянул он.— А там и «дедами» станем.

Арба поддакнул:

— Точно... Я свое отпахал, пусть теперь молодые вкалывают.

— С деньжатами подкатили. Гляди, кармашки пухленькие какие, оттопыренные!— сказал Сыч и почесал ладонь.— То-то я все думаю, к чему бы это левая ладонь чешется?

— Замолкни!— осек его Бурый.— Язык у тебя, как помело... Дело это ювелирное, с умом подходить надо, с умом... и по закону...

— Закон тайга, медведь хозяин!— подхватил его слова Гашиш.— А ты как раз и есть Бурый, и закон твой выполнять будем!

Бурому это понравилось.

— Айда знакомиться с молодыми...

Подошли они к прибывшим на правах бывалых солдат. «Старики», и только. Бурый присмотрел одного, мощного телосложения новичка. Сразу видно, силен парень, но увалень, с простым бесхитростным лицом. Бурому захотелось с него начать свое «дедовство». Если удастся приручить такого, все перед Бурым голову склонят. И делать это надо немедленно, пока у верзилы баранье положение.

— Откуда будешь?— похлопал он парня по плечу.

— С Майи я,— пробасил тот.

— С кого, с кого?— подскочил к ним Гашиш.

— С Майи, что у Лены...— пояснил верзила смущенно.

— Ну ты и бабник!— захихикал Таран.— Только с Майи да сразу на Лену...

Все захохотали. Верзила покраснел.

— Не-е! Поселок такой есть, где Лена-река, в Сибири это...

Неожиданно внимание Бурого привлекла девушка, идущая по тропинке лесочка. Неужели Томка! Сердце учащенно забилось — одна по лесу... Вот момент! Наверное, с дежурства сменилась, цветочков захотелось нарвать... Он поспешно отошел от дружков, минуту постоял и незаметно, чтобы никто не увязался следом, пошел в обход тропинки, следя за Тамарой.

А та, напевая вполголоса, действительно собирала цветы, и в мыслях, видимо, была далеко. Потому-то Бурому и удалось приблизиться к ней вплотную.

— Удавов не боишься?— прогудел он у нее за спиной.

— Ой!— вздрогнула Тамара. Но, увидев шутника, сказала с неприязнью:

— Ты, пожалуй, опаснее удава будешь. Вон как неслышно подполз... Чего следишь, делать тебе нечего?

— Хочу, вот и слежу!— расплылся Бурый в нагловатой улыбке.— Может, виды на тебя имею! Вдруг надумаю в жены взять...

Тамара, все так же неприязненно, рассмеялась.

— Бурлей, я смотрю, у тебя ум за разум зашел...

— Намек на то, что его стало не видно?— Бурый ничуть не смутился, не утратил наглости.— Смеешься, значит?— спросил он с вызовом.— Напрасно стараешься, гадючка!— И вдруг резко схватил Тамару, привлек к себе.

Тамара на миг опешила, не ожидая, что Бурлей способен решиться на такое. Но, опомнясь, рванулась из его цепких рук.

— Пусти, подонок!.. Не прикасайся ко мне!

Но того уже азарт охватил.

— Не таких ломал,— прошипел он, задыхаясь от возбуждения,— как телка, смиренная станешь...

Тамара будто взорвалась, из последних сил оттолкнула его, вырвалась. Бурый снова рванул к ней, да неожиданно точно на сук напоролся. Это Тамара отработанным приемом нанесла ему удар ногой в промежность. Ну и взвыл тот от боли, упал на землю и стал корчиться у ног девушки.

— Чао, женишок!— крикнула Тамара и побежала из леса.

Бурый с трудом поднялся, лицо перекошено от боли, руками за ушибленное место схватился.

— Растерзаю, дешевка!.. Наизнанку выверну!— прохрипел ей вслед.

В выходной день Гияс Рахимов пригласил Тамару пойти с ним в увольнение. Она согласилась. Они шли неторопливо, любуясь природой, тихо разговаривая.

— Отец пишет, что клубника созрела,— сказал Рахимов.— Знаешь, какая у нас клубника? Во рту тает...

Тамара улыбнулась.

— Слаще меда, скажешь?

— Нет,— покачал головой Гияс.— Слаще меда только твои губы,— и поцеловал нежно Тамару.— Пишет, что мама на дорогу выходит, смотрит, не еду ли домой... Скучают старики... Тебя ждут...

Тамара опустила глаза.

— Скажешь тоже! Они обо мне и не знают... Выдумал, да?— спросила с надеждой услышать еще раз сказанное Гиясом.

— Разве я похож на выдумщика?— загорячился он.— Я им в каждом письме о тебе пишу...

Тамара благодарно посмотрела на парня.

Сзади посыпшались чьи-то шаги, громкий разговор и смех. На тропинке, по которой медленно шли Рахимов и Тамара, появились Бурый и его дружки. Они прошли мимо сержанта, шутовски чеканя шаг, отдавая честь. Рахимов спокойно приложил ладонь к козырьку.

— Видали?— спросил дружков Таран, отойдя подальше от влюбленных.— Кролики! Никак не обнюхаются, но дело к тому идет...

— Я бы не стерпел,— поддакнул Арба.— Томка твоя, Бурый, а этот к ней уже как к своей...

— Заглохни, Арба!— вспылil Бурый, задетый за живое.— Я эту сучку еще возьму...

Кавказец засмеялся.

— Э-э, кацо! Кажется, один раз тебе уже помешал сучок, на который ты напоролся. А? Враскорячку неделю ходил!.. Сучок этот, не Томка ли?..

Дружки захохотали. Бурый разозлился, шикнул на них.

Сквозь заросли показался дом тетки Марухи. Кавказец остановился.

— Я к тетке Марухе не пойду,— заявил он.— Идите сами, меня Зоя ждать будет,— посмотрел на часы и пошел в село.

Дружки приумолкли. Арба сплюнул, поглядывая вслед Кавказцу.

— Темнит кацо! Откальвается от компании...

— Ну и хрен с ним!— воскликнул Сыч визгливо.— Хрен с ним!.. Нам больше достанется!

Бурый и Таран молча смотрели, как уходит Кавказец.

— Да пусть идет!— махнул рукой Гашиш.— Проситься еще будет...

— Ладно!— и Бурый двинулся к дому тетки Марухи.— Айда, братва!

У тетки Марухи их уже ждали. Здесь был накрыт стол, суетились подружки Клавки. Сама тетка хлопотала на кухне. Увидав солдат, хозяйка поспешила навстречу.

— Пришли, голубки?.. Заходите, милости просим!— елеино загнусавила она.— Заждались вас девчата... Проходите к столу...

В комнате наступило оживление. Подруги потащили солдат к столу, усаживая по местам.

— Всем штрафную!— потребовала Клавка, подставляя Бурому полный стакан.— Пей до дна!

От такой щедрости Бурый даже чмокнул Клавку в губы. Затем, отстранив подружку, подошел к ее матери.

— На,— протянул сверток.— Здесь то, что ты просила...

Тетка Маруха подхватила сверток, развернула, заохала:

— От спасибочки, сынок! Угодил старухе, век молиться за тебя буду!.. Иди-иди





Рисунки Л. Максимова

к компании, я сейчас угощу вас первачком... Высший сорт! - И, пряча сверток в передник, засемила в другую комнату.

...Бурый, на правах хозяина, первым поднял свой стакан, глянул на дружков.

— Только не вздумайте надраться, черти! Перегаром казарму задушите... Пить не больше моего!

Хозяйка замахала на него руками.

— Что ты, милочек?.. У меня настоечка на мяте выдержана!.. Запашок, что у диколона «Кармен»! Пейте без опаски... времечко есть, отоспитесь еще,— и она поставила на стол полный графин.

— За красивую жизнь!.. За свободную любовь!— провозгласил Бурый и опрокинул стакан.

В самый разгар пиршества тетка Маруха подошла к Бурому, согнала подзатыльником с его колен Клавку, зашептала что-то на ухо.

— Где он?— негромко спросил Бурый.

— В Клавкиной спальне. Тебя дожидается,— уточнила та, собирая опороженную посуду со стола.

Бурый поднялся и, пошатываясь, пошел в спальню. На Клавкиной кровати, прямо в обуви, лежал Лошак, пуская к потолку кольца табачного дыма.

— Явился?— сказал, увидев Бурого.— Давненько не виделось... Присаживайся!— кивнул на стул и выбросил окурочек в окно.

Бурый послушно сел.

— Чего надо? Вываливай и отваливай!— проворчал хмуро.

Лошаку не по вкусу пришлось такое начало. Он сел на край кровати и холодно бросил Бурому:

— А ты не понукай!.. Я хоть и Лошак, а взнуданным ни под кем не пахал... А под таким, как ты, и подавно!— Встал, подошел к застекленному шкафчику, достал бутылку водки, стаканы.— Поздоровался бы сначала...— разлил по стаканам водку.

Бурый молча наблюдал за ним.

— За нашу встречу, командир,— протянул стакан Бурому. Молча выпили. Бурый взял огурец, поданный ему Лошаком, отложил. Лошак хмыкнул.

— Не брезгуй, свои ведь люди. Одним дерьмом мазаны...

— Так чего тебе еще надо?— глянул на него Бурый.

Лошак сел на стул напротив него, усмехнулся.

— Не гони вороных, командир... Скажи лучше, принес патроны?

Бурый икнул и пьяно уставился на Лошака.

— Я тебе уже принесил,— вымолвил наконец.— Сколько можно!

— Мало! Еще надо...

Бурый побагровел.

— Прорва ты, Лошак!— прошипел он.— Тебе сколько ни давай, все мало! Надоело!— выкрикнул зло.— Ты слово не держишь... До сих пор военный билет не вернул. Чудом выкручиваюсь!

Лошак радостно рассмеялся, наслаждаясь сознанием того, что держит Бурого за надежную узду.

— Ну-ну, не психуй. Раз обещал, отдам. Мое слово закон!— пристукнул ладонью по столу.— Клади патроны, получишь документ, как говорится, не отходя от кассы... Вот он, при мне,— пошлепал себя по груди.— Храню, как фото любимой! Смотри, коль не веришь.— И Лошак достал военный билет, покрутил им перед носом Бурого.

Бурый невольно потянулся за ним, но Лошак отдернул руку. Спрятав военный билет, снова разлил водку по стаканам.

Выпив и утерев рукавом губы, Бурый сказал зло:

— Лады, кореш! Гони билет, есть у меня патроны,— и он, вывернув карман куртки, высыпал патроны на пол.— Застрелись ты ими, крохобор!

Лошак принялся собирать патроны.

— Давно бы так, а то крутишь мордой... Я же твое нутро насквозь вижу,— проговорил он.

Бурого заело. Он полез рукой под полу своей куртки и вдруг выхватил оттуда гранату-лимонку.

— Ложи-ись!— истошно заорал на Лошака.

Лошак вскинул голову, дернулся в испуге и распластался на полу. Только посуда на столе зазвенела.

— Э-э-э! Не балуй, псих!— выкрикнул он сипло.— Убери игрушку!.. Оба взлетим!..

Бурый посмотрел на гранату, как бы впервые увидав ее в своих руках, и пьяно захохотал.

— Ты прав, Лошак... игрушка серьезная... иногда взрывается.

Лошак поднялся, с недоверием поглядывая на Бурого. Вытирая рукавом вспотевший лоб, сел на стул.

— Ну, командир, ну, ты даешь!— сказал с дрожью в голосе.— Устроил цирк!

— Запомни,— пригрозил Бурый,— если не отлипнешь, я тебя угроблю... А теперь гони документ!.. И Клавку забудь. Понял?

В спальню заглянула тетка Маруха, справилась подобострастно:

— Ничего не надобно, Лоша?

— Покличь Клавку,— распорядился Лошак,— а сама изыдь отсюда!

Тетка Маруха скрылась за дверью. Лошак повернул голову к Бурому.

— Твоя взяла, командир! Но я памятливым, ох, какой памятливым!..

— Звал, Лоша?— вошла Клавка, боязливо косясь на Лошака.

— Подь сюда,— поманил ее Лошак.— Да посмелей, не слопаю!— повернулся к Бурому, достал из кармана обломок карандаша.

Бурый тупо следил за его действиями.

— Клавка, бумага есть? Поддай своему чухарю, да поживей.

Клавка опротясь бросилась исполнять. Через минуту чистый лист и обломок карандаша легли перед Бурым на стол.

— Пиши расписку, командир! По описи передам, чтоб после не говорил, будто Лошак слова своего не держит,— осклабился он в улыбке.

Но Бурый отодвинул лист и показал Лошаку кукиш.

— Вот тебе, морда протокольная. Нема дураков, не буду писать никаких расписок... не проведешь.

— Значит, не желаешь?— нахмурился Лошак.— Тогда и тебе во!— поднес он в свою очередь к носу Бурого грязный кукиш.— Вот, получишь свой документ! Бурый задумался, аргумент был внушительным...

— Рисуи, пока я не передумал!— поторопил Лошак, снова пододвигая к Бурому лист.— Теперь или никогда. Ну!

Бурый, не ожидавший такого натиска, невольно подался вперед и машинально взял карандаш.

— Хоть ты и Лошак, но хватка у тебя бульдожья,— сдаваясь, сказал он.— Давай, сдирай кожу с живого! Чего писать-то?

Лошак самодовольно почмокал губами, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди.

— Пиши... расписка...— посмотрел на Бурого,— дана такого-то числа,— снова взглянул на Бурого, спросил:— Нынче какое?

Бурый скривил в усмешке губы.

— Тринадцатое. Какое же еще?!

— Пиши... четырнадцатого... год не забудь проставить... дана товарищу Лошаку... в том, что от него принято по описи: первое,— он загнул палец,— Клавка, девка семнадцати лет, одна штука; второе...

И Лошак перечислил все, что имелось на Клавке. Дойдя до перечисления нижнего, спросил:

— Клавка, у тебя лифчик есть?..

— Не-е, Лоша!— испуганно ответила та, не понимая, к чему бы все это.— Я так, без...

— Может, что и другое при ней, запишем?— съехидничал Бурый.

Лошак некоторое время тупо смотрел на Бурого.

— Про то не надо,— крутнул головой и ткнул пальцем в лист:— Допиши... За пятьдесят боевых патронов и одну гранату... Записал?

Бурый вперил недобрый взгляд в грязные космы Лошака, ожидая, что будет дальше. Лошак потянулся к листку и сказал:

— Все... давай,— и забрал расписку. Затем подозвал Клавку, потребовал:— Разинь рот...

— Чего?— не сразу поняла та.

Лошака взбесила ее непонятливость.

— Пасть, говорю, распахни!— рявкнул он злобно.

Клавка, вздрогнув, широко раскрыла рот. Лошак вложил ей в рот военный билет Бурого и хлопнул по заду, точно лошадь по крупу.

— Бери свое золото,— бросил Бурому,— и помни, какой я добрый.

При этом Лошак нарочито всхлипнул, вытер рукавом глаза, высморкался и вытер нос скатертью.

Бурый выхватил изо рта Клавки свой военный билет и замахнулся на нее рукой.

— Мотай отсюда!.. Тряпка постельная! У-у, ты!..

Клавка заревела и, пятясь, выскочила из собственной спальни. Бурый поднялся и пошел за ней.

— А ты задержись, командир,— неожиданно остановил его Лошак.

Бурый вздрогнул и остановился, не дойдя до двери.

— Ты теперь к этим штучкам,— Лошак подбросил патроны на ладони,— «пушку» мне принеси... Что они без «пушки», игрушки!— он скривил рот и языком потрогал золотую коронку на зубе.— Секешь, братишка?

Бурый, побагровев, пошел на Лошака.

— Ты что, шкура, издеваешься? Да я тебя!..

Но Лошак, не меняя позы, выхватил из-под подушки обрез и уперся им в живот Бурого.

— Охолонь, парень! Не то проглотишь кусок свинца на закуску.

— У-у, кровосос!— с ненавистью глянул на него Бурый, но драться не стал. Лошак спрятал обрез и насмешливо сказал:

— Ну вот и договорились!.. Шлепай теперь к своей ораве...

Бурый с налитыми кровью глазами попятился к двери.. А Лошак взбив подушку, улегся на постель и принялся рассматривать расписку.

— Этот документ поважнее твоих корочек будет, соображай! И роспись тут как тут,— он помахал распиской Бурого.— Принесешь автомат, сожгу... Топай-топай, командир, веселись, а я подожду,— и спрятал бумагу в карман.— Но если запамätуешь, расписочка разыщет тебя...

— Ну и гад ты, Лошак!— сказал ошеломленный Бурый.

Лошак затрясся в беззвучном смехе.

— Можно подумать, ты не гад... Да ты еще хуже... Я присягу на верность не

приносил... Сам себе и рядовой и генерал... Ходи гуляй, командир, надоел ты мне...— устало произнес он и зевнул.

А через неделю в роте появилась комиссия. Правда, Вольнов знал о ее приезде, Болотов ему сообщил об этом заранее, но сам факт был неприятен. Однако ничего страшного не произошло.

— У вас отличная рота!— сказал Вольнову полковник Бык, председатель комиссии.— Мы так и отметим в акте... Молодец, капитан!

Похвала эта вдохновила Вольнова, хотя он и не подозревал, что самого главного, червоточины, в солдатской среде выявлено не было.

После убытия комиссии жизнь роты потекла по-прежнему руслу. Как-то Величко привел в кладовую молодых солдат и сказал Бурому:

— Эти трое поступают в твое распоряжение... К моему приходу завтра в кладовой должен быть блеск. Надраить, начистить, вымести, помыть и разложить все вещи по местам. Оце тоби крещение! Ясно?

— Ясно, товарищ старшина!— вытянулся Бурый. — Сделаю все, как по нотам!.. Будете довольны, я вас никогда не подводил.

Величко одобрительно закивал, прокашлялся.

— Гарно, хлопче!

После ухода старшины дверь кладовой приоткрылась, и в нее заглянул Гашиш.

— Заваливай,— позвал его Бурый.— Зови наших...

Вскоре в кладовой собрались все дружки Бурого. Включили магнитофон.

— Вот это войско!— кивнул Таран в сторону молодых солдат.— Горы свернут, не то что кладовку выдраят!— остановил взгляд на верзиле, фамилия которого была Машкин.— Беру шефство над этим циклопом. Сделаю из него настоящего солдата.

Бурый посмотрел на часы.

— Даю вам два с половиной часа,— это он молодым, строго, по-командирски.— Навести марафет в кладовке... потом подшить подворотнички, погладить обмундирование. Сначала для нас...

Машкин покачал с сомнением головой.

— Не успеем... Тут за ночь не управимся, не то что за два часа. Многовато работы.

Таран взял в руки гитару, сказал, перебирая струны:

— Не сможете, будете каждую ночь пахать, тренироваться.— И пропел: — «Я не люблю, когда мне лезут в душу! Особенно, когда в нее плюют!»

Бурый снова глянул на часы и сделал отмашку рукой.

— На-чинай!.. Время пошло...

Молодые солдаты принялись за работу, а дружки Бурого, улыбаясь, наблюдали за ними.

— Отныне мы ваши шефы,— заявил Бурый.— Старшина закрепил вас за нами,— подмигнул приятелям.— Нам приказано сделать из вас настоящих солдат: дисциплинированных, послушных, работающих!

— Вам предстоит беспрекословно выполнять все наши требования,— добавил Таран под аккомпанемент гитары.— И работать за себя... и за того парня... то бишь за нас!

Арба добавил:

— В столовую заходить после нас... Оказывать почтение «черпакам», жратву брать в последнюю очередь, к сахару не прикасаться. Ясно?

— Только так закаляется солдат,— подал голос и Гашиш.— Послушные солдаты — это золотой фонд армии!

— И учтите, мы не потерпим тунеядцев в своей среде,— заключил Бурый.— Вам понятны ваши обязанности и наши требования? Повторять не буду. За невыполнение — кара!

Молодые солдаты понуро слушали его.

На утреннем разводе Вольнов объявил благодарность Бурому.

— За добросовестную работу,— пояснил он,— по ходатайству старшины роты.

После убытия комиссии Вольнов пребывал в хорошем настроении и не упускал случая, чтобы напомнить солдатам и офицерам о высокой оценке, которой удостоилась рота.

— Сделаем все, чтобы рота и впредь была отличной!— повторял он.

— Теперь наш «Иглой» большую звездочку на погон прицепит,— подтолкнул Гашиша Кавказец.— Гордись, майора возить будешь!

— Я слышал, он в академию намыливается?— спросил стоящий рядом с ними угрястый.

Но Рахимову не понравился беспорядок в строю.

— Прекратить разговорчики!— одернул солдат.

Вольнов, тем временем, закончил свою речь.

— Объявляю десятиминутный перекур,— раздобрился он.— Разойдись!

— Кацо, собери молодых хозотделения за баней,— сказал Бурый, приблизясь к Кавказцу.— Старшина приказал мусорную яму засыпать и отвод для стока воды вырыть.

Бурый выглядел полководцем. Объявленная ему благодарность возвысила его в собственных глазах.

За стеной бани, куда привел молодых Кавказец, их поджидал Бурый и его дружки.

— Все в сборе?— это Бурый, подражая начальству.— Начнем... времени у меня мало... Сначала подведем итог выполнения молодыми наших требований,— обвел молодых солдат изучающим взглядом.

Не совсем понимая, нужно ли такое подведение итогов, те стояли молча, понув головы.

— Вы слышали, что сказал ротный?— опять Бурый.— Напоминаю. Любими методами добиваться отличных результатов!.. Где эти результаты?— он выставил подбородок.— Я вас спрашиваю!

Солдаты молчали. Выдержав паузу, Бурый повернулся к Тарану.

— У тебя какие замечания по службе молодых?

— Старания нет... Подворотнички забывают подшивать,— показал на свой подворотничок.— В столовку рвутся первыми. Вчера, гады, чуть с копыт не сшибли!— озабляясь, выкрикнул он.

— Жрут лучшие пайки!— не удержался и Сыч.— «Слоны» несчастные! Разве из-за них что-нибудь достанется «черпакам»?

Гашиш уселся на край мусорного ящика и, покачивая ногой, подлил масла в огонь:

— Куревом не снабжают, как положено. Никакой заботы о нас не проявляют... Пустяк и тот делают хреново. Вчера «Иглой» «выдрал» меня за грязь в машине, а я ведь тебе, шланг паршивый, поручал ее,— пнул он ногой молодого солдата Таирова.

— Я не мог,— начал было Таиров, чтобы оправдаться,— мне сержант приказал...

Но Арба не дал ему договорить, наступил на сапог и ребром ладони ударил в подбородок. Таиров упал.

— Видите?— Бурый, с прискорбным видом.— Требования устава вы не выполняете. А мы стоим на страже уставных требований, у нас за неповиновение свои методы наказания... Что поделаешь, если слова не доходят?— вздохнул он.

— В уставе такого нету,— возразил вдруг Машкин.— Я весь устав прочитал...— он все еще не понимал причины недовольства «дедов».

— Да и машина не за мной закреплена,— сказал Таиров, поднимаясь.

— Они нас не поняли,— изобразил удивление на лице Арба.— Требуется дополнительное внушение,— приблизясь, он вдруг резко ударил Таирова в живот.— Это тебе первый параграф нашего устава!

Таиров согнулся от боли, застонал. Он вновь бы упал, но Машкин подхватил его. Третий молодой солдат, Шквара, получил удар от Гашиша, хотя и помалкивал предусмотрительно.

— Устав, значит, читаете, «слоны»? И что же? Уважения к «старикам» никакого?! Это вам третий пункт из нашего устава, запоминайте,— подытожил Таран.— Получай, циклоп...— ударил ногой Машкина.

Бурый сделал снисходительный жест.

— Ладно! Для первого урока хватит,— поднял лопату и протянул ее Машкину.— Теперь, как сказал ротный, с новой силой за работу! Заодно посмотрим, пошел ли урок вам впрок.

— Что делать-то?— обиженно спросил Машкин.

Бурый указал на кучу мусора.

— Вот объект приложения сил... Разобрать лопаты, носилки, надеть рукавицы, чтобы ручки не измозолить... Словом, вкалывайте.

Солдаты разобрали инструменты. Машкин передал лопату Шкваре и взялся за носилки, но Бурый наступил на них ногой.

— А тебе, циклоп, рыть водосток в ту сторону,— показал направление.

— Докуда рыть-то?— спросил уныло Машкин.

Бурый ехидно усмехнулся.

— От стены и до обеда. Ясно?

Тарану показалось, что на лице Машкина отразилось недовольство, и он подошел к нему.

— Ну ты, копоть с Майи! — угрожающе так, прищурился глазом. — Тебе и теперь не все понятно?.. В уставе об этом тоже не написано? Плохо читаешь устав... не с той стороны. Когда будешь перечитывать, приходи за разъяснениями... Ну, чего устался?

— Ему нужны разъяснения с картинками, — хихикнул Сыч. — Он туго воспринимает...

— Мы ему и картинки нарисуем, — осклабился Таран и ни с того ни с сего снова ударил Машкина ногой в промежность.

От резкой боли Машкин согнулся, зажимая руками уши. Лицо его перекосила гримаса страдания. Почувствовав безнаказанность и от того распаясь, Таран стал наносить ему беспорядочные удары в живот, в грудь...

— Ну, хватит, слушай! — оттолкнул его Кавказец. — Это уже зря...

Таран зыркнул на Кавказца.

— Это ему еще пара пунктов из устава, для закрепления материала... — но бить больше не стал.

— Только закладывать нас не советую, — пригрозил Арба. — Начальство вас не поймет, оно ведь тоже за уставной порядок... Кто же, кроме нас, в их отсутствие присмотрит за дисциплиной в роте?

— Ну, что? — поинтересовался Бурый ласковым голосом. — Намотали на свои хилые мозги?

— Намотали, — проговорил Шквара угодливо. — Так точно!

Но Машкин начал упрямо:

— Несправедливо и нечестно это...

Очередной удар оборвал слова молодого солдата.

— Честно — нечестно, нам лучше знать, — потирая кулак, улыбнулся Бурый. — Ваше дело баранье, выполнять требования «дедов». А теперь, кончай базарить, начинай работу!

— Где картишки? — спросил Таран у Гашиша. — Вытаскивай, перебросимся. — И они уселись поодаль в кружок.

Неожиданно засуетился и вскочил Гашиш.

— Гляди, хохол сюда прет!

— Где? — сгребая карты, закрутил головой Бурый. — Давай за работу! — заметив Величко, распорядился он. После чего выхватил у молодого лопату, принялся бросать мусор на носилки.

— Робим, хлопцы? — довольным голосом спросил Величко. — Оце гарно! Молодцы! Вижу, стараетесь, — это он уже Бурому.

— Стараемся, товарищ старшина! — вытянулся Бурый перед ним. — Выполняем ваше приказание...

— Ты мне очень нужен, — сказал Величко Бурому, — дело есть срочное... А хлопцы пусть роблят...

— Ну, чего рты разинули! — прикрикнул на молодых солдат Таран, когда Величко увел Бурого. — Слыхали, что хохол сказал?.. Гарно вкальвать!

Солдаты снова взялись за инструменты, начали работать, а Таран уселся на прежнее место и кивнул Гашишу:

— Раздавай!..

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Вечером, возвратясь со службы домой, Вольнов застал Ирину взволнованной.

— Ты что, репей проглотила? — пошутил он. — На тебе лица нет...

— Хуже!

— Что ты хочешь этим сказать, — насторожился он. — Что-нибудь случилось?

— Не знаю, но... Ко мне сегодня приходили молодые солдаты...

— Если только это, то я спокоен, — стаскивая сапоги, снова отшутился он. — Насморк схватили?

— Это раньше приходили с насморками, — не понимая хладнокровия мужа, сказала Ирина. — Сегодня приходили с серьезными ушибами, кровоподтеками...

Вольнов отправился в ванную, сквозь шум воды до Ирины донеслись его слова:

— Хочешь, скажу, кто приходил?.. Первогодки... Правильно?

— В том-то и дело, что они, — горячо подхватила Ирина, заглядывая в ванную. — Кто их так?..

Вольнов неторопливо умылся, прошел на кухню, сел за стол.

— Что за вопрос, Ирина?.. Молодняк ведь... Не все у них еще получается. За

все цепляются, везде спотыкаются... У нас шустрить надо, иглой пролазить... Боевая техника не детские игрушки. А они пока, как мухи сонные, ползают.

— Вот-вот!— накрывая на стол, сказала Ирина с возмущением.— Они то же самое твердят: один напоролся на сук, другой на спортплощадке ударился... Но я медик, меня не проведешь. Это преднамеренные удары, и изощренные к тому же.

Вольнов начал раздражать этот разговор.

— Ну уж и изощренные! Если даже ребята и постукались между собой, что из этого? Панику поднимать? Я сам в таком возрасте с синяками ходил... На этом мучают парни! Они солдаты, а не мокрые курицы, пойми ты!— помолчав, успокаиваясь, взял вилку, нож, склонился к тарелке.

— Сами-то они ведь не жалуются...

Ирина вздохнула.

— Ничего ты не понял. Это молодые солдаты, у них еще ложное представление о товариществе. Они считают доклад начальству чем-то вроде доноса. Но я-то вижу, что их просто-напросто избил кто-то... Это похоже на глумление...

Вольнов окончательно вышел из себя.

— Думай, что говоришь! — он вскочил из-за стола. — У меня в роте глумление?! Да я головой ручаюсь!.. — И, помолчав минуту, спросил встревоженно: — Кто приходил-то?

— Рядовой Машкин, — назвала первого Ирина.

Вольнов вдруг захохотал.

— Вот это насмешила! — он ударил себя по бедрам. — Да такого Геркулеса танк не прошибет!.. Он сам кого хочешь калеккой сделает!

Позабыв про ужин, Вольнов стал расхаживать по кухне.

— Что говорит Машкин? Откуда травмы?

— Говорит, ударился, когда занимался на брусках, — сказала Ирина нерешительно.

Вольнов подошел к ней, обнял за плечи.

— Это точно, не сомневайся... Он хоть и верзила, но тюфяк. Верю, что так оно и было. — И, отходя от жены, спросил: — Кто еще был!

— Рядовой Таиров, — почти успокаиваясь, ответила Ирина.

— А с этим, что случилось?

— На боли в животе жаловался, — ответила она. — Но мне показалось, что боли у него от ушиба...

— Солдату виднее, где у него болит и отчего, — отпивая чай, сказал Вольнов. — Может быть, съел несвежего... Им в посылках даже колбасу умудряются присылать. Родители опасаются, что они у нас голодными ходят.

Ирина вдруг вновь заволновалась.

— А ты обратил внимание, что ребята этого призыва выглядят и впрямь усталыми, исхудавшими?..

Вольнов, лениво ковырявший спичкой в зубах, недовольно поморщился.

— Лыко да мочало, начинай сначала!.. — посмотрел с укором на жену. — Их же строем в столовую водят... чуть ли не в рот ложку суют.

Ирина возразила:

— Но ты видел, что в той ложке?.. Полна ли?

— А это уж не мое дело, в рот каждому солдату заглядывать!

Ирина обиделась.

— Пойми, я не поучаю тебя, просто не хочу, чтобы ты наделал ошибок... Я ведь люблю тебя, дурака!— И ушла на кухню.

Вольнов пожалел, что был груб с женой. Крикнул ей вслед примирительно:

— Ирина, прости, погорячился!.. Обещаю во всем разобраться. Завтра же вызову Машкина, Таирова и расспрошу их.

С севера, гонимые холодным ветром, наплывали тучи. Накрапывал дождь. День обещал быть сырым. Вольнов подошел к окну канцелярии, размышляя, всматриваясь в потемневшую зелень тайги.

— Не верю, чтобы такого силача, как Машкин, мог кто-то избить,— повернулся он к Слуцкому.

Слуцкий пожал плечами.

— Сомнительно, конечно,— согласился с Вольновым.— Но проверить надо.

Они вызвали на беседу Машкина и Таирова и теперь ожидали их прибытия. Настроение было пасмурным, под стать дню. В это время в коридоре появился Машкин. Неожиданно из кладовой навстречу ему вышли Бурый и Таран. Бурый преградил ему дорогу, прошипел тихо:

— Если заложишь, амба!

— И сестренка твоих не забудем... Соображай, циклоп!— поддержал Бурого

Таран. На тонких губах его блуждала улыбочка.— Скоро в караул заступаем... а там всякое может случиться... Случайный выстрел шлеп, и «слоника» нет...

И они с деловым видом проследовали мимо.

Машкин с недоумением посмотрел им вслед и вошел в канцелярию роты.

— Что с вами стряслось?— сухо вато встретил его Вольнов.— Мне стало известно, что вы обращались в медпункт...

Машкин недоверчиво взглянул на капитана. Казалось, он взвешивает ответ. Но взгляд командира роты был холодным.

— На брусках маненько зашибся... Да ушибы-то пустячные, прошло уже все.—И солдат отвел глаза в сторону.

— Расскажите, как это случилось?— это уже вопрос Слуцкого.— Скрывать не надо. Если вас били, скажите об этом... Мы не оставим такое просто так, обидчики будут строго наказаны,— заверил он Машкина.

Но слова лейтенанта лишь насторожили солдата. Он представил себе, как отомстят ему «деды», и промолчал.

Вольнов внимательно осмотрел его внушительную фигуру.

— На брусках, говорите?— переспросил для подтверждения.

— Так точно,— ответил Машкин нехотя.— Сам... когда махи делал.

Вольнов, не дослушав его, посмотрел на Слуцкого.

— Думаю, так оно и было... Чего ради ему врать?

Слуцкий неопределенно покачал головой.

— А то, может, и впрямь олушцевали тебя... такого битюга?— спросил Вольнов, сверля Машкина взглядом и переходя на «ты».— Не скрывай!.. Смелее, докладывай!..

Но Машкин еще ниже склонил голову.

— Не-е... Я сам, как сказал уже,— с упрямством, словно и себя убеждая в этом, повторил он.

Вольнов с усмешкой посмотрел на Слуцкого.

— Не сомневаюсь, что солдат говорит правду... Этот себя обидеть не позволит, с такой-то силищей! Лично я так бы и поступил, тронь меня кто ненароком!

Машкин с удивлением взглянул на капитана. А Вольнов назидательно произнес:

— Без страшного на снарядах впредь не заниматься... Эх вы, желторотики!.. Пора и опыта набраться бы... Ладно! Идите, и чтобы такого больше не было.

— Есть,— выдал из себя Машкин, вздохнул удрученно и вышел.

От рядового Таирова ни командир роты, ни замполит тоже ничего не узнали.

— Пойду в медпункт, успокою свою,— сказал Вольнов, вставая со стула.— Вот ревизор еще мне!— усмехнулся и, надев фуражку, вышел из канцелярии.

— Моя бабушка говорила...— поглядывая на солдат, собравшихся в бытовке перед увольнением, шутил Кавказец,— надо правильно понимать сны, тогда... вся жизнь будет, как на ладони! Мне сегодня снилась белая лошадь. А белая лошадь — это к радости... И вот я получил увольнительную! Теперь встречусь со своей Зойей...

Солдаты добродушно посмеивались, припоминая, кому что приснилось, делясь впечатлениями. Царило радостное оживление.

Какой-то белобрысый солдат, подстригая друга, настаивал:

— Серега, повторяй фамилию нашего старшины... Ну, давай...

— Зачем?— в ответ Серега.— Ну, Величко... Для чего тебе это?

— У тебя волосы дыбом становятся, когда про него вспоминаешь... стричь легче!— захохотал довольный шутник.

— Ну и шуточки у тебя,— проворчал Серега.— У меня, и правда, живот сводит, как вспомню старшину...

Солдатам было весело. Кавказец, напевая грузинскую мелодию, заканчивал бриться. Плеснув на руки одеколоном, освежил лицо, с удовольствием осмотрел свою ладную фигуру в зеркале.

— Ну, кацо! От тебя, как от парфюмерного прилавка, прет,— подошел к нему Бурый.

Кавказец косо взглянул на него.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ладно... не лезь в канистру, кацо,— заулыбался приятельски Бурый.— Слушай, будь другом, заскочи в хлеборезку, захвати пару буханок для тетки Маруши. Просила женщина.— Оглянулся, посмотрел на солдат, затем тише:— Да вот тут кое-что для нее,— протянул Кавказцу сверток.— Гашиш подвезет тебя, он в аптеку едет...

Кавказец напрягся, на щеках его вздулись желваки.

— Бурый... отойди, не касайся меня...— стал он вдруг наступать на опешившего друга.— Я шалить шалил, с милицией дело имел... но у меня имя есть — Рамаз Ширадзе! Запомни его,— рубанул ладонью по воздуху.— И Рамаз Ширадзе ни-



когда не был ни вором, ни крохобором!.. Я тебе не шестерка! Меня Зоя ждет.— Оттолкнув стоящего на его дороге Бурого, пошел к выходу.

Поблудневший Бурый кинулся за ним.

— Значит, откальываешься? На бабу друзей меняешь?.. Может, пойдешь заложить нас? А то давай!..

— Отстань!— оттолкнул его Ширадзе.

Вечером Величко предупредил Бурого, отдавая ему ключи от кладовой:

— Я должен идти, чуешь, хлопче? Останешься за меня.— И доверительно: — Мы с лейтенантом Слуцким ротного на Маюн спровадим... Смотри, без фокусов тут... В кладовку никого. Ясно?

— Будьте спокойны, товарищ старшина!— заверил, как всегда, Бурый.

Едва старшина ушел, как из кладовой послышались музыка, приглушенные голоса. Дружки Бурого не заставили себя долго ждать.

— Вызови ко мне этого ханыгу длиннобудылого,— распорядился Бурый, обращаясь к Сычу.— Вопрос к нему имеется... Скажешь, подворотничок надо пришить.

Сыч отправился за Машкиным. А через минуту тот стоял уже в кладовой перед Бурым и его дружками.

— У меня чистый подворотничок,— с недоумением проговорил молодой солдат.— Я его только что перешил...

Бурый отмахнулся.

— Выкладывай давай, о чем ты травил ротному и замполиту в канцелярии?.. О чем беседа была?

— Спрашивали, где ушибся,— простодушно сказал Машкин.

— А ты им что?— сощурил глаз Таран.— Дуй начистоту...

— Сказал, что ударился о брусья, сам... Вас не выдал.

— Не лепи горбатого!— подступил к Машкину Таран.— Кто медичке накапал? С чего все началось?— и потряс у лица его накрученным на кисть руки ремнем.— Чего молчишь?— заорал он и стегнул Машкина наотмашь по спине.

— За что?— поморщился от боли Машкин.— Ирина Васильевна спрашивала, да я ей то же самое сказал, ушибся, мол...

— Бурду заливаешь!— не поверил Таран.

— Чего с ним волюнку тянуть?— заорал Арба.— Он лапшу нам на уши вешает, а мы и верим!.. Вон замполит ищейкой вокруг ходит, вынюхивает,— приблизился к Машкину.— За ослов нас считаешь, шакал?— И тоже ударил его пряхкой ремня.

— Не надо, ребята,— попросил Машкин, заслоняясь руками от ударов.— Я правду говорю, не выдавал вас... Она сама, наверное, догадалась...

— Не надо?— ехидно спросил Сыч.— А зачем в медпункт поперся?.. Его слегка погладили, а он прямиком в медпункт... Ой-ой-ой!

— Ладно!— это уже Бурый.— Пусть докажет, что не закладывал.

— А как?— посмотрел на него Машкин с надеждой.— Как доказать?

Бурый хмыкнул, провел по струнам гитары пальцами, снял ее со стены, сказал:

— Напиши мамане, что по твоей вине склад загорелся... начет, мол, на тебя сделали на триста рубликов... Высылай-де скорее денежки, выручай сыночка.— Он помолчал, как бы раздумывая, не накинуть ли сумму. Заключил:— Получишь деньжата, поделим по-братски, и дело с концом... Подумай... Я не требую мгновенного ответа.

— Ребята, что вы!— взмолился Машкин, переводя испуганный взгляд с одного на другого и ища сочувствия.— Не могу я! У матери нет таких денег... Две сестренки дома... Отца схоронили...— Глаза его заблестели, увлажнились.— Не могу, поверьте...

— Что я говорил?— скривился Таран.— Заложил, точно! А откупаться не хочет, циклоп.

— Не кипятись, Таран,— как бы охлаждая пыл дружка, протянул Бурый.— Этот малый знает правила игры... Он шутит...

— А если нет?— спросил Арба.— Тогда что?

— Тогда?— снова усмехнулся Бурый.— Тогда мы сами письмецо его мамане составим... Пишут вам, дескать, лучшие друзья вашего сыночка... Попал он в беду, спалил склад с казенным имуществом... Сам не хочет писать, не желает волновать вас... но дело дрянь... Если желаете, чтобы на свободе был, гоните бабки и никому ни гу-гу. Иначе все загубите и сына не выручите.

Дружки подобострастно захихикали, а их вожак, чувствуя поддержку, уже откровенно куражась, ударив по струнам, заключил:

— У маманьки, поди, сердечко не каменное, а?!

В дверь кладовки постучали условным стуком, это вернулся из рейса Гашиш. Арба впустил его.

— Не надо!— снова взмолился Машкин.— Не делайте этого... Я отработаю... сколько скажете...



— Ага! Заиграло очко?— рассмеялся и Гашиш, начиная понимать, что происходит.

— А этого не хочешь?— сунул Таран Машкину под нос кулак с накрученным ремнем.— Так что, надо, «слоник», надо... Сегодня же письмецо нарисуем!

Машкин невольно отстранил руку Тарана, опасаясь удара.

— Не надо, прошу... Нету у нас таких денег, — едва сдерживая слезы, просил он.

Таран, возмущенный упрямством молодого, грязно выругался и принялся наносить удары, норовя сделать это как можно больней. Дружки поддержали Тарана, и на Машкина, прикрывшего голову руками, обрушился град ударов.

И тут Машкин не выдержал. Взревев от обиды и боли, он, не помня себя, стал разбрасывать окруживших его «дедов». Удары его огромных кулаков были столь мощными, что валили с ног. Получив такой удар, Бурый рухнул как подкошенный, и тут же свалились на него Арба и Сыч, сметенные на пол вторым ударом разъяренного Машкина. Таран, опрокинутый навзничь третим ударом, пробил головой фанерную перегородку и застрял в шкафу для вещей. Гашиш, видя такое, забился в угол от страха, притих, притворясь немощным. А Машкин пинком ноги распахнул дверь и выскочил из кладовой, приведя своим видом в ужас дневального.

Весть о побоище в кладовой молнией облетела роту. Взбешенный Вольнов приказал немедленно посадить Машкина в клетушку, которую громко именовали гауптвахтой, объявив ему трое суток ареста. Остальным была оказана медицинская помощь.

На другой день экстренно устроили комсомольское собрание. Машкина привели в сопровождении одного из дневальных и, как подсудимого, посадили на видное место. На задних местах расселись Бурый и его дружки. Вид у них был и впрямь, как после мамаева побоища: у Тарана была перевязана голова, Арба не мог раскрыть распухшего рта, где недоставало зуба, Сыч потирал ухо, которое напоминало вареную свеклу, а у Бурого фиолетовым кровоподтеком закрылся глаз. Один Гашиш отделался лишь испугом, который до сих пор отражался на его лице.

Лейтенант Слуцкий был сильно взволнован, хотя и старался не показывать вида.

— Это преступление!— начал он гневно.— Это неслыханно! Такого еще не было в роте за годы моей службы. Драка, мордобой! Позор!

Бедный Машкин сидел на табурете под перекрестными взорами солдат, понуро опустив голову.

— И отвечать вам, Машкин, придется по закону!— клеймил его выступающий.— А мы-то полагали, что это вас обижают... Выходит, все наоборот? Вы сами устроили дебош, покалечили своих товарищей... Какой позор для солдата!— лейтенант явно горячился.

— Да они, товарищ лейтенант,— попытался было Машкин, но его прервал председательствующий.

— Машкин, вам слова не давали...

И Машкин снова уронил голову, опасаясь смотреть в глаза окружающим.

— Так вот,— продолжал Слуцкий,— как бы они ни вели себя, вы не имели права распускать руки... Да и кто поверит, чтобы вам, такому здоровяку, кто-то осмелился угрожать?— лейтенант сделал паузу, затем:— Товарищи комсомольцы... я предлагаю исключить хулигана из членов ВАКСМ!

— Правильно!— выкрикнул Бурый, не поднимаясь.— Не место таким в комсомоле! Мы его просили только стеллаж приподнять, чтобы не выкладывать всего имущества... брусок под стойку хотели подsunуть, а он...— Бурый махнул обиженно рукой, потрогал синяк под глазом, поморщился.

— Так оно и было!— невнятным голосом прошепелявил Таран.

— Тише!— призвал председательствующий.— Кто еще желает выступить?

Наступила тишина. Наверное, не всякий решался выступить против Бурого и его братии, но и Машкина никто не хотел строго судить. Многие из парней в душе даже были довольны его поступком.

— Разрешите?— приподнялся Рахимов.— Я не одобряю драку... Драться в условиях армии это преступление... Но я могу понять Машкина, поверить, что эти,— кивнул на пострадавших,— могли спровоцировать его. Они в последнее время ведут себя нагло. Их сторонятся ребята... особенно молодые солдаты. Я уверен, что эта компания довела его до драки. Бурлей, или, как там его зовут дружки, Бурый, на такое способен... Я предлагаю Машкина не исключать, но объявить ему выговор.

— Вранье!— закричал Бурый.— Во-первых, это оскорбление личности... Во-вторых, сержант мстит мне...

— Ну-ну!— поднял голову Слуцкий.— За что мстит?.. Договаривайте, Бурлей.

— За что?— повел взглядом Бурый.— Да за Томку!

Все притихли.

— Я ей нравлюсь, а его это бесит... Вот и мстит мне!— бросил он оскорбленный взгляд в сторону Рахимова.— Не хотелось говорить, да вынудили...

— Что ты плетешь, трепло!— вскочил, побелев, Рахимов.— Ты Сурина не трогай! Слышишь?!— он невольно сжал кулаки.

— Вот-вот!— обрадовался Бурый.— И этот сейчас кинется морду бить... И за что? Да за то, что правду сказал!

— Куда смотрит комсомольское бюро?— подал голос Гашиш, прячась за спины.— Мы жаловаться будем.

Молчаливо сидевший до сих пор Вольнов поднял голову, встрепенулся.

— Ладно-ладно... Жаловаться,— сказал сердито.— Много жалобщиков развелось... Все мы мастера жалобы писать... только кто кашу расхлебывать будет?

Голоса смолкли, головы повернулись в сторону командира. Вольнов встал, посмотрел с укором на Слуцкого.

— Говорил я тебе, что этот Машкин темная лошадка. Он нам еще сюрпризов подбросит, успевай разгрести только... Вот уже первый! Мордобой!— посмотрел на присутствующих.— Считаю, таким не место в передовой роте... Мы не потерпим мордобоя...

— Законно!— подал голос Арба, а Сыч захлопал в ладоши. Дружки поддержали его.

Вольнов с видом глубокого огорчения махнул рукой и направился к выходу.

— Заканчивайте без меня... Я пойду делом займусь, стыдно за вас!— У дверей приостановился:— Скажу лишь, что и наша вина в том есть, не учли, что народ молодой, необузданный, горячий... не смогли проконтролировать ситуацию. Думаю, что можно ограничиться на первый раз мерами данной мне власти.— И вышел.

А через несколько дней произошло событие, которое взбудоражило роту. Время было за полночь. Солдаты спали крепко, как могут спать только молодые, здоровые парни. Лишь сон Машкина был тревожным. Солдат стонал, метался на постели, наверное, и во сне переживая случившееся. Но никому до него не было дела, никто не пытался успокоить парня теплым словом или ласковым прикосновением к воспаленной голове.

Но вот кто-то поднялся и украдкой, чтобы не заметил дневальный, подкрался к кровати Машкина. Присел у его ног, засунул бумагу между пальцев, чиркнул спичкой и поджег ее. Затем быстро отбежал и притворился спящим. Во тьме трудно было различить, кто это сделал.

Огонь тем временем разгорался. Почувствовав острую боль, Машкин с криком вскочил и, ничего не понимая спросонья, запрыгал между кроватей. Поднялся шум. Недовольные тем, что им мешают спать, солдаты принялись ругать Машкина, требуя уняться. Сцепив зубы, чтобы не выть от боли, он опустился на кровать. В казарме снова воцарилась тишина. Машкин, обхватив ладонями обоженные пальцы ног, тоскливо смотрел в окно, за которым на фоне звездного неба темнела тайга.

Утром в квартире Вольновых зазвонил телефон. Не вставая с постели, хозяин снял трубку, проворчал:

— Черт возьми! И чего будят с такого ранья?— спросил недовольно:— Слушаю... что еще стряслось?

В трубке послышался голос Слуцкого.

— ЧП, командир! Машкин исчез!

— Что?!— подскочил Вольнов.— Как исчез! Куда?

— Не знаю,— растерянно отозвался Слуцкий.— Ночью ушел, через окно... Я сообщил на погранзаставу, в милицию... собрал команду для поиска...

— Только этого нам для полного счастья не хватало!— прохрипел Вольнов.

Проснулась Ирина, спросила встревоженно:

— Что случилось, Коля? Нарушение границы?

— Хуже!— зло бросил он.

А Слуцкий между тем спрашивал:

— Что делать будем, командир? Докладывать надо...

— Стой!— закричал Вольнов.— Подожди с докладом! Не пори горячку! Разберемся сначала сами... Может, он поблизости где-то, через час-другой явится... Жди, сейчас приду!— бросил трубку и, одевшись, заторопился к выходу.

Ирина свесила ноги с кровати и, нащупала тапочки.

— Коля!— спросила взволнованно, надевая халат:— Объясни, наконец, что случилось? Может, моя помощь нужна?

— Случилось!— проговорил он с раздражением, останавливаясь у двери.— Машкин твой сбежал из роты!.. Вот она, твоя близорукость, где проявляется! Подлец он!

Ирина застыла с выражением крайнего изумления на лице.

— Не может быть!— прошептала чуть слышно.— Он такой смирный.— И громче, мужу:— Коля, не горячись, он найдется! Он не такой!

— Не такой! Найдется!— повторил с негодованием Вольнов.— Не умеешь разбираться в людях, не берись! А все твое заступничество!— он дернул за козырек фуражку, толкнул дверь и скрылся.

Машкина искали всюду. Два дня прошли в напряжении. Можно было подумать, что рота готовится к боевым действиям. Ежеминутно звонили телефоны, сновали должностные лица, от штаба отъезжали машины, на которых находились группы вооруженных солдат. Капитан Вольнов все еще медлил, не докладывая об исчезновении Машкина, надеясь разыскать беглеца.

— Мне это нравится,— садясь в машину рядом с Тараном, вполголоса сказал ему Бурый.— Сейчас им не до нас... А там и время пройдет, как поезд, четко по расписанию. Забудут все!

— Ну и отмочил, Циклоп!— хмыкнул Таран.— Даже я не ожидал от него такого,— глянул на других солдат и приблизился к уху Бурого.— Но если я его найду, то... не замечу... Пусть себе гуляет.

Бурый мотнул головой в знак одобрения. Они ехали в тайгу на поиски Машкина всем взводом, во главе с лейтенантом Савиным.

— Ты здорово придумал!— шепотом Тарану Бурый.— Надо передать нашим по шеренге... Пусть слишком широко не раскрывают зенки. Может, его и вовсе не найдут?.. Тогда ротный получит по дыре мешалкой... Заживем!— и весело подмигнул дружку.

— А может, и замполита уберут...— мечтательно — Таран.— Вот будет люкс! Я готов помочь им в этом!

— Ты вот что,— опять в ухо дружку Бурый.— Будешь шарить близ прииска на Маюне... посмотри там, что к чему. Вдруг доведется заглянуть туда?.. Одолжить золотишко на пальтишко...

— Заметано!— засиял глазами Таран.— Ты голова, Бурый! За это я тебя и уважаю!

— Только все между нами! Даже братве ни слова... пока,— Бурый пошарил глазами и, убедившись, что их никто не слышит, успокоился.

Несмотря на то, что были приняты все меры, Машкин как в воду канул.

— Куда делся, мерзавец! Куда провалился?— досадовал Вольнов.— В кратер вулкана, что ли?.. А может, тигр его задрал?.. Или медведь задавил?

— Тайга большая, человек в ней, что песчинка в пустыне,— попробуй найди,— тяжело вздыхал Слуцкий.

— Он что, сумасшедший, чтобы рвануть в тайгу?— засомневался Вольнов.

— Чужая душа потемки,— опять Слуцкий.— Я все думаю, что его заставило бежать?.. Ведь пройдет еще день, и это будет считаться дезертирством.

— Дезертир у меня в роте!— опешил Вольнов.— Перестань каркать! Надо искать... Чует мое сердце, найдется он.— И он принялся расхаживать по поляне, где стояла его машина.

— Командир,— остановил его Слуцкий,— следует все-таки доложить Болотову. Тянуть дальше преступление... Что, если он не сбежал, а с ним случилось несчастье?

Вольнов замер, об этом он не думал.

— Черт возьми! Час от часу не легче!.. Ну-ну, продолжай...

— Прошлый раз мы зачитывали солдатам телефонограмму о побеге из колонии опасных преступников,— напомнил Слуцкий.— Не исключено, что преступники могли попытаться добыть оружие... скажем, в нашей роте...

— Каким образом, Олег?— насторожился Вольнов.— Что-то я тебя не совсем понимаю... У меня оружие под семью замками...

— Но об этом знаем мы, наши офицеры, прапорщики и солдаты. Другие наших порядков не знают,— развивал мысль Слуцкий.— Зато им доподлинно известно, что оружие и боеприпасы у нас есть. Вот и могли преступники захватить солдата, надеясь с помощью угрозы заставить его достать им оружие...

Вольнов отмахнулся.

— Не выдумывай, Олег... Представить даже трудно: преступники лезут в окно казармы, выбирают самого крупного среди солдат и спокойно уносят его... Что-то не вяжется с действительностью.

— Разве я сказал, что они залезли в казарму?.. Я такого и подумать не мог... Машкин сам мог выйти ночью... ну, чтобы развеяться. Он ведь, по всему было видно, с обидой воспринял происшедшее...

— Глупости это... Чую, найдется он. Потому и с докладом повременим,— сказал Вольнов и заходил по поляне, поглядывая на часы.— Если доложим, нам же несдобровать... Прощай тогда академия, звание... да и тебя не помилуют. Нет! Будем искать, у нас еще один день есть.

Искали Машкина все. Даже приятель Вольнова, капитан Шустов, со своими пограничниками подключился. Однако пользы от этого было мало. Не найдя солдата и на третьи сутки, Вольнов снял.

— Происшествие это и впрямь чрезвычайным становится,— сокрушался он.— Черт бы его побрал, этого Машкина!

Не зная, куда податься, что теперь делать, Вольнов зашел в медпункт к жене. Ей, конечно, было по-человечески жаль мужа, но в данный момент судьба молодого солдата беспокоила больше.

— Коля, неужели с ним что-то случилось?— в голосе Ирины тревога, боль.— Какой ужас!

Вольнов даже опешил, не в силах понять ее.

— Тебе кого больше жаль, мужа или этого дезертира?— спросил с негодованием.

— Мне жаль человека,— откровенно сказала Ирина.— Тебя я тоже понимаю, но ты вот он, рядом, жив, здоров... Если что и произойдет, то не более того,

о чем ты сокрушаешься. А с ним что? Где-то у него мать... девушка, наверное... Каким горем для них его гибель обернется!

— Дура ты, извини меня!— выкрикнул Вольнов с негодованием.— Ты даже не понимаешь, чего мы можем лишиться! И из-за чего? Из-за самодурства бесполового солдата! Жалеть его?! Нет уж! Он сам себе выискивал приключения и нашел их... Подлец он! Разве я не стремился к тому, чтобы солдатам в роте жилось хорошо?

— Успокойся, Коля,— с укоризной сказала Ирина.— Значит, не все ты сделал, что-то упустил. Солдат от хорошей жизни не побежит... Доложи начальству... Может, еще не поздно...

— Поздно, Ирина! Поздно!— сорвался Вольнов на крик.— Все пропало!— надолго замолчал, задумался. Затем попросил устало:— Налей-ка спирту, дай мне успокоиться...

Ирина вздохнула.

— Я сочувствую тебе, но пить не дам, Коля... Момент очень ответственный.

— Что же мне можно сейчас?.. Говори!

— Нужно немедленно доложить о побеге Машкина... и сделать это трезвым голосом.

Вольнов заходил взволнованно по кабинету.

— Легко сказать — трезвым... А что потом? Сушить сухари?.. Жив он или мертв?.. Нет... у меня еще есть надежда! И пока я ее не лишился, ни о каком докладе не может быть и речи!.. Не мог же он сквозь землю провалиться, стервец!

Неожиданно резко зазвонил телефон. Вольнов сорвался с места, схватил трубку.

— Эй-эй!.. Ты чегой-то тута рыскаешь, солдатик, а?

Бурый вздрогнул от неожиданности. Крутнулся, автомат вскинул и наставил на деда.

— Но-но!— выставил костлявую пятерню тот.— Убери-ка свою хлопушку, ну как ненароком пальнет?— и вышел из своей засады — из кустов, где до прихода Бурого прятался.

Бурый опустил автомат, посмотрел на деда внимательнее. Лет сто, не менее, определил на глазок. Волосенки белые, реденькие и пара зубов во рту. Росточка маленького. Может, от того, что высох больно старик и временем согнут в три погибели. На голове шапка, одно ухо свесилось. Сам в телогрейке и валенках. Прямо по-зимнему, чудило, одет.

— Ты кто такой, дед?.. Чего больно строгий?..

— Сторож я тутотшний,— пояснил дед и на автомат Бурого зыркнул, видно, не давал он ему покоя.— Я на месте командования не давал бы всяким соплякам такую вещь сурьезную.— Опираясь на суковатую палку, дед подошел к солдату.— Я бы не то что эту оружию, рогатку тебе не доверил... пострел.

Бурый усмехнулся.

— Ну, дед, ты даешь! Появился, как леший, и бубнишь здесь...

Дед прокашлялся, присел на пень. Оглядел лесную поляну, на которой были расставлены ульи.

— Я-то не леший, я пасеку колхозную стережу, а вот ты откеля? И по какому такому делу на пасеку залез? Мобуть, ты пришел за медком? Улики мои потрошить?— прищурил он белесый глаз.— Признавайся!

— Напрасно психуешь, дед... В твоём возрасте это опасно,— скривился в улыбке Бурый.— Не нужны мне твои улики. Если б захотел медку, тебя бы не испугался...

— И то верно,— согласился старик.— Тогда чего же ты тута высматриваешь? Я ведь за тобою давненько дозор веду.

Бурый с улыбкой смотрел на дотошного деда.

— Дружка ищущу.. Заблудился он,— и спросил так, на всякий случай:— Случае, не видел из своего дозора?

— Дружка-то твоего?— дед поскреб заросший подбородок скрюченным пальцем.— Нет, не заметил его тута... А как же его угораздило заплутать, мил человек?

— А вот так и угораздило,— Бурый разгадал уловку деда, который все еще сомневался в правдивости его слов.— На запах твоего медка пошел и заплутал.— Чем-то давним, дано забытым повеяло на Бурого от этого деда. Щемящая грусть коснулась черствой его души и сделала на миг его самим собой, таким, каким был когда-то от рождения.

— Ты мне зубы-то не заговаривай,— погрозил пальцем дед.— Знаю я, какого дружка выслеживаешь...

— Какого же?— насмешливо Бурый.

— Любку, мою правнучку!— неожиданно хихикнул дед.— Едва из пеленок выдупилась девка, а бедовая ужасть!.. Ее-то ты и высматриваешь,— ткнул дед пальцем в грудь солдата.— Знаю я вашего брата,— покачал головой.— Что, угадал?

— Прямо в яблочко попал... А где же Любка-то?

— Явится мигом, коль ты тута уж ошиваешься,— убежденно проговорил дед.— Из кустиков, небось, зыркает...

Бурый рассмеялся.

— Шутник ты, дед!— но осмотрелся на всякий случай.— Ну а если без шуток... не видел здесь солдата, здоровогоного такого?

— Здоровенного?.. Кха-кха... И оружия такая же при ем?— кивнул тот на автомат Бурого.

— Нет. Он без оружия...

— Без оружия не видел...

— А с оружием?— поддаваясь шутливому настрою деда, спросил Бурый.

— А с им-то и подавно!

Они рассмеялись. Впервые за долгое время Бурый почувствовал себя беззаботно, как мальчишка. Ему было приятно сидеть так на этой залитой солнечным светом поляне, слушать жужжание пчел, вести непринужденный разговор со старым веселым дедом.

— Да на кой он тебе сдался?— не унимался дед.— Пущай себе блукает, куда ему деться?

— Да сбежал он из роты, подлюга,— пояснил Бурый.— Теперь вот ночи из-за него не спим, ищем.

— Ай-ай-ай!— запричитал дед.— Дружок твой, значит?..

— Если б!— с оттенком сожаления в голосе Бурый, но тут же по-другому:— Какой он мне дружок? Так, ханыга один...

— Ну, да-да, понимаю...— закивал дед.— Только зачем ему в тайгу бежать? Ему к окянью сподручнее...

— А зачем к океану-то?— не сразу сообразил Бурый.

— Какжать! Там простор,— пояснил дед.— Ни тебе ножками... Сел на моторку и айда куды хошь... Ищи свищи!..

— На какую моторку?— с удивлением уставился на деда Бурый.— Ты чего мелешь, старый?

— Как на какую? На лодку, значит, на моторную... Там их, ой, сколь, у бережка притороченных,— дед мотнул головой.— Какой же умный тебе по тайге побегит? Там для незнающего гибель одна,— развел руками.— Тайга, она эвон какая! А в окяне совсем другой компот... Там быстренько можно ехать, на моторке-то.

— Можно подумать, что там по всему берегу так и стоят моторки?— заинтересовался Бурый, сам еще не осознавая, почему.

— Зачем по всему... У маяка, к примеру, имеется,— попался на уловку старик и принялся пояснять недогадивому собеседнику:— Скажем, покажет твой дружок пугач...— кивнул на автомат Бурого,— так вот, ему и нате...

— Смешной ты, дед!— подзадорил старика Бурый.

— И взаправду смешной,— согласился старик.— А, бес с ним!.. Ты вот про армию расскажь. Я ведь сам еще в первую мировую солдатничал. Давненько то было, забыл про все... А как тепереча в армии?

— Все так же, дед, не волнуйся!

— Какжать? Вона у вас техника нынче какая!— кивнул на автомат снова.— Похлеще тогдашнего будет... Хотя и у нас пушки да пулеметы имелись.

— Ну вот и выходит, что техника такая же...— ответил Бурый, размышляя над словами деда о моторке.

— Э-э! Не скажи,— не согласился дед.— Что ни говори — наука! Эвон куды подались: ракеты энти самые, что у космос летают... Нет, не скажи!

— Да уж... ракеты! А сопли по-прежнему текут, с насморком, и с тем справиться не могут. Наука, тоже мне!— И вдруг заторопился.— Ладно, пойду я... Значит, не видел никого?

— Не видел, милоч,— дед с сожалением смотрел на солдата, видно, жаль было расставаться с собеседником.— Но вот что косамо медицины, тута я с тобой не согласный...— попытался вновь наладить разговор, поднимаясь с пенька.— У нас что за медицина была?.. Помню, таблетки давали перед едой... Чтоб стручок не шалил, чтобы до девок неохочи были...— посмотрел хитро на Бурого.— А что тепереча, вам такое дают?

— Бывает, — сказал тот, не задумываясь, беря автомат на ремень.  
— И как, помогает?  
— Сразу!.. Так что можешь за Любку не беспокоиться...  
— Вот видишь! Я же говорил, наука! — заявил старик. — А мы все одно на девок зырили... Вот уж какие годы прошли, а только действовать начали... Хи-хи-хи!  
Бурый посмотрел на него с удивлением и, поняв о чем тот говорил, захохотал.  
— Пойдем-ка, я тебя медком снабжу на дорожку, — позвал дед Бурого. — Да и Любка вскорости примчится.  
— Медок я твой возьму, — согласился Бурый, — а вот Любку ждать некогда. Надо идти, служба, дед...

В руке возникла непроизвольная дрожь, голос сорвался.

— Что-о... нашелся?! Точно? — Вольнов опустился на стул. — Где он сейчас?.. Кто нашел? — он победоносно глянул на Ирину. — Сам пришел? С матерью? Откуда?.. Вот негодяй!.. Значит, на КПП сейчас находится? — вскочил со стула. — Не выпускать! Лечу, иглой! — И, бросив трубку, кинулся вон из медпункта.

... В комнате дежурного по контрольно-пропускному пункту, куда вбежал Вольнов, сидели Машкин и его мать. В отличие от своего сына-верзилы, мать Машкина была женщиной шупленькой, с простым крестьянским лицом. Она всхлипывала и вытирала платком заплаканные глаза.

— Вы уж простите сыночка мово, — упрасивала она лейтенанта Слуцкого, сидящего напротив. — Тихий он у меня... Говорит, били его, издевались... неведомо что стало... Вы не смотрите, что расту он большого, за себя постоять не может. За других может, а вот за себя... Весь в отца покойного. Тот тоже сильнейший был, а скромный... На лесосеке его... товарища выручал, под падающее дерево кинулся, собой друга закрыл, а сам сгинул. — Она заплакала, прижала к глазам платок. — Дома был сынок, помогал мне дочерей младших растить... заместо отца. На работе его уважали, — убеждала она замполита.

— Хорошо, хорошо! Учтем, — осек ее Вольнов, переключая внимание на себя. — Лучше расскажите, где скрывался?

— Да рядышком... тут, — ответила мать. — Лечила я его... Вы знаете, он мне письмо написал, что бьют его, деньги вымогают, грозят расправой, — вот я и сорвалась, приехала. Девочек на соседку оставила... — снова заплакала она, вспомнив о брошенных дочерях. — Сняла здесь комнатку в селе, добрые люди пустили... А позавчера под утро стучится... Я его не узнала... Да он же в тайгу на медведя ходил, не боялся, а тут аж трясется весь... Посмотрите, спина у него какая и ноги опаленные, — показала она на сына.

— Да ладно, мама, — смущенно проговорил Машкин, молчавший до сих пор. — Будет вам... Пройдет, успокойтесь.

— Да-да! — заговорил Вольнов, вроде как соглашаясь. — Все это, может быть, и так, но здесь, в армии, ваш сын нарушил порядок, — строго посмотрел на Машкина. — Вам известно, что ваш сын чуть было не убил четырех солдат?.. Говорил он вам об этом?

— Говорил, — заплакала снова мать. — но они его сами... Деньги, триста рублей, требовали, грозили над сестренками расправу учинить...

— Обидели, выходит?.. И это с такой-то силищей? По-вашему, он такой беззащитный? И вокруг нет никого, ни командиров, ни комсомольской организации? Так, что ли?

Мать Машкина с испугом посмотрела на офицера.

— То-то и оно, что все есть, а вот так вышло... — сказала она не совсем уверенно и опять всхлинула. — Вы уж простите его, непутевого... не по своей воле он...

— Ладно! Успокойтесь, — снизошел Вольнов. — Мы во всем разберемся, определим, кто и в чем виноват.

— Правда? — с надеждой подняла на него заплаканные глаза мать. — Я вас прошу, помилуйте его... Он у меня хороший!.. Ударил, так это вынужденно... первый и последний раз... Я вас очень прошу, вы уж переведите его в другую часть, где нету этих... — она вытерла нос платком. — Может, мне к старшему начальству обратиться, а?

Вольнов, расхаживающий по дежурке, остановился.

— А вот этого делать не надо, — сказал мягче. — К старшему начальству в глаза лезть — только себе навредить... Раздуют черт знает что. Я сам приму меры. — Посмотрел на сидящего в задумчивости Слуцкого. — Вот и замполит мне поможет... Не стоит беспокоиться. Мы переведем вашего сына в другой взвод, к старшему лейтенанту Малинину. Я же понимаю, чего не бывает по молодости. Простим на первый раз... Поезжайте домой спокойно.

Вольнов посмотрел на Машкина, сказал с укором:



— Вот видишь, до чего родную мать довел?.. Идите с лейтенантом Слуцким в казарму и ждите меня.

— Идемте, Машкин,— поднялся Слуцкижй.

— Старший лейтенант Малинин,— позвал дежурного офицера Вольнов.— Вызовите из автопарка мою машину, отвезите на станцию женщину. Возьмите билет, проводите.

Мать Машкина поднялась, понимая, что разговор окончен.

— Спасибо вам,— поблагодарила Вольнова и Малинина.— Я уж сама как-нибудь... Люди помогут, те, у которых квартируюсь... Вы только Васю моего защитите,— она с грустью посмотрела в окно на удаляющегося сына. Вздохнула.— Страшно мне за него...

— Выполняйте!— повторил Вольнов, обернувшись к Малинину.

Несмотря на то, что Машкин нашелся и спокойствие, как казалось бы, вернулось в роту, удовлетворения от этого Слуцкижй не испытывал. Затылка с докладом, по сути обман, а также сокрытие других, хотя и более мелких фактов тяготили его. Всплывало чувство вины за допущенную год назад ошибку. «Дурак, как мальчишка, очертя голову, бросился к Болотову с просьбой! Поверил призывникам во главе с этим Бурлеем,— корил он себя.— Теперь пожинай плоды своих ошибок». И потому, вышагивая по скрипучим доскам ротной канцелярии, он с волнением говорил Вольнову:

— Да! Машкин виноват, спору нет, но и я хорош, дал маху, командир. Я начинаю думать,— он покачал с сомнением головой,— не их ли рук дело пожар на вещевом складе?..

— Ну-ну!— будто ошетинился Вольнов.— Ты, Олег, сейчас раздуешь небыллицу... Склад тушил кто? Таранкин... А кто в огонь бросался, спасая имущество? Мой водила да этот Бурлей,— стал с жаром припоминать он.— Если бы не они, сгорело бы все дотла! А так мелочь одна: несколько пар сапог, кое-что из теплых вещей... Вот! Все остальное они вытащили из пламени... С причиной возгорания разобрались тогда, замкнула проводка...

— Вот и Машкина они шантажировали этим пожаром...

— То, что шантажировали, плохо,— согласился Вольнов.— Но в остальном ты меня извини!.. Кстати, Машкина я распорядился перевести из хозотделения во взвод Малинина. Но, будь моя воля, отдал бы его под трибунал! Чтобы другим неповадно было.

— Правильно сделал, что перевел... правильно, что не отдал под суд... Не нравится мне все это. Ох, как надо разобраться!

— Вот ты и разберись, это твое дело... Моя забота — боеготовность роты!

После памятных событий в роте наступило затишье. Военная служба вошла в обыденный, повседневный ритм.

Субботним вечером в доме тетки Марухи после долгого перерыва собралась прежняя компания. Только Кавказца среди прочих не было.

— Отколотся кацо, отмежевался, гад,— сетовал Бурый.— А жаль, кореш толковый, веселый... Без него прохладнее.

— Малинин трепался, что командиром отделения его назначит,— сказал Арба.— Правда это, Бурый?

— Трепня все!— вдруг озлился тот.— И вообще, не морочь мне голову, Арба! Надоело... Давай веселиться!

История с Машкиным как-то отодвинула на задний план затаенное желание Бурого свести счеты с Кавказцем.

— Наконец-то закончилась скука смертная!— жмурился от удовольствия Арба, предвкушая прежнюю «малину».

— Да, наши снова в сборе!— поддакнул тоненько Сыч.— Все прежние милые рожи радуют мои глаза!

— Э-э! Ты плохо смотришь, брат,— подтолкнул его Гашиш.— Смотри вон туда, девки новенькую привели.

— Ого, хорошая киска! Мне бы ее...

— Ты и будешь первым... после меня...

Гашиш и впрямь подсел к новенькой.

— Как тебя зовут, дорогая?— он любезно подлил вина в стакан девушки.

— А зачем вам?— неумеючи жеманничала та и прикрывала ладонью стакан.— Не надо больше, не наливайте. Не могу, голова кругами ходит.

— Еще чуть, за знакомство,— настаивал Гашиш.

— Пей, Танька!— крикнула ей подруга Сыча, изрядно захмелевшая.— Гуляй, дуреха!

— Вот умница,— похвалил Гашиш, когда девица осушила стакан.— Еще поворим...

Танька, поддаваясь увещаниям окружающих, выпила еще, поморщилась.

— Ой! Повело,— схватила она за голову.— Как на карусели... Где я?— спросила она у Гашиша и повалилась ему на руки. Ей было плохо.

Гашиш подхватил девушку, приподнял и повел в Клавкину спальню. Громко играла музыка. Хмельная братия не обращала внимания на Гашиша. Заведя Таньку в спальню, он набросил щеколду и, подведя новую подругу свою к кровати, уложил ее.

— Сюда, сюда приляг... Вот так, хорошо, дорогая,— убаюкивал он ее, чувствуя, как разгорается в нем страсть.— Нет-нет, не вставай, лежи... Сейчас я сниму с тебя туфли... Вот так. Клади ножки сюда, умница...

Девушка вяло сопротивлялась.

— Уйди... не надо... не хочу,— она слабо отталкивала его.

Но Гашиш уже не контролировал себя. Он заломил Таньке руки, закрыл поцелуем рот и подмял под себя. Девушка закричала. Но музыка и топот танцующих поглотили крик. Наконец она перестала сопротивляться. «Ей хорошо,— подумал Гашиш.— Вот и вся любовь, дорогая». Он встал, оделся и, взглянув на разметавшуюся Таньку, вышел. Подойдя к Сычу, сказал тихо:

— Готово... Иди, если хочешь...

Сыч посмотрел косо в сторону своей девицы, шепнул Гашишу:

— Отвлеки мою шалаву... я развлекусь с малюткой,— и к спальне.

Подруга Сыча, пошатываясь, пустилась на поиски дружка. Женское чутье подсказало ей направление. Уже у входа в Клавкину спальню ее подхватил Гашиш.

— Пойдем, Алка, потанцуем,— он прижал ее к себе и увлек танцевать.

Пьяной Алке было все равно. Обхватив за шею Гашиша, тут же полезла целоваться. В это время тетка Маруха подошла к Бурому, что-то сказала. Бурый скривился, как от оскомины.

— Опять, гад, явился!.. Где он?

— Там, за дверью... тебя поджидает... злющий!

— Скот!— прорычал Бурый пьяно.— Как клещ, впился. Ну уж хватит!— ударил кулаком по столу, задев сидящего рядом Тарана.— Пришью гада!

Тетка Маруха отпрянула, испуганно крестясь. Клавка подскочила к дружку, заподозрив неладное, но он оттолкнул ее. Встал и нетвердой походкой пошел к двери. На ходу вытащил из кармана нож, открыл его и сунул за голенище сапога. Таран, наблюдавший за ним, спустя минуту направился следом.

Лошак стоял недалеко от дома, прячась за стволами деревьев. Он курил, искоса поглядывая вокруг.

— Чего надо?— спросил Бурый обозленно.

Лошак бросил окурочок, затоптал и так же недружелюбно ответил:

— Дело имеется значит... А ты, я вижу, не шибко спешишь на зов?— и сплюнул под ноги.

— Ха! Дело!— окрысился Бурый.— Без дела и черт не появится. Говори, что надо, и отваливай. Мне сегодня не хочется с тобой ласы точить.

— Надрался?— скривил обветренные губы Лошак.— Дюже смелым стал? Валяй! По-пьяни все можно... по себе знаю и потому стерплю,— приблизился к Бурому вплотную.— «Пушку» принес?

Бурый отшатнулся.

— Я не идиот, чтобы головой в парашу нырять,— оскалился он.

— Не идиот, значит?— с угрозой переспросил Лошак.— Та-ак! В штаны, выходит, разгрузился, пижон?— спросил, начиная психовать:— Зачем обещал тогда? Ты же мне расписочку давал. Забыл?

— Когда обещал, думал, смогу!— все более заводился Бурый.— Теперь нет возможности! Понял? Обстановка изменилась... на дно ложусь. И отлипни ты!— заключил с ненавистью в голосе.— Придет время, сделаю, теперь не могу. Все, баста!— И отвернулся.

Но Лошака не устраивал такой оборот дела. Он схватил Бурого за куртку, повернул к себе лицом, встряхнул.

— Не вороти харю, командир!— прохрипел взбешенно.— Мне «пушка» до резезу нужна. Во как!— отмахнул ладонью у горла.— На этой неделе чтобы избразил, не то...

Бурый искажился в лице, оттолкнул Лошака.

— Да пошел ты!.. Мало я на тебя повкальвал? Теперь хана!— выкрикнул он.— Довольно жилы тянуть! Начальнички на хвост наступили... и ты еще на мою голову! Автомат не иглока, сразу хватятся. Так что, катись ты!..

— Не-ет! Не получится... принесешь, мокрушник!— оскалил зубы Лошак и, притянув к себе Бурого, зашипел, как удав:— Ты у меня теперь во где!— поднес к его носу грязный кулак.— На, полюбуйся!..— он выхватил из кармана и, встряхнув, развернул объявление о розыске особо опасных преступников.— Тут и твой

снимочек имеется... Читай!— поднес теперь уже бумагу.— «Разыскивается опасный преступник Дрыз Дмитрий...» Узнаешь свою ряжу, Дрыз? А... Митрий?

Бурый побледнел и, раскрыв рот, некоторое время хватал им воздух, как карась, выброшенный из воды на сушу, не в силах что-либо произнести.

— Отцепись,— наконец выдал он, пытаясь вырваться из цепких рук Лошака.

— Так что здесь глухо, морда твоя протокольная,— снова прошипел Лошак.— Принесешь, гад!— И он ударил Бурого в живот коленом.

От неожиданного удара Бурый согнулся, как в поклоне, охнул. Лошак, подогретый его униженностью, стал наносить удары по голове, зверски ругаясь. Бурый упал ничком у ног Лошака, корчась от ударов в бессильной ярости.

— Притащишь, мокрушник!— повторял при каждом ударе тот.— Приволокешь, гад!

В этот момент из-за деревьев появился Таран. Видя такое глумление над дружкой, он, как бульдог, вцепился сзади в Лошака и повис на нем.

Тот закрутился на месте, пытаясь сбросить с себя неожиданного противника. И ему это почти удалось. Он резко нагнулся, чтобы опрокинуть Тарана через голову, но тут с земли поднялся Бурый. Вид у него был безумный. Он полез рукой за голенище сапога, выхватил нож и с диким воплем вонзил его в грудь недруга. Из-за деревьев выглянула тетка Маруха. Увидав, как Лошак схватился за торчащую из груди рукоять ножа, попятился и рухнул в мох лицом, она в испуге закричалась, бросилась к дому.

— Что ты сделал?!— теряя голос, хрипло закричал Таран, не в силах отвести взгляда от вздрагивающего тела Лошака.— Он же готов! Ты убил его!

— Пришил шкуру!— Бурый сумасшедше тарачил глаза.— Собаке собачья смерть! Пусть подыхает, гад...

Лошак дернулся в последней конвульсии и уставился стеклянными глазами на своего убийцу. Бурый сплюнул кровью. Таран оцепенел.

— Тащи в тайгу,— озираясь, сказал Бурый.— Он никто, его искать не будут... Сам, ханыга, скрывался... Поднимай, я следы замету.

Таран боязливо подхватил тело Лошака и волоком потащил его в чашу. Бурый, ползая на коленях, затирав пучком травы пятна крови. Неожиданно хрустнула ветка, и он почувствовал на себе чей-то взгляд, оглянулся. Тетка Маруха, все еще крестясь, выглядывала из-за калитки. Лицо Бурого искажилось от страха. Он метнулся в заросли, догнал Тарана и, как зверь, озираясь, сказал:

— Кончай тащить, увидеть могут! Вон болото, давай туда!

Вдвоем они приподняли грузное тело, раскатали его и бросили в затянутое рыской болото. Раздался глухой всплеск, и грязная жижа поглотила их жертву.

— Фу-у, все!— отдуваясь, с облегчением выдохнул Бурый и посмотрел на то место, где все еще расходились круги и лопались воздушные пузыри.— Вот и концы в воду. Амба!

— Ты что...— громким шепотом спросил Таран,— думаешь, не будут искать?— он со страхом посмотрел на свои окровавленные пальцы и бросился к луже отмыть их.

— Кому он, скот, нужен?.. Его не было и нет... Мотаем отсюда!

Они побежали прочь от болота, удаляясь и от дома тетки Марухи, не оглядываясь, не подозревая, какую улику оставляют позади. А там, на поверхность болотных вод, вместе с лопающимися пузырями всплыл лист бумаги — объявление о розыске особо опасных преступников. На снимке отчетливо просматривалось лицо Бурого.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Величко застал Бурого в кладовой роты. Тот спокойно перекладывал солдатское имущество, расставлял обувь по местам, протирал пыль.

— Да!— подошел к нему старшина.— Заварил ты кулеш, Бурлей! А я на тебя надежды возлагал, доверял тебе. Эх, ты!— вздохнул он.

Бурый вздрогнул, быстро наклонился, чтобы не выдать волнения. Затем, как ни в чем не бывало, посмотрел на старшину с удивлением.

— А что я такого сделал?— спросил невинно.— Все ваши поручения выполнял лучшим образом, порядок поддерживал...

— То-то и оно!— огорченно вымолвил Величко.— Замутил ты воду, хлопче... Словом, давай ключи... Командир приказал тебя к имуществу не допускать больше. Обмарался ты, хлопец... Давай,— протянул он руку за ключами.

— Но почему?— неохотно отдал тот ключи.— Я ведь себя не жалел, по ночам вкалывал...

— Я понимаю,— сочувственно сказал Величко,— да приказ есть приказ! Сам виноват... З тим же Машкиным учинил мутузку, сержанту съязвил... а зараз и письмо ось пришло...

— Какое письмо?— чуть было не поперхнулся Бурый.

— Самэ що ни на е обнаковэннэ... из дому. Ты ж як в армию подался, так и сгинул... Год уж вестей не подаешь... А они тебя шукают, разыскивают, волнуются. Сегодня вот сам полковник Болотов позвонил, ему посланье из редакции переслали... Учительша твоя пишет.

— А-а!— как бы поняв, в чем дело, протянул Бурый.— Писал я им, да что толку? Видно, письма не дошли, затерялись, наверное... Село наше в тайге лежит, а у меня там уже в живых никого нет. Была бабулька, да померла перед тем, как мне в армию идти... Вот так и вышло,— вздохнул он, чувствуя, как тяжелый ком подкатил к горлу.— Ну, ладно, коль так, пойду я... Письмо напишу им.

Величко виновато:

— А тут тоби он що в сели робыться! Чувя?

Бурый опять насторожился.

— Нет... а что?— спросил, чувствуя непроизвольную дрожь в теле.

— А то!— повел головой старшина.— Дивчину знасиловали... до полусмерти... Да бандогу мертвого у болоти знайшлы...— и Величко поведал уже известные Бурому события.

Бурый слушал, возмущенно качал головой, в то же время напряженно соображая, чем это может грозить ему.

— Говорят, в том деле солдаты замешаны,— добавил, понизив голос, Величко.— Слуцкий расследование собирается проводить. Так-то! А ты драки устраиваешь в кладовке, стеллажи ломаешь... Кстати сказать, и на тебя тоже тень падает... Словом, пока все не образуется, не могу,— и пожал плечами, давая понять, что не по своей воле отстраняет помощника.

В эту ночь Бурый не мог заснуть. Страх овладел всем его существом. Чувствовал, что на этот раз завяз глубоко. Надо было что-то предпринимать.

«Значит, разыскивают и те и другие,— думал он.— И уже, можно считать, добрались... Что же делать?» Мысли лихорадочно сменяли одна другую, но ничего путного он придумать не мог. Прошлое наваливалось, захлестывало, требовало расплаты. Ах, прошлое, прошлое... А ведь как все хорошо складывалось тогда для него, Митьки Дрыза, сбежавшего из-под стражи во время работ на лесоповале. Он прикрыл глаза и перенесся мысленно к родной Лузянке.

Затаясь в густых зарослях, Митька следил тогда за приближающимся к нему парнем. Внимательно вглядевшись, узнал в нем своего бывшего одноклассника Яшку Бурлея. Яшку вырастила бабка Настя, которой было лет девяносто. Говорили, что Яшку оставила бабке ее внучка, сбежавшая с каким-то геологом. С тех пор о ней не было ни слуху ни духу.

Дрыз судорожно соображал, что ему сулит встреча с Яшкой. Если уж решил сам заявиться в село, не лучше ли узнать от Яшки все подробности о переменах, происшедших здесь за последнее время, нежели испытывать судьбу? Опасаться того, что в Лузянке его поджидают сыскники, было нечего. При аресте в Хабаровске он скрыл, что родом из сибирского села, благо, кроме краденых вещей, при нем никаких документов не оказалось. Имя и фамилию его следователь прочитал на браслете из цветного оргстекла. Часы на этом браслете достались Митьке от отца. Имя да фамилия, вот и все, что о нем знали. И вот, в самый последний момент, когда Яшка приблизился, не замечая ничего, Митька вышел из укрытия и окликнул его.

— Куда намылился, соловей-пташечка?

Яшка резко остановился и тут же скакнул за ствол кедра.

— Ты кто?.. Чего нужно?

— Свой я, с Лузянки,— сказал Митька. — Не узнал? Дрыз я... Выходи, поздороваемся, паря!— и он протянул руку, изобразив на лице улыбку.

— Гля-а! И впрямь, Дрыз!— узнал Митьку Бурлей.— У-у, леший, напугал как!.. Ты откуда свалился?— спросил, выходя из-за кедра.— Здорово, Митяй!— Яшка поставил чемодан и затряс руку Митьке.— Давненько не видел тебя, где пропадал?

— Где пропадал, там не пропал,— уклонился от ответа Дрыз.— Ты-то куда шлепаешь, распеваячи?

— Э-э, брат, не отгадаешь!— весело проговорил Яшка.— В армию призвали... Вот иду прямым на большак, а там на попутках доберусь до райцентра и в военкомат... Приезжал к нам тут в Лузянку месяца три назад офицер один, переписал всех призывников и уехал, а теперь вот повестку прислали,— и он достал из бумажника и протянул Митьке клочок бумаги.— Читай вот...

— Как в селе-то?— беря повестку, спросил Дрыз.— Что нового? Жива бабка Настя?

— В селе, как в селе!— махнул рукой Яшка.— Все по старинке, ничего особенного... А бабку схоронил, померла наемни,— вздохнул горько.— Даже в армию проводить не успела... Учительница и ребята наши до опушки проводили, напутствие дали... Ну, что еще? Вот Манька Кокина, наша однокласска, двойню родила от Петра Беспалого. Деда Гришку, ветерана, схоронили...

Но Дрыз уже не слушал, его всерьез заинтересовала повестка. В голове его зарождался пока еще смутный план. Они были с Яшкой однокласски, одного роста, соседи издали путали их... Мысль металась в голове, точно хищник, почувывший близость добычи. Повестка...

— А что, офицер военкоматовский не приедет опять в село?— спросил у Яшки.

— Тоже в армию захотелось?— рассмеялся тот.— Ты знаешь, советую,— сказал вдруг серьезно.— Мир увидишь, много интересного узнаешь.

— Так, что, не приедет больше?— настойчиво повторил Дрыз.

— Не знаю,— пожал плечами Яшка.— Хочешь, пойдем со мной, в военкомате все и решим.

— А он что, с каждым из вас беседовал?— все допытывался Дрыз.

— Кто?— не сразу понял Яшка.— Офицер-то? Не-е! Он нас всех шестерых собрал у бригадира в конторе и рассказывал об армии, записал в тетрадку.

— И долго беседовал?

— Час, полтора от силы, не больше,— простодушно пояснил Бурлей.— А то все с бригадиром разговаривал, ездили они куда-то. Нас потом бригадир предупредил, чтоб были готовы убраться в военкомат. Вот и все.

— Шестеро, говоришь?— не унимался Дрыз.— Где же остальные? Чего один-то идешь?

— Остальных раньше призвали, я последний остался,— сказал Яшка.— Боялся уж, думал, забыли про меня, не призовут. Ан нет! Прислали повесточку,— и он взял из рук Митьки листок.

— Жаль бабку Настю,— сочувственно сказал Митька, меняя тему разговора.— Но что поделаешь, возраст... Каждому бы с ее прожить...

— И то правда,— согласился Яшка.— Ну, бывай!— протянул он руку Дрызу.— Идти пора,— и поднял чемодан.

— Постой!— остановил его Дрыз.— Передай вот это офицеру в военкомате... Может, и меня призовут?— сказал, доставая что-то из заднего кармана брюк.

Бурлей остановился, вновь поставил чемодан. В этот момент раздался щелчок, и не успел Яшка опомниться, как острок лезвие ножа вошло ему в грудь. Яшка изогнулся, хватая ртом воздух, пытаясь что-то произнести, и рухнул на землю. Нож попал прямо в сердце. Дрыз выдернул нож, зверем посмотрел по сторонам, затем, подхватив тело Яшки, поволок его в заросли, к глубокой расщелине у сопки.

Вскоре он вышел оттуда, поднял чемодан и, оглядевшись, зашагал в ту сторону, куда шел до этого Яшка. Через некоторое время он вышел на дорогу и стал ждать попутную машину...

Память Бурого воспроизвела все так, как было тогда. Он не забыл ни единого штриха из события, которым так удачно воспользовался. Сейчас же наступала расплата, он чувствовал это каждой клеткой своего существа. Мозг его лихорадочно работал, выискивая щель, через которую он мог бы выскользнуть и уйти от правосудия. Он перебирал вариант за вариантом, отбрасывал, обдумывал новый и лишь под утро нашел выход, который показался ему наиболее удачным.

После завтрака, едва дождавшись окончания утреннего развода, он позвонил к себе Тарана.

— Собери нашу кофлу за баней, только по-шустрому,— распорядился шепотом.— Не тяни резину, паленым пахнет. Договориться надо.

— Всех?— переспросил Таран.— И Кавказца тоже?

— Ты что?— испуганно зыркнул на дружка Бурый.— Не вздумай! Заложит... Зови только наших.

— Идиоты мы!— сплюнул Таран.— Пойми теперь — кто наш, кто чей. Каждый может заложить. Ладно, иду.

Вскоре дружки Бурого собрались за баней на хоздворе, где никто не мог подслушать их разговор.

— Хапа, братва, нашей малине!— начал Бурый без предисловия.— Обложили нас, как волков, красными флажками, хотят мешком накрыть!.. Думайте, что делать будем?

— Не дыми, говори яснее,— заволновался Сыч.

Наступила томительная пауза. Бурый зло посмотрел на Гашиша.

— А все из-за тебя, кретин несчастный!— замахнулся, будто желал ударить того.— У-у, погань злоищущая!

Гашиш невольно прикрыл лицо, ожидая удара.

— Я-то здесь при чем?— Но, поняв, что бить не будут, процедил:— Нашел крайнего, да?

— При чем?— обвиняюще Бурый, и осмотрелся снова.— Ты Ваньку немонящего не валяй, не прикидывайся шизиком... Кто несовершеннолетнюю дыривил?..

Гашиш уставился на Бурого испуганно.

— Откуда я знал? У нее аттестата половой зрелости не спрашивал... Да и не я один... Я только первый, но потом-то все... Всем и отвечать.

— Это точно!— рявкнул Бурый.— Все и будут отвечать, с твоей подачи, идиот! Только я ее не имел, и не шей мне это!— и отвернулся от Гашиша.— Отвечать за тебя и остальных не желаю!— он махнул рукой.

— Я к ней тоже не прикасался...— буркнул Таран.

— А что здесь такого?— пожал плечами Арба.— Ну, порезвились слегка... Она разве не знала, куда шла?.. Может, и вядяру мы ей в глотку заливали? Что особенного случилось?

— А то и случилось!— взорвался Бурый.— Хохол сказал, девка при смерти, в больнице сейчас. Родственнички хипишь подняли... К тетке Марухе милиция из района нагрязнула с обыском. Забрали ее!— снижает голос до шепота.— Клавку свидетельницей записали... Понимаете теперь? Эта шалава трусливая всех заложит... Слуцкий уже вынюхивает, расследование проводит. У нас времени на свободе осталось ноль целых и хрен десятых!— подытожил он.

— Что же теперь будет?— простонал испуганно Сыч.

— Что будет?! Если девка концы отдаст — вышка вам! Вот что будет,— пригрозил Бурый.— Групповое изнасилование малолетки... это не тетю Мотю выдрать!

— Что же делать?— засуетился Гашиш.

Таран, догадываясь, к чему клонит Бурый, подыграл ему:

— Линять надо, пока не поздно!.. Разберутся — крышка нам!

— И крышка, и вышка...— подлил масла в огонь Бурый.

— Куда линять-то?.. Еще хуже будет, найдут как!— струхнул не на шутку Арба.

— Хуже уже не может быть. Линять надо, это точно... Если по уму слиняем, никто не найдет,— деловито рассудил Бурый.

— Как это?— ожил побледневший было Гашиш.

— У меня есть планчик...— посмотрел на каждого Бурый, как бы проверяя на прочность.— Только делать все надо быстро, не паникуя. От этого будет зависеть успех.

— А вдруг сыпанемся... тогда что?— боязливо так Сыч.

— Не каркай, не сыпанемся,— уверенно Бурый.— Все пойдет, как по нотам,— посмотрел на Сыча.— И когда-нибудь будешь благодарить судьбу за то, что она свела нас,— криво улыбнулся, хотя у самого кошки на душе скребли.

— Выкладывай, не тяни!— заторопил его Арба, будто и впрямь от каждой потерянной минуты зависела его судьба.

Бурый прикусил губу, снова повел глазами на дружков.

— Кто в караул сегодня заступает?

— Ну я, а что?— испуганно опять Сыч.

— А ты, Арба, идешь на КПП, так?— не отвечая Сычу, повернулся к Арбе Бурый.

— Да, на КПП дневальным заступаю,— пробормотал недоуменно Арба.

— Хорошо!— потер ладони Бурый.— Все идет пока, как надо... Теперь слушайте мой план.

Дружки приблизились к нему, затихли. Бурый понизил голос.

— Сразу после отбоя мы с Тараном ждем Сыча у казармы... Сыч срывается с поста как есть, с автоматом. Передает автомат мне... Мы с Тараном заходим в казарму, показываем «пушку» дежурному... забираем у него ключи. Таран вскрывает «пирамиду», берет для всех автоматы, потом магазины с патронами к ним из ящика с боеприпасами.— Бурый сделал паузу, прислушался и снова заговорил:— Сыч в это время обрывает телефонный кабель... Арба делает то же самое на КПП и открывает ворота. Таким образом мы лишаем роту связи... Гашиш подгоняет «таблетку», забирает нас и жмет к КПП... Там садится Арба, и все вместе рвем на Маюн, на золотой прииск,— он опять замолчал, давая дружкам время осмыслить гениальность плана. Но глаза тех выражали лишь тревогу. Бурый продолжил:— На приiske забираем золото и мотаем на побережье, к маяку,— он повторял слова деда, которого встретил на таёжной пасеке.— У маячника забираем моторку и выходим на ней в море... в нейтральные воды. Моторка лодка быстрая, малозаметная, проскочим на международную трассу, а там наверняка подберут... там очень часто корабли ходят. С золотишком везде примут. Зато потом житуха пойдет, братва!— Бурый торжествующе поглядел на оживившихся дружков.

— На мокрую пойдём?— чуть было не испортил весь план Бурого Сыч.

— Пошляк ты, Сыч!— укорил его Бурый.— Главное, автомат в руках. Под дулом всяк как шелковый будет, все отдаст, чтобы шкуру спасти.

Таран его поддержал:

— Кому захочется свинец глотать? Все без шухера обойдется... Связи у них долго не будет. Так что, живи-гуляй!

— Правильно!— вдохновился поддержкой Бурый.— Когда они хватятся, мы уже в море уйдем, а там ищи ветра...

— Они в тайгу кинутся, искать будут,— заулыбался Арба, представив себе вольготную жизнь за океаном,— а тайга велика, всю и за год не обшаришь.

— Океан еще больше,— в тон ему Таран,— дело это надежное.

— Ну как?— поторопил Бурый дружков.— Заметано?

— Заметано!— первым согласился Таран.— Я — за!

— Сто бед — один ответ!— махнул рукой Гашиш.

— Ладно, была не была!— с решимостью отчаянья выкрикнул Арба.

Все посмотрели на Сыча, который все еще раздумывал.

— Ну!— толкнул его Бурый.— Один остался... откалываться не годится. Если останешься, тебя же первого захомутают. А ты нас заложись...

— А может, не надо?— заколебался Сыч.— Страшно... Но и в тюрьму не хочется... вся молодость пройдет...

— Что молодость!.. К стенке поставят, как пить дать!— заявил Бурый.

— А-а!— сдался Сыч.— Раз все, значит, все... Где наша не пропадала!

— Зато покайфуем потом!— обнадеживающе повторил Бурый.

На том и порешили.

«Жаль, что наши ошибки становятся достоянием опыта после того, как горечь их коснется сердца, а последствия лягут тяжким грузом на душу...»— размышлял Слуцкий, направляясь к штабу роты. Раньше, в силу своей молодости, Слуцкий больше действовал и меньше рассуждал. Но именно это и порождало ошибки, за которые приходилось расплачиваться. «Нет, хватит мальчишества! Настало время думать, прежде чем действовать,— укорял он себя.— Что же теперь делать? Как правильно поступить?»— с этими думами он вошел к командиру роты.

Время было уже позднее, но в кабинете его поджидал Вольнов.

— Дела-а!— покачал Слуцкий головой, взглянув на ротного.— Милиция труп опознала: некто по кличке «Лошак»... Скрывался в тайге. При нем нашли обрез и...— озабоченно глянул на Вольнова,— патроны автоматные. Напекают, что кто-то из солдат нашей роты замешан здесь.

— А что говорит девчонка?— спросил Вольнов уныло.

— Девчонка?— Слуцкий помедлил.— Пока молчит... Она еще очень плоха, к тому же, ее насмерть запугали... Но ничего, расскажет, никуда не денется.

— Только бы все это нас не коснулось... Надо опросить солдат,— занервничал Вольнов.— Нужно искать алиби,— он посмотрел на Слуцкого.— Нельзя допустить и тени подозрения... Олег, займись этим лично, я только на тебя надеюсь.

— Эх!— вздохнул Слуцкий.— Жалею, что не раскусил этих ребят раньше, а еще просил за них у Болотова,— посмотрел в глаза Вольнову:— Как хочешь, командир, обижайся или нет, но скрывать я больше не намерен... Надо возбуждать уголовное дело.

— В связи с чем?— Вольнов недоуменно уставился на Слуцкого.

— В связи с глумлением над Машкиным, а также по случаю пожара... Думаю, что и девчонку они изнасиловали...

— Ты что!.. Думай, что говоришь!— Вольнов заметался по канцелярии.— Я понимаю, что влипли по самое... Но ведь можно еще что-то сделать, чтобы не выперло все это дерьмо на глаза начальству.

Слуцкий отошел к окну, принялся вглядываться в звездное небо. Наконец Вольнов остановился, посмотрел ему в спину и, будто вспомнив что-то, сказал:

— Олег, проверь караул... Кажется мне, кто-то из этой братии заступил сегодня... Их инструктировал Калинин, спроси у него... Если так, то сними немедленно до выяснения... поставь надежных парней.

— Есть, командир,— понял его Слуцкий. И упрямо добавил:— Однако докладывать придется... Дружба дружбой, но так дальше дело не пойдет.

— Что ж,— махнул обреченно рукой Вольнов.— Завтра сам доложу... Сам виноват, сам и докладывать буду.

— Правильно. Лучше поздно, чем никогда,— улыбнулся с облегчением Слуцкий.— Снимут нас с должностей, и поделом... наукой будет.— Он надел фуражку, подтянул ее покрепче обеими руками.— Пойду-ка проверю караул, что-то не по себе мне сегодня...

— Иди, комиссар... Надо когда-то исправлять ошибки... Иди, буду ждать тебя в казарме. — Вольнов взглянул на часы. — Двадцать четыре уже...

Объекты поста чернели силуэтами боевой техники. Сыч, только что заступивший на пост, ходил между двумя рядами колючей проволоки. По телу его пробегала невольная дрожь, и хотя ночь была теплой, он зябко передергивал плечами, поглядывая на темное небо, усыпанное звездами. Ночь была безлунной, и потому звезды казались особенно яркими. Неожиданно до его слуха долетели торопливые шаги. С каждой секундой они становились четче. Сыч насторожился, вскинул автомат, взгляделся в темень. Вскоре на фоне огней городка появились две темные фигуры.

— Стой! Кто идет? — фальцетом заорал он, хотя сразу узнал Бурого и Тарана.

— Здорово у тебя получается, идиот! — обозленно шикнул на него Бурый. — Гаркни еще разок, да так, чтоб в казарме окна зазвенели... Ты же видишь, это мы.

— А чего на пост приперлись? — огрызнулся Сыч. — Договаривались, что я сам найду вас, — он посмотрел на часы. — Еще не время...

— Время ждать — свободу можно потерять, — сплюнул Таран. — Сейчас самые подходящие условия для дела. Понял?

— Дорога каждая минута, — подтвердил Бурый. — Девка, к которой ты был не первый в очереди, раскололась, заложила нас... Давай «пушку» и дуй к Гашишу в автопарк, скажи, чтоб подъезжал к казарме. Потом, как условились, связь пере-режь. Дуй, ну! — видя нерешительность Сыча, подогнал Бурый, почти силой вырвав из рук его автомат. — Пошел!

Оставшись без автомата, Сыч потоптался еще чуть в нерешительности, а затем побежал в автопарк, чтобы поторопить Гашиша. Бурый с Тараном двинулись вдоль проволочного ограждения к казарме. Вдруг на их пути показалась темная фигура.

— Стой! — схватил Тарана за руку Бурый. — Присядь! Какого-то хмыря черт несет... Замри!

— Он что, с сучка сорвался? — ругнулся шепотом Таран, ложась в траву. — Быстро шпарит, кролик, в караулку, по-моему...

— Похоже, замполит идет с проверкой, — так же шепотом Бурый. — Черт, не ко времени! — он повернул голову, поискал глазами Сыча, надеясь еще вернуть его. Но того уже не было видно.

— Придется притормозить лейтенанта, — сказал он. — Не то накроет и Сыча, и Гашиша... «таблетку» не выпустит. Весь план испортит.

— Может, пронесет? — прошептал Таран неуверенно.

— Накроет наверняка, — сквозь зубы — Бурый. — Никуда уже не денешься, докопается сразу. — И, приняв решение, сказал: — Ладно! Поговорить по душам давно хотелось... Вот и случай подходящий, — и он встал на пути Слуцкого.

Заметив неожиданно появившийся силуэт, Слуцкий, не раздумывая, направился к нему, забыв о недавнем своем решении. Всмотревшись, узнал Бурого.

— Рядовой Бурлей?! Вы что здесь делаете? Почему у вас автомат?

— Ха-а! — перекосялся Бурый. — Бабушка в посылке прислала. Велела вам кланяться, привет передает, — он шагнул к Слуцкому. — Поговорим, комиссар? — спросил нахально. — Так сказать, по душам, один на один?..

— Не получится, Бурлей! — твердым голосом — Слуцкий. — Отдайте оружие! Я требую! — и потянулся рукой. — Приказываю отдать оружие! — с явным намерением забрать автомат у Бурого пошел на него.

Не ожидавший такого напора, Бурый растерянно отступил в сторону. Но в этот момент сзади лейтенанта возник Таран с булыжником в руке, занесенной для удара. Булыжник описал полукруг... Слуцкий упал на одно колено, но тотчас поднялся и, держась за голову ладонью, из-под которой струйками потекла кровь, пошатываясь, двинулся на бандитов.

— Приказываю сдать оружие... Вы преступники и будете отвечать по закону. Сдать оружие! — проговорил не громко, но требовательно.

Опешившие Бурый и Таран невольно попятнулись под таким натиском. Бурый вскинул автомат и навел его на Слуцкого.

— Стоять, комиссар! Стоять! — прохрипел он с отчаяньем в голосе и передернул затвор, дослав патрон в патронник. — Беги отсюда! Беги... ну! Я посмотрю, как драпают комиссары! Ну! — потряс автоматом, скорее всего для собственной смелости.

— Не побегу! Не боюсь я вас! — продолжал идти на подкашивающихся ногах Слуцкий. — Бросай оружие! — Он с презрением смотрел на них. — Бросай! Я приказываю...

Последние слова его заглушил гул взревшего в автопарке двигателя. Ударил свет фар. Перекосяв физиономию, Бурый нажал на спусковой крючок. Автомат в его руках дернуло, из ствола изверглось короткое пламя. Лейтенант Слуцкий сделал еще два шага и упал плашмя, выбросив вперед руку, словно все еще пытаясь обезоружить бандитов. На лицах их отразился ужас.



Бурый, первым приходя в себя, сильно потрянул Тарана.

— Чего застыл?! Очухайся!— посмотрел по сторонам.— Рвем в казарму, быстрее!— и побежал вон от распростертого тела лейтенанта. Таран кинулся за ним.

Забжав в помещение казармы, Бурый наставил автомат на оторопевшего дежурного по роте.

— Ключи!— потребовал он и потряс для убедительности автоматом.— Ключи от оружейки! Гони, иглой! Ну!

Дежурный посмотрел с недоумением на Машкина, застывшего у тумбочки дневального и тоже не понимающего ничего в происходящем.

— Вы что, ребята!— промолвил дежурный, надеясь, что это какой-то розыгрыш.— Кончайте шутить...

Видя, что дежурный не собирается выполнить их требование, Бурый ударил его прикладом по голове, сбил с ног, а Таран забрал связку ключей и кинулся открывать оружейку.

Шум борьбы у тумбочки дневального разбудил спящих солдат. Они стали приподниматься, пытаясь понять, что происходит. В это время лежащий на полу дежурный застонал. Бурый, державший под прицелом Машкина, машинально повернулся к нему. И тут Машкин выхватил штык-нож, висевший у него на ремне, с силой метнул в Бурого. Бандит отскочил, и нож пролетел мимо. Следующим движением Машкин поднял тумбочку, но Бурый успел выстрелить. От тумбочки полетела щепка, а раненый Машкин, привалившись спиной к стене, сполз на пол. На стене остались кровавые следы. Таран все еще возился в оружейной комнате. Ему никак не удавалось вскрыть ящик с боеприпасами. Услышав выстрелы, солдаты повскакали с кроватей и кинулись к оружию, но под дулом автомата Бурого отступили назад.

Неожиданно приоткрылась дверь канцелярии, и из нее выглянул Вольнов. Наверное, он спал, сидя за столом, в ожидании Слуцкого. На лице его отпечатались красные полосы. Он уставился на Бурого непонимающими глазами.

Бурый на миг растерялся. Но длилось это всего лишь секунду, в следующую он выстрелил не целясь. И хотя Вольнов успел снова скрыться в канцелярии, пули, пробив дверь, попали ему в бедро.

— Таран, рвем отсюда!— заорал панически Бурый.— Быстрее!

При повторных выстрелах солдаты снова отхлынули за укрытия, а Вольнов, крутнув ручку полевого телефона и поняв, что связи нет, прихрамывая, подбежал к открытому окну, вывалился через него и кинулся в тайгу.

Рахимов первым услышал гул двигателя машины, затем сухой короткий треск. Насторожился, прислушался, посмотрел на Тамару, с которой стоял поодаль от казармы.

— По-моему, был выстрел?— сказал он встревоженно.

— Да нет, тебе показалось,— предположила Тамара.— Я не слышала. Может, это от машины, которую завели в автопарке?

Они замерли, стараясь расслышать что-либо среди ночных звуков.

— Постой!— встрепенулся Рахимов.— А почему это машина работает? Что-то здесь не так. Пойду в казарму, узнаю,— он нежно отстранил Тамару и поспешил к казарме.— Тома, иди к себе!— крикнул девушке, уже удаляясь.

Подходя к казарме, Рахимов отчетливо услышал выстрелы и звон стекла. Он кинулся к входной двери, рванул ее и буквально ворвался в помещение казармы. Первое, что он увидел, это испуганно-свирепое лицо Бурого и автомат в его руках. Затем лежащих на полу дежурного по роте и Машкина, истекающего кровью возле изрешеченной пулями тумбочки. Рахимов оцепенел.

Зато Бурый всполошился еще больше и, заорав: «Таран, уходим!»— выстрелил в Рахимова не целясь, от живота.

Выстрелы, произведенные впопыхах, не поразили сержанта. Рахимов успел укрыться в проеме входной двери. Пули пробили огнетушитель, висевший у двери, из которого полезла пена.

Неожиданно входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Тамара. Очевидно, услышав выстрелы в казарме, она кинулась вслед за Рахимовым.

— А-а! И ты высветилась, сука!— злобно выкрикнул Бурый, увидав девушку.— На, получай свою пайку!— И он выстрелил в нее.

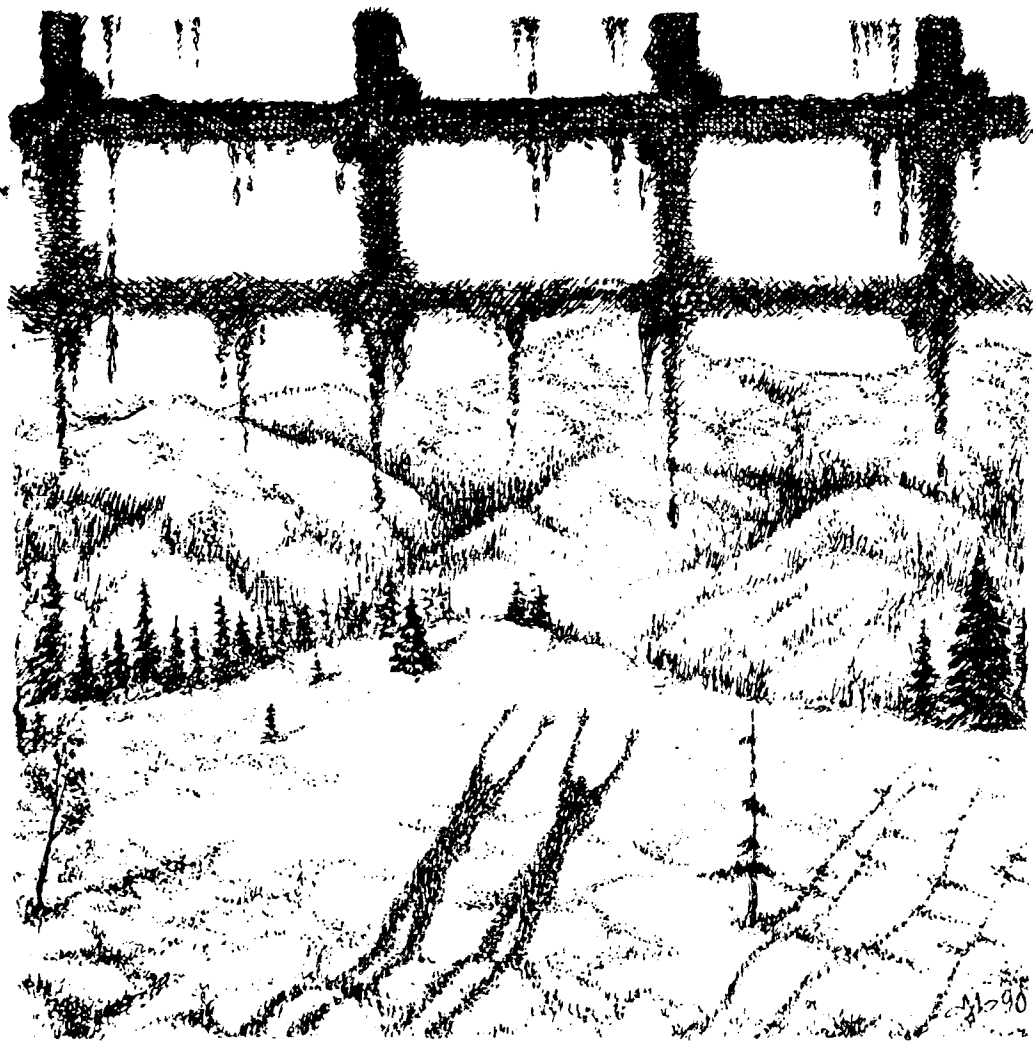
Но мгновением раньше к ней бросился Рахимов, закрыв собой. Падая, он увлек и ее. Из оружейки, наконец, выскочил Таран. Безумно озираясь, он кинулся к выходу, неся в охапке автоматы и магазины к ним. Не заметив раненого Рахимова, Таран споткнулся о его ногу и выронил один автомат с магазином. Однако остановиться, чтобы подобрать оружие, уже не мог, солдаты роты, прячась за укрытиями, приближались к отступающему Бурому.

— Рви быстрее!— подгонял тот замешкавшегося Тарана.— Патроны кончают-

ся! Жми в машину!— И они опрометью кинулись вон из казармы. У входа их уже ждала санитарная машина.

Все это произошло в какой-то миг. Тамара, придя в себя, вскочила на ноги и, подняв автомат, бросилась за бандитами. Выскочив наружу, она увидела Тарана, который последним садился в санитарную машину, уже на ходу. Девушка метнулась за машиной.

Стойте! Стреляю!— Но догнать ее не смогла.



Выхлопнув клубы дыма, «санитарка», набирая скорость, удалялась к КПП. Раздумывать было некогда. Тамара вскинула автомат и прямо на бегу принялась стрелять длинными очередями по беглецам. Заднее стекло у машины рассыпалось, но машина быстро удалялась. В свете ее фар у раскрытых ворот КПП метался Арба. Он махал руками, делая знаки Гашишу, требуя остановиться. Но Гашишу уже было не до него. В расширенных глазах его застыл страх. Он, газуя, пронесся мимо едва успевшего отскочить дружка и, набирая скорость, помчался прочь от роты. А оплоумевший Арба еще некоторое время бежал следом и перекошенными губами посылал проклятья обманувшим его корешам. Затем, споткнувшись, упал и в истерике начал бить кулаками по земле.

Вольнов, сильно хромя и зажимая рукой рану, пробирался напрямую сквозь заросли к водонапорному пункту, туда, где имелся телефон. Водонапорный пункт находился неподалеку от дислокации его роты, там круглосуточно велось дежурство. Вольнов спешил. Сзади над тайгой взлетали в черное небо красные сигнальные ракеты. Беспорядочные вспышки их говорили, что в роте случилась беда. Впереди уже замелькали огоньки водонапорного пункта, он приближался к нему.

Измученный вконец, Вольнов ввалился в домик дежурных по пункту.

— Где телефон?— спросил, задыхаясь и падая на табурет.— Где телефон? Скорее!..

Дежурная, пожилая женщина, испуганно вскрикнула, увидев окровавленно-го офицера, кинулась ему навстречу.

— Ой, боже милосердный, что же это!— всплеснула руками, показала на телефонный аппарат, висевший на стене.— Здесь вот телефон-то, здесь!

Вольнов схватил трубку, крутнул ручку.

— Срочно погранзаставу! Срочно!— прокричал срывающимся голосом, услышав чей-то ответ.— Да, капитан Вольнов... Вольнов! Быстрее, черт возьми!— подождал нетерпеливо.— Срочно начальника заставы!

Дежурная, охая и качая головой, рылась в аптечке.

— Алло! Шустов, ты?!— снова закричал Вольнов, распознав голос на том конце провода.— Да, Вольнов! Шустов, чепа в роте! Нужна твоя помощь! Немедленно!.. Солдаты-бандиты, двое или трое, оказались среди моих... завладели оружием, стреляют в казарме... убитые? Не знаю... Сам я ранен! Дальнейших их действий не знаю! Наверняка в тайгу рванут,— замолчал на секунду, вслушиваясь.— Да, выручай, Шустов! На тебя вся надежда!— И, бросив трубку на стол, обессиленно уронил голову на руки.

Дежурная подала ему стакан воды.

— У вас кровь течет,— сказала взволнованно.— Давайте-ка перевяжу рану...

— Что я наделал! Что наделал!— застонал Вольнов. Он заскрипел зубами и потерял сознание.

— Ой, батюшки!— бросилась к нему дежурная.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первое время Гашиш гнал машину, сам не осознавая, куда, лишь бы подальше от роты, в тайгу, в глушь. Бурый, Сыч и раненный Тамарой Таран старались всеми силами удержаться, чтобы не упасть от качки, не удариться о что-либо. Их нещадно бросало из стороны в сторону на каждой ухабине, которых на этой дороге хватало с избытком. Особенно страдал Таран. Пуля пробила ему левый бок в тот момент, когда, казалось, опасность миновала их.

— Бурый, перевяжи,— скрежетал он зубами, зажимая окровавленный бок ладонью.— Сволота! Кажется, здорово зацепило...

— Подожди... Отъедем подальше, перевяжем,— Бурый ему, и следом Гашишу в окошечко:— Гони, Гашиш, пока не рассвело! Оторвемся, сделаем остановку... Терпи, Таран, при такой качке ничего нельзя сделать.

— Не могу больше,— стонал тот.— Перевяжите, идиоты! Вся кровь вытечет!— Он поднял окровавленную ладонь, показал друзьям.— Смотрите, вот...— Обмундирование его с левой стороны багровело большим пятном крови.

— Не скули,— грубо осек его Бурый.— Сам виноват... Шустрить надо было!— безжалостно упрекнул Тарана.— А то залез в оружейку и, как в парашу, провалился... Я целый бой из-за тебя выдержал...

— Бурый, куда ехать?— спросил Гашиш, начиная что-то соображать.— На прииск, что ли?..

Бурый посмотрел на Гашиша, не сразу поняв, о чем тот спрашивает.

— Куда ехать? К теще на блины!— и сплюнул.— Какой теперь прииск? Там уже менты тебя дожидаются... Гони к побережью, будем рвать когти сразу к маяку.

Гашиш поддал газу, проворчал:

— Гнать по такой дороге — и в гроб недолго сыграть.— И снова спросил:— А где этот маяк, ты знаешь? Сколь еще ехать? В какой он хоть стороне?

— Тебе лучше знать это,— отозвался Бурый, не найдя иного ответа.— Ты водила или я? Вот и ищи...

Машина взлетала на рытвинах, юзила от обочины к обочине. Беглецов бросало из стороны в сторону.

— Сволочь ты, Гашиш!— вопил Таран при каждом подскоке.— Тебе катафалк водить надо, а не людей живых возить... Не гони так!

Они ехали уже довольно долго, не останавливаясь, опасаясь погони. Казалось, еще немного, и деревья расступятся, выпуская их на простор, к морю. Но тайга становилась все гуще, все глуше, а колея едва просматривалась в высокой траве.

— Скоро начнет светать,— глянул на часы Сыч,— а моря нигде нет.

И он был прав. Вскоре над верхушками сосен забрезжил рассвет.

— Выключи фары,— потребовал Бурый, повернувшись к Гашишу.

— Опасно будет ехать,— предупредил тот,— плохо видно еще.— Но фары все же выключил.

Скорость снизилась, зато и опасение, что их свет могут заметить издали, прошло. И сделали они это очень вовремя.

— Смотрите!— заорал неожиданно Гашиш, поглядев вверх.— Вертолет! Что делать, Бурый?

На фоне заметно посветлевшего неба над просекой летел вертолет. Мигающие фонари его увидели все сразу.

— Тормози!— приказал Бурый.— Лезь под деревья, пока не заметили...

Гашиш крутнул руль вправо, заехал в кусты, остановился. Все замерли. Даже Таран, казалось, забыл про свою боль. Опасность была велика. Но в тайге все еще стоял сумрак, и с воздуха заметить затемненную машину в кустах было невозможно. Вертолет пролетел очень низко, чуть ли не цепляя верхушки сосен. Гул его свистящих винтов ударил по ушам, вызвал дрожь у бандитов. Но отделались они лишь испугом.

— Гони теперь!— потребовал Бурый.— Они могут вернуться. Это пограницы,— определил он.— Успели, значит, поднять их наши,— процедил, забыв, что он уже не в числе тех, кого называл «нашими».

— Пограницы?— запаниковал Сыч.— Теперь хана, братва! От них нам не уйти, я знаю этих парней, с ними шутки плохи!

Бурому стало не по себе. Он скривился в какой-то безумной дикой усмешке, в глазах его вспыхнул страх.

— Не распускай сопля, Сыч,— шикнул на друга.— Без твоих воплей тошно...

Машина, газуя, неслась вперед, подальше от места встречи с вертолетом. Сидящие в ней чувствовали себя, как в бочке, которую нещадно бросает с волны на волну.

— Гашиш, сволочь ты... палач! Не гони же так,— сыпал на голову друга ругательства Таран, страдая от такой тряски больше всех.— Мы же угробимся... костей не соберем...

Дорога пошла в гору. В тайге совсем посветлело, но ехать от этого не стало безопаснее. Справа, в двух шагах от дороги, зияло глубокое ущелье, в которое при такой гонке легко можно было упасть.

— Летит!— закричал Сыч и втянул голову в плечи, будто его могли услышать пограничники.— Низко летит...

Бандиты снова забеспокоились, заерзали, закрутили головами, выглядывая в окна, пытаясь отыскать взглядами вертолет. А звук его двигателей нарастал, приближался.

— Опять глухо,— сказал капитан Шустов, всматриваясь в экран телевизионно-оптического визира, установленного на борту вертолета.— Одна панорама тайги... Все что угодно: птицы, стада живности разной, звери, только нигде нет беглецов... Черт возьми! Где они могут быть?— Он посмотрел на сержанта, сидящего с ним рядом.— Пусто, даже следов нет.

— Я думаю, они спрятались, затаились где-нибудь,— предположил сержант, здоровенный, с волевым симпатичным лицом парень.— Зря летаем, надо по земле пошарить, по «норам» пройтись. Может, и возьмем след...

Шустов крутнул своей светловолосой головой, снова прильнул к экрану.

— Нет,— сказал убедительно.— Сами-то они могли бы затаиться, но куда делась машина? Ее мы тоже ведь не нашли.

Наступила пауза. Мысль каждого сидящего в вертолете пограничника работала сейчас на поиск: как? где? куда? Именно на эти вопросы искали они ответ, вглядываясь в иллюминаторы.

— Да и народ это не тот, чтобы сидеть после преступления где-то рядом,— продолжал сомневаться Шустов.— Сейчас они наверняка рвут подальше от роты, куда-нибудь в глубь тайги. И чтобы уйти подальше, им нужна машина... Вот ее-то и надо искать,— заключил он окающим волжским говором.

Сидящие вдоль бортов вертолета солдаты-пограничники молча слушали своего командира.

— Здесь они где-то... Далеко уйти по такой дороге нельзя,— уверенно заявил Шустов, сведя светлые брови к переносице и щуря серые глаза.— А дорога эта — одна из немногих на тысячи километров в тайге.— Он взял микрофон переговорного устройства и сказал летчику:— Миша, крутни над перевалом...

— Понял,— ответил летчик.— Только там слишком открытое место, комара видно, вряд ли они туда полезут.

— Когда зверь в загоне, он ищет любую щель, лишь бы вырваться,— возразил Шустов.

— Посмотрим...

Вертолет сделал крен и полетел над глубоким ущельем.

— Товарищ капитан!— крикнул сержант, показывая на экран.— Смотри-те... машина на камнях! Кажется, им здорово не повезло...

Взглянув на экран, Шустов подтвердил слова сержанта:— Ты прав, Сухов... Она самая, «санитарка» Вольнова.— И он опять крикнул пилоту:— Миша, присядь на пупке, разберемся на месте...

— Понятно, действую!— откликнулся пилот, но добавил:— Хотя сесть на пупке сложно, вертолет не чирик... Но постараюсь, конечно...

Капитан Шустов не ответил, полагаясь на опытность летчика. Он повернулся к солдатам.

— Всем проверить оружие... Приготовиться к высадке! На земле действовать по обстановке... без нужды не рисковать!

Вскоре, сделав небольшой круг над перевалом, вертолет снизился и сел на вершине перевала, прямо на дороге. Летчики правильно рассчитали приземление, лучшей площадки здесь не было. Справа, сразу за хвостом вертолета, зияло ущелье.

— Молодцы!— одобрил Шустов и показал пилотам большой палец.

Выпрыгнув на землю первым, он подошел к краю пропасти, в том месте, где сорвалась машина, посмотрел вниз. Остов «санитарки» висел на скалистых выступях у самого дна, вокруг были разбросаны ее обломки. Машина не сгорела скорее всего потому, что в ее баках почти не осталось горючего. Определив это, Шустов повернулся к солдатам, сказал:

— Придется спуститься, осмотреть машину... Хотя по следам видно, что они сбросили ее сами, чтобы одурачить нас. Но убедиться, что там никого не осталось, надо.

В кабинете командующего резко зазвонил телефон. Генерал Марутов снял трубку.

— Слушаю...

Послышался взволнованный голос полковника Болотова:

— Товарищ командующий, чепе у нас!.. Крайне тяжелое происшествие...

— Что именно? Доложите подробнее,— наморщил лоб командующий.

— На Маюне, в роте капитана Вольнова,— срывающимся голосом докладывал тот,— группа солдат из четырех человек, оказавшихся бандитами, завладев оружием, в ноль тридцать ушла в тайгу... При побеге применили оружие... есть жертвы...

— Какие?— сдерживая нарастающее волнение, спросил Марутов.— Кто погиб?

— Убит замполит Вольнова лейтенант Слуцкий,— прохрипел Болотов.— Сам Вольнов ранен, тяжелые ранения получили два сержанта и солдат,— перечислил он и подул в трубку, будто продувая ее, затем все так же хрипло:— Товарищ командующий!.. Вы меня слышите?

— Да,— не сразу ответил Марутов.— Но лучше бы я вас не слышал, полковник... Какие меры приняты?

— Сообщено на погранзаставу, высланы группы захвата, перекрыты все окрестные дороги, ближайшие железнодорожные станции, аэропорты и морские причалы, поднята милиция... оповещены местные органы и ближайшие населенные пункты,— торопливо перечислил Болотов.

— Так,— сказал Марутов.— С группами захвата есть связь?

— Есть связь... да, есть,— снова голос Болотова в трубке.— По радио, по проводу тоже... Связь надежная!

— Надежная,— поморщился Марутов.— У вас все надежное: и рота считалась самой лучшей, и предпосылок к происшествию не было. Пора излагать истину такой, какая она есть, и отвечать за свои доклады!— вспыхнул командующий.

— Товарищ командующий! Отвечаю головой...— начал было Болотов, но командующий осек его.

— Вот именно, головой!— голос его не предвещал ничего хорошего. Он помолчал и уже более спокойно распорядился:— Слушайте приказ!.. Вам лично немедленно убыть в роту на Маюн, взять руководство поиском и захватом преступников на себя... При обнаружении бандитов потребовать сложить оружие, сдать ся. В случае неповиновения или вооруженного сопротивления — уничтожить!.. Принять меры к недопущению потерь личного состава... За это и ответите головой.— Помолчав, добавил:— Я вылетаю туда же на вертолете. Держите со мной связь. Обо всем докладывать немедленно. Выполняйте!

— Есть!— выкрикнул Болотов.— Задачу понял! Только зачем вам лететь, товарищ командующий? Это моя беда, мне и расхлебывать...

— Прекратите!— оборвал его Марутов.— Беда эта общая, и солдата, и коман-

дующего... И все мы за нее в ответе!— И чтобы не выругаться, положил трубку. Затем, подняв трубку другого телефона, сказал:— Соедините меня с главнокомандующим...

Высказывая свои предположения, капитан Шустов был прав. Все так и было. — Надо бросать машину! Все равно ее увидят!— в панике бубнил Сыч.

— Кажется, на этот раз твоя мысль стоящая,— согласился Бурый.— Дальше ехать опасно. Машина не иголка, ее хорошо видно сверху.— И он повернулся к Гашишу.— Жми к перевалу, вон к тому, что впереди виднеется,— показал рукой на горный хребет, к которому вела дорога.— Там подумаем, что делать дальше... Может, сбросим «таблетку» в пропасть, а сами в тайгу...— посмотрел на унылых дружков.— Там нас уж точно не найдут.

Вертолет пролетел стороной. Беглецам опять повезло. Вскоре, поднявшись на перевал, Гашиш остановил машину.

— По-моему, горючее закончилось,— предположил он.

— Бурый, будь другом, перевяжи,— взмолился измученный болью Таран.— Окажи помощь, не дай сдохнуть,— он с надеждой смотрел на Бурого, который сидел перед ним с оцепевшим, без мысли, без чувства взором.

Из глаз Тарана потекли слезы. Как в каком-то кошмаре виделось теперь все, что случилось с ними. Как он ни старался, не мог отделаться от этих видений, которые можно было отнести к бредовым. Он чувствовал себя каким-то тяжелым, словно окаменевшим, хотелось сбросить эту тяжесть, но не было сил. Его душу терзало сознание непоправимой ошибки, которую он совершил всего несколько часов назад, променяв все, что имел, на сомнительное счастье... На это вот чудовищное отношение к нему, раненому, истекающему кровью, этих людей, считающихся его дружками... Как они жестоки!

— Дай ему бинт,— сказал Бурый Гашишу,— пусть сам себя перевяжет. Невкогда с ним возиться, погранцы на хвосте сидят. Того и гляди снова появятся... Надо успеть сбить их с толку,— он оглядел хорошо видимый с высоты горизонт. Вокруг возвышались лишь сопки, покрытые лесом. Вертолета не было, но и моря тоже.

Гашиш бросил Тарану бинт, вылез из машины, подошел к Бурому.

— Что делать будем? Может, вместе с ним...— кивнул на Тарана.— Обузы меньше... а так далеко не уйдем...

— Подождем... пусть живет пока,— возразил Бурый.— Сними с тормоза свою лайбу, высаживай оборотов, пусть помогают толкать.

Общими усилиями они столкнули машину под откос. Она набрала скорость нехотя, как бы понимая свою участь, достигла края и, сорвавшись, полетела в ущелье.

— Баста,— отряхивая ладони, сказал Бурый.— Рвем теперь в тайгу. Пока разберутся, мы далеко будем.— И первым побежал вниз, туда, где темнели дебри. Достигнув леса, он остановился, задыхаясь от быстрого бега, поджидая дружков.

— Если вертолет появится,— сказал подбежавшим Сычу и Гашишу,— откроем огонь залпом... Целиться в нос. Выстрелов погранцы не услышат, а угробиться могут. И все будет о'кей!— бравирюя, подмигнул он им.— Тогда нас надолго оставят в покое, начальничкам не до того будет.

— Не могу больше,— подходя к ним, простонал Таран. Бинт, которым он наспех перемотался, сочился кровью.— Бурый, помоги...

Бурый с неприязнью глянул на него, кивнул Гашишу.

— Перевяжи по-нормальному, не то обузой станет.

— Слушай, Бурый,— обратился к жожаку Сыч.— А что если врассыпную?.. Затаимся в тайге, отсидимся временно, потом соберемся, где скажешь. А?

— Что-о?— зарычал Бурый.— Смыться вздумал? Не выйдет! Ни один не уйдет никуда, вместе к маяку добираться будем. В море наше спасение.

— Да я это к тому,— начал было тот,— что мы не знаем дороги... заблудимся.

— Не заблудимся... Проводника найдем...

Бурый поднялся с камня и двинулся дальше. За ним поплелись остальные. Шли вдоль каменистого русла сухого ручья, надеясь, что оно выведет их к морю. Расчет их оказался верным.

— Разрешите мне спуститься в ущелье?— обратился к Шустову сержант Сухов.

— Возьми с собой санинструктора Багирова с сумкой с медикаментами... на всякий случай.

Надев горное снаряжение, за которое были зацеплены прочные веревочные

тросы, Сухов и Багиров начали спускаться в ущелье. На боку Багирова висела санитарная сумка.

— Людей здесь нет!— послышался вскоре голос Сухова.

— Так я и думал,— сказал Шустов.

— Товарищ капитан!— закричал вдруг один из солдат.— Смотрите, сейчас посылется!— указал он рукой.

Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, какая угроза нависла над Суховым и Багировым.

— Сухов!— что было мочи закричал Шустов.— Прячьтесь! Обвал!..

Он скосил глаза на то место, откуда ручейками сыпалась земля, пробегали трещины. Солдаты тоже кричали, размахивая руками, стараясь жестами предупредить своих товарищей там, внизу, в ущелье.

— Камнепад идет!.. Скорее, в укрытие!

По краю обрыва побежали большие трещины, и Шустов вынужден был отскокить в сторону.

— Всем к вертолету!— приказал он.— Живо!

Солдаты кинулись прочь от опасного места, с тревогой поглядывая на ущелье. Шустов отступил последним.

Едва они отошли от края, как скалистая глыба, напоминающая карниз, на которой они только что стояли, рухнула в пропасть, и оттуда покатилося гулкое эхо камнепада.

— Только бы успели,— взволнованно прошептал капитан. Он схватил мегафон, висевший у него на поясе, и принялся громко вызывать:— Сухов, Багиров! Ребята, как вы там?.. Что с вами? Отвечайте!— Прислушался, но ущелье молчало.

Тогда Шустов подбежал к вертолету и закричал летчику:

— Миша, дорогой! Сделай невозможное, спустись в ущелье, ребят надо спасать!

Летчик вопросительно посмотрел на него, но, поняв, что другого выхода нет, махнул рукой.

— Эх, была не была!— Он повернулся к экипажу.— Парни, один полечу. Прошу вас подождать меня здесь... Ну, не упрямитесь!— слова его, сказанные по-дружески, подействовали. Второй пилот и бортмеханик с явной неохотой, но все же вышли из вертолета. На борту остался лишь Шустов.

— Правильно сделал, Миша,— одобрил он действия пилота.— Не стоит рисковать людьми.

Вертолет завис, будто прицеливаясь, и начал снижаться в ущелье, точно в огромный каменный мешок. Слева и справа от вертолета, всего в нескольких метрах, стояли отвесные скалистые стены гор. Неимоверным напряжением сил пилоту удалось опустить машину довольно низко. Шустов выбросил веревочную лестницу и по ней спустился на дно ущелья.

Картина здесь была угнетающей: вокруг громоздились валуны, покрытые зеленой плесенью, между ними пенился ревуший поток. Шустов кинулся к тому месту, где валялись искореженные куски металла.

— Сухов, Багиров!— принялся взывать он.

— Здесь мы!— послышалось будто из-под земли.

Камни зашевелились и осыпались в том месте, откуда послышались голоса. Шустов кинулся на помощь.

— Сейчас, сейчас!— еще не веря, что они живы, крикнул он и принялся отбрасывать камни в сторону.

Вскоре из проема вылез Багиров, а за ним и Сухов. Их нельзя было узнать. На запыленных лицах высвечивались лишь белые зубы. Ребята улыбались.

— Спасибо, товарищ капитан!— глаза их светились благодарностью.— Вовремя предупредили нас... успели заскочить под навес большой скалы. Вот только пыль, чуть не задохнулись.

— Быстрее в вертолет,— поторопил их обрадованный Шустов.

В таежной глуши беглецы почувствовали себя увереннее. Преодолев очередной бурелом, они сели отдохнуть. Бурый посмотрел на часы.

— Солнце в затылок, значит, надо держаться правее, чтобы выйти к морю,— сказал он.

— Вот блин!— ругнулся Сыч.— Не море, а стервота какая-то! Сколько топаем, а его нет и нет. Может, мы вообще не туда идем? Вон глушь какая... конца-края не видно,— он осмотрелся. Вокруг густой стеной громоздились вековые кедры, пережеванные тонкими и высокими стволами лиственниц.

— Якши! Хорошо!— воскликнул повеселевший Гашиш.— Вертолета не видать, значит, считают, что мы накрылись... Дождемся ночи, а там и к морю двинем.

— Нет!— возразил Бурый.— Ночи ждать — воли не видать... Пограницы теперь

с машиной возьмется... Очухаются, пойдут по следу снова. Они это умеют делать. К тому же ночью в тайге идти невозможно, я-то знаю. Можно кругами по одному месту до скончания века бродить... Надо сейчас идти.— Он поднялся.— Двигаем!

— Бурый,— взмолился Таран,— не бросай меня, я еще идти могу. Только дай отдохнуть малость,— голос у него был слабый и жалкий.

Бурый посмотрел на него отчужденно, с нескрываемой досадой.

— Если тебя оставить, ты заложишь нас ментам, как пить дать.— И он повернулся к Гашишу:— Ты теперь сам вместо «таблетки», которую угробил, волокни его, пока не очокурится.

И они побрели дальше, озлобленные, уже не доверяя друг другу. Наверное, каждый из них в это время строил планы, как выйти из этой адской игры, выбраться из западни, в которую попали по собственной дурости. Каждый из них готов был на все ради спасения собственной шкуры. Единственное, что их удерживало до сих пор вместе, это страх перед неизвестностью, но еще больше — ужас перед автоматом Бурого. Надежды на удачный исход у них становилось все меньше, уверенность таяла, и они шли, стараясь вообще ни о чем не думать.

— Зачем нам идти к морю?— неожиданно спросил Гашиш.— Золота у нас нет... Кому мы нужны там, «за бугром»? Что мы умеем делать?

— Не будь размазней, Гашиш!— оборвал его Бурый.— С нашим ремеслом только и можно развернуться там... там карманы трещат от денег. Куда ни плюнь, везде монета... веская, не то что наша. Тьфу!

— Только ничего этого не будет,— мрачно предрек Сыч.

— Это почему же?— свирепо — Бурый.

— Не дойдем мы до моря, не то что дальше... Арба наверняка заложил нас,— тем же тоном пророчествовал Сыч.— Зря мы оставили его.

— Заткнись, трепло!— снова Бурый ему.— Арба не такой кретин, как у твоего отца дитя. Из него каленым железом признание не вытянешь. Он и знать нас не знал, и ведать ничего не ведал, вот в чем его спасение... Так он им и скажет, что в сговоре был... Дудки!

— Счастливей человек!— вздохнул Сыч.

— Ладно, кончай жигу лить!— грозно рыкнул на дружков вожак.— Двигай быстрее! Море уже близко, нутром чую.

Тайга расступилась неожиданно. Большая безлесная местность, залитая солнечным светом, пестрела яркими красками разнотравья. У подножья невысокой сопки приоткрылся летник чабана, окруженный высоким плетнем в виде загона для отары. А еще дальше гуманилась низменность. Поодаль от летника паслись овцы.

Близ легкого строения, напоминающего скорее вагончик, чем хижину, находились обитатели летника. Их было трое: молодой мужчина, хозяин жилища, его жена и их дочь, девочка лет четырех. Каждый занимался своим делом. Хозяин, насвистывая, сплетал из тонких прутьев корзину, рядом с ним играла девочка с козленком, чуть дальше, у ручья, полоскала белье молодая хозяйка.

— Семья,— выглядывая из-за кустов, сказал Сыч.— Эх, пожрать бы сейчас! У них, пожалуй, жратва найдется...

— Ну, что я вам говорил?— вполголоса Бурый.— Вот вам и проводник.— Он посмотрел окрест, стараясь определить, нет ли кого еще.

— А что, как заложит?— опять боязливо Сыч.— Лучше обойти... надежнее будет.

— Молчи!— шикнул на него вожак.— Не успеет... Связи у него никакой... Без проводника нам не выбраться.

— Уж этот наверняка знает дорогу к морю,— поддержал вожак Гашиш.

— Пошли,— позвал Бурый, решительно выходя из кустарника.

Увидев солдат, хозяева прекратили свои дела и с интересом рассматривали их. И хотя такое зрелище было непривычным, тревоги они не испытывали. Таежные гости приблизились. Первым подошел Бурый.

— Привет хозяевам!— поднял он руку, опуская автомат стволом вниз.

— А-а!— отложил работу чабан, поднимаясь навстречу.— Армия! Здравствуй-те!— и, пожимая руку каждому, спросил:— Ученья проводите?

— Отгадал,— усмехнулся Бурый.— Можно сказать, маневры...

— Проходите к столу,— пригласил чабан, показывая на стол, сооруженный под ореховым деревом.— Гостями будете.

Пришельцы поплелись к столу. Вид у них был мрачный.

— Жена!— крикнул хозяин.— Поддай гостям молока.— И повернулся к солдатам.— Небось, пить хочется, нынче жарковато?— заулыбался, показывая крепкие зубы.

Женщина оправила подоткнутую юбку, прикрыв свои стройные смуглые ноги, и пошла к навесу, вытирая о фартук руки. Девочка бесхитростно, по-детски рассматривала военных, у которых в руках было оружие.



— Пусть принесет жратву,— потребовал грубовато Бурый.— Мы жрать хотим... голодные со вчерашнего дня. Понял?

Хозяин пригладил ладонью свои короткие темные волосы и недоуменно посмотрел на него. Тон Бурого ему не понравился, заставил задуматься.

— Жена, принеси хлеба и мяса,— сказал он уже без особого радушия.

— Несу-несу!— весело отозвалась хозяйка. Она поставила на стол еду.— Вот, кушайте на здоровье, я сейчас еще стаканчики принесу...

— Стаканчики для этого дела не нужны,— беря кринку с молоком, сказал Сыч.— Мы из горла приучены.— И, откусив лепешку, приложился к кринке, жадно глотая молоко.

Хозяйка, перестав улыбаться, в смущении смотрела на него. Перехватив ее взгляд, Бурый пояснил:

— Времени у нас нет, ученья ведь идут, спешим мы.— И, отобрав у Сыча кувшин, стал жадно пить молоко, проливая на грудь.

Гашиш не сводил глаз с молодой симпатичной женщины. Ее стройная фигура, округлые груди, едва расцветшая ее женственность привлекали внимание. Но ни чабан, ни его жена не заметили этого, они смотрели уже в сторону леса, откуда появился Таран.

А тот еле двигался. Искаженное гримасой лицо его было бледным. Измученный вид вызывал сострадание. Женщина всплеснула руками, кинулась навстречу, чтобы помочь дойти до стола.

— Ой, господи! Он же весь в крови!— в голосе ее прозвучала жалость.— Где ж его так, бедного? Сейчас, сейчас я перевяжу... как следует перевяжу. Потерпи немного,— она кинулась к хижине и принесла бинты и йод.

Чабан, наблюдая за всем этим, покачал головой и с подозрением посмотрел на Бурого.

— Что случилось с ним? Почему идет один?.. Ему в госпиталь надо,— посмотрел снова на Бурого, распознав в нем лидера среди пришельцев.— Может, сообщить командованию? Парню вашему, однако, срочная помощь нужна,— и он кивнул на Тарана. Поднялся.— Пойду дам знать соседям, у них связь есть...

— Стой!— остановил его Бурый.— Никуда не надо сообщать... У нас ученья идут... Оступился он, мы ему уже оказали помощь, перевязали, видишь? Скоро придем к своим, там и...— он посмотрел на чабана.— До моря далеко еще?

Жена хозяина летника тоже почувствовала неладное, насторожилась. Улыбка уже не озаряла ее лицо. Она склонилась к дочери и, о чем-то предупредив ее, поправила на ней платице. Гашиш устался жадно на ее высоко оголившиеся ноги. Хозяин перехватил его похотливый взгляд и, еще более охваченный беспокойством, ответил Бурому:

— Море, однако, рядом...— показал рукой в сторону затуманенной низменности, за которой возвышалась пологая сопка.— За сопкой...

— Значит, рядом? Отлично!— оживился тот.— Проведешь нас к морю. Нам туда как раз и надо...

— Зачем провожать?— удивился хозяин.— Шоссе совсем рядом, отсюда рукой подать. Сядете на автобус — десять минут езды до побережья.

— Автобус не для нас,— не дослушал его Бурый.— Пovedешь нас напрямую. Ты же сам сказал, море за сопкой, вот и веди,— потребовал он.

— Напрямую оно, конечно, ближе будет,— пожал плечами чабан.— Но там топь, болото, идти в эту пору опасно, провалиться можно, утонуть. Если не хотите ждать автобуса, можно на попутках доехать. Машины по трассе часто ходят, солдата всяк довезет... Тем более, у вас раненый,— глянул на Тарана.— Зачем мучиться, идя по болоту? Так проще, да и по времени выгоднее.

Воспользовавшись тем, что хозяин отвлечен разговором, Гашиш подошел к молодой хозяйке, обнял ее за талию.

— Дочь?— кивнул на девочку.— Твоя?

Женщина смущенно отстранилась.

— Доченька... моя,— с нежностью прижала она дочь.

Действия Гашиша все же не ускользнули от внимания чабана, и он поднялся с лавки.

— Короче, ведешь через сопку,— потребовал Бурый, начиная раздражаться.— Так нам по условиям ученья положено. Ясно?

— Ясно-то ясно,— ответил чабан, поняв вдруг, с кем имеет дело,— но мне к отаре нужно... время водопоя, а скотина не поена.

— Ничего,— перебил его Бурый.— Вернешься, напоишь свое войско. Нам срочно надо!— Он тряхнул автоматом.— И хватит лясы точить, упрасивать больше не буду...

— А ты и не упрасивай его,— посоветовал Сыч, дожевывая пищу,— по морде прикладом — и вперед...

Тем временем Гашиш совсем обнаглел.

— У тебя, кроме молока, есть что-нибудь покрепче?— спросил он и вновь обхватил женщину за плечи.

— Покрепче молока?— растерянно переспросила та, пытаясь увернуться.— Что именно?

Но Гашиш уже не отпускал ее.

— Водка, спрашиваю, есть?— сказал и плотно прижал ее к себе.— Спирт или самогон хотя бы?

Женщине все же удалось выскользнуть из его объятий.

— Нет... такого не держим.— ответила она, чуть не плача и отступая от наседающего на нее Гашиша.

Хозяин кинулся к жене на выручку, преграждая путь Гашишу.

— Подожди!— крикнул он ему.— Есть водка... спирт есть, все есть... Сейчас принесу, стой пока,— и он метнулся к хижине.

Гашиш снова подошел к женщине, притянул к себе и, едва хозяин скрылся за дверью, принялся целовать.

— Уйди!.. Перестань!— закричала она.— Оставь меня!

Девочка заплакала, хватаясь за подол матери.

Не сообразив сразу, для чего хозяину понадобилось забежать в хижину, Бурый некоторое мгновение оставался неподвижным, наблюдая за действиями Гашиша. Но вдруг поняв, вскочил с лавки и кинулся за хозяином. Однако не успел сделать и нескольких шагов, как на пороге домика появился чабан. В руках разгневанного хозяина было ружье.

Хотел ли он стрелять в незваных гостей или решил только погрозить им, чтобы защитить жену, неизвестно. Ни того, ни другого не успел он сделать. Автоматная очередь, которую без предупреждения дал Бурый, сразила его, едва он переступил порог.

Женщина в ужасе закричала, лишилась чувств и повисла на руках Гашиша. Девочка от испуга спряталась за бочку с дождевой водой. Поняв, что женщина в его власти, Гашиш поволок ее к сеновалу.

— Идиот!— Нашел время!— заорал на него озверевший Бурый.— Кончай, говорю! Ну, слышишь, ты?— и он ударил своего похотливого подручного в зад ногой.— Пристрелю!

Сообразив, наконец, что Бурый и впрямь нажмет курок, Гашиш отпустил свою жертву. Поднялся с видом неудовлетворенного кобеля и впервые с угрозой посмотрел на Бурого.

— Тебе что жалко?— процедил сквозь зубы.— Один хрен пропадать... Минуту подождать не мог!

— Мотать надо!— заорал Бурый еще громче.— Того и гляди менты заявятся... А ты бордель устроил! У-у, гад!— замахнулся прикладом на Гашиша.

Женщина лежала неподвижно. Отрешенный взгляд ее был устремлен на тело мужа, расprostертое у порога хижины. Девочка, охрипшая от рыданий, лезла к матери, не понимая, что с ней.

— Вставай!— толкнул женщину Бурый.— Он сам виноват... первый схватился за ружье... Поднимайся, иди надо.

Женщина, как безумная, перевела на него невидящий взгляд и, не осознавая своих действий, стала медленно подниматься. Дочь трясла ее за руку, со страхом озираясь на отца, вздрагивая всем своим маленьким тельцем, не в силах уже плакать.

— Слышишь?— тронул женщину за плечо Бурый.— Поведешь нас короткой дорогой к морю, потом вернешься домой. Упираться не советую, сама видишь, мы шутить не намерены.— И он подтолкнул ее.

Прижав к груди дочь, она пошла, как слепая, прочь от летника, через заболоченную низину. Бандиты двинулись следом.

В иллюминатор вертолета виднелась бескрайняя тайга. За сопками рябило море. Летчики внимательно всматривались в рельеф местности. Смотрел в иллюминатор и Марутов. Все молчали. Но вот командующий поднял голову от иллюминатора и крикнул пилоту:

— Рельеф затуманен, плохо просматривается... Необходимо еще снизиться!— показал большим пальцем вниз.

— Нельзя!.. Летим на пределе,— ответил летчик, стараясь перекрыть шум двигателя.— Это небезопасно, товарищ командующий!

— Я понимаю,— согласился Марутов.— Но хотелось бы пониже, иначе ничего не увидим.

— Хорошо, попробую,— уступил летчик.

Вертолет летел теперь над самыми верхушками сосен, лавируя между сопок. — Пройдитесь над побережьем, — распорядился Марутов. — Не исключено, что они попытаются уйти морем! — он показал карандашом точку на карте. — Вот здесь летняя кошара, посмотрим на нее... Они не смогут долго оставаться без пищи и воды, а значит, возможен выход их к жилью.

Вертолет повернул в сторону моря. Марутов взял микрофон.

— «Аргон»! — вызвал он абонента. — «Аргон», я — «первый»!.. Ориентируйтесь на летнюю кошару. Квадрат... — посмотрел на карту, назвал номер квадрата. Затем спросил: — Как у вас? «Матерые» не появились?

— Пока пусто, — ответил в наушниках голос Болотова. — Не видим их нигде... Расставили загоны, ищем в норах, держим связь с ловцами...

— Ясно! — сказал Марутов и распорядился: — Подметите пляж, возможна морская прогулка... Смотрите лучше, докладывайте обо всем мне. Все пока, работайте! — Повесил микрофон, посмотрел вниз.

Показалась кошара.

— Вижу людей! — крикнул второй пилот, склонив голову вправо.

— Где они? — спросил Марутов, переходя к правому иллюминатору.

Взглядом военного человека он сразу определил, что бегущие по земле люди стреляют по вертолету. Короткие огненные вспышки из автоматов были тому подтверждением.

Марутов схватил микрофон.

— «Аргон»! Я — «первый»!.. Вижу «матерых»... Координаты прежние, близ летней кошары, два километра юго-западнее восьмого маяка.

— Принято! — ответил Болотов оживленно. — Выхожу в указанный квадрат, расставляю «ловцов».

— Товарищ командующий! — крикнул летчик. — Стреляют!.. Есть повреждение, — он показал на приборы и сделал крутой крен с набором высоты.

Марутова отбросило к левому борту, он едва успел схватиться за поручень.

— Спокойно, — сказал пилоту. — Выходите из-под огня... Постарайтесь посадить вертолет на удобное место.

Второй пилот, смотревший вниз, неожиданно дернулся и стал сползать с сиденья. Из-под шлема его потекла струйка крови. Командующий кинулся к нему, пытаясь поддержать молодого парня, но, поняв, что он убит, осторожно опустил его на пол кабины, отстегнув привязной ремень.

Двигатель вертолета заработал с перебоями: загорелась красная лампочка, сигнализирующая об аварии в системе управления, задрожали стрелки приборов.

— Внимание, — предупредил первый летчик, — получено повреждение! Прорбит масляный трубопровод, повреждена система подачи горючего... Товарищ командующий, теряем высоту!

— Держаться еще сможете? — спросил Марутов, не повышая тона. — Постарайтесь посадить вертолет. Доложите о случившемся на КП.

Бортмеханик изо всех сил старался помочь своему командиру удержать машину в устойчивом положении, но это им плохо удавалось. Вертолет падал, кренясь на левый бок.

— «Аргон»! — вызвал командующий. — Получил повреждение... На борту имеются потери. Старайтесь сесть, где можно, — передал он. — Работу с «матерыми» продолжайте, довести до конца... Будьте осторожны, берегите людей! Все! — отдал последнее в своей жизни приказание генерал-лейтенант Марутов.

Повесив микрофон, он посмотрел в иллюминатор на быстро приближающуюся сопку и спросил у пилота:

— Ну что, сядем?

— Как получится, — ответил тот, изо всех сил удерживая сваливающуюся машину. — Только не слушается лошадка повода!

Командующий посмотрел на убитого второго пилота. «Мальчишка еще, ему бы жить да жить... Жаль парня...»

Мысли его прервала быстрая осадка вертолета, от падения перехватило дух. В кабине потемнело, вертолет вошел в полосу приземного тумана, его сильно качнуло, отбросило в сторону... Раздался взрыв.

А на болотистой местности, как вконец загнанные волки, лежали бандиты. Обстреляв залпом вертолет и проводив его обезумевшими взглядами, они никак не могли прийти в себя. Это означало конец. Их обнаружили! Надо было что-то делать.

— Поднимайся! Показывай дорогу, быстро! — это первым опомнился Бурый. Он стал пинать перепуганную женщину, прижимавшую к себе дочь. — Вставай, быстро! — орал он, дико озираясь, понимая, что шансов у них почти никаких, теперь все зависит от быстроты действий.

— Я не знаю, — шептала женщина, — не знаю этой дороги... Я здесь никогда не

ходила... Отпустите, прошу вас!— она вдруг заплакала, еще плотнее прижимая к себе дочь.— Мы все утонем... Пощадите ребенка!

— Врешь, стерва!— надрывно заорал бандит.— Знаешь! Подумай о дочери!— Он кивком показал на девочку Гашишу.— Займись!

Гашиш начал подниматься, грязь облепила его, как некое пугало, и стекала вниз. Он был страшен.

Женщина в ужасе закричала, пятась от него:

— Нет! Нет! Не надо! Я покажу дорогу! Покажу!— она вскочила на ноги и закрыла собой девочку.

— Ну, веди!— толкнул ее снова Бурый.— Шевелись!

Женщина пошла, неуверенно ступая по липкой болотной жиже. Бандиты следовали за нею.

— Не могу!— неожиданно раздался за их спинами отчаянный вопль Тарана, — он пытался встать, но уже не мог. Приподнявшись и опираясь на одну руку, он протянул другую к Бурому.— Бурый, не бросай меня... Я жить хочу! Не бросай!— Перевел полные мольбы и ужаса глаза на Гашиша.— Гашиш, помоги... прошу тебя!— У него иссякли последние силы. С отчаянием обреченного смотрел он на своих дружков, оставляющих его на гибель.— Сволочи... Зверюги-и! Бросаете?— шептали бескровные губы, слезы текли из затуманенных болью глаз.— Бурый, будь другом...

Бурый остановился. Пропустив мимо Гашиша и Сыча, подошел к лежащему в грязной жиже Тарану. В глазах того вспыхнула искра надежды.

— Бурый, ты не оставишь меня, правда? Не бросишь?— шептал он, задыхаясь.— Не оставляй...

— Конечно, Тара... я помогу тебе,— сказал Бурый, снимая с плеча автомат.— Но это все, что я могу для тебя сделать... Прости,— он направил ствол на беспомощного лежащего в грязи дружка.

Таран закрыл лицо рукой, защищаясь от черного маленького жерла, и попытался встать. Но прогремевший выстрел отбросил его назад. Он дернулся всем телом и повалился на спину.

Опустив автомат, Бурый уныло посмотрел на то, как болото поглощает труп, и пошел прочь. Догнав Сыча и Гашиша, понуро идущих за женщиной, принялся понукать их.

— Ну, пошевеливайтесь! Быстрее, говорю! Шевелись!— И подтолкнул прикладом проводницу.— Чего, как дохлая!

Они пошли быстрее, не подозревая, что из-за укрытия за ними уже следят в бинокли наблюдатели из групп захвата. Пройдя топи, бандиты вышли, наконец, к побережью. Вдали возвышалась башня маяка, желанная цель. А вблизи накатывались волны моря.

Женщина остановилась.

— Иди!— подтолкнул ее Бурый.— Дойдем до маяка, отпущу.— Голос его звучал бодрее.— Шагай, шагай!

Дружки его тоже приободрились, они видели цель, к которой шли с такими трудностями. У них снова появилась надежда. Но именно в этот момент неожиданно перед ними возникли пограничники, преградив дорогу.

— Бросай оружие!— крикнул капитан Шустов, появляясь из-за укрытия.— Стоять на месте, не двигаться! Руки вверх!

Бандиты опешили, но дикий вопль Бурого, будто подхлестнул их.

— Нет! Не возьмете! Не выйдет!— он метнулся за женщину, прижавшую к себе дочь, и открыл огонь.

Пограничники, не придвигая такого, вынуждены были снова укрыться.

— Приказываю сложить оружие!— потребовал в мегафон Шустов.— При сопротивлении будете уничтожены!— предупредил он.

— Хана, Бурый!— заметался в панике Сыч.— Сдаемся! Крышка нам, перебеют всех! Бросаем автоматы!

— Ты что?— оскалился зверем вожак.— Стреляй! Их мало, перебею всех, пробьемся! Вон уже маяк!

Перепуганные Сыч и Гашиш открыли огонь, не целясь, беспорядочно, сами не зная куда.

— Слушайте, вы!— крикнул Шустов.— Последний раз требую прекратить огонь! Иначе вынуждены будем стрелять...

— Врешь!— зарычал Бурый, прячась за лежащими женщиной и девочкой.— Не возьмешь!— И он остервенело палил туда, где залегли пограничники.

Наконец, сообразив, что пограничники не собираются стрелять в них, опасаясь попасть в заложников, Бурый схватил одной рукой женщину и приказал ей подняться. Но та отчаянно сопротивлялась, боясь за дочь. Она дико кричала, закрывая ребенка.

— Снайпер!— приказал Шустов громко.— Снять бандитов!

Наверное, снайпер уже держал на прицеле одного из бандитов, так как тотчас прогремел выстрел. Гашиш вскрикнул, автомат вылетел из его рук, будто выбитый палкой.

— Бурый, отцепись от нее!— заорал он, схватясь за раненую кисть руки.— Сдаемся! Перестреляют нас!

Но Бурый не хотел и слышать об этом.

— И ты, поддюга, предал!— прошипел он.— На, получай!— и выстрелил в Гашиша.

Гашиш, как подкошенный, рухнул набок, застонал. Стреляя, Бурый на миг выпустил свою жертву. Получив свободу, женщина, не сознавая своих действий, бросилась бежать, чтобы спасти дочь.

— Стой! Стой!— захрипел Бурый, лишаясь прикрытия.— Стой, стерва!

Но женщина уже не могла остановиться. И тогда он выстрелил. Беглянка охнула и упала, не выпуская из рук дочь.

Прекратив стрелять, Сыч со страхом взирал на эту расправу. Понимая, что в эти секунды решается и его участь, что обезумевший вожак не оставит и его в живых, он повернул автомат и выстрелил в Бурого. Затем поспешно отбросил оружие в сторону, обреченно встал из-за своего укрытия и поднял руки.

Все это произошло так неожиданно, что заставило на миг оцепенеть всех, кто наблюдал за происходящим. Но в следующее мгновение подбежавшие пограничники окружили бандитов. Шустов склонился над раненой женщиной, приподнял ее, освобождая ребенка.

— Багиров, перевяжи!— и повернулся к Сухову.— Паша, забирай мать и девочку — и срочно на вертолете в медсанбат! Действуй!

Через несколько минут вертолет поднялся и улетел. Проводив его взглядом, капитан Шустов распорядился об организации охраны бандитов. После чего устало присел на камень рядом со своими солдатами. Закурил.

— Дронов, доложи полковнику Болотову,— сказал он радисту.— Обратни обезврежены, жду вашего прибытия. Ловец.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

## НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ

Хорошо известно, что у каждого художника свой путь к творческой зрелости, свои рубежи. И может быть, чем он тернистей, чем напряженной искания, тем большей искренностью, глубиной дышат произведения. Но часто, глядя на живопись многих современных художников, приходится признавать, что не выстраданные, не пережитые творческие и человеческие проблемы становятся для них главными, а ловкая декоративность, внешняя «новизна» давно известных приемов оказываются ширмой умолчания, за которой нет ни вопросов, ни ответов, а царит духовная пустота. Вероятно, не каждому художнику дано выразить свое время, мироощущение человека конца XX века, когда все касается всех, окружая нас кольцом общих проблем. Но думаю, что именно на пересечении волнующих каждого мастера творческих проблем и современности художник обретает подлинную зрелость.

В этом смысле интересно развитие живописца Акмаля Икрамджанова, вызывающее различные критические суждения. Он закончил в 1977 году в Ленинграде Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, по мастерской академика А. А. Мыльникова. Не секрет, что поколению Икрамджанова, которое вошло в искусство в конце 70-х годов, не повезло. Это было время, когда в искусстве уже едва слышалось биение жизни, пора усталости от единомыслия, усиливающегося конформизма. И хотя еще привлекали недавние открытия живописцев молодежного бума в начале 70-х годов, очень скоро и они стали расхожими клише, данью всеобщим тенденциям. И потому для А. Икрамджанова прошедшие годы были периодом освобождения от схем, приемов безжизненного ремесленничества, путем обретения индивидуальной творческой концепции.

Среди ранних произведений молодого художника «Портрет фотокора» отличался тем, как лаконично и емко взят в нем характер.

Но много было и работ, в которых, может быть, нет профессиональных просчетов, но нет и индивидуальности создателя. Испытывая себя в различных темах и жанрах, Икрамджанов, тем не менее, пробивался к «самому себе», к собственной проблематике. Он пытался найти и пластически выразительные средства, чтобы свободно и мощно выразить драматическую суть нашего времени. Одна из первых работ этого плана, «Жертва» (1981 г.), несколько декларативна. Однако в картинах «Натюрморт 37», «На вечном приколе», «Боль моя Арал», «Гиссарская трагедия» образы Икрамджанова обретают полноту обобщения. Он берет на себя решение сложной задачи, ибо, испытывая постоянное давление «текущего материала», стремится найти соответствующие ему символы, пытается увидеть в настоящем то, что со временем станет историей. Таким образом в картине о современности художник пытается подняться до осмысления вечной драмы человека в меняющемся мире. Всплываясь в эти полотна, понимаешь, что живописец не удовлетворяется расхожей информацией, очевидным, а идет от глубоко личного переживания к широко взятому и до известной степени метафорическому воплощению замысла. Так, в «Гиссарской трагедии», построенной на динамике темных и светлых частей композиции, символично сопоставление женщины с ребенком и жестокой стихии. Образ матери словно поднят над трагедией, он получает значение неизменного, нерушимого начала. Так же и в популярной сейчас теме экологии, трактуемой чаще как молчаливое, пассивное признание беды, Икрамджанов ищет свои творческие подходы, опираясь на высокие традиции гуманистического искусства. В картине «Арал» тема гибели природы проводится тоже через образ страдающей матери, через крушение человеческой надежды на счастье.

Подлинного драматизма он достигает в картине «Крик». Выразителен лаконичный

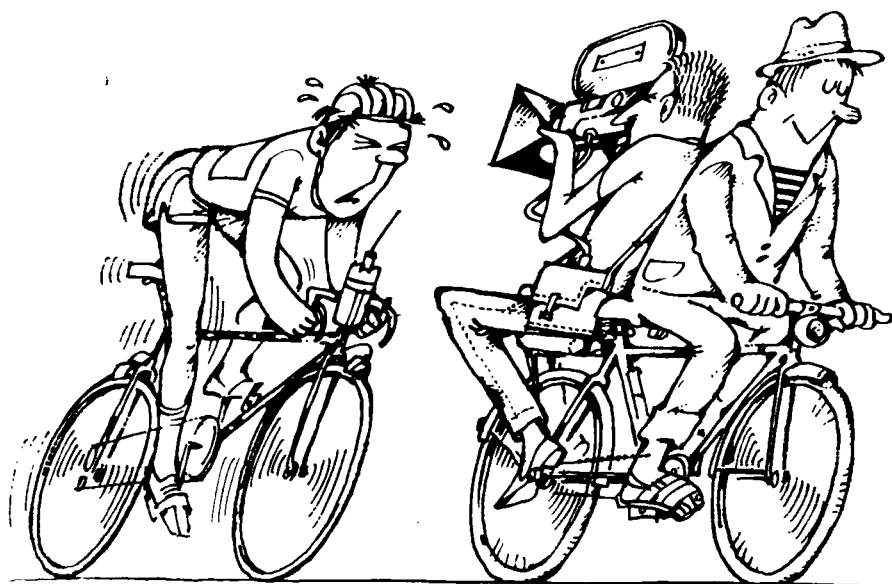
язык этого полотна, где одинокая птица среди кроваво-красного неба и черной, пустынной земли становится трагическим символом страдающей природы. Условные, контрастные по колориту пространственные соотношения земли и неба здесь убедительны, они вызывают нить ассоциаций, «то редкое качество, когда цвет загорается в мысль» (С. Эйзенштейн).

Во многих произведениях, будь то пейзажи, натюрморты, картины, А. Икрамджанов, следуя логике образа, монументальному ощущению формы, использует язык обобщений, сложные пространственные структуры. Эти приемы, как известно, не новы, но в полотнах художника они словно необходимы для выражения конфликтности, трагического излома жизни, становясь пластической метафорой надорванности нашего сознания. И все же есть существенное отличие эмоционального напряжения в произведениях Икрамджанова от некоторых современных картин 80-х годов, в которых сильно ощущение трагической безысходности, близкое предчувствию светопредставления. Напротив, в динамике его живописно-пластических форм есть драматическая приподнятость, мужественный темперамент. Здесь чувствуется жизненная энергия, готовность выразить полноту и гармонию бытия. И поэтому естественным кажется в творчестве художника появление и таких произведений, как «Солнечный день», «Натюрморт на фоне голубого неба», «Наездник из Шахимардана», «Семья».

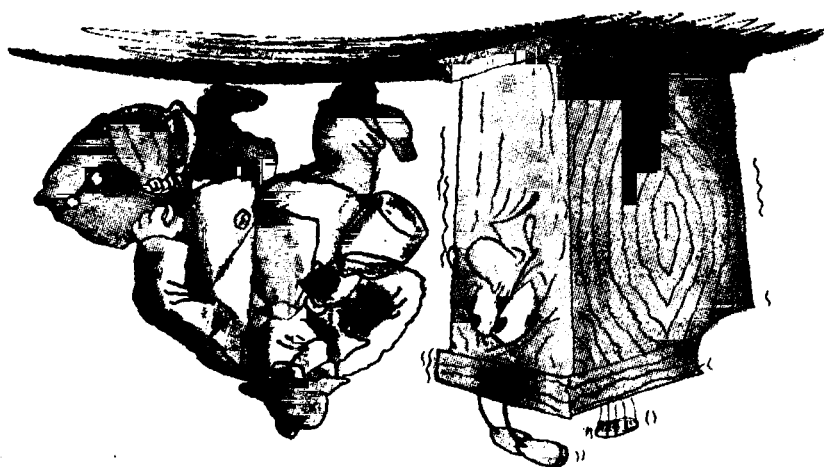
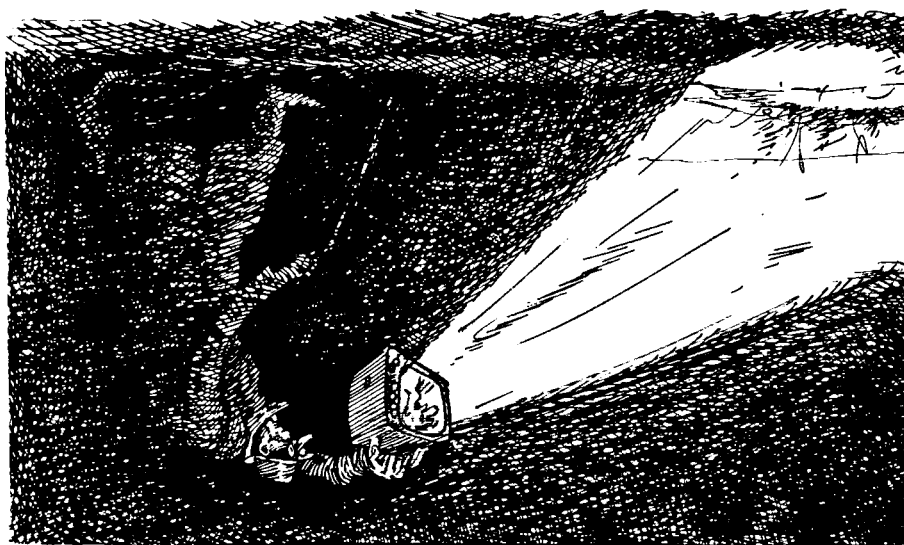
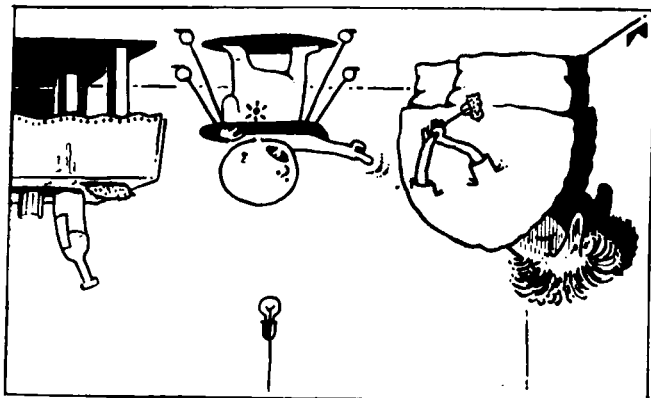
В «Солнечном дне» ощущение света словно материализуется в легкой живописности полотна, в том, как подвижны графичные, почти перовые контуры этих обычных, но давно ставших символом птиц. Знакомый художнику мотив голубей на балконе мастерской, сохраняя непосредственность натурального впечатления, обретает особый философско-поэтический смысл. Есть в этой небольшой работе очень личное постижение поэзии жизни, есть и нота надежды, и легкая тоска по утраченной человечеством надежде на радость и счастье...

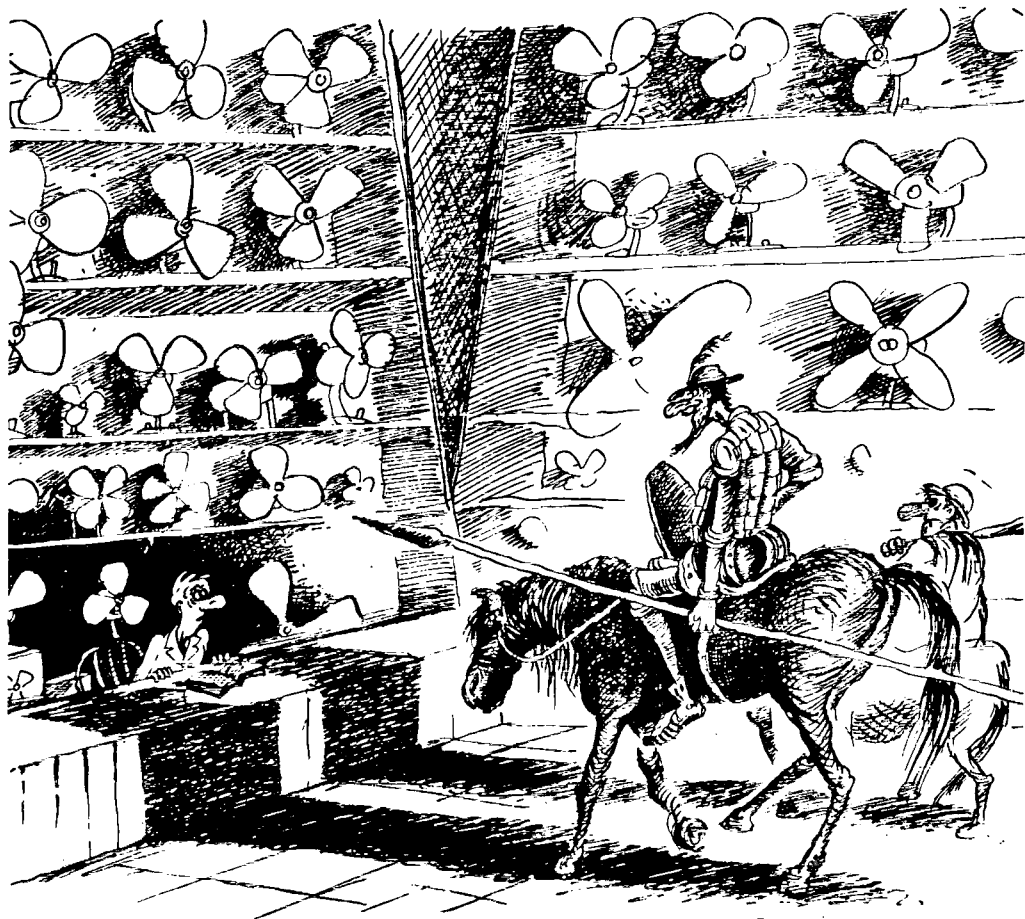
Н. АХМЕДОВА.

Улыбки художников









РИСУНКИ В. Уборевич-Боровского, В. Ненашева, А. Маматова, Г. Валиулина.

## О НАШИХ АВТОРАХ

НУРУЛЛАХ МУХАММАД РАУФ (Нурулла Отахонов) родился в 1955 году в Ферганской области. Окончил ТашГУ, факультет узбекской филологии. Автор двух книг — «Мир велик» и «Здесь человек». По его сценарию снят художественный короткометражный фильм «Вечера в белом домике».

Член Союза писателей СССР.

КАГАРЛИЦКИЙ Михаил Вениаминович родился в Ташкенте в 1957 году. Окончил Ташкентский педагогический институт имени Низами. Работает преподавателем истории в Ташкентском педагогическом училище имени Ю. Ражаби. Печатался в журналах «Юность», «Звезда Востока», «Студенческий меридиан», «Собеседник», «Шмель», «Уральский следопыт» и других изданиях. Лауреат конкурсов короткого фантастического рассказа журнала «Вокруг света» и

на первую книгу автора, организованного ЦК ЛКСМ Узбекистана, Союзом писателей республики и издательством «Еш гвардия». Автор книги рассказов «Дело принципа».

ГРЕБЕНЮК Михаил Кириллович родился в 1924 году в селе Белово Ребрихинского района Алтайского края.

Он автор книг «Машина путает след», «На участке беспокойно», «Дважды разыскиваемые», «Парадокс времени», «Загадка древней пещеры» и других.

Перу Михаила Гребенюка принадлежат также поэмы «Ушедшие на рассвете», «В далеком январе», «Приговор совести» и переводы книг писателей Узбекистана и Каракалпакии Сабира Абдуллы, Мамбетали Каипова, Шаудырбая Сеитова, Уразака Бекбаулова.

Михаил Гребенюк лауреат премий МВД УзССР и Союза писателей Узбекской ССР.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Корректоры: З. Г. Байбазарова, К. Д. Викнянская.

---

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43, отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

---

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 4.09.90 г. Подписано к печати 1.10.90 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.).

Тираж 212028. Заказ № 3769. Цена 1 рубль.

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.  
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

**«ЗВЕЗДА ВОСТОКА» В 1991 ГОДУ ПРЕДЛАГАЕТ:**

**ЛЮБИТЕЛЯМ ОСТРОСЮЖЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**4 ШЕДЕВРА**

**ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ЖАНРА**

- 1. Серж Жакемар «Контракт на три убийства»**
- 2. Дешил Хемметт «Худой человек»**
- 3. Агата Кристи «Потом не стало ничего»**
- 4. Эрн Стенли Гарднер «Зеленоглазая сестра»**

*Новые произведения писателей республики Динары Абдуловой, Асада Асилова, Рауля Мир-Хайдарова, Георгия Вогмана, Владимира Морица, Юрия Ковалева, Эдуарда Маципуло.*

*Под рубрикой «Взгляд в третье тысячелетие» эссе писателя-экстрасенса **Евгения Березикова** «Что ждет землян за порогом двухтысячного?»*

*Роман **Владимира Баграмова** «Страна убитых птиц»*

*Рецепты восточной медицины (Тибет, Индия, Китай, Средняя Азия)*

*Весь 1991 год продолжение и окончание публикации священной книги мусульман **КОРАНА**.*

*Эссе «**Солженицын в Ташкенте**» (история создания повести «**Раковый корпус**»)*

**Постоянный раздел:**

*«**Веселая чайхана Насреддина Афанди. Анекдоты прошлых лет**» (Ведет **А. Вулис**)*